



**Дружба
народов**

12/2018



Дружба народов



**Независимый
литературно-художественный
и общественно-политический журнал**

12'2018

**Основан
в марте 1939 года**

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, дом 13, стр. 2,
журнал «Дружба народов».
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12.

**E-mail: dn52@mail.ru,
http://magazines.russ.ru/
druzha/
LIVEJOURNAL: http://druzha-
narodov.livejournal.com/**

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.



Отпечатано в ОАО «Можайский
полиграфический комбинат»,
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93;
www.oaomprk.pf тел.: (495)745-84-28;
(49638)20-685

**Редакция не имеет возможности
рецензировать и возвращать
рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического
брака в экземплярах журнала
обращаться в типографию, указанную
в выходных сведениях.**

**При перепечатке наших материалов
ссылка на журнал «Дружба народов»
обязательна.**

Сдано в набор 20.10.2018.
Подписано в печать 28.11.2018.
Формат бумаги 70 x 108 ¹/₁₆
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 2000 экз.
Заказ 9870. Цена свободная.

Редакционная коллегия

Главный редактор Сергей
НАДЕЕВ
Лев
АННИНСКИЙ
Ирина
ДОРОНИНА

Первый заместитель главного редактора Наталья
ИГРУНОВА

Галина
КЛИМОВА

Владимир
МЕДВЕДЕВ

Заместитель главного редактора Александр
СНЕГИРЕВ

Редакционный совет

Рамазан
АБДУЛАТИПОВ
Сухбат
АФЛАТУНИ

Муса
АХМАДОВ

Ольга
БАЛЛА

Дмитрий
БИРМАН

Денис
ГУЦКО

Иван
ДЗЮБА

Валентин
КУРБАТОВ

Ольга
ЛЕБЕДУШКИНА

Фарид
НАГИМ

Захар
ПРИЛЕПИН

Кнут
СКУЕНИЕКС

Сергей
ФИЛАТОВ

Ренат
ХАРИС

Вячеслав
ШАПОВАЛОВ

ЭЛЬЧИН

СОДЕРЖАНИЕ

Проза и поэзия

Анна САЕД-ШАХ. Я пришла, чтобы себя подарить. Стихи.	
Публикация и вступительная статья Олега Хлебникова	3
Галина КЛИМОВА. Пасташутта. Повесть	8
Андрей ГРИЦМАН. Незримая ватерлиния. Стихи	41
Михаил АРАНОВ. Баржа смерти. Главы из романа	44
Татьяна ВОЛЬТСКАЯ. В погоне за звездой ручной. Стихи	86
Светлана ВОЛКОВА. Великая любовь Оленьки Дьяковой. Рассказ	89
Сухбат АФЛАТУНИ. Приют для бездомных кактусов. Рассказ	106
Владимир ШПАКОВ. Красное платье. Рассказ	125
Алексей МАЛАШЕНКО. Знать или не знать? Рассказ	137
Открытый Чемпионат Балтии по русской поэзии—2018	
Дмитрий АРТИС. Никаких прощаний. Стихи	143
Валентин ЕМЕЛИН. Коллизия. Альтернативная поэма-дереконструкция	145
ПРОЗА.РЭС	
Юрий СЕРЕБРЯНСКИЙ. Полное затмение. «Алтыншаш»: свидетельства и документы	149

Публицистика

Герман ГУСЬКОВ. Вопреки всем испытаниям	179
---	-----

Моя малая Родина

Ольга БАЛЛА. Обитаемое пространство	185
---	-----

Культурный слой

Елена КОНЯЕВА. «Когда Земля, начав вращенье...»	192
---	-----

Юбилей

Александр СОЛЖЕНИЦЫН. Дневник Р-17. 1973 год. Фрагмент.	
Публикация Наталии Солженицыной	201
Александр Солженицын: судьба, роль, образ в меняющемся времени.	
В заочном «круглом столе» — Алексей ВАРЛАМОВ, Всеволод ЕМЕЛИН,	
Марина КУДИМОВА, Михаил КУРАЕВ, Афанасий МАМЕДОВ, Дмитрий ШЕВАРОВ ..	206
АРХИВ «ДН»	
Михаил ПИСЬМЕННЫЙ. Парламент Солженицын	221

Литературный барометр

Евгений АБДУЛЛАЕВ. Средневековые глобализации	227
---	-----

Презентация

Диалог со временем. Проект издательства «Время» продолжается...	
Борис КУПРИЯНОВ, Павел БАСИНСКИЙ, Михаил ЯСНОВ, Марина АРОМШТАМ	230

Книжный развал

Борис РУДЕНКО. История глазами очевидца (Е.Войскунский. «Балтийская сага»)	249
Владимир ЛЕВАШОВ. Одиночество Орфея (В.Шубина. «Колыма становится текстом»)	252
Михаил ЛИПКИН. Открытие Якутии: новые страницы	
(О.Сидоров. «Платон Ойунский»)	254
Григорий ЗОБИН. Грани кристалла (А.Смирнов. «Виолончель за бумажной стеной»; «Партия анекдотов»; «В прилагаемых обстоятельствах»)	256

Анна Саед-Шах

Я пришла, чтоб себя подарить

Поэт — это всегда подарок: настоящим ценителям поэзии и неким неведомым, но чутким собеседникам. А если у этого поэта явно выделяющийся из общего хора голос, то это уже очень дорогой подарок.

Именно таким даром были и остаются стихи Анны Саед-Шах. И это не только мое мнение. Евгений Рейн даже назвал свое предисловие к последнему сборнику Ани «Неповторимая интонация», объяснив это так: «Ее можно узнать по одной строке одного стихотворения... У Анны Саед-Шах интересный, не заемный стих, почти не имеющий аналогов, причем пользуется она им свободно, на полном дыхании, несмотря на то, что говорит зачастую забытые вещи». Тут с ним и соглашается и не соглашается Инна Лиснянская (в послесловии к книге «Современная тетка»): «Передо мной раскрылась сложившаяся жизнь женщины среднего возраста, раскрылся сложный образ ее сегодняшнего быта и бытования». А еще Инна Львовна подчеркнула Анину парадоксальность, благодаря которой можно подумать, что «книга написана разными людьми».

Еще шире взял Евтушенко (в предисловии к книге «Меня встречали по одежке»): «Это в первый раз вслух произнесенная немая исповедь сотен тысяч обессловленных судьбой женщин, столь запуганных нами, мужчинами. Анна Саед-Шах вернула им речь через свои уста».

Но это писали или говорили другие. Что же могу добавить я? Про то, какая она прекрасная жена, мать и даже бабушка? Но это личное. Какая умница была! Но это у нас с каждым годом тоже становится все более личным, даже интимным делом. Что кроме прекрасных стихов писала уникальную прозу? Ну это, может, имеет какое-то отношение к нынешнему обществу. Хотя при ее неучастии в разного рода раскрученных тусовках — отчетливо косвенное. Аня в раскрученных тусовках не участвовала категорически. Вообще, будучи честной, была начисто лишена тщеславия, и никаких литпремий себе не добивалась.

Был даже такой забавный случай. Я дал почитать Окуджаве Анину автобиографическую «непальскую» повесть «Смерть пионерки, или Аварагу». Через некоторое время Булат Шалвович позвал нас к себе в гости. Весь вечер говорил об Аниной повести и сказал, что благодаря «Смерти пионерки» он снова взялся за свою биографическую прозу. В конце концов предложил написать предисловие (или как тогда говорили, врез) к Аниной повести. Аня на голубом глазу ответила — и в этом она вся! — «Да что Вы, Булат Шалвович! Не затрудняйтесь — мне уже Евтушенко написал». (Тоже, кстати, по своей инициативе, ни я, ни тем более Аня его об этом не просили).

Но сейчас у меня в голове вертятся строчки другого поэта, который не писал об Ане, зато о своей такой же страшной беде, какая случилась у меня, написал. Вот эти стихи Бориса Слуцкого:

Мужья со своими делами, нервами,
чувством долга, чувством вины
должны умирать первыми, первыми!
Вторыми они умирать не должны...

Олег ХЛЕБНИКОВ

* * *

Если б я была разбойницей,
ты б со мной ушёл в леса,
там бы я тебя обидела,
ну а ты меня побил.
Если б я была покойницей,
ты бы мне закрыл глаза,
чтоб до смерти не увидела,
на кого перелюбил.

Когда...

1

Когда, лицо надев, пойду на дело
от пирога и свой кусок урвать,
когда душа, заигрывая с телом,
меня уж на захочет узнавать —
замри! Ни звука, ни одной цитаты,
в кастрюле каша, на окне — кефир,
не прячь глаза, не стой как виноватый,
я и одна спасу наш грешный мир.
Проснись и пей! Заварочку крутую
поставь на стол (пусть это будет пай),
и жди меня такую-растакую,
и медленно на кухне закипай.

2

Когда точку с подругой лясы,
когда с тобой вкушаю страсть,
когда чужое жарю мясо,
чтоб усмирить родную пасть —
бегут года на белом свете,
и часто чудится в тиши,
что жизнь —
лишь повод для бессмертья
Его Единственной души...

* * *

Тело придумали,
чтоб обмануть,
чтоб сквозь него
просочиться в душу.
У тела для этого есть
глаза и уши,
всякая муть,

разная там анатомия,
тайные закрома,
а в них всё такое,
подробное.
Ведь душа не может
родить сама
по образу и подобию.

* * *

Современная тётка
хочет быть супертёлкой,
бизнесвумен
или любовницей умной.
Чтоб напрасно не шляться,
подкачать силикон,
подкопить миллион,
выйти замуж и доброй остаться.

Современный мужик
тоже хочет красиво жить:
суперменом коварным
или крышей Москвы-Товарной,
диск-жокеем
или уж на худой конец
прекрасным геем
с кудряшками мелкими или без,
поп-звездой, или... или...
Чтобы мама с папой несли свой крест
и Бога благодарили.

* * *

От духов незнакомых обостряется нюх —
значит, снова затеял игру ты.
Ты пошли меня лучше подальше, на юг —
там такие дешёвые фрукты.
Отпусти меня, милый, купаться на юг,
там малиною пахнет и тмином.
А за щедрость твою обещаю, мой друг,
утопиться под верной волной,
удавиться под первой сосной —
и вернуться с повинной.

* * *

...В ожиданье вестей от того, кто по мейлу не пишет,
шелуху отделяем от всякой другой чепухи,
мироточим ночами, на ладан почтительно дышим
и рожаем детей, искупая в купели грехи.

За пределами сна, за пределами кровельной крыши
мы легки на подъём, мы живём — от души!
Наши умные детки не хотят вырастать из штанишек,
чтоб героями пасть на весёлых полях анаши.

...Успокой моё сердце, скажи — я хорошая, правда?
Мои дети со мной, и сама я напрасно дрожу.
Дай под солнцем согреться,
а большего — больше не надо, —
я другою не буду и деток других на рожу.

Соседи

Я ехала от дастархана
колхоза имени Абая
на чёрной «Волге».
Степь глухая,
ночная
звёздной войной
пугала.
Фары подо мной
горели,
путь мой освещая.

Я ехала по Казахстану,
а вдоль дороги, по обочинам,
густые яблони,
как лёгкие туманы,
висели ключьями.

Я ехала от дастарханов,
где за спиной звенел арык
и где поэт Мухтар Шаханов,
кромсая головы баранов,
священный мне вручал язык.

Там, за кумысом и шубатом,
мне каждый был отцом или братом.
Там речи пламенной окраски
произносились по-казахски,
и там я понимала их
и отвечала, даже пела...

А в «Волге» резко поглупела,
забыла всё в единый миг —
когда неслась вдоль яблонь белых,
достойно прикусив язык.

Коммуналка

А женщина, соседка по квартире,
стучала в дверь, услышав голоса,
и предлагала заплатить
за свет, за газ, за телефон,
чтоб поровну на всех.
Когда ты открывал ей дверь,
я шла за шкаф и там
разглядывала книги,
чтоб там, за дверью, и на общей кухне,
и на целом свете
никто не смог узнать...
Потом я выходила из-за шкафа,
неся в руках свою одежду,
и, улыбаясь, шла к тебе.
Но снова женщина из комнаты напротив
просила, чтобы ты опять поклялся,
что завтра же оплатишь все счета.
Ты клялся ей и музыку включал.
Чтоб там, за дверью, и на общей кухне,
и на целом свете
поверили, что ты
предпочитаешь Брамса.

* * *

Я воду пью глоточками,
а губы всё сухие.
Я дни считаю строчками —
хорошие, плохие.

Хорошее запомнится,
плохое канет,
а жизнь моя наполнится
и мудрой станет.

* * *

А она! Что она сумела,
кроме смерти? Зачем терпела?
Умоляла, просила, билась,

Жизни малой отдав на милость, —
и ушла из последних сил.
Кто просил?

Нам теперь никто — не помеха!
будем вместе теперь для смеха
гордо глину месить свою, —
если верить, то не в раю. —

Нет, не верю. Я помню, Боже,
Ты ведь был заплёванным тоже,
пред толпою смешон и наг.
Ты и с нами ничуть не строже —
как же так?

* * *

Вот и принято решение,
начинается игра:
я дарую вам прощенье,
всем, кто мне желал добра.

Всем, кто прошен и не прошен,
у моих звонил дверей,
всем, кто брошен и не брошен
в бездну памяти моей.

* * *

Со мной кашу не нужно варить,
пуда соли я съесть не заставлю,
мне это не лестно. —
Я пришла, чтоб себя подарить
всем, кому я нужна
или просто полезна.

...Развевается по ветру чёрная прядь,
птицы прочь улетают, уходят подруги:
не хотят, не хотят
не хотят доверять
свою жизнь в мои белые руки.

* * *

Надоело. А жизнь всё равно идёт,
не пробегает мимо.
Надоело бессонницей день сокращать,
уже надоело любить нелюбимых,
постылых прощать —
вдруг стало некогда. Вдруг стало важно
своё прожить и запомнить путь,
чтоб, если удастся, было не страшно
сюда вернуться хоть кем-нибудь.

Галина Климова

Пасташутта

Повесть

В Кремль.

Встать, одеться и — в Кремль. Залечь в ванну, пусть не горячую, пусть теплую. На пять минут.

Солнце выглянуло неожиданным праздником, но идти сил не было, хоть до Кремля рукой подать: от Арбатской площади, где в большой коммуналке бывшего доходного дома она, *гражданка Маршак Маргарита Семеновна, 1903 г. р., домохозяйка, проживает с законным мужем, гражданином Златкиным Ароном Соломоновичем, 1902 г. р. — член ВКПБ, незаконченное высшее, из семьи служащего еврейского религиозного культа — и с двумя несовершеннолетними детьми: сын Владимир (13 лет) и дочь Нина (10 лет).*

Без затей, разборчиво, как под копирку.

Отчеты осведомителей, доносы отзывчивых соседей, анонимки.

Сколько лет бок о бок в одной коммуналке?! И люди-то все хорошие, добрые.

Горячую ванну бы с ароматической солью или с хвойным настоем — забыться и успокоиться. Волна озноба прокатилась по всему телу, и Рита потянулась сначала за пледом, потом — за градусником.

Там, где была правая грудь, — грубая сеть расползающихся мокнувших швов, правая рука — красное бревно. Как у бабы Любы...

После первой операции Арон снял на лето дачу в подмосковном Валуеве, неподалеку от дачи Рыкова. Уже через пару месяцев Рита встала на ноги, повеселела, и жизнь прихорошилась ростками проклюнувшихся желаний и надежд. Но это была лишь короткая передышка. После второй операции улучшения не наступило. Сегодня что-то совсем тяжело.

Беззвучная дрель высверливала под ложечкой узкий ход для рвавшейся изнутри тревоги. Как страшно заснуть... Она пару раз ущипнула себя за щеку и все-таки провалилась в зыбучее пространство, совсем иное, чем то, в котором проходила — и скоро навсегда пройдет — ее жизнь.

Климова Галина Даниелевна — поэт, прозаик, переводчик. Окончила Литературный институт им. М. Горького. Автор восьми книг стихов (три из них вышли билингва в Болгарии), двух книг прозы и составитель трёх антологий поэзии. Лауреат премии Союза писателей Москвы «Венец» (2004), финалист Международной премии им. Фазиля Искандера (2018) и др. Живет в Москве.

Сначала из поля зрения выпал зеленый — цвет ее глаз, потом синий — цвет неба. Кто-то положил ей на веки тяжелые, как пятаки, черные кружочки. И когда непроглядная тьма стала ее миром, вспыхнула белая свеча, похожая на перевернутый восклицательный знак. Свеча перемещалась с облака на облако, освещая дорогу, по которой никто не шел. Она вспыхивала и на лесистых плоскогорьях, и на сыпучих песчаных склонах, и ниже — на берегу, у самой кромки воды. Это же — Волга! А это — Жигули, родные Жигули!

Свеча горела уже высоко над водой, у входа в заброшенные известняковые штольни, где они с Ароном первый раз поцеловались. Одна свеча — и столько света. Неужели Хозяйка Жигулей? Рита замешкалась, бежать на зов или... Вдруг очень яркий сполох и снова — глухая тьма.

Она не слышала своих шагов, но видела себя — даже не тень свою — со стороны. Разве так бывает, чтобы живой человек видел себя со стороны? Да еще во тьме?

Хозяйка Жигулей пропала вместе со свечой. Рита рванулась было к штольням, но где — вход? Где дорога? И она заплакала. Слезы, казалось, хлынули не из глаз, а с самой высокой вершины Жигулей — со Стрельной, и разбежались, заполняя длинные разветвленные овраги. Они забурили, закипели. Тьму будто ветер сдул, всё развиднелось: у входа в старинные штольни столпились маленькие веселые старички, похожие на гномов, но без красных колпачков. Маленькие старички были из стекла. Сквозь их хрупкие тельца просвечивали деревья и птицы, яркие мухоморы, утлые лодки с сутулыми рыбаками, а сквозь самого ближнего старичка — дорога, светлая, выбеленная, которая знала, куда идти...

В Кремль?

В ванну? Может, полегчает?

Обычно Рита сама начинала дровяную колонку — вязанка сухих березовых полешек наготове. Огонь поддразнивал языкастой пляской, исчезал, пускался вскачь и гудел, гудел, но Рите удавалось его уговорить, уговорить: у-у-у.

После ванны — румяная, с глазами, сверкающими, как листья ивы после дождя, — выходила, будто упакованная в новенькую кожу. И кожа поскрипывала точно так — Рита помнила этот звук — как черная тужурка наркома Якова Свердлова, который, наверно, родился в кожаной тужурке, кожаных галифе и кожаной кепке.

Бязевая простыня не казалась грубой. Кровь волновалась, горячилась и пульсировала в голове. Правда, и без ванны Рита знала волнение и бег своей горячей крови, пока не одолела ее проклятая болезнь.

Когда она впервые пришла в Кремль?

Да сразу же, как только тот же Свердлов, всемогущий партийный кадровик, предложил давнему сотоварищу по нарымской ссылке, ныне — новоиспеченному наркому Алексею Ивановичу Рыкову свою отапливаемую квартиру.

И где?

В Кремле. В Большом дворце.

От этих щедрот и Рите перепало. Ведь женой Рыкова была ее старшая сестра Нина. И пока Рита растапливала колонку и мылась, Нина, теперь уже Нина Семеновна, вооружившись очками, читала — не беллетристику, конечно, — или строчила очередной отчет или срочный доклад.

Пришлых родственников пускали в Кремль по делу и просто повидаться, а заодно принять ванну или помыться в бане. Но строго в определенные дни и часы: женский день по субботам с утра, чтобы законные жилички Кремля могли свободно вымыться после обеда или после работы и не рисковать драгоценным здоровьем, прибегая на работу с мокрыми волосами.

Пожалуй, только в Кремле под охраной красногвардейцев, не опасаясь за жизнь, можно было согреться, выспаться и почти досыта натрескаться в столовой. Уж красной, почти дармовой икры — ешь от пуза.

Риту опять потянуло в сон. Она то ныряла, то выныривала, как в детской кроватке-качке на полозьях... *кач-кач, кач-кач, тише, девочка, не плачь, испеку тебе калач...* И опять стук полозьев: *кач-кач, кач-кач...*

— Кто там? — слабым голосом откликнулась сама себе.

— Идка, ты жива тут? Стучу, стучу, а ты ни гу-гу.

С батонем белого, с пакетами и газетными кулками в авоське Нина, сделав несколько шагов, остолбенела, увидев изболевшуюся, словно загрированную под старуху с восковым лицом, младшую сестру, которой всего тридцать четыре.

— Нина? Ты? Тебе разрешили? — Рита осторожно спустила с кровати отекавшие ноги. Переждав приступ головокружения, пальцами пригладила черные свалывшиеся волосы.

— Первый выход после инсульта. Где аплодисменты, переходящие в овацию? Шесть месяцев постельного режима. Считай, домашнего ареста. Ужасно соскучилась, Идка! Как ты?

— Да что-то не ахти.

Накинув длинный халат, Рита съежилась от прильнувшей прохлады шелка, подвязалась широким поясом. Даже не щепка, щепочка.

— Садись в кресло, пока Арон не продал. У меня для дорогих гостей есть заправка «липтона».

— Брось, Идка, свои цирлих-манирлих! К черту «липтон». Лучше поговорим, пока можем. И пока можно.

— Смотрю и не верю, ты?! Так неожиданно... почти как в Саратове после Нарыма.

Рита (на самом деле Ида, но Арон переименовал ее в Риту, она и по паспорту теперь — Рита) еще училась в гимназии, но запомнила тот ослепительный день весны, взбудораживший их тусклую провинциальную жизнь.

Через месяц после революции, в марте, прямиком из очередной ссылки — без письма, без телеграммы — Нина нагрянула в родительский дом.

— Принимайте, любезные, привыкайте! Вот все мое богатство и частная собственность: Алексей Иванович Рыков — мой настоящий гражданский муж.

И — без перехода к объятиям и поцелуям — бесцветным казенным голосом она заявила, задавая себе ритм рукой:

— Рыков — качественный человек. Много испытал и не дрогнул. Профессиональный революционер: 8 арестов, тюрьмы, ссылки, побеги, эмиграция. Лично знает Ленина. Еще с 1903 года, с Женевы. И, главное, не потерял чувство юмора. Человек-шутка. Любит книги и музыку. И, конечно, меня.

Настоящий муж не упустил момент, улыбнулся и несколько по-актерски расшаркался перед папой Сёмой, приложился к ручке мамы Розы, обнялся с Ритой, и при этом — ни звука. Нина отодвинула его в сторону и подвела перед родительские очи симпатичную хроменькую девушку, прижимавшую к себе объемный, обмотанный пуховой шалью кулек.

— Поближе, Дусь, не съедят!

Вместе они стали снимать, как листья с кочана капусты, шаль, одеяльце, байковую пеленку, ситцевую пеленку — и все увидели крепенького детеныша.

— Вот она, спящая красавица, царевна Наталья Алексевна, собственной персоной! Девять кило чистого веса и девять месяцев от роду. Характер боевой — в меня, а улыбка и глазки — папины. Дуся, дай бабушке, пусть потетёшкает! Да, кстати: Дуся, Наташина няня.

Огорошенная свалившимися на голову гостями и новостями мама Роза потеряла дар речи, что случалось нечасто. Сохраняя постную улыбку приличия, она приложила спящую девочку к выдающейся груди, будто на показательных занятиях по грудному вскармливанию. Папа Сёма резко изменил цвет лица и был близок к обмороку.

Протерев очки, он дотошно изучал похожие на барабанные палочки, дрожащие пальцы с коротко стриженными ногтями, сжимая и разжимая то левую, то правую ладонь. На внучку не глянул. Он не скрывал обиды: в редких коротких письмах из ссылки Нина не сообщила ни о новом муже, ни о дочери. И вообще, сильно сторонилась интересов семьи. Просила только книги и заграничные журналы по философии и экономике, которые он аккуратно высылал. От всего происходящего папа Сёма поубавился в росте и сделался почти незаметным, как гвоздь, с размаху вбитый почти по самую шляпку. Но для подтверждения своего наличия громко шмыгнул носом, задрал вверх узкое птичье лицо и прокурлыкал:

— Вэй из мир!¹ А что маленький портняжка Йосель Таршис? Или где-то он теперь не нужен, твой муж Осип Пятницкий? Не могу даже себе представить, подозревает или не подозревает наш бывший, так себе еврейчик, про твоего нового мужа? И про твою довольно-таки не маленькую дочу? Каков пасьянс, а? — Широко разведя руки и обеда прищуренным взглядом лица жены и обеих дочерей, он то ли осекся, то ли нарочно прикусил язык, чтоб не вспылить, не наговорить лишнего, но немедленно, подробнейшим образом обо всем расспросить и услышать, может, ласковые слова, всё простить, сразу же простить и по-отцовски вразумить, дать практические советы... мало ли что в жизни бывает?

Чай с черствым штруделем и вишневым вареньем пили молча, пока Нина не вскинулась, как ужаленная:

— Вижу, вы, мама, и вы, папа, что-то не умираете от счастья лицезреть нас. Разве ж это чай? Какие-то писи сиротки Хаси. Всё так плохо с гешефтами? С колониальными товарами?

— Перестань сказать, Нина! — Мама Роза и бровью не повела от такой дерзости и тут же вернула: — Что подумает твой новый муж?

Рыков хмыкнул в бороду и осветил Нину лучистым взглядом.

— Новый, старый... Вы совсем потеряли вкус к чаю?

— А что такого? Заварка не вчерашняя, утренняя. Лучше расскажи про Нарым. Какой там чай пили? Как жили? Что там за погода? Что за люди? — старалась все сгладить простыми, но такими житейскими вопросами мама Роза.

Погасив накатившее раздражение, Нина справилась с собой, но чай допивать не стала.

— Это долгий разговор... «Бог создал рай, а чёрт — Нарымский край». И все-таки нам повезло. Нарым — столица для ссыльных. Для сильных, значит. Правда, есть и Туруханск. Еще северней. Они соперничают и даже ревнуют друг друга — как Москва и Петербург. В России якобы две столицы, и в каторжной Сибири. — тоже. Так исторически сложилось. Конечно, климат — это что-то с чем-то. Не для людей. Зима лютая. Неделя метель, неделю пурга, ветры — круглосуточно. А летом — вот уж когда небо с овчинку покажется — тучи, полчища кровососов: мошка и гнус. Буквально со свету сжимают. До мяса сжирают. Унылые земли. И море гиблых болот — до горизонта. Наш Нарым — кочка, островок, пуп земли. Не убежать. Но все-таки случилось. Продумывали каждый шаг, собирали деньги, искали верных людей. Помогали тем, в ком партия особенно нуждалась.

— Вы-то помогали, а кто вам помогал? Или партия про вас забыла?

Папе Сёме никто не ответил, и Нина продолжала.

— Нарым — обжитое место. Туда ссылали стрелцов, бунтовщиков, потом — декабристов, народников, либералов. После 1905 года прибыло несколько сот революционеров сразу. Народу стало, как воды в половодье. Думаете, ссыльные — сброд отверженных? Мы все — подтверди, Алексей Иванович! — Рыков несколько раз мотнул головой, — мы все: большевики (в большинстве), меньшевики, эсеры,

¹ Вэй из мир! (*идиш*) — Боже мой!

анархисты — коммуна, товарищество, вдохновенное братство. Для ассортимента, конечно, и урки, но они особняком. А мы все — молодые, горячие, с верой в революцию. По-другому не выжить. Какие люди прошли через Нарым: Свердлов, Куйбышев, Сталин...

— И вы с Алексеем Ивановичем далеко не отстали, след в след топаете, — вставил папа Сёма, и его юркие глазки ускользнули от прицельного взгляда дочери.

— Да, а что? Все — исторические личности. Вы еще услышите о них. И о нас, может, тоже. Мы запросто общались, спорили, бражничали. Нарымское товарищество — навсегда. Нарым заставил меня (и не меня одну) переосмыслить судьбу. Разве сейчас я похожа на тихую домашнюю мышку?

— Ничего себе мышь! Вот наша домашняя прикормленная Мышка, — и мама Роза притиснула к себе сидящую рядом младшенькую, которая слушала сестру с восторгом и завистью гимназистки.

— Вы, мама, всегда любили только Идку. Не меня, не Филиппа, не Лену. Только свою, сюси-муси, досю-Идусю.

— Ты — злюка и вредина! И всегда такой была, — и Идка, счастливая от осознания своей значимости в семье, пригрозила сестре детским пальчиком.

— Тебе слова не давали.

— А я без спроса. И еще. Мне ужасно хочется наконец узнать: на какие-такие денежки ты, Ниночка, ездила в Петербург? По какому такому секретному партийному поручению, что тебя сразу же и заарестовали? Почему-то именно тогда исчезло мамино кольцо с изумрудом...

— Перестаньте, мэйдэлэх!¹ Вы ж родные сестры. Как я могла не любить тебя, Нина, если ты вышла нашим первенцем?! Как у вас Наташенька... Целых четыре года ты была нашим солнышком. Потом родились Филипп и Лена, потом уж, когда не ждали, Идка, последыш. Но первой была ты.

— Что поделать, если вы все выросли и кто куда. С нами только Идка, — то ли пожаловался, то ли уточнил естественный ход событий папа Сёма.

Нина подсадовала, что разговор какой-то глупый и мелкий. Хотелось представить свою семью и себя, конечно, в другом свете, выглядеть крупней, значительней и соответствовать — ведь рядом новый муж, известный революционер, большевик, умница и остролов Рыков, который видит, может, больше, чем надо.

— Теперь я — социально осознавшая себя и самостоятельная женщина, большевичка. Мой внутренний мир изменился. — К Нине вернулся тот протокольный, деревянный голос, который так напрягал родню, но не Рыкова.

— Что вы кушали там? Откуда брали мясо, овощи, хлеб?

— Вы, мама, всё за еду да за еду. Торговали две лавки: мясная и зеленая. Рядом пекарня. Обеды готовили сами. По очереди. Мужчины охотились, рыбачили — нельму ловили. Вот уж деликатес. Что еще? Каждый месяц приходило казенное пособие по шесть с полтиной рублей. Зимой и летом полагались расходы на одежду и обувь. Денег хватало. Не бедствовали. Жизнь была налажена. И даже надежна. Постоянная работа запрещалась, а временная — извольте, если не лень. Я репетиторствовала. Очень пригодился немецкий. Сколько раз говорила: спасибо, дорогие родители, что принуждали учить языки. Кому-то из ссыльных помогали родственники, кому-то жертвовали местные купцы и горожане. Например, купец Родиков. Он не пожалел просторного дома — отдал под театр. Мы поставили «Ревизор», «На дне»... Сами сочинили пьесу про Жанну д'Арк.

— Чтоб я так жил... Пьески сочиняли! От скудости жизненных впечатлений, что ли? Играли в свободу? Какие там еще цуресы², к чему готовиться? — вклинился папа Сёма, которой никак не мог переварить новые события и справиться с обидой на дочь.

¹ Мэйдэлэх (*идиш*) — девочки.

² Цуресы (*идиш*) — неприятности, огорчения.

Мама Роза осадилла мужа хорошо известным ему движением глаз.

— Рассказывай, доча! Твоим родителям рано или поздно, но надо знать всё.

— Так вот, я в роли Жанны. В военной форме, с деревянным мечом и щитом. И, представьте, моя Жанна нисколько не безумная, но царственная. Восторг! Публика бисировала, топала ногами. Я чувствовала себя, как на сцене МХАТа. Наши местные с расфуфыренными женами и детишками, надушенные какими-то ядреными одеколонами, все на самых дорогих местах, демонстрировали чувство собственного достоинства. По несколько раз приходили. Под аккордеон, под «Марсельезу» мы читали стихи поэтов французской революции. Именно на них выросли почти все русские революционеры. Оттуда Свобода, Равенство, Братство! Особый дух... И все-таки одухотворенных революционеров совсем немного, гораздо больше — одержимых, правда, Рыков?

— Ты про библиотеку расскажи, — выдерживая тему, просуфлировал Рыков.

— Да, открыли библиотеку. В крестьянском доме. Для начала в складчину собрали книги и журналы. Потом стали выписывать из заграницы на европейских языках. И совсем не для декорации. Все учили кто английский, кто немецкий, Алексей Иванович накинудся на итальянский. По-немецки и по-английски он объясняется легко.

Осенью двенадцатого года — стояло бабье лето — в Нарым доставили новенького. Это был Рыков. И мы оба влюбились по уши, будто нам не за тридцать, а лет по восемнадцать. Жить не могли порознь. Поселились в одной избе, семейно. Конечно, я терзалась, что замужем и разобью сердце бедного Оси Пятницкого.

— Насквозь-таки истерзалась, — не унимался папа Сёма, обкусывая ноготь безымянного пальца с такой страстью, что выступила капелька крови.

— Конечно, не хотела вас огорчать. Молчала, но совесть грызла. Мы с Алексеем Ивановичем очень остро ощущали право на случившуюся с нами любовь — как на высшую человеческую ценность, которая наравне со свободой. И готовы за нее бороться. Вот от такой любви и родилась Наташенька. Не обижайтесь, прошу вас! Не сердитесь, что скрыла. Наша любовь принадлежала только мне и Рыкову. Я ж догадывалась, что с вами будет... Простите, родные мои, татэ¹, мамэлэ², простите, и я буду совершенно счастлива! — Голос Нины утратил пафос, потеплел, на сверкавшие глаза готовы были навернуться слезы раскаяния. Мама Роза поднялась из-за стола, подошла к мужу, обняла пухлыми руками за голову и утешительно поцеловала его в щеку.

— Разве ж мы так тебя воспитывали, чтобы таиться и держать под замком такое сокровище, такое драгоценное счастье? Из жалости к нам... Как только язык повернулся? Ты слышала, Розочка? И поверила? Ай вэй, ай вэй, — почти всхлипнул растроганный папа Сёма и сдвинул виски, стрелявшие убийственной болью.

— Саратовская родня Алексея Ивановича очень поддержала деньгами. Широкие люди. Вот откуда у нас Дуся. — Нина вышла из-за стола и встала у окна, чтобы родные увидели ее счастливой и свободной. — После Февральской революции — воля! Пришла воля. И Нарымскую ссылку ликвидировали. Тут-то мы, на радостях, подхватились — и к вам в Саратов. Но — проездом, ненадолго. Рыкова ждут в Москве. Яков Свердлов ждет. Там все кипит и бурлит.

Она умолкла.

Страшный грозовой фронт прошел стороной. Домашняя атмосфера прояснилась и стала такой понятной, что общее счастливое будущее читалось, как на ладони. Они со вкусом перебрали последние сплетни о молодом саратовском раввине и соседях, поплакались на цены, которые режут без ножа, поговорили об отречении царя и действиях Временного правительства. Потом обсудили, какую профессию выбрать

¹ Татэ (*идиш*) — папа.

² Мамэлэ (*идиш*) — мамочка.

Идке: пойти, как в свое время Нина, в фельдшерско-акушерскую школу или стать машинисткой-стенографисткой? Что лучше по нынешним временам?

Рыков, обычно стеснявшийся своего заикания, вскоре на равных вступил в разговор, острил и даже продекламировал, вполне уместно, что-то некрасовское про Волгу. Поглядывая на жену, сверялся: нравлюсь? Нина улыбалась, поощряла и взглядом, и энергичными кивками: давай-давай, мол, не тушуйся. Все подпали под его обаяние. Было в Рыкове что-то от чеховских персонажей или даже от самого Антона Павловича — только без пенсне: такая же прическа, интеллигентская борода, выразительные глаза, крупный породистый нос. Правда, ростом Рыков до Чехова не дотянул, но зато широкоплеч и кряжист. И темперамент, похоже, горячий, страстный, и характер — напористый. Эмоции захлестывают, впечатления лишают сна, гомонят живыми картинками, как кадры из новомодной фильмы. И приводят к истощению. Но он выработал в многочисленных тюрьмах и ссылках спасительный навык спать сидя и даже стоя, отключиться на пять-десять минут, а потом встрепенуться для новых дел свежим и энергичным.

Папа Сёма вскочил из-за стола, чуть не опрокинув чашку с холодным жиденьким чаем, и засеменил в чулан, где на полке стоял заветный хрустальный штоф — пусть будет! — с домашней грушовкой, лучше которой ничего на свете не было. Наливку разлили по граненым стеклянным стопкам.

— Шойн, шойн, киндэр!¹

Папа Сёма размяк, как старая войлочная игрушка. Поправил на переносице очки, и за увеличительными стеклами — все увидели — неправдоподобно крупные слезы.

— Детоньки мои, большие и малые, после всего, что вы пережили и что еще — жизнь страшная штука! — придется пережить и вам, и нам, я вслух завещаю: пусть в саду ваших любящих сердец каждый день будет как цимес мит компот!²

Рыков вспыхнул и благодарно улыбнулся: приняли, признали. А уж после стопочки, после первой и второй, в легком подпитии он был совершенно неотразим.

Вот тут-то Нина и скомандовала:

— Настраивай свою трехструнку! Мамочка, папочка, Идка, Алексей Иванович гениально играет на балалайке и поет. Очень душевно. Когда поет, он не заикается. Давай, Рыков, жми!

— Тум-балалайке, шпиль-балалайке, — весело подначивал и подтанцовывал папа Сёма.

— Ой, ой, эйн момэнт! Вы тут строите стульчики парадом. — И мама Роза упорхнула в спальню, а вышла неподдельной матроной из приличного общества: на груди дышала, как порхала, бриллиантовая брошь-бабочка, в ушах веселились переливчатые сапфиры, на указательном пальце — такое же кольцо.

— Я тут ничего не пропустила? При всем моем богатом воображении, не сразу поняла, что у нас праздник. Да еще с концертом. А я, извиняйте, в затрапезе. Самый момент исправиться. Цацки надо носить, а не держать под спудом. Мотайте на ус, мэйдэлэх, камни будут ярче! Они тоже обожают женское тело.

— Вы ж не уснете, Розариум, ваши цацки сильно блескучие. Хотите, сделаем сегодня ночной опыт? А сейчас мы сгораем от нетерпения: кто-то здесь, кажется, собирался петь?

Рыков устроился на стуле в центре гостиной, прижимая к груди расписную, в красных маках, балалайку, будто согревая. Низко наклонившись и проникая в самое нутро инструмента, что-то там выглядывая и выслушивая, затянул несильным мягким тенором неаполитанскую песню «Вернись в Сорренто» — к изумлению благодушного

¹ Киндэр (*идиш*) — дети.

² Цимес мит компот (*идиш*) — слаще сахара.

семейства Маршаков совсем не в тему революционной борьбы или нарымской ссылки. Разве что про любовь? Потом пошли русские романсы. Мама Роза, сложив по-концертному руки на бриллиантовой груди и вытягивая то влево, то вправо короткую полную шею, подпевала в терцию уверенным меццо-сопрано. Потом втянулись все. И на песне «Среди долины ровныя, на гладкой высоте...» грянул такой мощный семейный хор, что хоть сейчас на сцену. И грех было между песнями не пропустить — для куражу — по стопарику.

Выпить Рыков был мастак, чем сразу вызвал горячую симпатию народных масс, особенно когда отменил «сухой закон» времен Первой мировой. Недаром в его честь четвертинку «белого» 30-градусного вина (читай: водки, но на 10 градусов слабей Царской) стоимостью 1 руб. 75 коп. называли «рыковка» или «полурыковка». Гадость, по отзывам, была редкостная.

На посту наркома Внудел в первом советском правительстве Рыков почти не задержался — всего девять дней. Но память о первом декрете от 10 ноября 1917 года «О рабочей милиции» жива и сейчас. День милиции (теперь, с легкой руки президента Медведева, полиции), ставший профессиональным праздником, стражи порядка отмечают и чтут уже более ста лет.

От тех девяти дней Рыкову осталась квартира в Кремле.

На самом деле, совсем не пафосная комната в бывших покоях царских детей: огромная, всегда сырая и холодная, с серыми стенами и сводчатыми потолками. Резонанс не хуже, чем в Большом театре. Комнату разгородили высокими книжными шкафами: в одной половине — Рыков с женой и дочкой, в другой — его сестра Фаина со своими двумя детьми.

Рыковы соседствовали со Свердловыми, Осинскими, Кобахидзе — четыре семьи, огромная коммуналка. Под ними — Дзержинские, Владимирские и пролетарский поэт Демьян Бедный со своей знаменитой библиотекой, с собакой и двумя забавными медвежатами. В Офицерском корпусе обустроились Ульяновы: Владимир Ильич с Надеждой Константиновной и тещей.

В километровых кремлевских коридорах, на поворотах, в закоулках, углах и тупиках стояли кромешная темень и мертвая тишина.

Рите быстро оформили пропуск в Кремль, с особым тщанием хранившийся в ее итальянском ридикюле. Лишь только накатывала мерзкая волна мерехлюндии и в голову впивались шипы мигрени, Рита телефонировала в Кремль и — к Троицким воротам.

На спуске с Ваганьковского холма виднелся разметавшийся по Александровскому саду черно-серый хвост живой очереди. Казалось, там чудовищный ящер, который, едва успев отбросить старый хвост, мгновенно отращивал новый, еще длиннее. Бездомные, больные, растерянные, голодные, продрогшие до костей, убогие — все тянулись в Кремль, как в райское место, где было тепло, сытно и безопасно. Новый кремлевский рай стремительно обживали наркомы, их важные замы, исполнительные начальники управлений, суетливые уполномоченные, а с ними жены, дети, престарелые родители, тещи, свекрови, няньки... Тут даже и московского Кремля — крупнейшего из русских кремлей — с его громадными площадями, монастырями, соборами и подворьями, служебными корпусами, многочисленными помещениями с подсобками и километровыми подвалами на всех не хватало.

Государство в государстве? Территориальное образование? Общежитие, коммуналка?

Под одной крышей, через стенку или через коридор терпели друг друга, ненавидели и дружили, сочиняли доносы и писали труды по теории и практике революции, флиртовали, скандалили, гоняли чай и мирились высокопоставленные жильцы и жилички, обитатели отдельных квартир, просторных комнат с удобствами, убогих каморок и темных пеналов.

Там же теснилась обслуга: домработницы, уборщицы, прачки, дворники, банички, повара, официантки, слесари, столяры, истопники, портнихи, продавцы, парикмахеры, телефонистки, телеграфистки, врачи, медсестры, водители роллс-ройсов и линкольнов — этих бронированных крепостей на колесах из гаража особого назначения. И, конечно, охрана, охрана, охрана... Да мало ли кто еще, без кого не прожить и не заснуть спокойно?

Все они — насельники кремлевского городка, по образу и подобию которого значительно позже на просторах одной шестой части суши станут расти и множиться военные городки, засекреченные моногорода и наукограды, не обозначенные ни на одной географической карте. А еще позже, на наших глазах, за надменными заборами из профнастила поднимутся охраняемые коттеджные поселки «новых» русских с дворцами «под Европу», с псевдозамками из сказок братьев Гримм — с готическими башенками, бойницами, мраморными каминами из «Тысяча и одной ночи» — с зимними садами и фонтанами.

Все закрытые территории похожи на резерваты. В природе резерваты создают для сохранения редких, исчезающих или вымирающих видов фауны или флоры. А в обществе — для охраны человеческих особей и отдельных семейств? Их социальной адаптации или акклиматизации в новой реальности? Преемственность, если не генетики, то исторических традиций, соблюдена. Например, резерват на Рублевке, рядом с Жуковкой и Барвихой, где десятилетиями обитали ответственные партийные и советские работники. Или резерваты на Николиной горе, в Мозжинке, в Переделкине с их плановыми поднадзорными гнездовьями научной и творческой интеллигенции.

Рита по разным признакам все больше ощущала, что Нина теперь не просто старшая сестра. Она — жена самого Алексея Ивановича Рыкова, ставшего через две недели после смерти Ленина его преемником — председателем Совнаркома СССР и РСФСР.

Почему именно Рыков?

Как ему удалось?

Какие люди готовились возглавить правительство — Бухарин, Сталин, Каменев, Семашко, Крестовский!

Все думали, будет Бухарчик — любимец партии, теоретик революции, главный редактор «Правды», неутомимый в работе, очень бойкий и яркий.

Рыков — тоже очень деятельный, тоже — личность, но скромный, мягкий, совсем не оратор и не теоретик — без платформы, без никакой программы развития страны.

Бухарин и Рыков — такие разные, но оба — редкой во все времена порядочности.

Жаль, что Рыков заика и глуховат. Говорит, отморозил уши в Архангельской ссылке, когда работал репортером в газете. С тех пор — бесконечные отиты. У Нины своя версия: в 1902 Рыков организовал в Саратове многотысячную первомайскую демонстрацию и попал в лапы черносотенцам. Его отходили прикладами чуть не до смерти. С окровавленным лицом, с разбитой головой едва утек через подворотни, проходные дворы, переулочки — ищи-свищи... От сильного сотрясения мозга почти потерял слух. Потому, наверное, такой тихий, прибитый.

Жаль, что запойный. Не по авторитету, не по должности. Его слабинку знали, потому ублажали, спаивали и грубо использовали в своей корысти и безудержных кремлевских играх.

Только Нина, ответственная в Наркомздраве за здоровье советских детей, не давала мужу спуску. То графинчик перепрыгнет, то под руку толкнет так, что стопка вдребезги. Ходи да облизывайся. Рыков не раз принимал решение покончить с запоями, давал честное большевистское и бросался за помощью к гениальному Бехтереву — но, увы! И все-таки не унывал. Он преклонялся перед медициной, благоговел перед докторами, по-детски веря в их всемогущество. Задолго до революции просил разрешения у самарского губернатора Якунина на выезд в Германию по

причине прогрессирующей глухоты, но получил отказ. Уже с Ниной дважды Рыков ездил к докторам в Германию и Швейцарию, за что Ленин публично на собрании товарищей не преминул упрекнуть: *непатриотично, батенька!*

После тяжелого инфаркта, который пришелся как раз на последние дни жизни Ленина, Рыков и сам был на грани, настолько слаб и плох, что не смог поехать в Горки проститься с любимым вождем. И от этого страдал — даже плакал — сильнее, чем от болей в сердце. Через полгода, по настоянию однопартийцев Рыков инкогнито выехал с Ниной на четыре месяца долечиваться в Рим. Там их гидом и переводчиком стал молодой архитектор из Одессы Борис Иофан, в которого они влюбились в первый же день,

Итальянские эскулапы, врачующий воздух Италии или могучий организм — кто знает? — но в Москву Алексей Иванович вернулся здоровым.

При всех известных ранее *за и против* преемником Ленина стал именно Рыков, надежный, тихий и старательный исполнитель, что многим было на руку.

Когда долгожданную новость объявили по радио, Рита, закусив посудное полотенце, замерла.

— Уж не завидуешь ли, женка? Думаешь, друзья познаются в беде? Проверка счастьем или успехом куда верней. Кто-то затаился, и слова в горле застряли от зависти, кто-то тихо дохнет от ненависти, а кто-то искренно радуется, — Арон, громко клацая зубами и страшно вращая глазами, надвигался на Риту, готовый сцапать слабую жертву.

— Чего ты? Я завидую? Наоборот, люблю Алексея Ивановича как родного. И боюсь — как за родного.

Арон обнял жену и разъяснил без всякой лирики:

— Всем понятно, Ленина заменить некем. Ленин — гений. И сейчас именно такие, как наш Рыков, — умный, честный, убежденный и, главное, без фанатизма — нужнее всего. Он держит равновесие между левыми и правыми, между Бухариным и Семашко. Все правильно.

В те лютые зимние дни, огласившие плачем и прощальными гудками заводов и фабрик пространство осиротевшей страны, проводившей в последний путь Ленина, в те знаковые лично для Рыкова дни перед дверью его кремлевской квартиры положили новенький пестротканый половичок.

По-семейному, с застольем Рыковы и Златкины собирались обычно пару раз в год: в дни рождения Нины и Риты. Не время было по гостям расхаживать, чай распивать — страну поднимали, строили социализм. Но когда встречались, Рита не стеснялась «красного премьера» и давала себе волю похохотать и поделиться с Алексеем Ивановичем тем, о чем не решалась сказать сестре. Прежде всего, Арону нужна новая работа: из «Чаеуправления» хорошо бы уйти, какие-то там мутные людишки, темные делишки. И никаких перспектив. Рыков понимающе кивал и обещал что-нибудь подыскать. Он хорошо знал инициативность и предприимчивость Златкина по марксистскому кружку в Саратове, где Арон еще гимназистом прибил к политссылным и в шестнадцать лет, по совету Рыкова, вступил в РСДРП.

Рита видела: Рыков и Нина проросли друг в друга и держались на общей нити горения. Соратники.

Почему у них с Ароном иначе? Что-то не так в ней самой?

Она — совсем из другого теста. Не из простого — мука и вода, как хлеб или маца, которые всегда в аппетит и никогда не надоедают. Нет, она из какого-то сдобного, сладкого, которое быстро приедается. Хотелось быть похожей на Нину. Но откуда взять революционное призвание? Это как музыкальный слух. Если уж наступил

медведь на ухо, то навсегда. Кто она? Мамэлэ, клушка домашняя — гефилте фиш¹, собачий вальс да песенки на пианино? Чего-то главного, на чем стоит семья и что под силу только женщине, Рита чувствовала, ей не доставало.

Родные сестры, но не скажешь, что дети одних и тех же родителей.

В детстве Нина много читала, хороводилась с мальчишками и даже дралась, и все куда-то рвалась из дома, где ей было тесно и скучно. Рита вышивала гладью думочки и салфетки, выращивала герань, чтоб разноцветная на всех окошках, и через эти слепенькие окошки с двойными рамами вглядывалась в мир, который больше пугал, чем притягивал.

Товарищ Нина — железная большевичка. Хоть на вид вполне себе буржуазная фифочка в шляпке, талия в рюмочку, и кажется, что все аресты и ссылки — не про нее. В мужьях — горластый коминтерновец Осип Пятницкий, теперь — тихий Рыков «со взором горящим». В друзьях — одни революционеры. Разве сравнить их по человеческому масштабу с обывателями: коммерсантами, аптекарями, инженерами-путейцами, врачами и даже с адвокатами? Нина часто говорила, что революционеры с молодых ногтей напитаны особым духом, чего у других не было. Разве что у знакомого раввина, их родственника, заходившего к родителям в Ростове-на-Дону, когда они там жили еще маленькими девчонками.

До подробностей помнила Рита, как за считанные дни перевернулась жизнь в их благополучном Саратове. Такой революции и такой кровавой власти она не желала. И Нину с Рыковым и Арона не понимала. Правда, именно их ни в чем и не винила. Но допытывалась: где же обещанная справедливость? Куда делись милосердие, сострадание, жалость? Сами слова, в одночасье вдруг обесцененные, были с корнем выведены из обращения. С кем равенство и братство? С пьянью и бандитами? С обезумевшей босотой и гольтепой?

Доходчиво, как учитель начальных классов, Арон объяснял ей про революционную ситуацию и диктатуру пролетариата. Ему нравилось агитировать на заводах и в мастерских. Он сочинял понятные листовки. Например, «Пролетариат — умный мозг революции», «Только в революции — настоящее счастье каждого, кто считает себя ЧЕЛОВЕКОМ». Или «Кухаркины дети, ваш час пробил!» И Рыков, особенно при Рите, нахваливал Арона, называл *прирожденным пропагандистом*.

Арон мечтал о справедливом счастливом мире и часто повторял стихи любимого Надсона:

...не будет на свете ни слёз, ни вражды,
Ни бескrestных могил, ни рабов,
Ни нужды, беспросветной, мертвящей нужды,
Ни меча, ни позорных столбов.

Вскоре Рита стала улавливать в кошмаре происходивших событий некий замысел — лейтмотив вселенской какофонии, от которой кровь стыла в жилах, но — ни слезинки, чтоб выплакать бессловесный, почти утробный страх.

Свадьба с Ароном была совсем не такой, о какой мечталось: молодежь, синий рупор новенького граммофона, романсы, танцы-шманцы — вальс, падекатр, тустеп, шимми. Родители стояли горой за традиции: только еврейская свадьба, только идише хасэнэ! Особенно напирал и упорствовал отец Арона, Соломон, когда-то известный в Самаре преподаватель вокала и тенор, выступавший под псевдонимом Златов. В охапку с Лизочкой, со своей тишайшей женой, не имевшей, казалось, не только своего голоса (может, певцы специально выбирают безголосых жен?), но и мнения, с

¹ Гефилте фиш (*идиш*) — фаршированная рыба.

младшими детьми Борей и Лёвой, они без промедления примчались из Баку, куда в 17-м на первом же проходящем поезде сбежали, спасаясь от кровопролитного смерча октябрьской революции, захлестнувшего Самару.

И те, и другие родители сошлись легко. Свадьбу сговорились провести не в синагоге, а в доме невесты, у Маршаков. В просторной гостиной, кроме пары сундуков, длинного обеденного стола с плетеными стульями и дубового резного буфета, раскинулись в кадках жирный фикус и веерная пальма, а между окон замерло пианино с бронзовыми канделябрами без свечей. Всю эту обстановку сдвинули к стенам, и оказалось, что места для большой хупы предостаточно. Соломон вызвался сам — вместо раввина — совершить свадебный обряд. Во-первых, свадьбу назначили сразу после окончания шабата. Это по правилам. Во-вторых, практично. Какая-никакая, но экономия: тут вам и свадьба, и субботний кошерный ужин с курочкой, с картошкой на шкварках и со свежими овощами с огорода.

Накануне Соломон расчувствовался и столько порассказал о себе и о пережитом, что папа Сёма взялся всерьёз лечить свата от нервов проверенной грушовой.

— Примите стопочку, Соломон, за любимого вами меня! А я — наоборот, за любимого, Соломон, вас!

Графинчик уговорили без труда. Соломон то жаловался, то громко обличал, то всхлипывал, вытирая глаза уголком белой накрахмаленной скатерти:

— Потерял сына. Недоглядел, старый перец! Всё пел-распевал и — упустил, профукал и сына, и время. Мой Арон — большевик?! Мой Арон — атеист?! У них, у большевиков, ничего святого, кроме революции. Прямо-таки идолище какое-то! Хотят всё с нуля, будто до них никаких цивилизаций, только обезьяны в джунглях. И вдруг, нате-вам-здасьте: «авангард человечества»! Зачем-то посягнули на календарь, перешли на новое время! Что, разве взошла новая заря? Наступила новая эра — новейшая? Явился долгожданный мессия? Уж не Ленин ли? Хотя, говорят, он тоже с тонюсенькой струйкой еврейской крови... Ох уж эти большевики! Они и праздники новые понавыдумывали. Безбожники и грешники, не боятся гнева Всевышнего!

Но Рита боялась.

И на свадьбе очень испугалась, дурочка. Вдруг споткнется? Или шлепнется на пол, когда будет под хупой семь раз обходить вокруг жениха? Страшновато под кружевной накидкой. И Арону страшно. Но так захотели родители.

Накануне свадьбы, когда она, окунувшись и очистившись, вышла из миквы, мама Роза, глядя в пол, завела что-то занудное про главный долг женщины и про святость супружества. Иду разбирал смех, и она закусилась нижней губой, чтоб не нарушить надлежащую торжественность момента.

«Может, признаться? — молниеносно проскочило в голове. — Рассказать, что полгода назад у них с Ароном *всё произошло*? И они уже муж и жена?..»

Не рискнула. Затаилась.

Мама Роза отчего-то нахмурилась, вроде даже запнулась.

«Неужели догадалась?»

— Нехорошо мне, доча! — прохрипела мама Роза и, крепко ухватившись за спинку, плюхнулась на стул, скрипнувший от непосильной тяжести. — Сердце трепыхается. Неправильно стучит. Принеси ментолок.

Мама Роза припомнила — с чего вдруг? — как чуть не потеряла любимого мужа.

Ей вскружил голову сын соседа-часовщика, с которым Сёма по вечерам сражался в шахматы. Марк! Залюбленный, рыжий, веснушчатый пай-мальчик. Он готовился в университет. Но, она давно замечала, нахально пялился на нее. И что с того? Она замужем, ей за двадцать. Правда, говорили, что она хороша, как роза Сарона. А бесстыжий Марк себе на уме. Выждал момент, выследил, подкараулил, когда Сёма по делам уехал в Самару, и — шмыг! — в дом. И сразу под юбку. Закричать *помогите!* —

страшно. Схватить за шкурку и к родителям — скажут, соблазнила мальчишку, шикса. Не оправдаться. И она от страха уступила, понадеялась, уйдет — и дверь на засов. И — забыть. И ничего не было. Но он, ненасытный, и завтра, и послезавтра, подстерегал, как птицелов в засаде. От его рук и губ, порхавших мотыльками по ее раскрывающемуся жаркому телу, Роза таяла, как грошовый леденец. И — ужас, позор, грех! — ей это нравилось. Она ждала своего птицелова и хотела, чтобы Сёма как можно дольше не возвращался. Хотя Сёма и горяч, и крепок, но о нежности, наверное, не догадывался. А рыжий мишуген¹ — дуновение утреннего ветерка. И она у него — первая. Марк — со слезами на глазах — признался Розе, когда предложил вместе бежать в Петербург. Она в ответ рассмеялась, потом расплакалась: никогда не бывать ей такой счастливой и молодой. Тайна ее счастья и молодости — Марк.

Когда Сёма наконец-таки вернулся, она в первые пять минут честно призналась в измене. И тут начался жуткий хипеш. Сёма ревел, скрипел зубами, клокотал и плевался, как взорвавшийся вулкан. Рванулся было свернуть мальчишке шею, но она исхитрилась запереть дверь, а ключ спрятать за лифом платья. Сёма принялся гоняться за ней и орать что-то про святость супружества... Он был бы рад пристукнуть ее и вышвырнуть на улицу, этакую-разэтакую развратницу, лахудру, шиксу, навсегда его опозорившую. И в тот момент, когда он топал толстыми короткими ножищами и пол ходил ходуном, когда размахивал над головой выдавшим виды плетеным стулом, чтоб запустить его в метавшуюся зареванную Розу и не промазать, его хватил радикулит, да так, что сдвинуться с места без посторонней помощи Сёма не мог. Слезы и пот ручьями. Вот и стоял истуканом, рыча от боли и бессилия. И Розе, на цыпочках подобравшейся сбоку, оставалось только взвалить на себя беспомощную тушу грозного мужа, а Сёме — заткнуться и признать свою недееспособность. Роза раздела его и уложила в постель.

— Водички?

— Грушовки, чтоб тебя разорвало...

Сёма болел долго. Осунулся, но не жаловался, хотя боль совсем его вымотала. Он глушил ее водкой. Правая нога усохла и стала тонкой, как обструганная палка. Понадобились костыли, чтобы передвигаться, хотя бы по дому. Роза терпеливо ухаживала за мужем и горячо молила Всевышнего о прощении. Через полгода Сёма наконец пошел на поправку. И признался жене, что жить без нее не может ни дня, ни часа и весь воздух его жизни — Роза, благоуханный сад счастья. И она на радостях, что Господь ее услышал, а муж выздоровел и простил, бросилась целовать усохшую ногу, а потом и самого Сёму.

Вскоре — один за другим — у них родились четверо детей.

Соседский Марк уехал в Петербург один. В университет не поступил, но зато выгодно женился. Сёма никогда не подпускал даже намека об этом случае, и Роза забыла Марка, но сегодня — с чего вдруг? — когда заговорила про святость супружества...

— Вот ментолки, мамэлэ!

— Все хорошо, спасибо. Все у нас, как надо. Вот смотри, — и она развернула новенькую широкую простыню.

— Видишь дырку?

— Как же можно такое не видеть?

Когда твой муж возжелает войти к тебе, быстренько укройся простыней. Муж все поймет. Не бойся! Умные люди давно просветили его и про простыню, и про дырку. И не вздумай от страха потерять мозг, ты и так этой ночью кое-что потеряешь. И еще. Без одежды вы не должны любить друг друга. Так делают только гои. У евреев все по-другому.

¹ Мишуген (*идиш*) — сумасшедший, безумный.

Блестя серыми агатами влажных глаз, мама Роза вручила Рите заветную простыню, обняла, поцеловала и, отстранившись, взглянула на дочь с какой-то новой внутренней дистанции, которая больше разъединяла, чем соединяла их, но не нарушала родства.

У Риты ум за разум зашел от внезапных откровений: как она будет — и будет ли — объяснять все Арону?

— И последнее, — мама Роза пыхла и горячилась не меньше, чем закипающий на шишках самовар, на верхней губе взошли капельки пота, и нежнейший пушок, намекавший на усики, потемнел и полег, — лучше вам не спать в одной постели. Не в этом счастье, поверь! Мы с Сёмой и наши родители, и родители наших родителей, и Соломон со своей Лизочкой — вообрази себе — тоже так жили. Растолковать тебе это, цигалэ¹, мой материнский долг! И ты будешь говорить то же самое своей дочери накануне ее свадьбы. Так устроена жизнь. Но при всем моем богатом воображении, не возьму себе в толк — и Сёма тоже — что за жизнь вас ожидает в таком безбожии?

Риту опять сморило. Она погружалась во тьму, падала камнем в какой-то липкий бездонный морок, пропадала, но что-то вызывало ее к жизни, не отпускало, и она возвращалась, жадно заглатывая воздух. И сразу страшные вопросы: где дети? где Арон?

Исключенный из партии Арон обивал пороги разных организаций и учреждений, звонил друзьям и в конце концов был принят в контору плотнично-столярных работ Аэроклуба, строительством которого он совсем недавно руководил.

— Мой Арон — плотник? Или столяр? Да он даже хромой табуретки не сделает.

Вернувшись из больницы, Рита увидела настежь распахнутый шкаф с голыми плечиками для одежды. Там за длинными платьями, юбками и пальто любили прятаться дети. Рита не обнаружила ни английских шерстяных костюмов, ни твидового пальто Арона, ни своих лаковых туфель. Но когда не нашла белого песцового жакета, купленного во Флоренции, и даже — мелочь, конечно — новой пары фильдеперсовых чулок, стало ясно, что жить им не на что.

А как счастливо жилось в Милане, куда Арона командировали на три года в должности уполномоченного советского торгпредства. Порадел-таки, поспособствовал Алексей Иванович!

От слова *уполномоченный* Ритины губы разъезжались в блаженную улыбку, в глазах включались электролампочки.

В первый же день, бросив неразобранные кофры, они вышли на Соборную площадь подышать воздухом заграницы, присмотреться к европейской жизни, пофланировать, побродить по галерее Виктора Эммануила — по местному пассажи.

Было солнечно и по московским представлениям даже жарковато. Ветерок время от времени добавлял порцию прохлады, и этого было достаточно, чтобы теплолюбивые итальянцы вырядились в пиджаки, шерстяные джемперы и шарфы. Рита с Ароном и их дети в белых панамках, одетые легко, почти по-курортному, привлекали внимание. Так могли выглядеть только иностранцы, и скорей всего — русские.

Громадный, паривший в яркой лазури Домский собор поразил мгновенно и навсегда. Он ничем не напоминал русские соборы или церкви и даже Кремль, тоже построенные итальянцами. На Соборной площади — шагу не ступишь — столько голубей! Идешь по живому морю, покрытому переливчатой сизой рябью. Птичье море еще и гулило хором. Люди привычно кормили посланников святого духа хлебными крошками и крупой, а дети в восторге совершали набеги, разгоняли голубей, играя в победителей...

¹ Цигалэ (*идиш*) — козочка.

Оказалось, что выросший в скромной семье и вроде бы неизбалованный Арон обожал роскошную жизнь: дорогая одежда, дорогие рестораны с хорошей кухней, с вином и живой музыкой. В Милане бегали в Ла Скала, где дирижировал Артуро Тосканини, маленький скандальный человек, державший в трепете всю труппу. В доме было много музыки: Арон импровизировал на рояле, а когда научился играть на саксофоне, Рита аккомпанировала. Они разучивали новые джазовые пьесы, репетировали, пели, дурачились, и дети — вместе с ними.

— Где саксофон? — Рита оглядела комнату. — Уже продал.

Осталась только — на подоконнике, под вышитой салфеткой — пишмашинка «Ундервуд» с большой кареткой, на которой раньше, перепечатывая рукописи, подрабатывала Рита.

— На мои похороны бережет, не иначе.

Что подороже, Арон относил в ломбард, что попроще, толкал на рынке. Это был качественный импорт, присланный Соломоном из Харбина, где он давно и благополучно обжился вместе с Лизочкой и Лёвой. Иногда через «Торгсин» Соломон присылал валюту. Переписка с Харбином была вялой — два-три письма в год. Обычно отвечать на отцовские письма Арон поручал Рите, а сам ограничивался коротенькой припиской: скучаю, целую, любящий вас Арончик.

Кроме подробностей об институтских успехах Лёвы, Соломон сообщал, что у него много поклонников, и хотя он — кантор в Главной синагоге, но не отказывается от сольных выступлений, при первой же возможности концертирует — пел перед Шаляпиным и перед Вертинским, участвовал в благотворительных вечерах и даже выступал на торжественном приеме в советском консульстве по случаю празднования десятой годовщины революции.

«С годами, — писал Соломон в очередном письме с надеждой, что Рита сохранит его и не раз прочтает внукам Володе и Ниночке, встречу с которыми предвидеть невозможно, потому что под солнцем этого мира не найти общего для них места, не выкроить времени, — с годами часто отпускаю себя в мысленное путешествие по местам незабвенного своего детства: тишайшие Климовичи, милое местечко Прянички на берегу Остера, на взгорке дом моего бати Мойши и мамы Гиси, и кроме меня за столом еще двенадцать ртов. Полуголодные, босые, в какой-то рванине вместо одежды. Я всегда пел. Батя звал меня дармоедником и трутнем... Мама заступалась, сухариком баловала. А я, веселый или грустный, пасу козочек или гусей и пою себе, заливаюсь. Знал, что буду певцом. В 14 лет ушел в люди, как ушли до меня двое моих старших братьев. Добрался до Петербурга. Кем только там не работал?! И мечтал о консерватории. Стоял под ее светящимися окнами, ловил ухом арии, романсы, запоминал... Разве мог я не поступить в консерваторию? Конечно, поступил. Но через два года захотелось в Москву. И мы с Лизочкой — она мне во всем потакала — и с Арончиком перебрались в Москву, в Лефортову слободу... Но я и в Москве не мог успокоиться. Настырный, добился стажировки в Милане и получил диплом Московской консерватории со званием «свободный художник». И это не просто красивые слова, но — особое положение, статус. Прощай, черта оседлости! Свободный художник вместе с женой и детьми, мы — лица «почетного гражданства». Так-то, дражайшие мои деточки! Это мой подарок вам. На всю жизнь.

И тогда я, бедный еврейчик из Пряничек, дармоедник и трутень, поверил, что стал преподавателем пения и певцом. И за бесценный дар от Господа, за дивную радость пения и за труды мне не только аплодируют, но еще и деньги платят. Кстати, родненькие мои, скоро пришлю денежный перевод. Целую всех хором. Любящий вас папа и дедушка».

Рита пощупала нос — ледяной.

Чайку бы погорячей... или кофе. Надо же, вспомнила про кофе! А ведь почти не пила его, не понимала вкуса, всегда, по ее впечатлению, одинаково горького, без оттенков и послевкусия. Старалась полюбить кофе в Италии. Не получилось. Но аромат дразнил. Душу Рита отводила, потягивая крепкий горячий чай из блюдечка.

Когда они вернулись из Италии в Москву, Бюро райкома ВКПБ объявило коммунисту Златкину А.С. строгий выговор за связь с троцкистами и с родственниками, проживающими за границей, и за то, что отец — служитель еврейского культа.

До Москвы почему-то не дошла информация, что кантор Соломон Златкин, так и не отказавшийся от советского паспорта и не перешедший — ни за какие коврижки — на положение эмигранта, уволен из Главной синагоги Харбина по категорическому требованию ХЕДО — Харбинского еврейского духовного общества.

Передо мной ксерокопия ДЕЛА из Государственного архива Хабаровского края, полученного стараниями моей неравнодушной и деятельной невестки Наташи. Это неожиданное событие и документ, попавший в Хабаровск из архивов Харбина, потянув за собой цепочку других документов, сподвигли меня взяться за повесть.

На титуле ДЕЛА корявым почерком троечника выведено: Златкин Соломон Моисеевич. Буквы фамилии, как пьяные муравьи на тропе, рассыпались поодиночке — от прописной и далее все мельче и мельче. Имя над строкой держалось в состоянии критической невесомости. Отчество особенно разборчиво и назидательно крупно. Меня гипнотизировала эта малограмотная мазня. Руки дрожали.

До сих пор не приходилось держать в руках личное ДЕЛО. Фотокарточки, письма, паспорта, истории болезни, почетные грамоты, дипломы, да мало ли еще какие документы, но личное ДЕЛО — никогда. Тем более, ДЕЛО бывшего «родственника за границей», о котором надо было помалкивать, как десятки лет помалкивали мои дед и отец.

Видимо, кантор раздражал давно и многих в Харбине. Вот начало (орфография и пунктуация здесь и в других документах соответствуют оригиналу):

М.Г.

Разрешите обратить Ваше внимание на человека на которого действительно следует обратить внимание. Я хочу указать совподданного Кантора Главной Синагоги Г-на Златкина, который имеет трех сыновей в советском Союзе занимающие довольно высокие посты в Советском правительстве, причем старший его сын женат на сестре Кагановича. Сам он здесь под вывеской прокат пианино занимается ростовщиством, дает деньги на проценты и обирает несчастных жертв неимоверно высокими процентами.

Также следует отметить еще один факт. Почему-то он последнее время проживал за Сунгари и вдруг таинственно очутился в Бариме. Властям следовало бы обратить свое внимание на этого пресловутого кантора.

Эти сведения точные и сомневаться в их правдивости нечего.

Харбин 15-го августа 1936 г.

Доносец, однако. Самый натуральный. И анонимный. Демонстрация лояльности и бдительности. Кто писал: мужчина, женщина? Почему-то кажется, что женщина. С характерными литературными штампами, признаками якобы стиля, а на деле — дурновкусия: «неимоверно», «несчастные жертвы», «таинственно очутился». С пристрастием к сплетням: «старший его сын женат на сестре Кагановича»... Вот как аукнулось родство с Рыковым! А сколько нескрываемого антисемитизма! Если уж угораздило родиться евреем, то в «облик аморале» так и напрашиваются: душегуб, кровопийца, скряга, ростовщик похлеще папаши Гобсека. Но главная вина все-таки в том, что «совподданный».

Разве не подозрительно, что служил в синагоге и в то же время сдавал в прокат

пианино? В деньгах нуждался, что ли? Выходит, высокопоставленные сыновья ему не помогали?

Возможно, он помогал своим сыновьям в Москве?

Зачем-то мотался с одного берега Сунгари на другой?

Уж не шпион ли «пресловутый кантор», проживавший по адресу: Пекарная, 77 (эти сведения с 4-й страницы)?

Окопался в Харбине, в одном из крупнейших центров русской эмиграции, стал своим, и — есть где разгуляться — вперед, дерзай во славу СССР. Как в классическом детективе: «У вас продается славянский шкаф?»

«Семья Цаповецких живет на квартире у Златкина, подд. СССР, говорят, что они живут у него много лет и платят сравнительно дешево за комнату... Златкин — кантор синагоги»...

Эти сведения из опроса в начале июня 1942 года.

Уже в первом доносе отмечено: «совподданный». В эмигрантской среде — вызывающий факт. Несомненно, кантору не только намекали и предлагали изменить статус, но и требовали. В конце концов уволили, о чем свидетельствует донос некоего г-на Флейшмана М. М. в октябре 1942 года:

«Около 2-х лет тому назад уволен за то, что не хотел переходить в эмигрантское состояние. В настоящее время Златкин дает уроки пения».

Вот так. Жестко и однозначно.

Иначе скандал: советский кантор в Главной синагоге Харбина. Прямо-таки в сердце иудаизма.

Последняя страница начиналась с заголовка: «Газета “Заря” от 17 августа 1943 года рекламирует советского подданного Златкина С. М.».

Далее приведена заметка «Советы молодым певцам»:

«Перед нами лежит проспект, выпущенный преподавателем пения, свободным художником Московской консерватории С.М.Златкиным.

Этот проспект — плод почти тридцатилетних наблюдений педагога над учениками и их работой. В нем имеется много полезных советов, как для начинающих певцов, так и артистов, и педагогов.

Вместе с тем этот проспект является и программой обучения певцов самим С.М.Златкиным, программой хорошо проверенной на опыте и давшей прекрасные результаты.

Известно, что С.М.ЗЛАТКИН обучался в Петербургской консерватории по классу пения у профессора С.И.Гибель, затем перевелся в Московскую консерваторию, которую и окончил в 1909 году по классу В.М. Зарудной с отличием и званием свободного художника.

Вначале он преподавал в Самаре, затем был преподавателем в Азербайджанской государственной консерватории и выступал как певец в камерных вечерах.

Сейчас он работает, как педагог, в Харбине имея ряд учеников, некоторые из которых обещают в будущем стать хорошими певцами».

В качестве комментария к заметке дан машинописный абзац от редакции:

ЗЛАТКИН С. М. является советским подданным и иногда устраивает музыкальные постановки в консульстве СССР. Одно время он был кантором синагоги, но из-за подданства его убрало ХЕДО и теперь он занимается преподаванием пения. Причем ему предлагали перейти на эмигрантское положение, но он категорически отказался. В СССР у него имеются сыновья, которые, говорят, занимают видные посты.

17.VIII — 43 г.»

Кстати, о сыновьях.

Если верить доносам, старший, Арон, был женат якобы на Розе Каганович.

Интернет трубит на всех сайтах, что Роза, она же Рахиль, легендарная сестра Наркома путей сообщения Лазаря Кагановича, последняя любовница Сталина и даже его тайная жена, сумевшая отравить вождя смертельной дозой варфарины, от которого у него развилось внутренне кровоизлияние.

О Розе Каганович или шумели, или глухо молчали, делая вид, что она — только мистификация и не существовала ни-ког-да...

Между тем, настоящая и единственная сестра Лазаря Кагановича — Рахиль, она же Роза, будучи матерью шестерых детей, неприметно жила с семьей в провинциальном тишайшем Чернобыле и умерла в 1926-м году.

Но у Кагановича была еще и любимая племянница — библейская красавица и умница, тоже Рахиль, по-домашнему — Роза. Когда застрелилась Надежда Аллилуева, Розе было семнадцать. А Сталину нравились юные девушки. Впрочем, кому ж они не нравятся? Он и с Аллилуевой познакомился, когда той едва исполнилось шестнадцать лет.

Политический миф о роковой Розе Каганович с сюжетом почти шекспировского накала распространился в начале 1930-х годов с фантастической силой. И не только в пределах СССР. Главным образом, за рубежом, в эмигрантских кругах Европы и Китая, где его толковали и смаковали взахлеб.

Возможно, слух об Ароне, женатом якобы на Розе Каганович, привлек пристрастное внимание тайной полиции Харбина?

Нина и Рита сидели за круглым столом под абажуром, похожим на апельсин. Рита не отрывала глаз от сестры, сильно сдавшей за последние полгода: серые глинистые щеки, трясущаяся рука и вместо блестящих карих глаз — две погасшие бездны. А волосы...

— Ты неплохо выглядишь.

— Назло врагам, — огрызнулась Нина, достала из авоськи пачку «Казбека» и отошла к окну, подальше от Риты, — три затяжки, не больше!

Рита испугалась, что ее вырвет от дыма. Может, так бы и случилось, но отвлекли Нинины зубы, запачканные помадой, как кровавой слюной.

— Перед твоим приходом приснился волшебный сон про Хозяйку Жигулей.

— Волшебный? Чудно. Я сутками не сплю. С того дня, как взяли Алексея Иваныча. Рассказать? Кроме тебя, некому. А выговориться хочется... Тогда позвонил Поскрёбышев, крапивное семя, и сказал, что совещание, машина у подъезда. А я уже в инсульте. Утром увидела в «Правде», что Орджоникидзе умер, и брякнулась без сознания. Алексей Иваныч с Дусей перетащили меня на диван, вызвали врача.

— Отчего умер Орджоникидзе?

— Якобы инфаркт. Но откуда? Ему только пятьдесят. Здоровый, крепкий мужик. Не мог он так умереть, понимаешь? Кто-то очень сильно помог. Орджоникидзе, хоть и друг Сталина, но он — последний, кто не брезговал и не боялся дружить с нами. Рыков-то, считай, с самого начала, изгой в правительстве. *Своим* никогда не был. Еще при Ильиче позволял себе выпады. Да в какие моменты!? Выступил против Апрельских тезисов Ленина, — Нина, начиная счет, загнула мизинец правой руки. — Проголосовал за коалиционное правительство с эсерами и меньшевиками. Мечтатель, он вообще видел мир без никаких партийцев. Протестовал против красного террора и против подрастерстки. Потом против Сталина, — Нина загнула все пять пальцев и, потрясая кулаком, продолжала: — потом на всю страну объявил, что партия никогда и ни перед кем, даже перед Сталиным, на колени не станет. Думаешь, Сталин забыл? И это всего лишь цветочки. Рыков выступил против свертывания НЭПа, против грабительской индустриализации и против, как он окрестил, «крепостнической» коллективизации.

Сталину в лицо бросил: «Ваша политика экономикой и не пахнет!» И опять публично. Сталин затаился. И — знак: не позвал нас на свой юбилей. Никому не прощал.

— Нин, помнишь, в годовщину смерти Маяковского, в Большом? Читали поэму «Ленин». Сталин — в ложе, один. И слезы по щекам.

— Крокодиловы слезы... Всех бы сожрал. Крупская в гостях у Орджоникидзе сказала, если б Ильич дожил, он и его бы посадил. Злопамятный. Вот Ленин недолго держал обиду на Рыкова. И в разгар войны назначил Чусоснабармом¹ — вообще-то расстрельная должность. Рыков месяцами мотался по стране, но солдаты и матросы были мало-мальски сыты и одеты. Он очень многих раздражал. И знаешь, чем? Не носил ни гимнастерки, ни френча. Всегда костюм с жилеткой, белая накрахмаленная рубашка, галстук. А прическа?

— Да, как у писателя или актера.

— Ты помнишь, как он ел? Ножом и вилкой, беззвучно, пока другие жрали, чавкали и сёрбали. Откуда что взялось? Вроде бы сирота, самоучка, заика, но — манеры, и объясняется на трех языках. Таков Рыков.

Нина налегла на широкий подоконник и, гремя ржавыми шпингалетами, распахнула окно. В комнату ворвалось теплое московское лето, которое, казалось, ждет не дожидается, когда его наконец заметят. Свежий воздух с запахом цветущих лип обещал если не излечить, то хотя бы обогреть и ободрить чахлые побеги городских человеческих жизней.

— Не прошу себе, что не проводила и мы не попрощались. Не дотумкала, что путь в один конец. В полночь 27 февраля с десятков энкавэдэшников перевернули всю квартиру. И уже 2 марта — читала, наверное? — в Доме Союзов процесс по делу Правотроцкистского блока. 21 человек. Рыков, рассказывали, — в чем душа держится, худой, раздавленный. И отказался от защитника. Ужасно! Вот результат его тактики «выжидательного бездействия». Во всем, представляешь, во всем признал себя виновным. Как надо добить человека?! Во что превратить?.. В тот же день арестовали Наташу. Нашли врага революции, суки! Ей и восемнадцати нет... Теперь спроси: кто крайний? Я — крайняя, печенкой чую. Скоро поволокут на Лубянку. Пока лежала с инсультом, они выжидали. Теперь я на ногах. Хоть с тобой простимся.

— Не убивайся, — стараясь быть услышанной, прошептала через силу Рита, — всё образуется.

Нина примостилась на подоконнике, сдвинув в угол горшки с засохшими фиалками. Она глубоко затянулась и со вкусом выдохнула на улицу.

— Ты про Хозяйку Жигулей, а я тебе про сон, который Алексей Иванович видел за несколько дней до снятия с Предсовнаркома. Еще в Нарыме мы при керосиновой лампе читали вслух «Божественную комедию». Оба в потрясении. Рыков читал потом по-итальянски со словарем. Любил сравнивать разные переводы. А во Флоренции, перед памятником Данте почти не дышал от благоговения. Кто из них был больше памятником, убей, не знаю... И вот, снится: он продирается на ощупь, протискивается, сдирая кожу, — очень узко — по каким-то катакомбам, по каменному лабиринту, по винтовой лестнице. Все глубже, все круче. И вдруг — хват! — липкая мясистая лапа. И за горло. Дышать трудно, но краем глаза он видит расшлепанную ступню, а на ней — шесть пальцев. И ему прямо в ухо кричат, чтоб он, глухой, расслышал: «Забудь, что я — Шестипалый. Здесь у меня другой партийный псевдоним — Вергилий. Только я знаю, где твое место. И, будь уверен, провожу. Председатель Совнаркома нужен стране совсем не для украшения...»

Нина, железная Нина, которая и в ум не брала, и сердцем не разумела, как это — плакать, вдруг часто-часто заморгала. Такой сестру Рита не видела. Она знала

¹ Чусоснабарм — Чрезвычайный уполномоченный Совета Рабочей и Крестьянской Обороны по снабжению Красной Армии и Флота.

принципиальную большевичку, строгую начальницу, соблюдавшую субординацию и готовую служить пролетарской революции до смертного часа. А тут...

Рита потянулась за ридикюлем и вынула исписанную красным карандашом и сложенную «галочкой» страничку из школьной тетради.

— Глянь, Володенька меня поздравил.

Нина сползла с подоконника, отыскала в копне пышных полуседых волос очки и развернула листок: «Единственная моя мамочка! Сегодня 8 марта. Желаю тебе красивую музыку, новую кровать, чтоб ты поскорей выздоровела, и снов про море каждую ночь! Еще — вкусных спагетти! Твой сын и друг Владимир».

— Трогательно. Но какие странные пожелания...

— А в чем странность? Не пожелал успехов в работе? Так я не работаю. Здоровья? Его нет и не будет. Даже ребенку ясно. Помнишь, наша мама Роза по любому поводу приговаривала: при всем моем богатом воображении...

— И что? У нее-таки было воображение. А за Володи́й надо понаблюдать.

— Дети у Лены. Нелегко ей. И непривычно: и работа, и дети. Вроде бы соседка за ними присматривает.

Жар в отекающей руке распространился до кисти, захватывая пальцы. Тошнота наступала, отвоевывая час за часом остатки того, что было жизнью. Будущего почти не оставалось, настоящим жить не по силам. И спешить не надо... Куда спешить? Рита улыбнулась: наконец они с Ниной вместе. Счастье!

— Ниночка, сообрази чайку. Или я умру от жажды.

Чай с баранками и зелеными слипшимися «подушечками» сестры пили с каким-то особым наслаждением.

— Смешно он пожелал *вкусные спагетти*. Это же пасташутта!

Когда мы с Рыковым в 24-м уехали на лечение в Италию, нашим переводчиком и гидом был, помнишь, Борис Иофан. Свой в доску. Член Итальянской компартии. Друг Антонио Грамши и Пальмиро Тольятти. Настоящий *compagna*¹. Общались взахлеб. О политике, еще больше о судьбе СССР. Гуляли, смотрели виллы, музеи, Ватикан. Много бражничали. Рыков на балалайке, как тогда в Саратове, завел неаполитанские песни, потом — русские, потом плясал вприсядку. После инфаркта-то! В общем, почти породнились с Иофаном и его женой Ольгой. Она — утопистка, поклонница Кампанеллы, ей бы жить в «Городе Солнца», хотя по отцу — итальянская герцогиня, по матери — русская княжна. Оба большие альтруисты. Когда прочитали в газетах про голод в Поволжье, продали свою богатейшую римскую библиотеку и деньги послали в Россию. Борис без Ольги шагу не ступит. И Ольга любила Бориса так, как любят в романах. Так вот Борис — мы его прозвали *Барокко* — приохотил нас к спагетти с тертым пармезаном. По-итальянски, *пасташутта*. И сейчас слюнки текут. Знаешь, Идка, всё это было — счастье.

Мы четыре месяца в Риме — варвары, азиаты «с раскосыми и жадными очами». Мы — вчетвером, влюбленные друг в друга, казалось, навсегда. И — пасташутта. Это было счастье!

— Прости, я прилягу. — Рита, накрывшись пледом, повернулась на левый бок, чтобы видеть сестру. — А что потом?

— Потом мы в Москве часто варили макароны. Почему вместо *спагетти* у нас говорят *макароны*? Пошехонский сыр на крупной терке. Быстро, вкусно, но — совсем не пасташутта. И близко не было. Твой Володенька, когда писал о *вкусных спагетти*, пожелал тебе счастья, Идка.

Рита дремала. От мелких ее вдохов-выдохов плед не поднимался и не опадал. Щеки пылали, черная челка прилипла к потному лбу. Она лежала умиротворенная,

¹ *Compagna (итал.)* — товарищ.

помолодевшая и очень красивая. Нина наклонилась над ней как врач, отмечая понятные ей изменения.

— Что разглядываешь, Ниночка? Да еще очки нацепила. Я ведь не сплю. Я слушаю. Ты очень интересно рассказывала, давай дальше!

— Дальше Рыков — и это целиком его заслуга — уговорил Иофана и Ольгу вернуться в Советскую Россию. Обещал грандиозные заказы государственного масштаба. Не какие-то буржуазные вилочки на побережье... Современный Город Солнца, социалистическая Москва достойна чего-то экстраординарного. И нужен не банальный американский небоскреб, а — дом нового типа для граждан государства нового типа, для членов правительства и старых большевиков, для героев труда, военачальников, летчиков и, конечно, для рядовых ударников производства. Первый дом Советов! Рыков мечтал об этом.

— Вовремя Иофан построил. Где б вы куковали, когда вас из Кремля выперли?

— Да, почти полгода... Чуть забудусь, ноги сами идут в Кремль. Рыков не взял оттуда ни одной книги, бросил всю свою огромную библиотеку с экслибрисами. И рояль бросил. Наташа — в него. Когда пришли энкаведешники, выкинула в мусоропровод все столовые приборы с вензелями «А.И.Р». И грохнула об пол, вдребезги, чтоб не надругались, гипсовый бюст Рыкова с письменного стола. С характером девочка. А Кремль, конечно... Почти десять лет жизни. И какой жизни?!

— Зато здесь все удобства. Где еще в Москве газовые плиты, горячая вода, мусоропровод? А лифты? Про прочие вавилоны умолчу.

— О чем ты, Идка? Все самое необходимое: магазины, почта, сберкасса, столовая, прачечная, медпункт. Да, сегодня наш дом — единственный. Больше 500 квартир. Рыков мечтал о фасаде, покрытом красной гранитной крошкой, чтоб светился от солнечных лучей на рассвете и на закате. О нашем доме книги напишу! Такие дома с лифтами и удобствами станут массовыми. И до Саратова дойдут. Хватит разрушать, пора строить.

Есть ошеломительные проекты. Один Дворец Советов чего стоит? Думаешь, просто дворец? Стены и крыша? Это же проект мечты, проект счастья. Он будет выше, чем нью-йоркский Эмпайр-стейт-билдинг, больше четырехсот метров. А на крыше 100-метровая статуя Ленина. В голове — зал съездов, в указательном пальце — кинозал или библиотека. Котлован на Пречистенке уже вырыт. По ночам и дворец, и статуя будут подсвечиваться сотнями прожекторов. Правда, проект окончательно не утвержден, но я верю. Народ еще оценит Москву Бориса Иофана! Как оценили в нашем доме кинотеатр «Ударник» и клуб имени Рыкова. Все у нас будет, Идэлэ, дай только срок...

— За сроком не заржавеет, — Рите стало совсем мутно и, может, поэтому раздражала восторженность Нины, будто не у нее арестованы муж и дочь, не ее спадают со дня на день — мало не покажется ни Рыкову, ни Наташеньке, ни нашему Лёве. Зачем он только приехал?

— Лёва все еще под следствием?

— Скоро год. Арон регулярно носит передачи. Теперь в Бутырку. Лёва там с декабря. Жив, значит.

— Конечно, жив. Вспомни, какие у него большие уши. Приznak долголетия. Но как это было?

— Как у всех: ночь, звонок, обыск. У Лёвы на сберкнижке 4000 рублей. Откуда такие большие деньги? Отец прислал. По почте? Нет. Через знакомых? Да. Кто, когда и сколько привез? Имена, фамилии. В портфеле нашли еще 1000 рублей. Кто передал? Не помню. С какой целью? Не помню. Объясните запись вашей рукой в блокноте: *500 поцелуев, 1000 поцелуев...* Это шифр? А поцелуи — деньги? За какие услуги? Что за бухгалтерия? И всё. И достаточно.

— А правда, что за поцелуи?

— У Лёвы появилась девушка. Нэлли. Пианистка, консерваторка. Из того же

харбинского круга, но приехала на год раньше. Жила на Тверском, у своей тетки. Давала уроки музыки, готовила к поступлению в консерваторию. Лёва успел нас познакомить. Дети сразу на ней повисли. Хорошенькая пышечка, веселая, живая. У них все серьезно. У Лёвы всегда все очень серьезно. Они откладывали деньги на свадьбу. Накануне Лёва спросил: можно отдать тебе деньги на хранение? Я кивнула. Но он заигрался с детьми, потом легли спать, потом — звонок, пришли! Но Лёва про свадьбу и про Нэлли — ни слова.

— Надо было в партию вступать.

— Кого спасла ваша партия? Рыкова? Наташу? Арона? Может, тебя спасет? Ссылки и тюрьмы вам зачтутся? — вдруг набросилась Рита.

Нина вскинула на сестру глаза — две пугающие черные бездны — но та не осеклась.

— Ты такая умница, Нина, а мозги-таки всмятку.

— Хочешь всмятку, хочешь вкрутую, но я — без иллюзий. Рыков за несколько дней до ареста перестал есть. И курить бросил. Только и ждал. Ходил по квартире, как по камере, руки за спину, и бубнил: он создал свое государство в государстве, свою партию в партии, где все врут, расстилаются, сапоги лижут от страха... иначе — в ссылку, в тюрьму, к стенке — как старых большевиков... и меня хотят в каталажку, укатать хотят. Молодец Томский, вовремя застрелился, а я — слабак, конченный человек. Да, ошибался. Не раз. Как и все мы. Но признаться в том, чего не было, оболгать, сделать из себя подлеца, мерзавца... не позволю. Помню каждое его слово. Странно, Идка, что меня до сих пор не загребли. Спасибо инсульту. Зачем им парализованная старуха?

— Нина, Соломон не в курсе, что Арон исключен из партии, а Лёва арестован. Письмо отправлять не решаюсь. Увидят, что Харбин, вскроют.

— И не вздумай! Это ж донос на себя и на нас.

— Жалко стариков.

— Лучше себя пожалей, Арона, детей ваших, Лёву, Рыкова, мою Наташку и даже меня, наконец, пожалей! Смотреть на тебя — слезы...

— Слезы? Ты ж у нас из железных большевиков.

— Да, из железных. И если ты до сих пор не поняла, объясняю: есть большевики — железные, а есть — железобетонные. И кабы эти железобетонные не придавили нас, железных...

Соседка Клава Тырпеткина, тараша круглые желтые глаза, просунула в дверь куриную голову на длинной вертлявой шее.

Рита знала, у соседей сезонное обострение хронической бдительности. Особенно маялась Клава Тырпеткина из девятиметровки. Она даже на ночь не прикрывала двери своей комнатенки, которая как раз напротив тумбочки с телефоном. Бедную душу Тырпеткиной терзала неумная страсть разоблачений.

— Арон все еще в отпуске?! Жирует! Встречи назначает, намеки строит, шифруется. Слышали? Нет? А я собственными ушами. И что подозрительно, в начале разговора обязательно вернет словцо не по-русски. Одно-единственное. Пароль? Что еще!? Арбат — правительственный маршрут. У Арона бинокль. Голову даю на отрез, он систематически наблюдает через этот бинокль из окна за правительственными машинами и продает сведения иностранцам. Иначе откуда денежки? Папочкины тряпочки да бареточки уже тью-тью! На днях орал в трубку — ничего не боится, контра: «Люди ужасно мучаются! Житья нет». Во как! Житья ему, видишь ли, не хватает... а сам то в Кремль, то на дачу, то в заграницу. Буржуй зажавшийся!

Клава Тырпеткина, перетаптываясь у двери, поинтересовалась вполне предметно:

— Про что тары-бары, сеструньки? Секреты? Государственные дела?

— Да вот чаёвничаем.

— Известно, забот полон рот, а перекусить нечем. — Клава зыркнула на Нину, подробно обшарила глазами стол с ворохом таблеток, с градусником и грелкой, с батоном белого, баранками, «подушечками» и наткнулась на большие чашки — кобальт с золотом — со свежим красноватым чаем. — Телефон на разрыв, не слышно, что ль? Я к вам, товарищи-барыньки, ни в домработницы, ни в секретарки не нанималась. Вам, уважаемая Нина Семеновна — могли б культурно предложить бараночку — обзвонились.

— Что ж вы молчали, Клава?

— Из своей деликатности. Слышу, разговор серьезный, перебивать неловко. Язык мой — враг мой. Прежде ума рыщет, беды ищет.

Нина побежала по длинному тёмному коридору, заставленному сломанными стульями, пыльными комодами, колясками, лыжами, на стенах — цинковые корыта, тазы, одежда, и выбросить жалко, и пользоваться невозможно.

— Да, Дусечка! У Иды. По какому вопросу? Давно? Чаем их напои. Выхожу. Скажи, через полчаса буду. И не рыдай, возьми себя в руки!

Клава, подбоченься одной рукой, другой держа обслонявленную баранку, причмокивала за спиной.

— Звончек-то не пустяшный, Нина Семёновна? Засиделись у сеструньки. Она, ей-богу, на ладан дышит.

Нина на тяжелых ногах брела обратно в темноте коридора. Или это в глазах так потемнело?

— Идэлэ, родная, Дуся сказала, меня ждут.

— Кто ждет?

— Ждут — и точка. Давай прощаться.

Рита, опираясь здоровой рукой, осторожно сползла с постели. Слезы чуть было не хлынули, как во сне про Хозяйку Жигулей, но она тут же собрала себя в узел.

— Ты — самая родная. Ты — мой идеал, поэтому и дочка — Нина, Ниночка... Ты со мной навсегда.

— Береги себя. Поддержи Арона. Сохраните детей. Хорошо бы вам сбежать, затеряться, пропасть... В общем, *вкусных спагетти!* Пасташутта!

Обнявшись, сестры замерли ровно на вздох. Потом Нина поправила съехавшую на бок полуседую копну и поставила кресло на место.

— Осим хаим¹, как говорила наша мамэлэ Роза.

— Осим хаим, Нина!

Как только Нина Семёновна Рыкова переступила порог своей квартиры № 18 в Первом доме Советов на Берсеневке, ей предъявили ордер на арест.

Это было 7 июля 1937 года.

Через месяц умерла Рита.

Детям — Володе и Ниночке, по-прежнему жившим у Лены в Лубянском проезде, — ничего не сказали.

И Арон никому не говорил, что младшего брата Лёвы, инженера-экспериментатора, мечтавшего быть в авангарде советской науки и строить коммунизм, больше нет. Уже полгода. Арон не мог сказать об этом даже Рыкову, который, лишившись партбилета, постов, влияния и друзей, был отправлен тогда в почетную отставку на должность Наркома почты и телеграфа — Наркомпочтель и называл себя не иначе как «почтмейстер».

Когда под Новый год в Бутырке отказались принять очередную передачу для подследственного Л.С. Златкина, Арон понял: Лёвы нет.

Еще до приезда брата он предчувствовал страшную угрозу. Но Лёва забросал

¹ Осим хаим (*иврит*) — наслаждайтесь жизнью.

письмами: «Умоляю, дорогой братишка Арончик, помоги, посодействуй возвращению в СССР, в Москву. Это моя мечта! Я — умный и работающий. У меня диплом с отличием Харбинского политеха. Почти год состоял в комсомоле и в Союзе студентов — граждан СССР. Моя цель: строить новую жизнь и быть в авангарде науки. Работу с моим дипломом, уверен, найду и обузой тебе не стану...»

Когда романтик и энтузиаст Лёва приехал в Москву, погода стояла удивительная: то ли осень, то ли весна. Листьев нет, трава зеленая, птицы выступали смешанным хором под небом такой синевы, что счастья, казалось, будет через край.

На работу устроился быстро — конструктор в научно-исследовательском электротехническом институте. Он был из породы окрылённых: брови взлет, вихрастый, походка вприпрыжку, еще шаг — и взлетит.

К его приезду комнату разгородили тяжелой бархатной шторой. Ниночка и Володя полюбили Лёву сразу: молодой, заводной, смешливый. И в те редкие вечера, когда он успевал к семейному ужину, запрягали дядю поиграть в лошадку или просили поговорить по-китайски и тогда передразнивали его, растягивали уголки глаз, ёрничали и ухаживались до икоты.

Арон, не зажигая света, лежал в пиджаке на диване и переводил взгляд с одного на другое, ни на чем долго не задерживаясь: стопка чемоданов, куча нестиранного постельного белья, связки книг на полу, лекарства, ноты, разбросанная женская одежда. Такой обжитой мир лишен главного — жилого духа. Он и себя принимал как нечто неодушевленное: перегоревшая настольная лампа или колченогий стол. Просторная комната с открыточным видом на Арбатскую площадь когда-то казалась пределом мечтаний: центр Москвы, рукой подать до Кремля... Молодость, счастье! В Саратове, в Москве, в Милане — сколько было счастья!

— Классово-чуждый элемент, — четко артикулируя, он погрозил кому-то кулаком. Встал, накинул на спинку стула пиджак, расправил воротник, лацканы, борта и сел напротив. Один на один с собой будто на очной ставке.

«Пора, контра, колись! Ты давно на мушке. Считаю, с Милана».

...Полжизни в партии. Жил, дышал, рос, как в утробе матери. Человеком стал только в партии, только при советской власти. Партия — мои университеты, а партбилет — диплом. И я при этом классово-чуждый элемент? Я — враг народа, япона мама? Да, совершал ошибки, но — не преступления. Ответственности с себя не снимаю. Признался, повинулся. Если понадобится, повторю прилюдно, хоть где — на бюро, на открытом партсобрании, в газете, на Красной площади... Готов держать ответ перед товарищами. Всегда готов! — и он по-пионерски отсалютовал. — Главные ошибки: политическая близорукость и доверчивость. Милан, говорите?

Зимой 28-го в Милан приехала семья Кузьмичёвых: Валерий Павлович — на лечение, его жена Тамара Ивановна — делопроизводитель в Торгпредстве. Кузьмичёвы оказались компанейскими ребятами: вечеринки, пикники. Мы сдружились. О чем говорили? Конечно, о политике, о будущем страны, о коммунизме. Валерий Павлович заводился с полоборота, особенно после граппы: то недоволен советской властью, то сомневается в линии партии, то сотрудники Торгпредства — все чекисты и параноики, куда не плюнь, все — стукачи, япона мама. Дальше больше. Стал превозносить Троцкого как гения и мирового революционного вождя номер один: вот если б Троцкий стоял у руля, был бы другой социализм и другой коммунизм. Я слушал вполуха и в ум не брал — пустобрёх, балабол, трепло. А примерно так через пару месяцев он — раз! — и промеж глаз: самое время тебе, дорогой товарищ Златкин, организовать в Торгпредстве кружок по идеологическому просвещению в противовес нашей прогнившей и обюрократившейся партячке. Ты коллективист, умеешь убеждать — прирожденный пропагандист. К тому же, не забывай, ты — еврей, и Троцкий — еврей...

Но я его сразу отбрил: провокация. Я только с Лениным. И только за Ленина. И больше Кузьмичев даже не заикался, не произносил при мне имя Троцкого. Слово коммуниста!

А когда в 29-м я был в короткой командировке в Москве, меня вызвали. И не куда-нибудь, в ЦК. И вытащили из-под сукна донос по поводу «либерального отношения к злостному троцкисту Кузьмичёву, который предлагал активно распространять идеи Троцкого среди сотрудников Торгпредства, о чем товарищ Златкин *не довел* до сведения парторганизации, где состоял на учете».

Короче, статья за *недоносительство*. Но меня отпустили. Пожурили, но отпустили. И я, чистенький, как от мамы, поспешил в Милан.

Неужели имя Рыкова было охранной грамотой?

Мы с семьей окончательно вернулись в Москву в мае 30-го года — в Александровском саду буйствовала сирень, а в стране в самом разгаре компания против «невозвращенцев». И я, как кур в ошип, попал под чистку партячеек в загранучреждениях «от социально-чуждых лиц, примазавшихся, разложившихся и поддерживающих связь с антисоветскими элементами».

Шум, скандалы, разоблачения. Лавина «невозвращенцев». Сколько трагедий! Зачеркнутая жизнь или молодость, разбитые семьи, оборвавшиеся карьеры, преданные дружбы. Люди даже в короткую командировку боялись ехать в Москву. Под любым предлогом или молча. Некоторые внезапно и бесследно пропадали.

Вот, например, такой случай: у меня был знакомый кореец Шигай Ёнгван, переводчик, четыре языка. Твердый ленинец. Тоже вернулся в Москву из Италии, но двумя годами раньше. Им активно заинтересовались на Лубянке, пустили в разработку. А Шигай вдруг возьми да умри. Скоропостижно. Лично я на похоронах не был, но знаю людей, которые провожали его на Ваганьково.

В мае 29-го мы выехали с экскурсией от Торгпредства на Сицилию: море, Этна с дымком, маленькие городки, рыбацкие деревни. Мы с Ритой отпросились у организатора на обед. Выбрали ресторанчик, сделали заказ, ждем, а за спиной кто-то ужасно чавкает, я обернулся и — ба, глазам своим не верю! — за соседним столиком сидит себе... Шигай. У меня аж мурашки по телу. Я толкнул Риту: глянь. Она чуть не вскрикнула, успела рот рукой зажать. С ума сойти, Шигай! Да где? На Сицилии, в Таормине. Жив-здоров, вальяжный такой. Сидит с женой, с бывшей, значит, неутешной вдовой, наворачивает лазанью, вылизывает тарелку, запивает кьянти.

— Scusa¹, товарищ Шигай, разве ты не на Ваганькове?

Он завизжал по-пороссячи, а жена — еще громче и по-английски: *на помощь, грабят!* На Сицилии с английским никак, и полицейских днем с огнем не найти, но людям любопытно. Я вытащил его из-за стола и зажал в углу:

— Это ж ты, Шигай! И я тебя узнал, и Рита. Мы чертовски рады, что ты жив, товарищ!

Он дрожмя дрожит, ноздри раздувает, глаза из орбит, как сырые яйца, вот-вот вытекут, из-под брючины струйка пахучая, и он уж не шумит и лишь губами:

— Моя жизнь в твоих руках, Арон. Не погуби. По старой дружбе. Ты ж порядочный человек! Умоляю, не выдавай. Они всех поставят к стенке: и меня, и тебя. Забудь обо мне. Я — умер.

— Да не дрейфь. Все понимаю. Будь уверен.

Шигай рассказал, что НКВД подозревал его в промышленном шпионаже в пользу Японии. Пахло арестом. В это время умер его дальний родственник и однофамилец. Тут-то жену Шигая и осенило: срочно подменить документы, будто умер Шигай Ёнгван, а по документам покойника (все корейцы для русских на одно лицо) немедленно уехать и затеряться в Средней Азии, оттуда в Китай. Через

¹ Scusa (*итал.*) — простите.

полгода — Тунис, Бизерта, потом морем — на Сицилию. Здесь он в Палермо преподает английский, а в Таормину приехали отдохнуть.

Наши люди не хотели возвращаться в СССР. И какие люди?! Золотой запас партии: матерые подпольщики, старые большевики, пламенные коммунисты, дипломаты, ученые, военные. Какие имена! Чего только стоит политработник Красной Армии, сын наркома Семашко? Остался в Америке.

А я, дисциплинированный примерный идиот, вернулся. Что бы сказал мой папа? А сказал бы: *кому ты сделал лучше, шлимазл*¹?

И это *лучше* упало маслом вниз: второй строгач «за сокрытие принадлежности к троцкистской организации» и за связь с родственниками, проживающими за границей.

Всё сошлось в одной точке. Намертво связалось в проклятом 34-м: тогда же Ритина первая операция, тогда же «почтмейстер» запил горькую, тогда же приехал Лёва с письмом, где отец умолял ускорить оформление визы на возвращение в СССР его, *гражданина Златкина Соломона Моисеевича, 1879 г. р., учитель пения, свободного художника, и его супруге, гражданке Златкиной Елизавете Самойловне, 1878 г. р., домохозяйке, так как они оба в преклонных летах и нуждаются в постоянной заботе и опеке, двое их сыновей работают в Москве и проживают по адресу: Арбатская площадь, д. 1/3, кв. 25, где имеется достаточная для совместного проживания жилплощадь в коммунальной квартире.*

Отцу мы не ответили. Переписка оборвалась.

И на майском Бюро райкома я удостоился уже строгача с предупреждением «за отрыв от партийно-хозяйственной жизни и за поручение беспартийному сделать доклад об убийстве Кирова».

Сразу сняли с руководящей должности. А я — не хухры-мухры — был начальником строительства аэроклуба на Ходынке.

В 35-м исключен из партии. *Finita la commedia*².

«Чуждый элемент, вредитель, сволочь, гад, вон из партии!» — Арон сорвал со стула пиджак, скрутил и запустил им в дальний угол комнаты, словно в кого-то целился.

Захотелось прилечь, но только не на кровать. Там умерла Рита, любимая жена, единственная его женщина. Еще не выветрились запахи лекарств и ее изболевшегося тела, но подушка пахла «Красной Москвой».

Спать на диване пытка: полусогнутые ноги, принужденные упираться в боковой валик, быстро уставали, шея — на другом валике — ныла и немела. Тогда он садился на диван, выкладывал на стул босые ступни с длинными волосатыми пальцами и засыпал. Но ненадолго, потому что в голове кипело густое варево из отдельных слов, мыслей, оправданий, вопросов.

— Неужели родство и родственные отношения настолько серьезный повод для обвинения в предательстве или других преступлениях, которые, возможно, совершили лица, связанные родственными узами, допустим, со мной? Даже если я ничего *не подозревал*? Даже если ни в чем *не участвовал*? Сколько раз я это повторял?! У них уши воском залиты. Не слышат, хоть тресни. И кто на подозрении? Мой отец, учитель пения, свободный художник. Правда, мы — евреи. Это, конечно, отягчающее обстоятельство на все времена. И еще. Отец ведь не только «родственник, проживающий за границей», но и — «служитель культа», он — кантор. Статья! Не меньше. И с детишками у кантора неблагополучно: младший то на Лубянке, то в Бутырке, а где теперь — одному Богу известно, средний — где-то в Баку и не высовывается, а уж старший — хорош гусь, зятек «врага народа» Рыкова и «классово-чуждый элемент». Ну и семейка!

¹ Шлимазл (*идиш*) — неудачник, придурок.

² *Finita la commedia* (*итал.*) — комедия окончена.

Скоро придут.

Жду каждую ночь.

Почему-то вспомнились слова папы Сёмы перед свадьбой, он строго выговаривал Рите: «Свадьба, моя цыпа, никакой не шалман, хотя вы оба, понятно, в самом соку растительных сил. Но за отступление от традиций, от веры, — как барабанной палочкой, он тыкал указательным пальцем куда-то вверх, стараясь, наверное, достучаться до Неба, — много страданий и горя претерпите и вы с Ароном, и Нина со своим Рыковым, и ваши будущие несчастные деточки».

Напророчил-таки добрый папа Сёма.

А с обручальным кольцом? Оно упорно не нелезало на дрожащий Ритин палец. Хоть на мизинец надевай. Рита даже ойкнула от боли. И со стаканом тоже... После того как отец прочитал семь благословений, надо пригубить освященное вино. Потом жених с первого раза должен ногой разбить или раздавить стакан, символ скорби по разрушенным древним храмам Ерушалаима. Стакан предусмотрительно обернули белым полотном, чтоб никого не поранить осколками. Арон, конечно, промахнулся, но гости — в белых праздничных ермолках — уже кричали: «Мазаль тов!»¹

Стакан разбился лишь с третьего раза, и голодные гости, раззадорившись, еще веселей, еще громче подхватили: «Мазаль тов! Мазаль тов!»

И сколько б раз Арон ни вспоминал про кольцо и стакан, его сковывал все тот же панцирь ледящей тревоги. Дурацкие приметы. От суеверия, которое от незнания, от страха... Веры-то не было. Не только папа Сёма, но и отец об этом говорил.

— Папа, милый папа, как же мы были счастливы в Самаре: ты, мама, Борька и я. Потом родился Лёва. Он почти не плакал, и мы полюбили его. Лёва только спал и ел, ел и спал. И улыбался. Мы с Борей смотрели на него, раздетого, в качке: розовый, в складочках. *Зисэр*, сладкий, звала его мама. А мне слышалось: *зефир*. Меня и Борю она так не называла.

Ты водил меня в концерты и в оперу. Боря капризничал, канючил, и ты выбирал меня. Однажды утром в городском театре слушали «Жизнь за царя», а вечером в частной антрепризе — «Пиковую даму». Ты — Германн! Безумец, маньяк. Я очень боялся за тебя и за нас с мамой. Вдруг ты таким безумцем всегда будешь? Тебе бисировали, дарили букеты. Ты пять раз выходил на поклон, а потом мановением руки, как волшебник, остановил овации: «Ваши аплодисменты не мне, — сказал ты, — они моим профессорам из Петербурга и Московской консерватории и итальянскому маэстро Броджи, у которого я имел честь стажироваться в Ла Скала».

Домой заявились за полночь. Загуляли вместе с труппой в ресторации «Золотой якорь». Мама тогда ужасно рассердилась и кричала, наверное, впервые в жизни, а ты так ласково: «Это моя работа, Лизочка. Не забывай про звание *свободный художник*. *Noblesse oblige* — положение обязывает. И впредь не изволь жаловаться и причитать, лучше порадуйся». Ты обхватил ее плечи, привстал на цыпочки и пропел так нежно: «Мой Лизочек так уж мал, так уж мал».

Но маму, такую многотерпеливую и сговорчивую, почему-то не отпускало: «Если я вдруг перестану жаловаться и причитать, кем я буду? Ни одна еврейская жена так себя не ведет», — и она взглянула такими страдальческими глазами, что меня пробрало до печенок.

Сирота с младенчества, бедная родственница, лишний рот, Лизочка жила поочередно в Херсоне, Николаеве, Одессе в семьях своих многочисленных дядьев и теток, небогатых мещан, у которых и своих детей — мал-мала-меньше, а тут еще... До образования дело не дошло, но зато в умении вести дом и блюсти порядок не в ущерб уюту Лизочке не было равных. Она редко куда-то выходила: *киндер*, *кюхе* и вместо *кирхе* — синагога.

¹ Мазаль тов! (*идиши*) — Счастья!

Помнишь, папа, хоральную синагогу в Самаре? Громадная, в восточном стиле. Сейчас там хлебозавод. Уцелела только синагога Маркисона на Николаевской. Мы жили неподалеку от пивоваренного завода, на Льва Толстого, там ходила конка.

Ты давал уроки пения, писал рецензии на музыкальные постановки, правил их, зачитывал вслух, я с умным видом слушал. Потом вместе шли в редакцию «Волжского слова», потом ждали выхода газеты с твоей публикацией. Каким же огромным кажется мое детство! Каким вместительным! Чем дольше живу, тем оно огромней и ближе. Столько музыки и счастья! Ни за что и ниоткуда. Или всё от вас, родные мои, папа и мама?

У моих детей ничего похожего. Володе — 10, Ниночке — 7 лет.

Как только меня арестуют, Лена, надеюсь, оформит опекунство. Документы у нее. Я все предусмотрел. И тогда детей не отдадут в детский дом, где могут изменить фамилию, чтобы их никто никогда не нашел. Ведь они — сироты. Даже при живом отце. Они — дети врага народа. Что им запомнится из семейной жизни? Умирающая мать, сломленный отец? Или наши шутки, игры, музыкальные вечера? Рита любила клезмер: тум-балалайке, шалом алейхем. Голосистая была. Она на пианино, я на саксе. Дети бузили под музыку на полу, на диване, орали, подпевали, прятались под стол или в шкаф. Неужели забудутся наши лица, голоса, руки? Мы с Ритой по очереди укладывали их, гладили по головке, чесали спинку и пяточки. В Ритиной кипарисовой шкатулке — кстати, где она? — вместе с коралловыми бусами хранятся два первых выпавших молочных зуба. Только Рита знала, какой Володин, какой Ниночкин. И еще завернутые в пергамент прядки темных младенческих волос. Только Рита знала, какая Володина прядка, какая Ниночкина. У детей не останется даже альбома с фотокарточками, где мы такие счастливые...

И Арон опять вспомнил об отце.

С такой гложущей тоской он почему-то не думал ни о матери, ни о Рите. Хотелось думать только об отце, сидеть в обнимку, по-детски жаловаться, сетовать на несправедливость жизни, просить совета. Отец — Арон его называл Кантор — казалось, приласкает, приободрит, отгонит страхи, ответит от края ненасытной прорвы, куда его вот-вот толкнут... У Арона и сердце билось ровнее, когда он думал, что рядом — руку протяни — Кантор, узкоплечий, тщедушный на вид, но с горящим взглядом и с такой силой духа, которая и следа не оставит от навязчивых страхов. Арон не отпускал от себя Кантора, но и Кантор не отпускал Арона.

Как и сейчас не отпускает Кантор, мой двоюродный дед, меня, не знавшую и никогда его не видевшую.

Не отпускает уже двенадцать лет — с того незабываемого дня молодой осени, когда вместе с поэтом Риммой Казаковой на кладбище Хуаншань в Харбине я нашла старую, отбитую с края могильную мраморную плиту.

Кантор главной синагоги
свободный художник
Соломон Моисеевич
Златкин
умер 24 ноября 1953 года
17-го кислов 5714 г.

Соломон, я нашла тебя! Шалом!

Мы теперь — вместе.

Мы теперь — одна семья.

Арона Златкина, бывшего члена ВКПб (с 1918 года), арестовали 11 сентября 1937 года. Почти через месяц после смерти жены.

Во время обыска при понятых — дворник Наиль Чибилляев и соседка Клавдия Тырпеткина — конфисковали паспорт, военный билет, профсоюзный билет, фотоаппарат неизвестной фирмы за номером 793394, журналы «Большевик» №№8 и 3 за 1937 год, письма от отца, проживавшего в Харбине, пишмашинку «Ундервуд» с большой кареткой и фотографический портрет А.И. Рыкова.

Арона определили в Бутырку.

На допросе виновным себя не признал, но подтвердил свои связи с «врагами народа»: с «подлецом и мерзавцем» Рыковым А.И., приходившимся ему зятем, с ранее осужденными ярыми троцкистами Роговым, Черных, Кузьмичёвым, а также с братом Златкиным Л.С., «японским шпионом, террористом и предателем родины», и, конечно, с родителями, проживающими за границей, в Харбине.

Эти сведения полностью совпали с показаниями свидетелей: бывшего сослуживца по продовольственному тресту «Чаеуправление» т. Голодухина И.В. и соседей — т. Задирного П.С., утверждавшего, что арестованный враждебно настроен к политике коммунистической партии и советской власти, и т. Тырпеткиной К.М., которая неоднократно сигнализировала о подозрительных личностях, посещавших Златкина, и зашифрованных разговорах по телефону, о спекуляциях валютой и заграничными вещами.

Из выписки протокола Особого Совещания при НКВД:

«Златкин А.С. из семьи служащего религиозного культа — за контрреволюционную деятельность заключить в исправительно-трудовой лагерь сроком на восемь лет, считая срок с 12.9.1937».

Арон подал жалобу, в которой писал, что осужден крайне несправедливо и преступной деятельностью никогда не занимался. Да, были некоторые ошибки, и он понес соответствующие наказания, но его ошибки *не могут и не должны* квалифицироваться как преступные контрреволюционные действия, которых он никогда не совершал. И в конце приписал, что любит Родину, предан партии и советской власти и врагом народа *быть не может*, так как с 16 лет связан с коммунистической партией.

Он просил о пересмотре дела и полной своей реабилитации.

В конце января 1938 года с первым отходящим этапом политзаключенного Златкина отправили на Печорский Север, в Ухтпечлаг, в Чибью, расположенный в устье небольшой таежной речки Чибью, притока реки Ухты.

Обычно перед этапом разрешали свидание с женой. Но жены у Арона не было. В назначенное время Лена принесла в чемодане теплые вещи: пальто, пиджак, шерстяной свитер, шарф, ушанку, теплые носки и варежки, две смены нижнего белья и ботинки с галошами.

Каждому заключенному выдали на руки извещение, где в аббревиатуре зашифрованы обвинение и соответствующая статья уголовного кодекса. Эту формулировку надо было заучить так, чтоб от зубов отлетала в любое время дня и ночи.

— Фамилия?

— Златкин Арон Соломонович. 1902 года рождения. Статья К.Р.Т.Д. 8 лет. Начало срока 12.9.1937.

На первый взгляд Чибью выглядел обжитым поселком среди непроходимой темновой тайги, глухой ко всему человеческому. Тайга охраняла вверенный ей контингент куда надежней трехметровых заборов из кольев и колючки. Зеки — политические вперемишу с раскулаченными, бытовиками и урками — жили в одноэтажных деревянных бараках с дырявыми крышами и выбитыми окнами. Большая часть прозябала в хлипких хибарках, коченела и давала дубаря в землянках или на двухэтажных нарах в промерзавших насквозь парусиновых палатках — по 250 человек

в каждой. Спали не раздеваясь, в шапках и рукавицах. Многие не доживали до короткого лета, наспех согревавшего отмеченную вечной мерзлотой, заболоченную землю и всех, кто на ней.

Как лагпункт Чибыю возник в начале 30-х, сюда на баржах доставили несколько этапов заключенных — так называемая «Ухтинская экспедиция ОГПУ» — для разведки недр в Ухтинско-Печорском бассейне. Страна нуждалась в каменном угле и нефти, которую местные скважины качали еще с XVIII века. Лагпункт быстро разросся, получил статус рабочего поселка, и лагерную власть сменила власть гражданская. Вскоре удалось открыть несколько нефтяных и угольных месторождений и минеральные источники, богатые солями радия. Образовался Ухтпечлаг, или «Ухто-Печорский трест ОГПУ» — одно из крупнейших в СССР горнодобывающих предприятий.

Это был успешный и перспективный проект освоения малонаселенных районов европейской тайги и тундры, превращения их в оазисы социализма на Крайнем Севере под стать оазисам в Голодной Степи и пустынях Средней Азии. Освоение новых территорий и добыча полезных ископаемых для народа шли за счет использования того же народа, ставшего дармовой рабочей силой. Не зря исправительно-трудовые лагеря называли истребительно-трудовыми лагерями.

Политзаключенный Арон Златкин прибыл в Чибыю — уже столицу Ухтпечлага — в жестокое время. Но других времен здесь не знали. Через три месяца, в марте 38-го начались массовые казни политзаключенных, известные как «кашкетинские расстрелы», по фамилии чекиста Кашкетина, придумавшего самый короткий сценарий кровавого триллера: под предлогом перевода в другой лагерь зеков — по 60 человек — вели через болотистую тундру, в засаде их поджидала расстрельная команда со станковыми пулеметами. Более трех тысяч убитых. Пригодное лагерное обмундирование аккуратно снимали, составляли опись, упаковывали и отправляли на склад.

В мае 39-го Ухтпечлаг закрыли. На его базе появились четыре новых ИТЛ.

Арон попал в лагпункт Ветлосян, поблизости от Чибыю. В Ветлосяне, куда направляли стариков, больных и доходяг, его определили в лазаретную команду. Это был подарок судьбы. И Арон мысленно поблагодарил Кантора. Ведь именно Кантор настоял, чтобы по окончании гимназии Арон пошел в ученики к самарскому аптекарю Шейну. И потом в армии Арон служил помощником фармацевта при полковой аптеке. И здесь, в Ветлосяне, фарт, фортуна повернулась к нему лицом.

Всевышний или папочкины молитвы?

Арона приставили к туберкулезникам, которых, как могли, изолировали от остальных. Для туберкулезников отвели два деревянных барака, сильно углубленных в землю. В каждом выгородили по две палаты с печками и керосиновыми лампами. В палате 20 больных на топчанах, впритык стоявших друг к другу. Состав больных менялся почти ежемесячно. Умирали не только от туберкулеза, но и от дистрофии, пеллагры, пневмонии. Щи из молодой крапивы, сосновый настой, чай из кипрея с шиповником, лесные грибы-ягоды ненадолго продлевали мучительные будни, ничем не похожие на дни, обещавшие счастье и оставшиеся на воле, где кипела, казалось, бессмертная жизнь. Хоронили тут же, неподалеку, на Ветлосянском кладбище. Кого-то в общих ямах, кого-то в могилах.

Однажды произошло чудесное событие: после сильного многодневного снегопада, довольно редкого в тех местах, Арона с бригадой послали в Ухту на расчистку улиц. Первый выход на волю!

Бывший лагпункт Чибыю вырос и превратился в образцовый соцгород, точно срисованный с агитплаката: теплые бревенчатые дома для вольнонаемных и ссыльных, школа, горный техникум, метеостанция, клуб-театр, универмаг, столовая, стадион, суд, гостиница. Красиво, местами даже затейливо и с излишествами: колонны, балконы, балюстрады. В Ухте действовали водопровод, канализация и радиосеть. А на

площади — Арон протер слезившиеся глаза — в сгущенном молоке тумана парила белая цилиндрическая с колоннадами башня, общим обликом напоминавшая легендарный Дворец Советов, который планировали воздвигнуть в Москве, на месте храма Христа Спасителя. Башня, правда, совсем не грандиозная и даже без статуи вождя революции, больше смахивала на ученический макет, выполненный в заданном масштабе. И здесь, в Ухте, она казалась призраком, далеким эхом, фантомом из несостоявшейся жизни, такой манкой на мечты и щедрой на надежды.

«Мы рождены, чтоб сказку сделать былью», — гремел из репродуктора на столбе жизнеутверждающий марш.

Боря Иофан? Неужели и ты? И ты где-то здесь? И здесь тебе позволили построить Дворец? — Слезы застревали в сухих руслах морщинистых щек, стояли в глазах, висели на кончике длинного отмоороженного носа.

— Какие роскошные виллы ты построил в Риме! Мы тогда специально освоили «маршрут Иофана». Ты обожал барокко и рассказывал о нем взхлеб. Рыков и Нина, а потом уж и мы с Ритой звали тебя «синьор Барокко». А потом... было еще какое-то итальянское слово, другое... и это не имя. Смешное словечко, как детская дразнилка. Забыл. Но мы все так хохотали... При этом уплетали макароны с тертым пармезаном. Неужели и сейчас кто-то ест макароны с пармезаном? И пармезан не запрещен? — Арон громко сглотнул и, чуть не подавившись от спазма, застонал и схватился за кадык. — На языке крутится, а сказать не могу. Да-да, мы все ужасно хохотали и перекидывались этим словечком, как теннисным мячиком. Забыл, напрочь забыл. Что же оно означало?

В июне 1940-го Арон умер.

Через 17 лет, в 1957 году дело А.С.Златкина было направлено на проверку по обоснованности материалов, послуживших основанием к аресту. Заявление на пересмотр дела написала его дочь Нина, проживавшая в украинском городе Белая Церковь. Через год Нина получила справку о полной реабилитации отца.

На сайте «Репрессированная Россия. Книга памяти» есть лишь краткая и неточная информация о гражданине Златкине Ароне Соломоновиче: без определенных занятий. Расстрелян в 1936 году.

Рядом немного подробнее о его младшем брате, гражданине Златкине Льве Соломоновиче, 1910 года рождения, уроженце г. Самары, беспартийном, с высшим образованием, конструкторе электротехнического института (опытный завод), из семьи служащего религиозного культа, проживавшего в Харбине.

Дата ареста — 16 сентября 1936 г.

Статья — по обвинению в шпионской и диверсионной деятельности в пользу японской разведки.

Приговор, административное решение — расстрел.

Место расстрела — Москва, Донское кладбище.

Дата расстрела — 25 декабря 1936 года.

Полтора года назад я послала запрос в Центральный архив ФСБ. Пишу, мол, книгу о своих родственниках, репрессированных в 1930-х годах. Очень нуждаюсь в архивных материалах и документах.

Моя семейная сага — это история нескольких поколений семьи в контексте грандиозной истории СССР с трагическими судьбами отдельно взятых, разбросанных по миру советских людей, в том числе и большевиков — в диапазоне от рядового «винтика» до Председателя Совнаркома. Не ново. Давно не ново. И слава богу, что старо.

Мои герои — моя родня.

И, наверное, звезды так сошлись, мне выпала участь узнать и написать о них, вызволяя из небытия, возвращая из прошедшего времени в настоящее, вводя в круг сегодняшней моей семьи, друзей и знакомых, и моих читателей.

Ровно через месяц пришло ответное письмо с указанием архивов и номеров уголовных дел: в Государственном архиве — дело Арона Златкина, в Центральном архиве ФСБ — дело Льва Златкина.

В Государственном архиве работала на подъеме. Захватывающая панорама первых десятилетий кипучей советской жизни, крутизна сюжетов и событий, масштабности и судеб Рыкова и Арона, их верных жен — Нины и Риты, роль харбинского Кантора, в том числе и в моей жизни, вдохновляли и требовали глубокого погружения, осмысления и действий.

С уголовным делом Льва Златкина оказалось непросто.

«Как только дело будет рассекречено, мы вам сообщим», — так закачивалось письмо из ФСБ.

Подумалось, какая корректная форма типового отказа! Если за более чем 70 лет дело не рассекречено, то и сейчас, значит, еще не время.

Однако с выводами я поторопилась.

Через полгода меня пригласили в читальный зал Центрального архива ФСБ для ознакомления с рассекреченным делом Льва Златкина.

Архив найти оказалось нелегко, хотя адрес известен. Меня буквально ввели в заблуждение проходы в старинном подъезде и необычные разветвления лестниц, одна из которых упиралась в тупик. С трудом найдя дверь — без вывески и всяких намеков на учреждение, я позвонила. Щелкнули замки, цепочка, и высунулась голова молоджавого гладкого мужчины домашнего вида:

— Вам кого?

— Я в читальный зал. Здесь архив ФСБ?

— С какой стати?

— У меня письмо. И приглашение.

— И кто приглашает?

— Сейчас скажу... письмо от Иннокентия Борисовича.

— А-а, так это я. Заходите, пожалуйста.

Читальный зал выглядел опрятной комнатой со столами, знакомыми с детства по нашей районной библиотеке. Фигуры, «декабристы», рыбки в аквариуме.

Иннокентий Борисович любезно выложил передо мной небольшую горку папок:

— Не пугайтесь. По вашему родственнику не много. Дело групповое, но он — не главный фигурант. За день одолеете.

Мои догадки, что Льва Златкина в итоге обвинили в промышленном шпионаже подтвердились. Как и то, что взяли его формально будто бы за деньги, которые Кантор с оказией посылал на обустройство Лёвы в Москве и на повседневные расходы семьи Арона. Но кто поверит? Кто подтвердит, что посылал именно Кантор? Большие деньги, значит, за большие услуги. За какие? Конечно, шпион. Может, даже резидент: работает на закрытом заводе, продает иностранцам секреты, недавно из Харбина.

В Москве и в стране развернулась кампания против выходцев из Харбина. Их отслеживали и арестовывали как японских шпионов и диверсантов.

Не зря Клава Тырпеткина, хоть и шепотком, но разносила по соседям:

— Стопроцентный японский шпион. Их тут целая шайка-лейка. Готовили взрыв на секретном заводе. И Лёва — за главаря. Выбрал самый главный цех, где хранился кислород. Мало этого, приглядывался и к соседнему цеху. В общем, хотел весь завод взорвать, потому как завод этот — военный, стра-те-ги-ческий. Но наши — бдительные. Вовремя разоблачили. Что тут попишешь? И Лёва во всем признался. Во как! А с виду вроде на человека похож, даже симпатичный...

И откуда Клаве Тырпеткиной было все известно, если сам Лёва узнал о шпионских страстях только на допросах на Лубянке?..

Он всё понял. И со всем согласился.

Так же как это сделал Рыков — через два года.

Входя во двор Донского монастыря в Москве, я озираюсь по сторонам: сколько невинно убиенных, расстрелянных, мучеников... И святое, и кровавое — всё смешалось, всё здесь — у этих монастырских стен, на этой оплаканной земле и в намоленном воздухе.

В 1956 году по делу Л.С. Златкина и еще нескольких человек из Харбина была проведена проверка, в ходе которой обвинения в шпионской и диверсионной деятельности подтверждения не нашли. Дело прекращено за недоказанностью.

Что знал о судьбах Арона и Лёвы их отец Соломон Златкин, переживший сыновей почти на восемнадцать лет? Как жил с этим печальным знанием бывший кантор Главной синагоги Харбина, уволенный за нежелание отказаться от советского паспорта и перейти на положение эмигранта?

Что удалось узнать мне?

Только горькую малость про Арона и Риту, про Лёву, про Рыкова, Нину и их дочь Наташу, которая провела 18 лет в лагерях и ссылках, выжила, добилась полной реабилитации своих родителей — Рыкова полностью реабилитировали лишь в 1988 году — и написала большую книгу о них, железных большевиках, и о своей жизни.

О Борисе Златкине, затерявшемся в Баку, известно, что жил на площади Свободы и был инженером-химиком на предприятии «Азнефть». И все. Госархив Азербайджана не откликнулся на мои запросы.

Вспомнился шольский день моего детства в Ногинске. Кодиной соседке из бывшего купеческого особняка напротив, превращенного в обычную советскую коммуналку, приехала внучка из Баку. Эта новость мухой облетела всю нашу Советскую улицу.

После обеда дворовую ребятню — нам лет по десять-двенадцать — позвали в гости, велели вымыть руки под ручкой и усадили за стол с бархатной зеленой скатертью. Потом торжественно разрезали, нет, пожалуй, разломали на большом керамическом блюде диковинные фрукты: багряные бакинские гранаты, чьи зерна, как капельки крови, тесно сплелись, почти слились в белых матовых соках.

Мы росли на антоновке, на крыжовнике, на вишне. И никогда не видели гранатов — этих плодов из библейского, как нам пояснили, райского сада.

До сих пор не забыла тот вкус.

Как не забыла, что девочку из Баку с беличьими глазками и вихлявшимися по спине черными косицами, звали Людочка Златкина.

Андрей Грицман

Незримая ватерлиния

* * *

Долгий бессмысленный дождь.
Грусть по долинам и взгорьям.
Скажешь себе: ну и что ж?
Может, доедем до моря.
Там, где заветный маяк
Дальним лучом освещает
Путь до слияния рек,
Где горизонт обещает
Контур страны без имён,
Стран безграничных за картой.
Резкий пронзительный звон!
Я просыпаюсь за партой.

Письмо из Текоа

Игорю Бяльскому

Все нормально — сжав зубы.
Теракты практически каждый день.
Сегодня утром хоронили
учителя школы из соседнего поселения,
в которой работает и Майя, наша невестка.
Господь велик, но Аллах акбар.
Но ...и это пройдёт, как сказал
древнейший классик.
Светел образ его:
столб огня ночью,
облако пыли днём,
застывшие навсегда
над Oswięcim.

Андрей Грицман (1947) — поэт, эссеист, переводчик. Родился в Москве, с 1981 года живет в США, работает врачом. Пишет по-русски и по-английски. Автор многих сборников стихов и книг эссе. Основатель Международного клуба поэзии в Нью-Йорке.

* * *

Ека Еф

Что нам осталось, что нам осталось?
Несколько слов не досказалось.
Бар на Тверской, Ярославский вокзал,
трансатлантический мост, электричка,
Аэрофлот, океана слеза
и телефонная переключка.

Много ли мало, не важно теперь.
Где эта улица, где эта дверь?
Сколько осталось, много ли мало?
Нас закрывает одно покрывало.
Вместе и рядом.
Пространство и время.
Нежность нельзя килобайтом измерить.
Это и есть та самая доля.
Светится электронное поле.
Вот и осталось: кивок на экране.
Я не прощаюсь на срок и заранее.
Знаю ответы: срок не отмерен.
Что же осталось?
Пространство и время.
В жизни, мне данной, так получилось:
прядь и очки, через границы,
голос в ночи
и знак на ключице.

* * *

Виталию Науменко

Сквозь блажь Москвы,
Сквозь гарь пристанционных городов,
Сквозь градообразующий маразм
Негромко слышен то ли шум листвы,
То ли души, читающей с листа.

Так траектории небесных бранных тел
Вдруг сходятся в купе или в кафе.
Плывёт нетленный пух и чёрный снег, и эхо —
И весь пейзаж летит к нам налегке.

На волосок от крайней полосы,
Где отчужденье мороком висит,
В бессонном предрассветном молоке
Она одна наедине стоит.

Одна она, знакомая жена,
Сестра сквозной полуреальной жизни.
Там часовые пояса горят дотла
В закате на заре, и самолеты виснут,

И гул плывёт туманом на рельеф,
Дикорастущий быт на слух меняя,
Шумит вода, скрипит весло, паркет?
Сочится речь, неслышная, живая.

* * *

Я подумал, что Уэльбек прав.
Я пил каберне, читал Уэльбека.
Что случится завтра, было вчера,
Общее место отмерено человеку.

Вокруг гвалт субботний, американские девки
манерно визжат, будто жизнь получилась.
Циклон плывёт на Дальний Восток, на запад,
и я напиваюсь легко, в полсилы.
Помнишь — в поэзии нет оправдания.
Мерцает незримая ватерлиния.
Всю жизнь дожидаясь с ней свиданья,
Хоть голова давно уже в инее.

И имя твоё — личина распознавания.
Полезно уехать в страну артиклей.
Кто коронован своим умлаутом,
кто держит за хвост свой *Fin de siècle*.

Держаться подальше от всех названий,
от наименований в сухой анкете.
На этом безвременном расстоянии
ты всё же заметен в рассеянном свете.

Михаил Аранов

Баржа смерти

Главы из романа

Fata viam inveniam¹.

Клеанф

Доктор Троицкий

Доктор Троицкий стоит под морозящим дождем на Богоявленской площади. Глядит на ядовито-зеленые, будто покрытые злой плесенью купола церкви Богоявления. Темно-красные стены церкви разрушены. Час назад дохлый пароходик, насадно пытая, доставил несколько бывших узников баржи на правый берег Волги. Среди них был и доктор Троицкий. На прощание обнялись. Особенно крепко — Троицкий и эсер Душин. «Куда?» — спросил доктор Александра Флегонтовича. «В свою деревеньку Борисовку, жену навестить, детей», — как-то невесело отозвался Душин.

Красные кирпичи церкви Богоявления разбросаны по площади. И стены ее будто плачут кровавыми слезами. Площадь застыла в мертвой тишине. Только едва шелестит дождь. Доктор Троицкий медленно крестится, шепчет: «Боже, сохрани жену мою Марфу Петровну и доченьку мою Ксеньюшку».

И сразу заныло сердце в горьком предчувствии. Вышел на пустынную Углическую улицу. Мертвые, разбитые здания. Груды камней на мостовой. Обрушенные крыши. Остовы сгоревших домов. И тишина, убивающая надежду. Ни одной живой души. Вот на уцелевшей стене разрушенного дома оборванный листок, в углу его двуглавый орел под короной. Доктор читает: «Приказываю твердо помнить, что мы боремся против насильников за правовой порядок, за принципы свободы и неприкосновенности личности...» Дальше листок оборван. И где-то внизу его огрызок, и там: «Полковник Перхуров». Вдруг за спиной шум, крики, разрывающиеся женским и детским плачем. Толпа молодых женщин с детьми и совсем юных девушек, окруженная отрядом солдат. Троицкий всматривается в лица конвоиров — китайцы. Их неподвижные физиономии под буденовками внушают непонятный страх. Доктор оглядывается.

Старушка, закутанная в черный платок, хватаясь за обгоревший столб, опускается на землю. Троицкий подбегает к ней, за спиной слышит омерзительно визгливый,

Михаил Аранов родился в Ленинграде. Окончил Политехнический институт. Работал инженером, сейчас он журналист. Автор книг прозы «Скучные истории из прошлой жизни», «Страх замкнутого» и сборника стихов «Пространство вытеснения». Живет в Санкт-Петербурге. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

¹ Судьба находит дорогу (*лат.*).

будто кошачий вопль: «Замолчи!» И выстрелы, выстрелы. Китайцы стреляют над головами женщин. Матери прижимают к себе замерших в страхе детей. Конвоиры толкают их прикладами в спины. «Бистро, бистро!» — слышатся опять писклявые нерусские голоса. Процессия уже скрылась в переулке, а доктор все слышит корявое: «Бистро». Троицкий наклоняется над женщиной, сидящей у стены. Поднимает с ее лица черный платок. «Что с Вами? Вам плохо?» — «Боже! Что же это делается. За какие грехи все это», — разрывающие душу рыдания слышатся из-под черного платка. «Что такое?» — тихо спрашивает Троицкой, уже догадываясь, что женщина провожала кого-то в той жуткой толпе. «Боже, за что?! Внучку мою и дочку мою повели на бойню. Мало им, извергам, зятя убили. Поручик, ведь мальчишка совсем. А дочку-то за что? С ребенком...» Доктор Троицкий отходит от рыдающей женщины. Бредет среди пустынных развалин. Вот храм Сретения Господня.

Колокольня изрешечена снарядами. «Гибнет, гибнет Русь православная», — какая больная, уставшая мысль!

И тут же, как удар ножом в сердце: «Боже, что же с моей семьей?!» Вот и его Сретенский переулок. И дома вроде бы целые. Только в некоторых выбиты окна. Доктор опять перекрестился, глядя на храм. Но внимание его задерживается на листках, что наклеены на стены домов. Это большевики расклеили свой декрет: «Завтра, 23 июля 1918 года в восемь часов утра все мужское население города должно явиться на вокзал. Ко всем уклонившимся будет применена высшая мера наказания». «Опять расстрел», — тупо отмечает доктор. И дальше по переулку видны эти серые листки. Вот дом Менделя: «Одежда. Меха». Выбиты окна и двери. Магазин разграблен. Еще квартал, его дом — дом доктора Троицкого. На первом этаже он принимал больных. Троицкий видит груды кирпичей. Обгоревший остов здания. Одна стена целая. Открытая часть комнаты на втором этаже. Его гостиная. У стены стоит буфет. Гордость семьи. Приобрел в мебельном магазине Голкина. Хозяин сам пришел к доктору Троицкому. «Вот мебель итальянскую получили, фабрика известная “Asnaghi Interiors”». К Вам, Фёдор Игнатьевич, к первому пришел. Помню, помню, как Вы сына моего с того света вытащили. Ко мне уже и от Щапова Петра Петровича¹ приходили. Но я повременил, пока от Вас намерение не поступило. Особенно советую буфет», — Голкин говорил длинно и витиевато. Но Троицкий знал отменный вкус мебельщика и не глядя согласился. Что касается содержимого буфета — особой ценностью был в нем китайский сервиз на двенадцать персон. Достался на свадьбу от родителей жены, известных ярославских купцов. Дверцы буфета распахнуты настежь. Видно было, что полки его пустые. Доктор смотрит на свой разрушенный дом, и мысль, как механический стук часов: «Уже побывали, побывали».

Кто-то коснулся его плеча. Оглянулся — за спиной стоит дворник Абыз. Татварин. «Фёдор Игнатьевич, горе-то какое», — Троицкий слышит робкий голос Абыза. «Где? Где моя семья?» — срывается на крик Фёдор Игнатьевич. «В покойницкой при госпитале, — произносит несмело дворник, — третьего дня приходил туда. Говорю, хороший человек был доктор Фёдор Игнатьевич. Дайте, я похороню его жену и дочь. Мало ли кто объявится, могилу показать. Про вас-то люди говорили, что баржа потопла. И все вместе с ней. А в покойницкой ответ — вы не родственник. Тел не выдаем».

В госпитале были все незнакомые люди. Нежданно появилась медсестра. Практику проходила у Троицкого. Узнала доктора, испуганно взглянула на него. Прошептала тихо: «Боже, это Вы?» Потом появился Петя Воровский — коллега и друг тех мирных дней. Обнялись. Троицкий подолом грязной рубахи вытер слезы. Втроем, и Абаз с ними, прошли в морг. Санитар, дежуривший там, сказал, что день назад все невестребованные трупы похоронены в общей могиле на Чурилковском кладбище.

¹ Щапов Пётр Петрович — Городской голова Ярославля (1910—1916).

До погоста ехали молча. Петя раздобыл госпитальную карету. Запряжена похоронной клячей. Слез Фёдор Игнатьевич не вытирал. Они смешались с дождем.

И сдавленный крик, рвавшийся из груди, казалось, оглушил его. Он не слышит, что ему говорит Пётр. Среди тощих берез и осин на поляне свежий холм. И посреди него деревянный кол с куском фанеры, на которой что-то написано чернильным карандашом. Надпись размыта дождем. Доктор Троицкий тихо плакал, обхватив березу. Обратный путь — по дорожной грязи. Скрип несмазанных колес. И хвост клячи мерно раскачивается в такт ее медленных шагов. Боль уходила. На смену ей надвигалась оглушающая пустота. Доктор Троицкий чувствует на своем плече руку Петра Воровского. И тепло руки друга будто возвращает его к жизни.

— А как ты пережил все это? — спрашивает он Петра.

— Я ж тебе рассказывал по дороге.

— Извини. Я прощался с женой и дочерью.

— Известно как. Врачи нужны и красным и белым. Я знаю, ты был на барже. Ее уже окрестили «баржей смерти». А ты? Теперь-то как?

Троицкий показывает бумагу, которую получил при освобождении с баржи.

«Иди к нынешним властям. Я уж не знаю к кому. Они разместились в гостинице “Бристоль”. Она одна из немногих уцелела. Покажи им свою бумагу, а то завтра загонят на вокзал. Декрет-то читал?» — торопливо говорит Воровский.

До гостиницы «Бристоль» Троицкий опять шел по родному Сretenскому переулку. Длинный летний день к вечеру развиднелся. Тучи рассеялись. Солнце стояло низко над домами и било в лицо нежаркими лучами. Около его дома находилась подвода с лошастью. Двое мужиков на веревках спускали тот самый итальянский буфет. Еще один мужик торчал у телеги.

— Вы это чего? — возмущенно спросил Троицкий.

— Чего, чего. А вот через плечо, — услышал он в ответ. — Твое, что ли?

— Да, это моя квартира, — неизвестно откуда хватило сил резко ответить.

— Было ваше, стало наше. И проваливай, господин хороший. А то доложим куда надо. Будешь париться на вокзале. Ваших там уже полный зал. А если что — и до оврага возле Леонтьевского кладбища недалеко. Сёдне с утрева там офицерских дамочек со всеми ребятенками ихними в овраге шлепнули.

Доктор Троицкий с ужасом вспоминает утреннюю процессию под охраной китайцев. И плачущую пожилую женщину в черном платке. Он растерянно оглядывается. Буфет уже на земле. Мужики, что возились с ним, стоят около доктора. Один — молодой и пригожий блондин. Другой — обросший звериной бородой.

— Что, не верит гражданин-барин? — говорит бородатый. — Мы ж оттудова и приехавши. Забросали овражек землей и приехали.

— Значит, мой буфет вам в награду?

— Поговори ешо, поговори, — равнодушно, без злобы отзывается мужик, что стоял раньше у телеги.

Бородатый и молодой берут доктора под руки, один из них произносит:

— Ну, не заставляй ты нас, мил человек, брать грех на душу. Иди отселе, ради Бога.

Мужики доводят Троицкого до переуллка. Толкают в шею. Не оглядываясь, доктор медленно плетется вдоль разрушенных домов. А за спиной слышит голоса. Молодой: «Может, и верно, поставец-то евонный». Суровый бородатого: «Васька, сколь раз тебе говорено: не поставец, а буфет. И шо, зря что ль мы в город приперлись? Степан Евграфович заказывали буфет голландский. Или еще какой заграничный... Обещал знатно расплатиться. Вот и ты своей Верке обнову справишь». — «Да уж, справишь. Дождешься щедрот от Степана Евграфовича. Мироед», — отзывается молодой. Голоса удаляются. Глухой гул наполняет голову Троицкого — то ли набат с дальнего храма, то ли гроза надвигается из-за Волги. Он не помнит, как добрался до

гостиницы. Кому-то он там показал свою бумагу. Кто-то что-то сочувственное говорил ему. Только одна фраза врезалась в его память: «За белый террор мы ответим красным террором». Определили комнату при госпитале. Просили завтра приступить к работе: «В госпитале рук милосердных не хватает». Доктора резануло слово «милосердных». Он взглянул в лицо говорившего. На него смотрели стеклянные, неподвижные глаза палача. Запомнился не человек, а его мертвящий взор.

И мрачное предчувствие, связанное с этими взглядом, не обмануло. Еще раз пришлось увидеть эти глаза.

В своей комнатенке доктор Троицкий упал на кровать и тут же погрузился в тяжелый сон. Утром его разбудил Пётр Воровский. Сказал, что велено двум врачам прибыть на вокзал, при необходимости помочь больному.

— И еще, это уже конфиденциально, — на ухо угрюмо продолжает Воровский, — при оказании врачебной помощи строго ориентироваться на социальную принадлежность страждущего...

— Если буржуй — пусть подыхает. Нечего на него пули тратить, — угрюмо заканчивает доктор Троицкий фразу своего товарища. Пётр Воровский обреченно кивает головой.

Вокзал был окружен вооруженными солдатами. Зал ожидания переполнен мужчинами разных возрастов. Были и старики, равнодушно смотревшие на мир слезящимися глазами. И дети — подростки тринадцати-пятнадцати лет. На одной группе Троицкий задержал свой взгляд. Мальчишки, совсем маленькие, верно шести и пяти лет, испуганно оглядывались по сторонам. Прижимались к пожилому мужчине в шляпе. Мужчина что-то успокаивающее говорил мальчикам. Троицкий слышит только конец его фразы: «... вы всю бомбежку просидели в подвале со мной, вашим дедом... не забудьте сказать — дед учитель, учитель, всего лишь учитель словесности», — выкрикнул мужчина и вдруг схватился за грудь, закачался. Мальчики тянутся к нему ручонками. А мужчина, судорожно заглатывая ртом воздух, пытается опереться о стену. Дети растерянно смотрят на деда, упавшего у их ног. Пётр Воровский осторожно развязывает галстук на шее старика, расстегивает рубашку. Стетоскопом приникает к его груди. Шупает на запястье пульс. «Мертв, — говорит он Троицкому, — надо как-то его внуков вывести отсюда». В дальнем углу зала толпа особенно плотная. Там вход в комнату. Солдаты заталкивают туда людей, на лицах которых Троицкий видит маску неподдельного страха. Раздвигая толпу, врачи идут к этой злополучной комнате. Натолкнувшись на жесткий взгляд солдата, стоявшего у двери, Воровский уверенно говорит: «У нас мандат». Делает вид, что лезет в карман своего пиджака. Солдат показывает рукой на дверь: «Проходите, товарищи». В комнате за столом сидят несколько человек в военной форме. В центре — вчерашний знакомец Троицкого со «стеклянными глазами». Тот, что из гостиницы «Бристоль». Увидев врачей, он растягивает рот в приветливой улыбке, но глаза все такие же неподвижные, стеклянные. «Что случилось?», — спрашивает он. Несколько солдат, прежде скрытых в глубине комнаты, отталкивают группу испуганных мужчин, стоящих перед столом чекистов. Троицкий уже понял, что имеет дело с «товарищами» из ЧК.

— Понимаете, — неуверенно начал Воровский.

— Дело не терпит отлагательства, — грубо оттолкнув Петра, жестко говорит Троицкий. Он вдруг вспомнил, что человека в шинели с красными петлицами и стеклянными глазами, с которым познакомился в гостинице «Бристоль», зовут Губер. Троицкий почти кричит: «Товарищ Губер, умер от сердечного приступа старый человек. Я знаю — это педагог. Моя дочь училась у него. С ним внуки — дети...» Троицкий знает, что сейчас его спросят, кто родители этих детей. Как связаны эти родители с Перхуровым? И он отчаянно врет: «Их мать умерла от тифа. Отец — инвалид войны, погиб в разрушенном снарядами доме. Свидетель — доктор Воровский». Троицкий ловит испуганный взгляд друга. Губер подымает глаза на Воровского. Тот

орет, пересиливая страх: «Подтверждаю». Троицкий с ужасом думает, что сейчас его спросят, как фамилия умершего старика-учителя, которого он якобы прекрасно знает. Но он этого человека первый раз в жизни видел. Спасает Петя Воровский, он вынимает из своего кармана паспорт, обращается к Губеру: «Вот документ умершего, я его взял при осмотре трупа». Губер передает паспорт рядом сидящему чекисту: «Проверьте по списку подозреваемых». Тот начинает рыться в своих бумагах, слюнявит палец, перелистывает страницы паспорта. Солдаты к столу подталкивают испуганных мужчин. «Как связаны с мятежниками?! — орет Губер, — какой офицерский чин имеете? Не врать мне, не врать!»

— Унтер офицер с германского фронта, — с отчаянной смелостью выкрикивает один из допрашиваемых мужчин, — Георгиевский кавалер.

— А ну покажи руки, — подозрительно говорит сидящий рядом с Губером чекист, который до того листал паспорт умершего старика.

Георгиевский кавалер протягивает ему ладони.

— Мягонькие, сразу видно, что из буржуев, — зло шепчет чекист.

Губер кивает головой своему подчиненному. Тот выплевывает, не то утверждая, не то спрашивая: «Шлепнуть». Солдаты подхватывают унтер-офицера под руки. Ведут к дальней двери, еле заметной в углу комнаты. Красноармейцы вводят еще несколько мужчин. Становится трудно дышать. Ужас этих людей передается врачам. И в мрачном полумраке вокзальной комнаты пауком шевелится незнакомое, нерусское слово «концлагерь». «А вы что стоите? Забирайте своего покойника, — Губер зловеще улыбается, — Кальченко, Петров проводите врачей. Да, доктор, документ умершего возьмите». Пётр Воровский прячет паспорт в карман. Солдаты, перекинув на плечах винтовки, ведут по вокзальному залу врачей. У Троицкого возникает ощущение, что их тоже арестовали. Но солдаты поднимают с пола труп старика-учителя. Кивают детям: «Пошли». На выходе, у вокзала, уже стояла повозка с лошадью. «Однако предусмотрительный этот товарищ Губер», — мелькнуло в голове Троицкого. Солдаты кивнули врачам. Один из них произнес: «С Богом». И скрылись в здании вокзала. Троицкий взглянул на мальчиков, подумал о своей погибшей семье, и боль, острая, как предсмертный крик, пронзила его. «Что с тобой?» — испуганно спрашивает Воровский, взглянув на побледневшего товарища. «Отошло, — Троицкий обнимает за плечи мальчиков. — Я их возьму с собой. Согласны?» — обращается он к детям. Те робко кивают головами. «Похороним деда. А там видно будет, — говорит доктор Троицкий, — Петя, ты отвезешь старика?» Воровский молча садится в ноги покойного на повозку. Кучер трогает вожжи. Лошадь, обреченно опустив гривастую голову, застучала копытами по булыжной мостовой.

Мальчиков звали Саша и Петя. Дети спали на полу. Подушки достать не удалось. Фёдор Игнатьевич выпросил в госпитале больничный матрас, одеяло, пахнущее нечистым телом, и две простыни. Простыни были стираны, на редкость чисты, хотя в них зияли многочисленные дыры. Это и были постельные принадлежности мальчиков. Кормились в госпитальной столовой. Детям выдавали одну порцию на двоих — овсянка или серое картофельное пюре. Зато чаю доставалось по стакану каждому и по куску черного хлеба. Видя голодные глаза мальчиков, Фёдор Игнатьевич подкладывал от своей порции несколько ложек в их тарелку.

К осени в Ярославле открылись несколько трудовых школ. Старшего, Сашу, как сироту, приняли в школу без проблем. Ему в ту пору было около шести лет. Сработала бумага Троицкого: «жертва белого террора». О «барже смерти» знал весь Ярославль. Позже — еще событие: вызвали в жилищный совет. Сказали, что идет уплотнение квартир буржуев. И ему, Троицкому Фёдору Игнатьевичу, положена жилплощадь. Троицкий сказал, что при нем дети-сироты. Тут же в соседней комнате оформили опеку. Фёдор Игнатьевич с некоторой иронией подумал: «Вот времена настали. Никакой волокиты и бюрократии». Вернулся в комнату жилсовета. Женщина в

красном платке, повязанном на лбу, как с плаката «Долой кухонное рабство», радостно сообщила: «На троих — вместо десяти метров даем комнату в двадцать метров». И как-то ласково взглянула на доктора Троицкого. Доктор вдруг вспомнил, что ему только сорок семь лет. Только или уже? Впрочем, тут же на память приходит строчка, кажется из раннего Чехова: «В пролетку вскочил старик лет сорока». Ухмыльнулся. Уходя, послал женщине воздушный поцелуй. Женщина зарделась ярче своего красного платка. А доктор вдруг разглядел, что красный платок украшает очень милую девичью мордочку. Смотреть свое новое жилье отправились втроем. Младший — Петя — держался за руку Фёдора Игнатьевича. Старший — Саша — внимательно рассматривал улицы, по которым проходили. Похоже, что-то узнавал. Когда подходили к дому, указанному в ордере, мальчики заволновались. С криком: «Это же наш дом!», бросились к открытому подъезду, помчались вверх по каменной лестнице. Доктор едва успевал за ними. А мальчики уже стучат в резную деревянную дверь, дергают медную дверную ручку. Из двери высовывается неприбранная тетка, зло спрашивает: «Что надо?». — «Это наш дом!» — громко хором кричат мальчики. «Что, что? Пошли отселе, — зло фыркает тетка и, увидев интеллигентное лица доктора Троицкого, уже не сдерживая себя, орет: — Что приперлись, что приперлись! Буржуи недорезанные. Мало вам Леонтьевского кладбища!» Фёдор Игнатьевич снова видит перед собой картину: толпа растерзанных женщин и детей, и китайцы, ведущие их на смерть. Ему становится нехорошо. «У меня здесь ордер на комнату», — тихо говорит он. «Покажи, — тетка угрюмо рассматривает ордер, зло бурчит: — Лучшую комнату хапают. Вон за кухней, следующая. А я-то думала, моей доченьке Машке с ребятенком достанется. Из деревни едут». Тетка выдавливает слезу. Стучит осторожно в первую дверь от входа в квартиру. «Сергей Семёнович, тут пришли, на Машкину комнату зарятся, и ордер есть», — тетка всхлипывает почти натурально. Из комнаты высовывается откормленная морда в полувоенном френче. Зло смотрит на тетку: «Что орешь, как оглашенная!?» «Как же, как же. Вот...» — тетка тычет пальцем в сторону Троицкого. «Если ордер есть — вот ключ, — френч протягивает руку с ключом. — Последняя дверь по коридору». Кривя толстые губы, смотрит на свою соседку. А та все не унимается: «Как же, как же, Сергей Семенович, товарищ Перегуда, вы ж обещали похлопотать за мою Машку. Я ж вам отрез аглицкого сукна дала на костюм. Моего, царствие ему небесное, Петра Петровича. А тут эта комната уходит в чужие руки». Тетка причитает в полный голос. «Закрой пасть, Дарья, — сурово говорит мордастый Сергей Семёнович. — А твоему Петру Петровичу нечего было водку жрать днями напролет. И отрез твой весь молью потрачен. Выбросил я его на помойку». — «Гляди-ка, выбросил. А давеча в чем Вы шли в горсовет? Костюмчик-то из моего сукна», — уже язвит неугомонная тетка. Дальше — уже за спиной Троицкого — непотребный мат Сергея Семёновича. Троицкий шепчет мальчикам: «Заткните уши». Мальчишки хихикают.

Потом — время сполохами пожара, тенью и мраком. Опять пошел на кладбище, где похоронены дочь и жена. Теперь на могильном холме огромный валун. На нем надпись масляной краской: «Жертвам белого террора». Постоял в одиночестве. Слез не было. Были серые будни. Стоны раненых и больных. Острая нехватка лекарств и перевязочного материала. Затхлый, спертый воздух переполненных больничных палат. Ползли мрачные слухи: по деревням ходят отряды чекистов. Ищут оружие из разграбленных воинских складов. Обыскивают дома. Где обнаруживают оружие, тут же расстреливают всех взрослых мужчин. Арестовали врача Петю Воровского — «За помощь мятежникам Перхурова». Стало известно, что в период мятежа Пётр лечил Перхурова. Тот неожиданно заболел. Думали, тиф. Высокая температура. Понос. Позже выяснилось, что отравился лежалой рыбой. Конечно, он лечил Перхурова не под дулом револьвера. Вот это и есть главная вина врача Воровского. Дали десять лет.

Троицкий присутствовал на суде. Петя увидел Троицкого, печально улыбнулся ему. Фёдор Игнатьевич не сдержал слез. Вышел из судебного зала на улицу. Стояла тяжелая зима двадцатого года. Пришел домой. Было холодно. Мальчики сидели у тлеющего камина — это все, что осталось им от прежней жизни. Лег на диван. Развернул вчерашнюю газету «Известия». Где-то на последней странице маленькая заметка, выхватил глазами две строчки: «Расстрелян левый эсер Душин А.Ф. за содействие левоэсеровскому мятежу Марии Спиридоновой». Мелькнула неразумная мысль: «Как это Душин, сидя в глухой деревне Ярославской губернии, мог содействовать мятежу Спиридоновой?» — «Значит, смог», — ответил человек со стеклянными глазами.

Жизнь стала невыносимой. И почему-то за всеми этими печальными событиями опять виделось доктору серое, точно изъеденное тюремной пылью лицо со стеклянными глазами палача.

Как его фамилия? Никак не вспомнить. На ум приходит что-то на букву «г». Но интеллигентность не позволяет сказать Фёдору Игнатьевичу это слово вслух. Только устало подумал: «Этот палач со стеклянными глазами, что на вокзале правил бал со смертью — верно инородец. Иудей или немец. Инородцы, инородцы губят Россию», — но вспомнил добрую душу немца Фрица Букса с баржи и отверг этот черносотенный вздор. Подумал, может, правильно иронизировал левый эсер Душин: «Естественный ход истории? На смену капитализму должен придти социализм? Да еще с человеческим лицом», — не вовремя эти мысли лезут в голову. Троицкий чувствует, как непроизвольно его губы растягиваются в улыбку. И опять звучит голос Душина: «Большевики бездумно торопятся. Феодальную Россию — через эпоху капитализма в светлое царство социализма. Думают перепрыгнуть пропасть в два приема».

Поздно вечером Троицкий возвращается из госпиталя темным переулком. Вот в подворотне группа беспризорников. Двое мальчишек подходят к Троицкому. Чумазы, оборванные. С худых, грязных лиц смотрят голодные глаза. «Дядька, дай рубль», — слышит он детский голос, но в нем уже звучит бандитская угроза.

«Денег не дам. Вот вам еда, — доктор протягивает мальчишкам котомку с продуктами, полученными утром на продовольственную книжку Пети Воровского. Пётр отдал свою книжку Троицкому за день до своего ареста. «Если не заберут, книжку вернешь. А так месяц еще она действует». Пётр знал, что заберут. Доктор Троицкий видит, как мальчишки набросились на котомку. Жадно вырывают друг у друга ломти хлеба, куски сахара.

— Завтра ждите меня здесь. Я вас отведу в одно место, там вас накормят, — говорит Фёдор Игнатьевич.

— Ладно, иди, дядька. Знаем мы вашу кормежку. Загоните в трудовую коммуну. Мы к воле привыкли...

Дети скрываются в темной подворотне. Идет снег. А жизнь, кажется, остановилась. Троицкий поднимает воротник своего куцега пальто. Знобит. Как бы не слечь с температурой. Надо срочно отоварить свою и детские продуктовые книжки.

И еще одно событие надолго запало в память Фёдора Игнатьевича. Письмо из Германии. На звонок почтальона выскочила соседка Дарья. На ее визгливые крики: «Нету здесь таких, и никогда не бывало», — доктор Троицкий вышел в коридор. Дарья кинулась к нему: «Вот письмо из неметчины. Ужас какой! Город Мюнхен». Троицкий берет конверт. Письмо на имя Вербицкого Прохора Петровича. Нервно разрывает конверт. И первые строчки письма ошеломляют его: «Папа, папа, умоляю, сообщите мне, живы ли Вы. Живы ли мои мальчики...» Боже, это же отец Саши и Пети... Вербицкий — это же фамилия умершего деда мальчиков.

Дарья заглядывает Троицкому в лицо: «Буржуи проснулись? Сами в Германии, а квартиру им подавай». — «Нет, квартира не нужна», — резко отвечает доктор. Комкает письмо, сует его в карман.

— Это из «бывших», — говорит он, — спрашивают, жив ли какой-то Прохор, который жил раньше здесь. Вы не знаете, жив Прохор?

— Что знать-то?! Что знать-то? — засуетилась Дарья. — Тут до вас столько народу перебивало. Клавка — была. Иван — был. А вот Прохора не припомню.

— Ну вот, значит ошибка. Не волнуйтесь. Советская власть вас в обиду не даст.

Доктор Троицкий проходит в свою комнату. Разглаживает рукой смятое письмо, читает: «...Я знаю, что переписка со мной сейчас для Вас опасна. Папа, умоляю. Только дайте мне знать, живы ли вы?..»

Доктор смахивает слезы со своих щек. Прямо как барышня расквасился. Рот сам кривится в непроизвольной усмешке. Мальчики испуганно смотрят на него. Старший, Саша, подходит к Троицкому, спрашивает: «Это письмо от нашего папы?» — «Ну что ты, Сашенька, — доктор обнимает мальчика за плечи, — ты же знаешь, твоего папу убили на войне».

Наутро вызвали к госпитальному начальству. Сказали, в Гаврилов-Яме открылась больница. Нужен главврач. Предоставляется двухкомнатная квартира. Не раздумывая, Фёдор Игнатьевич согласился. С Ярославлем его больше ничто не связывало.

1937 год

В начале лета 1937 года в Ярославль с проверкой деятельности обкома партии прибыл член Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б) Н.Н.Зимин. Следом — представители ЦК: Лазарь Каганович и Георгий Маленков. Руководство Ярославля было обвинено в «недостаточной борьбе с врагами народа». Пост первого секретаря Ярославского обкома занял Николай Николаевич Зимин. Бывший первый секретарь Ярославского обкома Антон Романович Вайнов¹ был арестован.

Начались аресты партийных работников высшего и среднего звена Ярославля. На освободившиеся места направлялись свежие кадры из провинции. В конце июля 1937 года Иван Поспелов был вызван в Ярославль для работы в обкоме партии. Прощались торопливо. Иван был хмур и неразговорчив. Соня нервно обнимала Катю и Константина Ивановича. Шепнула на ухо Кате: «Едем как на Голгофу».

Молча выпили водки, как на поминках. Видя, что Соня опрокинула в рот рюмку, и Катя пригубила малость.

Уже в дверях Соня сказала: «Как устроимся, непременно надо свидеться. Я дам вам знать».

На фабрике «Заря социализма», в прошлом Локаловской мануфактуре, появился новый директор Колповский Алексей Петрович. С виду — вроде простоватый, неотесанный мужичок. Но когда в Ярославской газете «Северный рабочий» была напечатана статья за подписью первого секретаря Ярославского обкома Николая Николаевича Зимина, в которой одной из главных задач была провозглашена «энергичная борьба по разоблачению врагов народа», на фабрике тут же было проведено закрытое партийное собрание. Алексей Петрович на этом собрании гневно потребовал засучить рукава и провести генеральную чистку кадров. Правда, неясно, кому поручалась эта работа. Но слово было сказано.

Через пару дней после собрания директор фабрики вызвал к себе главного бухгалтера Григорьева. Долго расспрашивал Константина Ивановича, как ему работалось с Перельманом и первым директором фабрики Лямыным. Константин Иванович невзначай спросил, где нынче Лямин.

¹ Первый секретарь Ярославского обкома Антон Романович Вайнов расстрелян 10 сентября 1937 г.

Колповский нахмурился и сухо ответил: «Где-то в Ярославле был на пенсии. Кажется, арестован по делу Вайнова».

Константин Иванович не успел испугаться. Простоватое курносое лицо нового директора не внушало опасений, пока не прозвучало: «Как это вы с левым эсером Перельманом сработались?» Константин Иванович насторожился, однако сумел сдержанно пожать плечами и ответить, что он лишь выполнял работу согласно своей должности. Ожидал с некоторой тревогой, что за этим последует.

Но ничего не последовало. Директор лишь сказал, как показалось Константину Ивановичу, со значением: «Вы свободны. Работайте».

В конце рабочего дня, выходя с фабрики, Константин Иванович увидел, как от ворот отъезжал «черный воронок».

— Это кого повезли? — спросил он охранника.

— Главного инженера Носникова Тимофея Александровича, — испуганно озираясь, ответил тот.

— Недолго прослужил на фабрике главный. Меньше полугода. А вот я засиделся. Не к добру это, — подумалось Константину Ивановичу. И откуда-то из тени осенних деревьев хриплым голосом Перельмана прозвучало: «Вы еще не свели дебет с кредитом, милейший».

Как-то нервно стало на фабрике. Возникло ощущение, что все друг за другом подсматривают. Вот и начальник фабричной охраны Пётр Петрович Филатов исчез. Ведь, считай, больше десяти лет при большевиках на фабрике проработал. Еще вчера его видели, а сегодня в будке при охране другой мужик сидит. Похоже, не местный. Из чужих. Командным тоном распекает охранников. Из фабричных кто-то видел, как баба Петра Петровича рвалась с ревом в ворота фабрики.

Новый начальник охраны пригрозил, что следом за мужем и ее отправят куда надо.

Константин Иванович в своей бухгалтерии стал чувствовать себя неуверенно. Подчиненные стали вести себя излишне независимо. Как бы без прежнего почтения. Константину Ивановичу уже слышится поганенький выкрик: «Кто здесь временный? Слазь».

Слава Богу, хоть дома все идет на лад. Младшая дочь, Наденька, после десятилетки год проработала медсестрой у доктора Троицкого. Доктор дал ей, конечно по-родственному, прекрасную характеристику для поступления в мединститут. Правда, рекомендовал сначала поступить в медицинское училище. В институте — конкурс сумасшедший. Наденька в августе уехала в Ленинград. В сентябре родителям пришлось письмо от нее: в институт не прошла по конкурсу. Поступила в медицинское училище. И еще пришлось письмо от Сони Пospelовой. Она собиралась скоро приехать в Гаврилов-Ям. Есть серьезный разговор. Мало тревог на фабрике! Какой тут еще серьезный разговор?

Соня приехала в субботу вечером. Одна, без Вани.

Объяснила загадочно: «Ему лучше не слышать того, что я вам скажу». — «Сонечка, а Ваня знает о цели твоего визита?» — спросил Константин Иванович. Соня утвердительно кивнула головой.

И вопрос какой-то странный задала: «Где ваши дочери?» Будто не знает этого. «Сонечка, ты же знаешь, Вера в Ленинграде. И Надя уехала в Ленинград в августе, — с тревогой проговорила Катя. — Давай сразу выкладывай. Не мучай нас загадками».

Соня тяжело вздохнула, подошла к открытому окну, выглянула на улицу. «Не возражаете? Я закрою окно и задерну занавески», — обратилась она к хозяевам. Катя и Константин Иванович озабоченно переглянулись, согласно кивнули. «Разве вы не знаете, что творится сейчас в Ярославле?» — спросила Соня. — Вайнов расстрелян. Арестованы второй секретарь обкома партии Нефедов, председатель облисполкома

Заржицкий, директор автозавода Еленин, начальник Ярославской железной дороги Егоров, директор комбината “Красный Перекоп” Чернышёв. Да что там говорить. Нет смысла перечислять дальше. Короче, вам, Катя и Костя, надо уезжать из Гаврилов-Яма. Но только не в Ярославль, а куда подальше».

— Сонечка, я же не директор какой-нибудь. Просто бухгалтер, — промямлил Константин Иванович.

— О чем ты, Костя! Ты что, лучше декана педагогического института? — сухо, без эмоций ответила Соня.

— Что, и его арестовали? — потерянно спросила Катя. Не получив ответа от Сони, оглянулась на мужа. А тот, тяжело глядя на гостью, произнес:

— Значит, на меня уже дело состряпали.

— Спущен лимит на врагов народа для нашей области. Я не должна вам об этом говорить. Но если не скажу, я буду проклинать себя всю жизнь, — Соня с трудом выговаривает слова. — С 1918 года член левозэсеровской группировки во главе с левым эсером Перельманом. Активно пропагандирует буржуазное упадническое искусство. Исполняет романсы в общественных местах. Костя — это про тебя! — отчаянно выкрикнула она.

— Как, Соня? Имя Перельмана в Ярославле на памятнике жертвам белого террора начертано рядом с именами Нахимсона и Закгейма! — восклицает Константин Иванович.

— Костенька, уже несколько лет как его имени там нет. Он же при жизни был близок к Марии Спиридоновой. А по нынешним временам это уже преступление, — Соня тяжело вздохнула.

Опять подошла к окну, отдернула занавеску. Долго всматривалась в темноту улицы. Потом обратилась к Константину Ивановичу:

— В свое время факты, изложенные в доносах на тебя, проверялись. Не подтвердились. Но сейчас, милые мои, — в голосе Сони слышится отчаяние, — если надо, могут легко подтвердиться. И Ваня, будучи в Ярославле, не сможет повлиять на процесс. Все будут решать местные товарищи. А они уже взяли под козырек. Вы же статью Зимина в «Северном рабочем» наверняка читали.

В молчании выпили чаю. На ночь уложили Соню в комнате дочерей. Рано утром она засобиравшись домой. На просьбы Кати побыть с ними еще несколько часов, Соня ответила, что не может задерживаться. Ваня будет беспокоиться. Тем более что автобусы до Ярославля ходят редко. Константин Иванович и Катя попытались было проводить Соню до автобусной остановки. Но Соня категорически запретила им это делать. «Конспирация», — усмехнулся Константин Иванович.

— Костя, прошу ко вчерашнему разговору отнестись серьезно. Обещай мне, — Соня обнимает Константина Ивановича. Целует Катю.

Константин Иванович долго стоит на крыльце своего дома, провожая взглядом Соню. Вот она свернула за поворот и скрылась за домами. Невыносимая тяжесть навалилась на него. И горечь и тоска, будто на собственных похоронах. Все, чем жил свои пятьдесят пять лет, надо оставить, вычеркнуть и забыть. Гаврилов-Ям, где каждая улица родная. Ехать в неизвестность, в чужой холодный Ленинград. И где жить? Обе дочери живут в общежитиях. Прошло два тягостных дня. На третий Катя пришла из школы рано и буквально в дверях заявила: «Все. Я уволилась». Константин Иванович сам только что вернулся с фабрики, даже не успел снять ни шляпы, ни плаща. На улице моросил осенний дождь.

— И что, Николай Семенович Петрушкин, уважаемый ваш директор, не удивился, не уговаривал остаться? Не рыдал, мол, учебный год только начался, где мы найдем вам замену? — Константин Иванович неуверенно улыбался.

— Нет. Без вопросов подписал заявление. Лишь сказал: «Желаю успехов на новом поприще», — Катя морщится, как от зубной боли.

— Странно все это. Будто ждал твоего увольнения, — тяжело вздохнул Константин. — Что ж. И мое время пришло собирать вещички.

На следующий день он отправился в отдел кадров фабрики. Старый кадровик, Сергей Кузьмич, удивленно уставился на главного бухгалтера: «Костя, в чем дело? — и не дождавшись вразумительного ответа, перешел на официальный тон: — Я не могу подписать ваше заявление об увольнении. Прошу завизировать его у Калповского».

В кабинете директора фабрики Константин Иванович почувствовал себя совсем неудобно. Взглянув на заявление, директор вонзил злой прищур в своего подчиненного:

— Какой прибавки вы хотите к своему окладу? — Услышав в ответ, что никакой, холодно произнес: — Что ж. На ваше место у меня уже есть человек.

Раздраженно, так, что едва не порвал бумагу, он поставил свою подпись со словами: «Не возражаю». Еще раз подозрительно взглянул на Константина Ивановича, проговорил желчно: «Я говорил, что необходима чистка кадров на фабрике. Считайте, что мы начали с вас».

В отделе кадров Константин Иванович получил справку и в ней вдруг обнаружил сведения о поощрениях и награждениях. Благодарность за организацию качественного бухгалтерского учета и контроля. За что он премирован десятью аршинами мануфактуры. Благодарность за добросовестный труд в честь десятой годовщины Октябрьской революции. Выдана премия двадцать рублей. И уже совсем недавняя запись: «За долголетний добросовестный труд и в связи с двадцатилетием работы на фабрике объявлена благодарность и премия». Какая премия, на этот раз не сказано. Да Константин Иванович и не помнит, чтоб премия ему выдавалась последнее время.

«Ну что, Костя, не помнишь, как получал десять аршин мануфактуры? — прозвучал ироничный голос кадровика Сергея Кузьмича. — Да вот еще тебе документик. О том, что ты жертва белогвардейского террора 1918 года». Константин Иванович рассматривает бумагу: «Арестован белогвардейцами, июль 1918 года, приговорен к расстрелу, освобожден отрядом Красной армии» И подпись: председатель Гаврилов-Ямского сельсовета Иван Данилович Поспелов. «Я приговорен к расстрелу, — невесело подумал Константин Иванович. — Не совсем, конечно, к расстрелу. Но кто сейчас об этом помнит? Впрочем, лучше бы не вспоминали».

«Давай, Костя, провожу тебя до ворот», — говорит Сергей Кузьмич.

Они выходят за ворота фабрики. «Спасибо, Кузьмич, на добром слове», — Константин Иванович обнимает Сергея Кузьмича. «Ты вот что, бумагу Ивана Поспелова береги. Время сейчас такое. При случае может помочь», — напутствует Кузьмич. «Понимаю», — отзывается Константин Иванович, хотя не очень понимает, как эта бумага ему может помочь. «Куда? В Ленинград или в Москву?» — спрашивает Кузьмич. И Константину Ивановичу уже кажется, что не зря кадровик пытается его. «Не решил еще. И в Москве мою тетку, наверное, помнят. И в Ленинграде — дочери», — отвечает он уклончиво. «Да, твоя тетя, Марина Григорьевна, это сестра твоего отца. При Дзержинском служила. Знаю, знаю», — говорит Кузьмич. Такая осведомленность кадровикастораживает Константина Ивановича. Он вглядывается в сморщенное, как печеное яблоко, лицо Кузьмича. Тот понимающе улыбается: «Такая у меня работа, — Кузьмич тяжело вздыхает. — Эх, Костя, знал бы ты, сколько за моей спиной могил. А еще больше спасенных душ».

Еще раз обнялись. Константин Иванович даже пожалел, что не подружился с Кузьмичом раньше. Все было как-то недосуг: «Кузьмич — привет». «Костя, здоровья желаю». И не больше.

«Вовремя, Костя, ты от нас убываешь», — Константин Иванович слышит глухой шепот Сергея Кузьмича. — Тяжелые времена у нас наступают». Холодок пробежал по спине Константина Ивановича. «Может, еще обойдется», — нерешительно отзывается он. «Дай Бог», — Кузьмич крепко жмет Константину Ивановичу руку.

Жена врага народа

Соня вернулась домой. Иван что-то печатал на пишущей машинке. Увидев жену, предложил ей сесть в кресло и не волноваться. Стал говорить с какой-то пронзительной обреченностью:

— Милая моя Сонечка, на завтрашнем партсобрании меня исключат из партии. Ты это знаешь. А дальше увидимся ли мы?..

Соня не дает ему закончить фразу:

— Ваня, что? Арестуют? Должно быть какое-то следствие! — отчаянно выкрикивает она.

— Обвинение уже готово. Я не знаю, когда мы теперь увидимся. И увидимся ли вообще, — голос Ивана еле слышен. — Вот подпиши.

Иван протягивает ей лист печатного текста. Соня читает вслух: «Я, Софья Наумовна Пospelова... года рождения, как истинно советская женщина, гневно осуждаю враждебную деятельность Ивана Даниловича Пospelова, с которым до сего дня находилась в браке...»

— Что значит до сего дня? А дальше?! Ваня, что это такое?

Соня с отчаяньем рвет лист, бросает его на пол.

— Это значит, что ты должна отказаться от меня как от мужа. — Иван пытается не смотреть на жену.

— Никогда! Никогда, Ваня! — рыдания перехватывают крик Сони.

Иван кусает губы. Из губ сочится струйка крови. Он опускается на колени перед женой, обнимает ее ноги.

— Сонечка, ты не знаешь, что такое Алжир¹. Это ужас! Подпиши, ради всего святого. Я за тебя хочу быть спокоен. Это моя последняя к тебе просьба.

Иван берет со стола другой лист бумаги.

— Я знал, что ты разорвешь. Вот второй экземпляр, — Иван усаживает жену за стол. — Вот здесь твоя подпись.

Соня безвольно подписывает текст. Прочитать его полностью не было сил.

Рано утром, когда Соня проснулась, Ивана дома уже не было. На столе записка: «Я люблю тебя, дорогая. Все, что у меня было и есть — это только ты».

Больше она мужа не видела.

В ярославских газетах появилась маленькая заметка о том, что прошел закрытый судебный процесс по делу «приспешников врага народа Н.Н.Зими́на». Далее перечисление фамилий «приспешников». И среди них фамилия Ивана Пospelова. Статья заканчивалась: «Все эти предатели получили по заслугам. И пусть каждый еще не разоблаченный враг народа помнит, что от справедливого советского суда он не уйдет».

Через неделю Соня получила по почте повестку в районный отдел НКВД. Видимо, Ваня бросил в почтовый ящик Сонино отказное письмо.

Сотрудник НКВД долго молча рассматривает Соню. Пальцы его выстукивают по столу какую-то нервную дробь. Потом он раскрывает черную папку, и Соня видит лист бумаги со своей подписью.

Текст был напечатан на пишущей машинке. В тот злополучный вечер Соня, подписывая отказную бумагу, не обратила внимания, что подписывает печатный текст.

— Это вы печатали? — слышит она голос чекиста.

¹ Акмолинский лагерь жен изменников Родины.

Соня кивает головой. И ей становится страшно. Ведь это печатал Ваня. Но тут же она берет себя в руки: на столе Вани стоит машинка «Ундервуд». И все партийные доклады Соня печатала под диктовку Вани. Все-таки она учитель — гарантия, что в тексте не будет грамматических ошибок.

— На какой машинке печатался текст? — слышит она бесцветный голос.

— Ундервуд, — произносит Соня мертвым голосом.

— А ну, попробуйте напечатать что-нибудь.

Соня бросает взгляд, куда указывает чекист. В углу комнаты на отдельном столе стоит пишущая машинка.

— Эта марка машинки мне не знакома, потому...

— Понимаю, — прерывает ее чекист, — все равно пробуйте.

Соня садится перед машинкой. Сначала неуверенно, а потом все быстрее печатает: «У лукоморья дуб зелёный; златая цепь на дубе том: и днём и ночью кот учёный все ходит по цепи кругом».

— Не надо кругом. Пожалуйста, прямо, — насмешливо говорит чекист. — Печатайте: я, София Наумовна...

Соня оглядывается на чекиста:

— Простите, не София, а Софья.

— Как прикажете, — усмехается тот. — Пожалуй, здесь недоработка советской орфографии. Впрочем, оба варианта возможны.

Соня слышит булькающий хохоток. И потом жесткий голос:

— Софья Наумовна Пospelова, в девичестве Иоффе, года рождения... сообщаю...

— Что я сообщаю? — Соня испуганно оглядывается на чекиста.

— Как что!? Отказываетесь от своего мужа, Пospelова Ивана, как от врага народа, — зловеще шепчет ей на ухо чекист, стоя за ее спиной.

Соня вскакивает со стула, отталкивая склонившегося над ней мужчину.

— Я уже об том написала. Сколько можно! — выкрикивает она отчаянно.

— Столько, сколько нужно, — слышит она ядовитый голос. — Не хотите писать. Значит, это муж вас заставил написать?

Соня вдруг видит перед собой лицо Вани и слышит его голос: «Мужайся».

В ней вспыхивает отчаянная ненависть к своему мучителю. Этому сотруднику НКВД. И она печатает фразу: «отказываюсь как от врага народа».

— Вот это уже дело, — чекист почти дружелюбно смотрит на Соню. — Взгляните: это ваша подпись?

Перед Соней лист с ее подписью. Она бессильно кивает головой.

— Вот и чудненько, — слышится елейный голос. Соня удивленно смотрит на чекиста.

— У меня больше нет вопросов, — говорит он. — А сейчас пройдите в соседнюю комнату. Там вас ждут.

Соня встала, направилась к двери. И уже на выходе слышит опять голос чекиста:

— Софья Наумовна, вы и своим близким пишете письма на машинке?

Соня останавливается, собравшись с духом и мельком взглянув на чекиста, отвечает:

— Вы же понимаете, НКВД не мог входить в круг моих близких.

И опять булькающий смехок за спиной, и опять елейный голос:

— С сегодняшнего дня вам придется смириться с фактом, что в кругу ваших близких появился Народный комиссариат внутренних дел.

Соня чувствует, как холодная испарина покрывает все ее тело. И жуткая, убийственная мысль поражает: «Они хотят меня сделать своим агентом».

В соседней комнате опять человек с таким же смазанным лицом. Поразительно, как они все неразличимы. И такой же невыразительный голос:

— Софья Наумовна, вы получите новый паспорт, где будет отсутствовать

свидетельство о браке. Вы останетесь на своей прежней фамилии, или вас записать под девичьей, Иоффе?

— Оставьте — Пospelова, — Соня со страхом ждет ответа чекиста. Но слышит почти дружелюбное:

— Разумно, все-таки русская фамилия.

Соне хочется крикнуть: «Вы — антисемит!». Гневно, откуда силы взялись, взглянула на чекиста. И вдруг встречает умный, почти сочувствующий взгляд. И звучит его спокойный голос:

— С прежней фамилией вас легче контролировать, — и, почти шепотом: — Я бы вам рекомендовал как можно скорее покинуть Ярославль, — и уже громко и отчетливо: — За паспортом — в следующий понедельник. Подпишите эту бумагу с вашими новыми паспортными данными. Кстати, на всякий случай запомните мое имя: Свистунов Семён Аркадьевич, старший майор государственной безопасности.

Окинул фигуру Сони омерзительно похотливым взглядом. Будто раздел ее. Соня бросила на него презрительный взгляд. И встретила вдруг опять добрую, благожелательную улыбку. «Как они умеют менять свое лицо. Как бы мне не попасться на их удочку. Страшно, какую еще наживку они мне предложат», — эта трезвая мысль была мгновенно смята, будто ударом молотка по черепу. Вопрос, который все время звучал у нее в голове. Но именно сейчас, здесь, в помещении НКВД, мгновенно привел ее в ужас: «Ваня расстрелян?» И решение: она пойдет на все, лишь бы узнать, что с Ваней?

Из школы, где она работала, пришло письмо. Директор вежливо напоминал, что время ее отпуска, взятого за свой счет, заканчивается. Просил зайти до окончания срока.

Тут же собралась. Благо школа рядом. Уроки уже закончились, так что учеников она не встретит. В школе, конечно, уже известно все про Ваню. Так что косых взглядов не избежать. Особенно больно видеть враждебные взгляды школьников. Еще недавно — любимая учительница. Впрочем, насколько это было искренне? Как-то случайно услышала разговор о себе двух учителей: «Вон красавица наша, Сонька Пospelова, опять на доске почета. Еще бы. Муж-то ее нынче какой партийный бонза».

А когда Николай Николаевич Зимин был расстрелян, новый подленький слухок пополз среди учителей: «Скоро и до Пospelова доберутся». Все это докладывала на ухо Соне ее лучшая подруга Настя Романова. «Долго ли Настя будет лучшей подругой?» — тогда еще подумала Соня.

И вот сейчас она идет по коридору школы. Видит, как сторонятся ее бывшие товарищи по работе. Легкий кивок, и тут же отводят глаза. А то и вовсе не замечают. Вот толпа школьников высыпала из класса. Верно, с продленки. Увидев ее, замерли. Никто не сказал: «Здравствуйте, Софья Наумовна». Когда она прошла мимо, загалдели. И Соня слышит за спиной: «Предательница». Вот, наконец, и кабинет директора. Дальше идти просто не было сил. В кабинете школьный народ. Директор привстал со своего стула. Улыбнулся Соне так, что ее чуть не стошнило. Присутствовавшие учителя как-то бесшумно растворились. Ни один не поздоровался с ней. Вышли из кабинета, в упор не видя Соню. А за их спинами шмыгнула и лучшая подруга, Настя Романова. Однако успела пожать руку Соне, но так, чтобы никто не видел.

«Присядьте», — слышит Соня сухой голос директора. Натянутая улыбка не сходит с его лица.

— Мне звонили оттуда, в связи с изменившейся ситуацией, просили. Нет. Предложили создать вам благоприятную обстановку для вашей дальнейшей работы в нашей школе. Звонил товарищ Свистунов Семён Аркадьевич. Ваш знакомый?

Соня слегка кивнула головой.

— Вот и отлично, — директор улыбается. Но глаза его холодные и злые. — Но понимаете, создать благоприятную обстановку, как предлагает ваш знакомый, —

мерзкая улыбочка исказила интеллигентное лицо директора, — будет трудно осуществить. Сами понимаете, ситуация вышла из-под контроля. Может, вам лучше перейти в другую школу? Тем более, в связи с вашим отсутствием, часть ваших учебных часов я передал Настасье Кузьминичне Романовой.

— И Романова не возражала? — спросила Соня. На душе безнадежно горько. Вот она — лучшая подруга. Впрочем, с какой стати она должна возражать? Каждый хочет заработать лишний рубль.

Директор надевает очки, что-то рассматривает среди своих бумаг. Соня понимает, что разговор окончен. Она встает.

— Насчет перехода в другую школу я подумаю. А пока продлите мой отпуск за свой счет еще на пару недель, — говорит Соня.

— Да, да. Конечно, — в голосе директора очевидное облегчение. С этой Пospelовой всегда были проблемы. И когда муж ее был в верхах. Не дай Бог, Софье Наумовне перечить. И сейчас, когда этот муж, страшно сказать, изменник Родины — морока в оба бока.

— А товарищ Свистунов — не мой знакомый, как вы, Иван Иванович, изволили двусмысленно выразиться, — слышит директор голос Сони Пospelовой. И в ее голосе явно звучат какие-то жесткие ноты. Иван Иванович настороженно вглядывается в Сонино лицо.

За все время разговора Соня первый раз назвала директора по имени-отчеству. Вот трудно было ей почему-то произносить его имя.

— Товарищ Свистунов — старший майор государственной безопасности, — продолжает Соня, — может, и вам придется с ним познакомиться.

От этих слов Ивану Ивановичу стало нехорошо. Он испуганно вскинул глаза на Соню. Что-то странное произошло с его молодой сотрудницей. Перед ним стояла уже не та потухшая и загнанная женщина, что была в начале беседы. А воительница, ну прямо Жанна д'Арк.

Директор хочет что-то сказать в свое оправдание. Даже готов предложить остаться в школе. Раз товарищ Свистунов рекомендовал, он все сделает, чтоб коллектив школы относился с положенным уважением к Софье Наумовне. Но слова как-то не складываются. Он даже встал со своего стула. Но дверь его кабинета уже закрылась за Соней Пospelовой.

Дома Соня упала на диван. Стон и рыдания, похожие на вой одинокой ночной волчицы, разрывали ее грудь: «Ванечка, милый мой! Что же мне делать! Как мне без тебя?! Помоги мне. Помоги!»

Пролежала с раскрытыми глазами почти всю ночь. Не заметила, как заснула. Проснулась оттого, что солнце било в глаза сквозь морозные узоры на стекле. Ополоснула лицо холодной водой. Есть не хотелось. Да и не было ничего на кухне, кроме сырой картошки и подсолнечного масла. Выпила крепкого чая с куском черного хлеба. Взглянула на себя в зеркало: измученное лицо с темными подглазниками. А вот бедра и грудь непозволительно откровенны. Горько усмехнулась: надо идти за паспортом, а там этот кобель, товарищ Свистунов. Не думая, мазнула губы ярко-красной помадой. Еще раз взглянула в зеркало: «Парижская шлюха». Почему парижская? Ни разу не была в Париже. Помнит только: «Пуанкаре — война». А этого достаточно, чтоб шлюха была французской.

Вот она сидит в кабинете старшего майора государственной безопасности Свистунова. Семён Аркадьевич долго роется в своем столе. И Соне кажется, что он умышленно тянет время. Наконец перед ней лежит паспорт.

— Проверьте, все ли правильно написано, — говорит старший майор.

Соня листает паспорт. «Все правильно», — произносит неуверенно Соня.

— Что-нибудь еще? А?— Свистунов сидит с открытым ртом. И лицо его кажется совсем глупым.

— Суд над Пospelовым уже был. Я читала в газетах. Но я не получила никакого документа о судебном приговоре. Я не знаю, что с ним,— еле слышно произнесла Соня.

— А причем здесь вы? Пospelов вам никто. Взгляните на ваш паспорт. Вас никто не заставлял отказываться от мужа. Почему мы должны вам чего-то сообщать о нем? А?— Свистунов склонил голову набок. Сдвинул свою левую щеку так, что открылась половина рта. И еще прищурил левый глаз.

— Я хочу знать, что с ним. Может, его расстреляли? — Соня не слышит своего голоса.

— Может,— старший майор пожимает плечами. И что-то похожее на скорбную мину появилось на его лице.

— Умоляю вас, что с ним!— отчаянно выкрикивает Соня.

— Я, конечно, могу пойти на нарушение внутреннего распорядка. И представить вам судебное решение,— некоторое время Свистунов молчит. Рассматривает Соню с торгашеским пристрастием. Потом Соня слышит его голос, вдруг ставший приторно-сладким:

— Вы ж понимаете. Я рискую. А что вы мне предложите?

— Я? А что я могу?— Соня старается унять дрожь во всем теле. Ее будто окатили ледяной водой. А потом нестерпимый жар. Она чувствует, как пот покрывает все ее тело.

— Вам плохо?— участливо спрашивает старший майор.

— Нет, нет. Все нормально,— Соня глубоко вздыхает,— сколько вы хотите денег? Видит, как лицо чекиста расплылось в широкой улыбке.

— А что же вы хотите?— потерянно произносит Соня, уже зная ответ Свистунова.

— Вас, моя милая,— шепчет старший майор. Встает из-за стола. Обнимает за плечи Соню. Соня вскакивает. Сбрасывает руки старшего майора со своих плеч.

— Ну, не надо так. Я же вижу, что мы договорились,— Свистунов улыбается. — Так что в пятницу я вас жду. И документ о судебном решении будет у вас.

Соня выходит в коридор. Ее всю трясет, как в лихорадке. И мысль, словно мучительная головная боль, от которой можно сойти с ума: «Только бы Ваня был жив. Будьте прокляты все, все. Только бы Ваня был жив».

И настала это проклятая пятница. И вот она стоит перед зеркалом. Сурьмит брови и ресницы. Красит губы кроваво-красной помадой. Юбка, обтягивающая бедра.

Зимнее пальто. Чернобурка на плечах. Что-то попало под руку. Швырнула на пол. Разбила карманное зеркало. Жизнь разбила. Блестящие осколки под ногами.

Вот они идут по заснеженной улице Ярославля. Свистунов пытается взять ее под руку.

— Нет, нет,— Соня отталкивает его.

В комнате полумрак. На столе вино, фрукты. Свистунов вынимает из кожаного планшета бумагу.

— Это приговор суда,— говорит он.

Соня впивается глазами в текст. «Ради Бога, включите яркий свет!» — кричит она.

Над головой вспыхивает хрустальная люстра.

«Десять лет без права переписки», — читает Соня. «Жив», — проговорила она. А дальше — как в тумане. Безвольно проследовала за Свистуновым в спальню. Лежала, ничего не чувствуя. Только ощущение брезгливости. Потом ночное такси до дома.

Перед этим шальной шепот старшего майора: «Будь со мной навсегда». Бумажку с номером телефона он сунул ей в карман. И опять: «Я буду ждать твоего звонка».

Утром она получила письмо от матери из Ленинграда. Мать просила приехать. Отец тяжело болен. Решение пришло сразу. И она уже в кабинете у директора школы. Пишет заявление об увольнении. «Да что вы?— восклицает Иван Иванович. — Как можно!» Но скрыть радость он не в состоянии.

Ленинград встретил слякотью. С серого неба сыпал мокрый снег. Народ, одетый убого и серо, куда-то озабоченно торопился. И чернобурка на плечах Сониного пальто вызывала недоброжелательные взгляды.

Соня оставила свою маму, Анну Давыдовну, сторожить чемоданы у выхода с Московского вокзала, а сама пытается поймать такси. Но все машины проносятся мимо.

Снег превратился в дождь. И роскошная Сонина чернобурка под дождем превратилась в драную кошку. Соня взглянула на свои плечи: точно «драная кошка». Вот они с матерью идут на трамвайную остановку. С трудом пробиваются со своей поклажей в переполненный вагон. Время было рабочее. Люди висели на подножках трамвая. Внутри вагона стояла ругань: кому-то наступили на ногу. А какой-то шибко сознательный умник требовал у толстого мужика, рассеявшегося на два места, чтоб тот уступил одно пожилой женщине. Соня оглядывается и пожилых женщин, кроме своей матери, рядом не видит. А Анна Давыдовна сердито шепчет на ухо Соне: «Не гляди по сторонам, а следи за своими карманами». Соня с каким-то нехорошим чувством морщит лоб. А мать извиняется за свой город, утверждает, что все это не ленинградцы. Это все приезжие. Ленинградцы такого себе не позволяют. Чего «такого», Соня не спрашивает. А умник уже откровенно бросает на Соню призывные взгляды, явно предлагая ей поддержать его гражданский почин, а может быть и большее. И это «большее» особенно раздражает Соню. Она пытается отодвинуться так, чтобы не видеть умника. Но теснота такая, что протиснуться сквозь толпу совершенно невозможно. Соня последнее время замечала в своем облике что-то порочное, что притягивает взгляды мужчин. А уж сейчас это было просто невыносимо: она ехала на похороны отца. О его смерти мать сообщила, еще не обняв дочь при встрече. Отец умер, пока Соня ехала из Ярославля.

Двухкомнатная квартира на проспекте Володарского уже полна была родственниками и друзьями. И там все еще продолжался спор, где хоронить Наума Исааковича, отца Сони. На еврейском Преображенском кладбище или на Коммунистической площадке Александрово-Невской лавры. Наум Исаакович как старый большевик был достоин Коммунистической площадки Александрово-Невской лавры. Его ленинградские друзья еще помнят, как он неустанно повторял, что всякая наука не только должна быть классовой, но и партийной. Как он доносил до студентов эту идею, будучи профессором высшей математики, оставалось загадкой. Но руководство института утверждало, что именно Наум Исаакович есть представитель «плеяды красной профессуры». Правда некоторые злые языки — а где их нет — болтали, будто мысль, что «всякая наука не только должна быть классовой, но и партийной наукой» принадлежит М.Н.Покровскому¹. «История — это политика, опрокинутая в прошлое», — любил повторять Наум Исаакович, правда на авторство не претендовал.

А сейчас, над гробом — или хорошо, или ни о чем. Но спор, где хоронить, продолжался.

Преображенское кладбище требовали родственники из Житомира, а Коммунистическую площадку — ленинградские друзья семьи. Анна Давыдовна в этот спор не вмешивалась. Говорила: «Только бы поближе к дому».

¹ Покровский М.Н. — видный русский историк-марксист, советский политический деятель. Лидер советских историков в 1920-е годы. Глава марксистской исторической школы в СССР. Академик Белорусской АН.

Победили в споре ленинградские друзья. Но тут выяснилось, что с захоронением на площадке Александро-Невской лавры возникли определенные сложности, которые на данный момент не преодолеть. Уже как-то второпях выбрали Красненькое кладбище. Опять вспомнили, что Наум Исаакович — старый большевик. А кладбище все-таки *красненькое*. К приезду Сони эти споры уже улеглись.

На могиле решили установить деревянную пирамиду с металлической красной звездой. На более достойный памятник из гранита решили скинуться в ближайшее время. Но скинуться не случилось. Надвигалась страшная война. Небесный счетовод уже начал отбивать свой тревожный набат. Но народ, как всегда, был глух к нему.

Соне надо было устраиваться на работу. Для этого нужна прописка. Управдом, Александр Александрович, помнил Соню еще девчонкой. Она тогда училась в высшем Императорском женском педагогическом институте. Чтобы поступить туда, пришлось принять православие. Крещение Сони было семейной тайной. Но об этой тайне знали все соседи. Заканчивала она обучение уже в Третьем петроградском институте. (С 1920 года — Институт имени Герцена). Александр Александрович тогда не был управдомом, работал кладовщиком на Путиловском заводе. Жил в том же доме, что и семья Иоффе.

По окончании института Соня отправилась на работу в Ярославль.

Управдом лишь сказал, увидев в ее паспорте фамилию Пospelова: «Замужем». Взглянул на следующую страницу паспорта, уже строго спросил: «А где штамп о браке? Вы в разводе? Тоже штампа нет».

«Считайте, что Пospelова — мой псевдоним», — вымученно улыбнулась Соня. «Все шутите», — строго проговорил управдом. И тут в голове Сони заискрился стишок: «В Загсе публики обилье. Идут люди хлопотать, чтобы скверные фамилии на красивые сменять. Голопупенко на Чацкий, Соплякова на Сафо...» Она уже хотела этот стишок произнести вслух. Но под суровым взглядом управдома слова застряли в глотке. Соня смотрит на управдома и вдруг начинает чувствовать к нему почти отвращение. Угрюмо говорит: «Я не была замужем и не разводилась. Просто сменила фамилию. Что? Нельзя?»

Она хотела сказать, что вот и Каменев и Зиновьев сменили фамилии. И товарищ Сталин нынче не Джугашвили. Но упоминание имени товарища Сталина рядом с именами «врагов народа» показалось ей совсем уж ни в какие ворота. Тут еще началось какое-то першение в горле.

Может, это Небесный счетовод вовремя ее надоумил промолчать. И она уже слышит почти доброжелательный голос управдома: «Конечно можно. Это ваше право». А он еще хотел сказать, что нынче все евреи меняют фамилии. Но вспомнил, что семья Наума Исааковича Иоффе пользовалась уважением в доме. Да и друзья их семьи имели в городе серьезные связи. Тут уж лучше от греха подальше. Вовремя заткнуть себе рот. Так что с пропиской Сони в родительской квартире все уладилось.

Однако Александр Александрович послал запрос в районный НКВД. Через пару недель пришел ответ, что Пospelова Софья Наумовна ни по каким делам на сегодняшний день ни как свидетель, ни как подозреваемый не проходит. Но вскоре Александр Александрович спохватился, что не указал в своем запросе, а может и доносе — работа у него такая, — что Софья Пospelова приехала из Ярославля, где проживала долгое время. Две ночи ворочался без сна. Жена даже раздраженно заметила: «И что, Александр, опять тебе в башку что-то втемяшилось? Спать не даешь». Все-таки умная женщина. Александр Александрович решил не будить зверя. Не хватало, чтоб и его самого начали проверять. Вот засветишься излишним усердием. А кто не без греха? И потом, мать Софьи — врач в районной поликлинике. Приходится иной раз к ней обращаться. Годы ведь не молодые. Всякие болячки полезли. Эти резонные мысли совсем смирили Александра Александровича, и он сообщил жене,

что надо бы показаться Анне Давыдовне. Мол, какая-то немочь одолела его. И жена его поддержала: «Сходи, конечно. Анна Давыдовна хороший врач».

А Соне ленинградские друзья названивали, сообщали адреса школ, где ее ждут с нетерпением. «Так уж и с нетерпением», — Соня кривит свой красивый чувственный рот, больше предназначенный для поцелуев, чем для язвительных гримас. «Не надо так о людях. Они стараются. А ты нос задираешь», — с какой-то безотчетной покорностью произносит Анна Давыдовна. Соне вдруг становится невыносимо жаль свою мать. Но не рассказывать же ей, чего стоят эти друзья. И какой у нее, Сони, печальный опыт ярославской школы.

Впрочем, все вроде складывалось благополучно, но на душе было беспокойно. Кто-то свыше предупреждал Соню, но она пока не понимала, о чем. Но когда появилась утренняя тошнота и задержка месячных перевалила за три недели, Соня поняла, что пришла беда. Гинеколог подтвердила, что у нее беременность пять недель.

Соня судорожно посчитала дни, и уже не было сомнения, что ребенок — от старшего майора НКВД Свистунова.

В тот же день Соня сообщила матери о своей беременности. «Какое счастье! Ваничкин ребенок!», — радостно воскликнула Анна Давыдовна. Но увидев потемневшее лицо дочери, испуганно спросила: «Что? Это не Ваня?» — «Мама, не спрашивай меня ни о чем. Мне надо сделать аборт», — глухо проговорила Соня. «Доченька, но аборт запрещены», — Соня не слышит этих слов матери. «Подпольный аборт — это же опасно», — повторяет Анна Давыдовна. «Мама, не пугай меня, — устало произносит Соня. — Я знаю, у тебя есть знакомые гинекологи, которые делают это».

— Эта операция стоит очень дорого. Мне придется заложить в ломбард папины золотые часы. И свое кольцо с рубином, — обреченно сообщает Анна Давыдовна.

— Вот этого делать не надо. У меня деньги есть. Поспелову платили хорошую зарплату, — в голосе дочери слышалась бесконечная усталость.

— И все-таки что с тобой случилось? — Анна Давыдовна с сомнением смотрит на дочь.

— Мама, не мучай меня. Прошу, не мучай! — с отчаянием произносит Соня. Мать обнимает дочь. Шепчет еле слышно: «Все пройдет, дорогая. Все пройдет».

Аборт дочери делала знакомая Анны Давыдовны гинеколог Семёнова. Началось сильное кровотечение. Соня временами теряла сознание. Анна Давыдовна переводила взгляд с бледного лица дочери на испуганное лицо гинеколога. И ей становилось страшно. А после того как она услышала от Семёновой: «Я сделала все, что могла», — Анна Давыдовна позвонила другу умершего мужа, Николаю Самсонову, у которого были серьезные связи в медицинских верхах. Впрочем, не только в медицинских. Николай был вездесущ. Уж очень не хотелось вовлекать ленинградских друзей в это дело. Ведь причастность к подпольному аборту могла закончиться для них печально. Другое дело, Семёнова — она рисковала за большие деньги. Анна Давыдовна только сказала в трубку: «Коля, у нас беда». И Самсонов уже звонит в дверь. А через пару часов в комнате, где лежала Соня, сидел седовласый суровый старик, как его позже представил Николай — профессор Рихтер. Профессор попросил всех выйти. Николай обнял за плечи Анну Давыдовну, негромко произнес: «Он творит чудеса». Гинеколог Семёнова тихо исчезла. Молча сидели в комнате. Прозвучал робкий звонок в дверь. Появилась Ольга, жена Николая. На цыпочках проследовала к дивану, где сидел ее муж.

Наконец из Сониной комнаты вышел профессор Рихтер. «Кровотечение остановлено. В случае рецидива звоните в любое время». Подал Анне Давыдовне бумажку с номером своего телефона. «Я вам буду очень благодарна», — Анна Давыдовна обеими руками ухватила за протянутую руку профессора. Рихтер сурово

посмотрел на Самсонова. Такой же суровый взгляд брошен на Анну Давыдовну. Надменно кивнув, он покинул квартиру.

Анна Давыдовна испуганно оглянулась на Николая. Тот слегка улыбнулся: «Аня, все нормально. И фраза “буду благодарна” всем понятна». Тут же заторопился: «Анечка, я побежал на службу. Оля останется с тобой». «Конечно», — торопливо проговорила его жена.

— Да, — остановила Николая Анна Давыдовна, — мой гинеколог, которая не смогла справиться с кровотечением, что с ней будет? Рихтер кому-то доложит?

— Что ты, Аня! Если твой гинеколог засветится, тогда и тебе будет несладко. Так что забудь все, как страшный сон. И забудь имя своего гинеколога.

«Да, забудешь ее, если мы сидим в соседних кабинетах», — подумала Анна Давыдовна.

— А Рихтер — человек неприкасаемый. Он ни перед кем не отчитывается, — слышит она голос Николая. И короткий его смешок: — Только разве перед Господом Богом.

«Чего это Коля о Господе Боге? — тоскливая мысль царапнула Анну Давыдовну. — Он-то, Николай, наверняка знает, что у нас неприкасаемых нет. У него в этом деле богатый опыт. Около Жданова¹ все время трется». От этой мысли Анне Давыдовне стало нехорошо. Из всех друзей Николай — единственный близкий человек остался. А она так подумала о нем. Вот ведь после смерти мужа друзья как-то стали быстро забывать Анну Давыдовну. В первые дни после похорон шквал звонков был. А теперь... — может, и права Сонечка...

Соня лежала с закрытыми глазами. Анна Давыдовна наклонилась над дочерью. Прислушалась к ее ровному дыханию. Облегченно вздохнула. Порылась в шкафу. Достала золотые часы мужа, свое золотое кольцо с жемчугами и рубином.

— Оля, ты посидишь еще? Я в ломбард, — крикнула она уже из коридора.

— Иди, иди, — услышала она ответ.

Денег из ломбарда не хватило. Приемщик ломбарда, явно ворюга, занизил цену почти вдвое. Видит, что у женщины безвыходное положение. Уверен, что выкупать свои драгоценности она не придет. А он продаст часы и кольцо втридорога. В конверт для Рихтера пришлось добавить деньги из зарплаты. На жизнь хватит.

Деньги Анна Давыдовна передала Ольге. «Мне твой Коля сказал, какая сумма, возможно, понадобится», — проговорила она неуверенно. Ольга лишь кивнула головой. И уже в коридоре, надевая пальто, вдруг спросила: «А что с Сониным Иваном?» — «Десять лет без права переписки», — тяжело вздохнула Анна Давыдовна.

В полумраке коридора она не увидела, как изменилось лицо подруги. Ольга схватила Анну Давыдовну за руку и с каким-то неподдельным ужасом проговорила: «Анечка, пойдем, пойдем на кухню. Надо поговорить».

— Оля, что ты меня пугаешь? — пытается улыбнуться Анна Давыдовна, усаживаясь на стул.

И улыбка ее тут же гаснет при виде потерянного лица Ольги.

— Что? Что ты хочешь мне сказать? — почти кричит она.

— Аня, «десять лет без права переписки» — формулировка приговора, который на деле означает расстрел. Потом сообщат, что умер в лагере через два-три года после ареста. А на самом деле — тут же расстреляли. — Ольга взглянула на помертвевшее лицо Анны Давыдовны, и ей стало страшно. Сбравшись с силами, Ольга проговорила: «Бывали случаи, когда эта формулировка соответствовала действительности. Только ради Бога, ничего не говори Соне».

Ольга ушла. Анна Давыдовна еще долго сидела на кухне. Сил не было подняться. Непосильную ношу взвалила на нее Ольга своим откровеньем. Потом все-таки встала, вошла в комнату дочери. Соня спала.

¹ Жданов А.А. Первый секретарь Ленинградского обкома ВКП(б) (1934—1945).

Светлая улыбка бродила по ее лицу. Была весна. Они с Иваном шли по набережной Волги. Иван обнимал ее. Она смеялась, и счастьем ее не было границ.

На другой день Николай вернул конверт с деньгами, предназначенный для профессора Рихтера. Сказал, что профессор взял только небольшую сумму, которая понадобилась на дорогостоящие дефицитные лекарства. Анна Давыдовна бросила конверт в ящик, где лежали раньше часы мужа. Завтра непременно побегит в ломбард выкупать свои драгоценности. Но это не радовало.

Взглянув на скорбное лицо Анны Давыдовны, Николай воскликнул с каким-то безрассудным оптимизмом: «Анечка, вот мы решили проблемы твоей дочери. И дальше все будет хорошо. Все будет хорошо». И Анна Давыдовна вдруг поверила ему. Как верила до сих пор, что товарищ Сталин все делает правильно.

Политрук

9 ноября 1941 года командующим 51-й армии по распоряжению Сталина в Керчь направлен Герой Советского Союза Маршал Георгий Иванович Кулик. Войска, которые он получил в подчинение, находились в бедственном состоянии — большинство дивизий не было укомплектовано. В дивизиях имелось лишь по 200—300 бойцов. Удержать позиции в этой ситуации было невозможно, и Керчь сдали врагам. Войска отступили из Крыма и приготовились к обороне на Таманском полуострове. Но и здесь состояние армии было совершенно безнадежным. И опять отступление. 20 ноября немцы вошли в Ростов-на-Дону.

Маршал Кулик был отозван в Москву. Он не выполнил приказа «Удержать Керчь во что бы то ни стало». В нарушение приказа Ставки отдал 12 ноября 1941 года «преступное распоряжение» об эвакуации войск из Керчи.

Маршал Кулик¹ был предан суду. Лишен звания Героя Советского Союза, всех наград и звания Маршала.

«Преступление Кулика заключается в том, что он никак не использовал имеющиеся возможности по защите Керчи и Ростова, не организовал их оборону и вел себя как трус, перепуганный немцами, как пораженец, потерявший перспективу и не верящий в нашу победу над немецкими захватчиками», — из судебного решения.

Однако уже в апреле 1943 года благодаря поддержке Г.К.Жукова экс-маршал получил должность командующего 4-й гвардейской армией с одновременным присвоением звания генерал-лейтенанта.

Да чего уж там говорить, после войны Кулик привез с фронта пять легковых машин, незаконно использовал красноармейцев на строительстве личной дачи под Москвой. Особенно было возмутительно, что из Германии Кулик привез двух племенных коров, когда весь советский народ голодал.

Но все это было потом. А сейчас — конечно, рядовые солдаты и офицеры о «преступлениях маршала Кулика» ничего не слышали. Но до особиста Стрелкова и политрука Троицкого кое-что дошло. Им было совершенно ясно: измена. Поэтому мы и отступаем. И ясно, что подобные рассуждения не для чужих ушей. Можно только шепотом. И только между своими. С теми, кому доверяешь как самому себе. Доверительность особиста, признаться, тяготила Троицкого. А если точнее — настораживала. Но он всеми силами старался этого не показывать.

«Да, отступали. Но вскоре выбиты были фашисты из Ростова и Керчи. Но уже без маршала Кулика. И мы с тобой не только свидетели, но и участники этих событий.

¹ 23 августа 1950 года Г.И. Кулик приговорен к расстрелу вместе с генералами В.Н.Гордовым и Ф.Т.Рыбальченко «по обвинению в организации заговорщической группы для борьбы с Советской властью».

И потому со всей очевидностью можем утверждать: налицо преступные действия Кулика», — особист Стрелков с эдаким прищуром уставился на политрука Троицкого. И зубы оскалил, как цепная собака. Александр в знак согласия кивает головой. А голос Стрелкова уже звучит назидательно. Будто школьный учитель для первоклашек: «А вот солдатам говорить надобно, что отступление — это стратегический маневр, чтобы заманить врага в ловушку и уничтожить». Александру скучно слушать. Он каждый божий день, чуть наступает затишье, бойцам это твердит, хоть и сам не во все верит. И опять назидательный голос особиста: «Немцев взяли в плен. Расстрелять бы их всех подряд. Соглашения Женевской конвенции хотя и не подписаны СССР, но мы не можем позволять зверства с пленными, как немецкие фашисты».

О зверствах фашистов над пленными пока были только слухи. Никто еще из немецкого плена не возвращался. Но и так всем ясно — где фашисты, там и зверства.

А особист Стрелков грамотный ведь, стервец. Ему бы не в Особом отделе служить, а в Политотделе.

А вот политруку Троицкому все-таки пришлось расстреливать. Приказ командира части.

Стрелков сказал, что эти пленные — агенты Абвера. Русские из белогвардейцев.

«И почему их расстреливать? Знать, выжали из них все. Или ничего не выжали. Но в любом случае этих предателей надо расстреливать», — это уже негласные рассуждения политрука Троицкого.

Ноябрьское утро выдалось сырым и промозглым. «Винтовки взять наизготовку», — командует политрук. В шагах двадцати от строя красноармейцев стоят трое мужчин в немецкой офицерской форме. Двое совсем молодые. Третий — лет за пятьдесят, седой. И этот третий чем-то привлек внимание Троицкого. Его внешность казалась ему странно знакомой и близкой, словно что-то их связывало. Что-то нечеткое, размытое, будто из далекого прошлого, но вроде как родное. «Родное», — от этой случайной мысли стало жутко. И Александру показалось, что этот мужчина слегка улыбнулся ему. А в ушах нарастает гром колоколов. От этого гула Александр готов схватиться за голову. Сквозь этот грохот вдруг прозвучал почти внятно голос седого мужчины: «Сынок». «Пли», — отчаянно прокричал политрук Троицкий, уже не слыша себя.

В полутемной избе политрук Троицкий и особист Стрелков пьют разбавленный спирт. Хозяйка избы достала из подвала кислой капусты. Открыта банка тушенки. Сухари из вещмешка. Приняв несколько глотков спиртного и прожевав твердокаменный сухарь, старший лейтенант Стрелков быстро захмелел. Уставился на Троицкого. «Вот смотри, политрук, заняли мы эту позицию вчера. И надо бы по всем правилам немедленно рыть окопы. А начали рыть их только сегодня, может час назад», — говорит он. «Ведь из тяжелого боя вышли. Надо бойцам отдохнуть», — неуверенно возражает Троицкий. «На том свете отдохнешь. Вот сейчас начнут немцы палить. Будешь прятаться под бабкиной кроватью? Вон она сидит на лавке у печки. Проси разрешения, — Стрелков поворачивается к хозяйке избы: — Ну, хозяйюшка, мы вдвоем с политруком поместимся под твоей кроватью?» — «Что вы, милые, я вам на сеновале постелю. Там тепло», — хозяйка явно не поняла глубокую мысль особиста.

«А что касается твоего утреннего дела, с врагами народа — иначе нельзя. Вот наше дело — разоблачать. А уж эту, — Стрелков будто споткнулся на каком-то слове, рыгнул, прокашлялся. Невнятно прохрипел: — ...эту, — он опять поперхнулся, — остальную, нужную работу поручают, нет, не мы. Это там, — Стрелков мотнул вверх головой, — поручают, к примеру, тебе, товарищ Троицкий...»

Александр Троицкий пристально смотрит на особиста, и ему кажется, что Стрелков специально разыгрывает из себя пьяного. И поперхнулся на слове «работа», потому что пришлось проглотить слово «грязная».

— Я это делал первый раз, — будто оправдываясь, проговорил Троицкий.

— Да ладно. На войне как на войне, — кажется, нечто человеческое прорезалось в особисте. — Да, ты знаешь, — продолжает он, — у этих подонков, которых ты вчера слепнул, у них такие наши русские фамилии: один Иванов, второй Сидоров.

— А третий? Который седой? — неожиданно вырвалось у политрука Троицкого. И тут же что-то сжалось в нем.

— А чего это тебя старик заинтересовал? Фамилию его как-то запомнил. Особист профессионально вглядывается в смущенное лицо Троицкого. — Что это ты так смешался вдруг? Я непременно посмотрю еще раз его документы. Похоже, что за тобой какой-то грешок водится. А? — старший лейтенант хохотнул: — Что-то ты, Троицкий, мне не нравишься нынче».

Где-то рядом слышатся взрывы. Вот взрыв перед домом, и оконное стекло вдребезги разлетается по полу. И в кружки с недопитым спиртом с легким звоном сыплются его осколки. Особист и политрук выбегают на улицу. Шинели забыли в избе. Документы все в гимнастерках. На улице снежно, морозно. А холод — не тетка. Шубу не выдаст. Но сейчас не до шубы. Жизнь спасать надо. Эти мысли искрой проскочили в голове Александра, не оставив там отметины. Особист и политрук бегут по деревенской улице, а вслед им крик хозяйки: «Мальчики, куда же вы! В подвал ко мне, в подвал!» А «мальчики» ничего не слышат. Их настигают взрывы. И невозможно вернуться в сторону окопов, что на окраине деревни. Упасть в эти недорытые ямы, где уже лежат мертвые солдаты, зарыться в землю рядом с ними. Может, эти убитые спасут от осколков? Стрелков и Троицкий несутся в толпе красноармейцев. «Ладно этот необстрелянный особист Стрелков. Но, он-то, Троицкий, прошел финскую компанию и так глупо бежит от снарядов». Но эти трезвые мысли, мелькнувшие было в голове политрука, смешались в панике и страхе. Где здесь укрыться от вражеских снарядов? За забором, за стенами избы? Но эти деревяшки разнесет вдребезги. Разнесет вместе с ним и особистом Стрелковым, который бежит впереди. Толпа становится все реже. Если оглянуться, улица усыпана мертвыми телами. Вот горящий танк. А рядом развороченный грузовик и трупы бойцов вокруг него. Вот сейчас ухватиться бы за борт отъезжающей машины. Вон она, полная солдат. Десять шагов, кажется, до нее. И солдаты машут им руками. Что-то кричат, похоже: «Скорей, товарищ политрук!» Снаряд веером взрывает землю точно перед Стрелковым. И он падает навзничь, широко раскинув руки. Это последнее, что видел Александр Троицкий.

Очнулся он уже в госпитале. Врач сообщил, что у него тяжелая контузия. Был без сознания почти неделю. Александр слушает врача и с трудом понимает его речь. Пожаловался врачу на сильную головную боль и тошноту. Врач что-то ему ответил, но понять его было трудно. Уши будто заложены ватой. Александр чуть приподнялся на постели. И как ему показалось, завопил. Но на самом деле он лишь прошептал, что сильно болит голова. Но этого было достаточно, чтобы без сил упасть на подушку.

Врач наклонился над ним и прокричал ему на ухо: «Головные боли и тошнота при контузии — это нормально». Александр услышал только последнее слово. И оно его возмутило. «Что значит нормально!? Голова раскалывается — это нормально!» — заорал он. Но врач его вопля не услышал. Видел только его широко открытый рот и дрожащие губы. Он подозвал медсестру. Велел сделать Троицкому успокоительный укол. «Сегодня вечером повторить», — наказал медсестре. Уколы делали Александру еще несколько дней. В полубреду он ел пищу. Как в тумане видел кого-то в белом халате, кто кормил его с ложечки. А однажды он проснулся и с удивлением обнаружил, что туман рассеялся. Голова светлая и ясная и не болит. Некоторое время он лежал неподвижно и прислушивался к себе. «Вам уже лучше?» — слышит он голос, похожий на райскую музыку. Повернулся на этот мелодичный зов. Перед ним сидела молоденькая медсестра. И еще он заметил, что лежит в одноместной палате. «Вам уже лучше?» — повторила медсестра. Александр чувствует, что рот его растягивается в улыбке. Правда, еще не понимает почему. То ли оттого, что голова не болит, то ли оттого, что

перед ним симпатичная девушка. «Готов к бою», — произнес он и удивился своему звонкому голосу. «Ну, к бою еще рановато. Но прогулки по коридору доктор, наверное, разрешит», — девушка улыбается. «А ведь привезли вас в страшном виде. Все лицо и голова в крови. Но никаких ранений. Это кровь хлестала из ушей, из носа. Без сознания были больше недели», — продолжает она. Александр молчит и любуется чернобровой красавицей-медсестрой. Девушка замечает его восхищенный взгляд. Щеки ее загораются румянцем. Она кладет свою ладонь на лоб Троицкому. И Александр замечает, что она гладит его голову.

«У вас температуры нет», — произносит она. Троицкий осторожно берет ее руку. Кладет снова себе на лоб. «Такая процедура меня и без лекарств вылечит», — Александр с усилием улыбается так, что сводит скулы. Медсестра освобождает свою руку. Строго говорит: «Сейчас вам нельзя волноваться».

Александр хочет сказать, как же не волноваться, когда такая девушка. Но медсестра уже покидает палату. И вот, совсем некстати, приспичило в туалет. Приподнялся, осторожно сел на кровать. Встал, и голова закружилась. Ухватился за стул и, двигая его перед собой, доплелся до двери. Выглянул в коридор. По коридору прогуливались ходячие раненые. Все в серых длинных халатах. «Эй, — крикнул Александр, — мне бы санитарку». Перед ним стоит пожилая женщина. Видимо — нянечка. «Чего тебе, милый?» Троицкий начинает объяснять, что ему нужен халат, не в кальсонах же шастать по коридору. А про туалет сказать стыдно. Но нянечка уже догадалась, что ему нужно. «Я сейчас утку и горшок принесу», — говорит она. «Нет-нет, — почти кричит Троицкий, — я сам. Дайте только халат». Нянечка улыбнулась, покачала головой. Через несколько минут Александр идет по коридору. Качает из стороны в сторону. Маленькая нянечка, ему чуть до плеча, старательно поддерживает. А он боится, что упадет и задавит эту старушку. Старушка смеется, мол, и поболее великанов водила в туалет. И жива, однако.

На следующий день появилась красавица-медсестра. Александр заранее подготовил вопросы, которые надо ей задать. Во-первых, как звать, потом представиться самому, мол, он политрук Троицкий Александр. И еще спросить непременно, почему у него отдельная палата? Он же не генерал. Вот здесь можно посмеяться, мол, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. И еще много чего хотелось сказать. А вот и медсестра сейчас перед ним, но слова все будто испарились. И первое, что говорит она: «Поздравляю, вы уже ходячий. Но если вдруг у вас случилось нечто непредвиденное...» Тут она засмушалась. И Троицкий понял, что она уже знает, что нянечка водила его в туалет. Так что с шутками насчет генерала придется погодить. А красавица-медсестра эдак строго заявляет, чтоб он вызывал ее, Красавину Галину Ивановну. И от этой, как кажется Александру, напускной строгости Галина Ивановна становится даже очень как хороша. И Александру хочется вскочить на вытяжку во фрунт. Прокричать: политрук полка Александр Троицкий.

А Галина Ивановна продолжает: «Итак, Александр Фёдорович, переходим к процедурам».

Ну никак нельзя пропустить такой случай: «Переходим к водным процедурам, — голосом диктора радио произносит Троицкий, и уже паясничая сообщает: — Но у меня из пляжных принадлежностей только кальсоны». О как приятно, когда шутку понимают такие девушки. Галина Ивановна смеется: «Насчет пляжа — это после войны. А сейчас будем учиться ходить».

И вот политрук Александр и Галина Ивановна идут по госпитальному коридору. Для политрука Галина Ивановна уже Галчонок, но называть ее так, пожалуй, преждевременно. Галина Ивановна держит под руку Александра. И он чувствует, как его водит из стороны в сторону. Но под своим локтем ощущает сильную руку медсестры. Мужики в больничных халатах бросают на него завистливые взгляды. А один хромой парень совсем обнаглел. Дернул за рукав Троицкого. Проговорил с

подленькой улыбочкой, мол, дай на полчаса свою красотку. Александр сделал страшное лицо, погрозил ему кулаком. А тот захохотал: «Да только пройти с ней по коридору. А ты что подумал?!».

У Александра слегка кружится голова. Галина Ивановна плотно прижимает к себе контуженого политрука, чтоб он не упал. А он чувствует сквозь свой тяжелый халат ее горячее бедро. Он смотрит на свою медсестру, ловит ее взгляд, и ему кажется, что она все понимает.

И вот он снова в своей палате. Галина Ивановна объявляет, что рано ему ходить самому в столовую. Надо еще с недельку погулять по коридору. «Надеюсь, меня вы будете выгуливать, Галина Ивановна? — спрашивает политрук. И тут же торопливо, пока Галина Ивановна не ушла: — Можно мне вас называть просто Галя?» «Можно, Александр Фёдорович, — улыбается Галина Ивановна. — А выгуливать вас — я постараюсь». — «И еще, — заторопился Троицкий, — чем я заслужил отдельную палату?» Галя становится серьезной: «Ой, Саша, я не позавидовала бы тем раненым, кто находился с вами в одной палате. Вы кричали, стонали. Ночью падали с кровати». Из всей этой длинной фразы Александр услышал только то, что его называли «Саша».

Троицкий лежит на кровати, и вдруг ему приходит в голову какая-то беспокойная мысль: ведь он написал жене только одно письмо в первый месяц войны. Получил вскоре от нее ответ. Она писала о сыне, что он тяжело болен. И больше от нее писем не было. Наверное, не доходили. Все время с боями отступали. Было не до почты. Сейчас конец зимы. Александр торопливо роется в прикроватной тумбочке. Там его бумаги и воинские документы. Вот и карандаш нашелся. Пишет: «Дорогая Верочка». И вдруг осознает, что Верочка ему уже не дорогая. Ее образ как-то затерся. И его заслоняет чудный лик Галины Ивановны. Но он не зачеркивает слово «дорогая». Пишет, что были тяжелые бои. Сейчас ранен. Был без сознания месяц. Ну, приврал немножко. Где неделя, там и месяц. Сейчас поправляется. Дальше рассказывает, как воевал. И тут политрук в нем проснулся: об отступлении ни слова. Бьем немецких фашистов — это крупными буквами. Уже сложил письмо треугольником, вдруг вспомнил, что не спросил ничего про сына. Развернул письмо. Дописал опять крупными буквами: «Как Сашенька?»

И вдруг страшная мысль: жив ли сын? Держась за стены, вышел в коридор. Отдал треугольник пробежавшему мимо медбрату.

На другое утро не смог встать. Принесли завтрак: овсяную кашу и чай. Съел с трудом одну ложку, замутило. С трудом вытащил из-под кровати горшок, который ему на ночь всегда оставляют санитарки. Вырвало чем-то горьким. В голове его гремит набат. Но Александр не понимает, о чем его предупреждают. Как сквозь густую дымку, он видит медсестру Галю и доктора. «Рецидив, — говорит врач, — расстройства при контузии часто бывают обратимы».

Опять полусон, полуявь. И рука Гали на его лбу. Ему кажется, что он целует эту руку, ходит по коридору с Галей и чувствует ее горячее бедро.

Что-то сместилось в его голове. Галя ему говорит, а он отвечает невпопад. Вот перед ним доктор. Он спрашивает Троицкого: «Какое у вас воинское звание?» Александр пожимает плечами: «Майор, — и подумав: — может, подполковник». Троицкий ловит печальный взгляд Гали. Улыбается ей: «А что, Галина... — замаялся на мгновение. Да, забыл ее отчество, — разве у вас нет моих документов? Посмотрите — там все написано». Вдруг заволновался: «А где мои документы?» — «Они в Вашей тумбочке. Показать?» — спрашивает доктор. «Нет-нет», — застеснялся Александр. «Как звать вашу жену?» — доктор пристально смотрит на Троицкого. Тот жуёт губами и молчит.

«Амнезия, — тяжело вздыхает доктор. — А как меня звать, может, вспомните?»

Александр в смятении смотрит на медсестру. Кто же это? Ведь знакомое лицо. Медсестра называла фамилию доктора? Какая-то звериная фамилия: Волков, Зайцев,

Соколов. «Вот, Соловьев!» — выпаливает Троицкий. «Да. Я доктор Савельев, — говорит врач и, помолчав, обращается к медсестре: — Здесь нужен психиатр».

Старенький худенький человечек. Белый халат все время сползает с его плеч. Видны погоны с полковничьими звездами. Халат явно мешает ему.

— Товарищ полковник, давайте ваш халат, — говорит медсестра Галя.

— Да-да. Сделайте милость, — полковник сбрасывает с плеч халат, передает его Гале. Та помещает халат на вешалку, что прилажена у двери. Сейчас там висит серый халат контуженого политрука Троицкого.

— Это ваш больной? — полковник обращается к медсестре Гале.

— Да, — Галя кивает.

— Во-первых, желательно создать для больного теплую, доброжелательную обстановку. Ненавязчиво рассказывать человеку о событиях его прошлой жизни. Воспоминания должны быть только позитивные, стараться избегать отрицательных эмоций. Читать с ним книги. Предлагать, чтоб он рассказал о прочитанном. Но ни в коем случае не заставлять. Никакого давления на психику. Медикаменты я выпишу. Если в вашей аптеке чего-то нет, обращайтесь ко мне.

Полковник кивает в сторону доктора Савельева.

— Так точно, товарищ полковник, — чеканит доктор Савельев.

Все это время Александр Троицкий лежал на постели и безучастно смотрел на врачей. Когда медики удалились из палаты, Галя под села к нему на койку.

— Саша, это светило психиатрии. Полковник Шварц.

Александр слышит голос медсестры Гали, и ему становится хорошо.

То ли медикаменты доктора Шварца помогли, или медсестра Галя создала ту доброжелательную атмосферу, которая стала лекарством для контуженой головы политрука. Были рассказы из прошлой жизни. Галин очень короткий: в Архангельске она окончила медицинское училище. Оттуда забрали в армию. Вот и весь сказ. А история Александра должна быть длинной. Его и брата усыновил доктор Троицкий Фёдор Игнатьевич. Мать свою он не помнит, она умерла рано. Отец тоже куда-то исчез, когда ему было лет пять. При слове «отец» в голове Троицкого тяжко загрохотал колокол. Его звук эхом повторяется многократно. Удары этого колокола мучительны и зловещи. Александр считает во весь голос: «Один, два, три». И тишина. Галя испуганно смотрит на Троицкого. Шепчет: «Саша, что с вами?» — «Поминальный колокол», — Александр трясет головой, старается избавиться от тяжкого наваждения: перед его глазами возникает тот седой — в немецкой форме. Троицкий не может никак забыть его улыбку. И улыбка седого вдруг превращается в смертельный оскал. По лицу Троицкого течет пот. Галя вынимает из своего кармана салфетку. Осторожно вытирает его лицо. Он ловит ее руку и целует. Закрывает глаза и проваливается в пустоту. Сколько прошло времени — час или вечность?

И вот опять перед ним рука Гали. Он заворачивает рукав ее халата почти до плеча. И целует ее обнаженную руку. Галя сидит неподвижно. Потом вдруг хватает голову Троицкого и как-то отчаянно целует его в губы.

Несколько дней он не видел Галю. Приходили другие медсестры. С ними он вышагивал по коридору. Лечебные прогулки. Он нарочно качался при ходьбе. Медсестры озабоченно говорили, что по их практике по времени он должен быть уже здоров. А здесь, право, все очень странно затянулось. И доктор Шварц, мы знаем, мертвого подымает. Такой волшебник. Галя пришла в его палату ночью. Александр не спал, будто ожидал ее.

Потом они лежали молча. Александру почему-то казалось, что на лице его сейчас

счастливая и глупая улыбка. «Как тебе?» — тихо спросил он. «Я думала, будет больно. А было хорошо», — слышит он ее шепот.

Галя повернулась к нему, поцеловала и тихо попросила: «Встань с постели. Я на минуту зажгу свет и сменю простынь». Вспыхнула тусклая лампочка. Галя успела накинуть на себя халат. «Отвернись, бесстыдник», — слышится ее голос. Александр стоит в армейских кальсонах. И вид его совсем неприглядный. Он бросает взгляд на свою постель, видит красное пятно на ней. И до него доходит: «Он первый». Галя быстро меняет простыню и гасит свет. И опять она в его объятьях. «Я первый», — шепчет он Гале. «Первый, первый», — Галя целует Троицкого. И заходится негромким смехом. В смехе ее Троицкому слышится звук волшебной флейты.

А потом были короткие и длинные ночи. Короткие, когда она осторожно высвобождалась из его объятий, шептала: «Я нынче на дежурстве». И ускользала, как ночная бабочка.

Слухи, однако, доползли до начальственных ушей. Александр заметил, что доктор Савельев смотрит на него несколько подозрительно. И с Галей Савельев стал неумеренно строг. Доктор Савельев долго не решался на разговор, но видно, пришлось. Отозвал медсестру Галю в коридор, холодно спросил: «Что у тебя с Троицким?» «Да-да-да», — с каким-то восторженным отчаянием произносит Галя. Доктор печально качает головой:

— Как бы ты потом об этом не пожалела.

— Я не хочу думать о потом. Я сейчас счастлива, счастлива, — Галя громко хохочет.

Доктор оглядывается по сторонам. «Этой девчонке сейчас море по колено. Слава Богу, сейчас никого рядом нет», — сокрушенно думает он. И вдруг ловит себя на мысли, что он завидует этому контуженному политруку.

Троицкому пришло письмо от жены. Вера писала, что очень скучает по нему. Ждет не дожидается его приезда. Рада, что он выздоравливает. Папа достал лекарства. И Сашенька поправился. Александр со странным безразличием прочитал письмо, сунул его в карман халата и тут же про него забыл.

Доктор Савельев вдруг заторопился с выпиской Троицкого. Это Александру показалось, что «вдруг». Впрочем, он действительно чувствовал себя совершенно здоровым. А с Галей все не удавалось увидеться наедине. Лишь бумажку со своим домашним адресом в Архангельске Галя передала Александру.

Когда получал документы о выписке, обратил внимание на двух теток. Сидели они на лавке за его спиной. В черных ватниках, надетых на белые халаты. Значит госпитальные санитарки или уборщицы. Слышит их негромкий разговор. Одна говорит: «Галька-то наша вот с этим связалась, дуреха». Другая ей вторит: «Ничего не попишешь. Нынче у молодых на мужиков охота». Мужику Троицкому хочется вернуться к этим теткам и послать матом куда подальше. Но политрук в нем командует: «Молчать. И строевым — по плацу!»

Галя догнала его, когда он шагал по парковой аллее, что уходила от госпитальных зданий. Она была в халате. Было довольно холодно, хотя под апрельским солнцем уже звенела капель. Александр расстегнул свою шинель. Полами шинели накрыл свою тоненькую хрупкую девочку. Плотно прижал ее к себе. Они стоят под вековой липой. Толстый ствол защищает их от холодного ветра. Александр закрывает глаза, и мерный благовест звучит в нем. «Ты слышишь звон колоколов?» — шепчет он. Галя подымает на него глаза.

— Слышу, — шепчет она.

— Благовест — это благая весть.

— От тебя, — Галя смотрит на Александра. На глазах ее слезы.

Троицкому вдруг становится трудно сказать: «Да». Он лишь слегка кивает головой.

Согласно Приказу № 354 от декабря 1941 года Народного комиссара обороны СССР товарища Сталина «необходимо обеспечить возвращение выздоровевших раненых и больных гвардейцев и курсантов обратно в свои части».

Но ко времени выздоровления политрука Троицкого А.Ф. его войсковая часть уже не существовала. Троицкий после тяжелой контузии по состоянию здоровья был направлен в тыловую часть. Там «прошел курс молодого бойца», — как он обычно говорил своим соратникам. Его готовили на должность начальника химзащиты авиационного полка на Белорусском фронте. Так что пришлось осваивать теорию и практику химзащиты. Должность майорская. Почему не на прежнюю должность политрука — вопросов не возникало. Приказ есть приказ. Может, начальство посчитало, раз контуженый — ляпнет что-нибудь непотребное. А глаза и уши «у кого надо» всегда начеку. Потом морoka — разбираться с ним. «Политраба — дело тонкое». Троицкий даже представил, как при этих словах его будущий начальник с сомнением качает головой.

Правда, эти незрелые мыслишки в голове у бывшего политрука долго не задерживались. К удивлению Александра, командование предоставило ему отпуск для встречи с семьей. Три дня. Два дня на дорогу туда и обратно. И день, а может ночь, на свидание с женой. Так и было сказано: «Ночь на свидание с женой». Мелькнула глупая мысль: «Может, свидеться с Галей?» Но командир части строго предупредил: отметиться в комендатуре Ярославля.

Военврач

Зимой сорок восьмого года Гришу нашли наградные документы. В сорок пятом, как и все участники войны, он был награжден медалью «За победу над Германией». И больше никаких наград капитан медицинской службы Григорий Крамер вроде и не заслужил.

А тут награда: Орден Красного Знамени и медаль «За отвагу».

Вызвали в военкомат, вручили воинские награды со скромными почестями. Документы датировались июнем сорок второго года.

И только через шесть лет и после получения наград Гриша вроде был готов рассказать жене, что произошло с ним в феврале 1942 года. Но опять не решился. Зачем расстраивать молодую жену этими историями? Слюдьми на войне случалось и похуже. Сейчас и вспоминать об этом страшно. Тогда молодой был, не верил в смерть. Но все это не вычеркнуть из памяти.

Был февраль 1942 года. Очередное отступление, поспешное и неорганизованное. Прибыли в село. Село было странно безлюдным. Но об этом не хотелось сейчас думать. Надо было где-то срочно размещать раненых. Искалеченные бойцы лежали на телегах, в кузовах машин. Некоторым повезло — они находились в автобусах. Помещение под госпиталь нашли быстро — пустующее здание школы. Здание не отапливалось, видимо, всю зиму. Раненых пришлось укладывать прямо на холодном полу в той одежде, что была на них. Кроватей и матрасов не было, даже посуды не было, только солдатские котелки да ложки.

Прямо за школой начиналось поле. И там стояли занесенные снегом скирды, сметанные, видимо, еще в июне. Верно, рачительные хозяева проживали в этом селе. Скирды были накрыты брезентом, поэтому сено оставалось сухим. И нынче его использовали как подстилку для раненых. И когда на другой день привезли для

госпиталя наволочки и чехлы для матрасов, медперсонал с утра до ночи набивал их сеном и раскладывали на них больных и тяжелораненых. Раненые были беспокойные, метались, бредили. Одежда привезли несколько позже. При школе обнаружился сарай с заготовленными дровами, ими пытались прогреть огромное здание. В одном из классов школы хирурги начали проводить операции. В отдельных помещениях лежали тифозные. Вошь беспощадно косила раненых.

Тем временем фронт приближался. Уже были слышны орудийные залпы. Прошло чуть больше недели, только привели в порядок раненых, как опять поступил приказ отступать.

Школа снова опустела. Остались только тела умерших и тифозные больные. Откуда взялись тифозные вши? Во время предыдущего отступления к войсковой части присоединился вышедший из окружения отряд красноармейцев — изголодавшиеся и измученные вшами солдаты. Видно, они и принесли заразу. Произвести санобработку этих бойцов не удалось. Даже бани воины не дождались. Их тут же отправили на передовую. А там мясорубка.

Только однажды капитану Крамеру удалось организовать профилактическую обработку солдат и офицеров. Это произошло в то короткое время, когда госпиталь считался тыловым. Тогда в часть на грузовике была доставлена специальная установка. Вошебойка — так среди солдат назывался этот агрегат. Пока солдаты мылись в бане-палатке, одежда обрабатывалась перегретым паром. Эта обработка избавляла красноармейцев от вшей и гнид. Правда, ненадолго. Дней на двадцать.

А сейчас прифронтовой госпиталь срочно эвакуируется. Особисты носятся с пистолетами по школе, командуют санитарями: «Срочно! Срочно! Этого брать. Этого оставить. На всех транспорта не хватит». Напрасно начальник госпиталя капитан медицинской службы Григорий Крамер требовал от начальства дополнительного транспорта. Его никто не слушал. «Это мои больные, я врач инфекционист-эпидемиолог. Я не позволю их оставлять на смерть!» — надрывая глотку, кричал Крамер. А ему тихо и со зловещим прищуром говорил особист: «Сейчас не позволять буду только я. У нас нет отдельного транспорта для тифозных. А вы, Крамер, — он с подчеркнутой неприязнью произносит фамилию Григория, — хотите всех наших раненых заразить тифом!» — уже не сдерживая себя, орет особист. Но Григорий не слышит особиста. Он вдруг вспомнил, что в школьном дровяном сарае лежали большие санки. Вероятно, санки для детей. Деревенская затея — с горки на санях. Дети — кто сидит, кто лежит. Все вповалку. С хохотом в сугроб. Подумал об этом, сердце горько зашлось. Где теперь эти дети? Кто из них еще жив?

Крамер выбегает на улицу. На выходе из школы стоит группа людей. Это госпитальные санитары. И среди них несколько ходячих раненых, помощники санитарам. Они растерянно оглядываются. Увидев начальника госпиталя, бросаются к нему:

— Товарищ капитан, как же мы? Все уже уехали.

— Санки, санки из сарая. Погрузить тифозных и вперед! — приказывает Крамер.

Он ждет, пока последнего тифозного солдата положат на санки. Стоит около школы. В конце улицы появляется группа красноармейцев. Не больше взвода под командованием лейтенанта. «Лейтенант, ко мне!», — с надрывом кричит капитан Крамер.

— Слушаю вас, товарищ капитан, — лейтенант подбегает к Крамеру.

— Видите, санитары на санях везут раненых. Обеспечьте доставку их в эвакуированный госпиталь, — строго говорит капитан.

— Слушаюсь. Взвод, бегом!

Лейтенант еще успел оглянуться, помахать рукой капитану Крамеру. Григорий видел, как солдаты перехватывают у санитаров веревки саней. И сани скрываются за поворотом. Григорий Крамер возвращается в свой кабинет. Надо забрать документы.

Пришел как раз вовремя. В кабинете связисты собираются разбирать телефонную станцию. Всего-то телефонная станция: два деревянных ящика. И тут звонок из штаба полка. Сообщают, что выслали машины, чтобы забрать оставшихся в госпитале больных бойцов.

«Ну всё. Кажется, можно вздохнуть. Тифозными займусь на новом месте», — уже спокойно подумал капитан Крамер.

Пока бегал на взводе и холода не чувствовал. Вышел на улицу, и сразу лютый мороз не заставил себя ждать. Крамер поднимает воротник шинели. Вглядывается вдаль. Метель метет. Снег забивает глаза. И что-то ледяное воткнулось в шею. «Дуло пистолета», — спокойно подумал он.

«Ну что? Не успел сбежать к фашистам? Я за тобой давно наблюдаю. Заразил раненых бойцов тифом. А теперь и здоровых решил заразить!» — за спиной стоит особист, тот, с кем пару часов назад спорил Григорий.

А из-за поворота, где скрылись недавно санки с тифозными солдатами, выезжает штабная легковушка «ГАЗ» под брезентовой крышей. Тормозит около школы. Из машины выскакивает солдат: «Товарищ Седых, что же вы? Я за вами», — обращается он к особисту. «Там есть еще место?» — спрашивает особист солдата, — если нет, я этого здесь порешу», — Седых кивает в сторону Крамера. «Есть, конечно, — испуганно отзывается солдат, — но еще мне приказано доставить в штаб доктора Крамера. Где он?»

«А он перед тобой. Значит, там уже знают о вредителе и предателе Крамере», — Седых удовлетворенно улыбается. «Ну, трогай», — приказывает он солдату. Капитан Крамер и Седых усаживаются в машину на заднее сиденье. И все время пути Седых держал пистолет, приставленный под ребро доктора Крамера. Вот они проехали мимо саней с больными солдатами. Солдат перекладывали в кузова полуторок. Григорий хотел высунуться из машины и крикнуть: «Я здесь!». Но Седых прижал его к сиденью, ударил локтем в лицо. Из носа потекла кровь.

Григорий закидывает голову назад, прижимает к носу рукав шинели. Вроде кровь перестала течь. Замелькали кирпичные дома. Кажется, небольшой городишко. Григорий удивлен собственному спокойствию. Верно, столько видел смертей, что и своя стала уже не страшна?

Машина начинает тормозить. Отъехали всего-то километров пять. Если в этом селении дожидаться приговора, то долго ждать своей пули не придется. Судя по военной обстановке, через день-другой и этот городишко отдадут немцам. Знал, вернее, слышал, что при отступлении с арестованными разговор короткий. Военный трибунал не очень церемонится: лепят без разбора пятьдесят восьмую статью — и расстрел.

Нет, машина опять прибавила ходу. Верно, в штаб армии везут. Еще бы, такого жука разоблачил, хотел весь полк заразить тифом! Товарищ Седых, поди, уже дырочки на гимнастерке просверлил для ордена. Григорий Крамер непроизвольно хмыкнул.

Особист Седых вскинулся, как петух, от которого курице захотелось сбежать. «Лыбсья, лыбсья. Уже недолго осталось», — бурчит он. Григорий неловко пошевелился. Что-то под шинелью мешает? Конечно, кобура с пистолетом! «Седых, наверное, специально оставил мне пистолет, чтобы я застрелился, — какая-то неразумная мыслишка шевелится в голове Крамера. — Тогда и доказывать ничего не надо. Баба с возу — кобыле легче. А вот накося — выкуси! Не дожدهшься!» И рот невольно растягивается в идиотской улыбке. Седых напряженно уставился на доктора Крамера. «От страха башка поехала, — полагает особист. — Про соучастников дознаваться будет сложней».

Еще какое-то селение проехали. Машина останавливается около кирпичного сарая. А за сараем вдоль улицы высокий бетонный забор. «Вот и моя тюрьма», — подумал Григорий, и ему стало страшно.

Опять под дулом пистолета вышли из машины. Около железных дверей сарая стоит солдат с винтовкой. Седых показывает солдату свой документ. Солдат почтительно берет под козырек.

«Шинель расстегнуть», — приказывает особост Седых. Григорий стоит перед ним в расстегнутой шинели, заложив руки за спину. Особист кивает в сторону часового: «Снять с него ремень и кобуру с пистолетом».

Тяжело заскрипели железные двери. Резкий толчок в спину, и Григорий Крамер оказывается в полутемном помещении. Небольшие окна забраны решетками. В углу помещения на ящике сидит мужчина. На плечи его накинута шинель. Григорий всматривается в лицо мужчины, видит, что это совсем молодой парень. Лет двадцати пяти.

— За что? — раздается еле слышный голос.

— Ни за что, — также тихо отвечает Крамер.

— И я ни за что, — рыдающий голос.

И потом торопливый рассказ: «Лейтенант Бобров, командир артиллерийской батареи. Что?! Я должен был сдаваться немцам? Снарядов не подвезли. Чем стрелять?! Чем стрелять?! — эти возгласы прерываются детским плачем: — Мы оставили позицию, чтобы не попасть в плен. А теперь я виноват, что немцы прорвали фронт на нашем участке... Теперь я предатель. Я изменник...»

За дверями загремел засов.

— Скажите, что я не предатель. Моим родителям. Бобров Пётр Иванович. Двадцать шесть лет. Это я, я. Ленинград, Садовая 12, квартира 3... — отчаянно кричит лейтенант.

Двое солдат подхватывают под руки Боброва и выводят его из сарая. Металлическая дверь с грохотом захлопывается. Григорий приникает к зарешеченному окну, которое выходит во двор. Вот появляются солдаты. Они волокут к стене лейтенанта Боброва. Руки его связаны за спиной. Вот Бобров у стены. Его глаза зажмурены. И рот широко раскрыт, будто в отчаянном крике. Но крика не слышно. Григорий слышит чей-то голос. Вроде объявляет приговор. Но того, кто объявляет, не видно. Григорий слышит только последнюю фразу, которую выкрикивает вероятный палач: «За измену Родине — расстрел».

Пётр Бобров сползает вдоль стены. И стреляют уже в лежащего на земле человека.

«Счастливчик. Умер до того, как пули поразили его», — эта странная мысль могла прийти в голову только врачу, который видел и знал, как часто смерть избавляет человека от невыносимых мук. Нет, он не будет таким, как этот лейтенант-артиллерист. Как растоптанный сапогами плевков мокроты. Он будет ненавидеть своих палачей, и это придаст ему силы. Его, Григория, будут расстреливать враги, и он крикнет им в лицо: «Да здравствует товарищ Сталин!»

Сутки просидел в холодном сарае. Ни пищи, ни питья. Утром за ним пришли. Загремел дверной засов. Двое солдат вошли в помещение. «И меня во двор?» — спрашивает Григорий. И голос его не дрожит.

Солдаты с ненавистью взглянули на капитана Крамера. Один из них прошипел: «Успеем еще. А пока погодим».

И сейчас, в 1948 году, по прошествии несколько лет, Григорий с удивлением вспоминает, откуда у него тогда появилась эта безрассудная смелость. Нынче он за таким безрассудством как врач непременно усмотрел бы нарушение психики. И до сих пор не может понять, каким чудом он оказался в Ленинградском госпитале на Мойке.

Теперь ехали на черной «Эмке». Довольно долго. Остановились около трехэтажного здания из красного кирпича. Удалось увидеть: около здания суетятся военные. Под расстегнутыми шинелями заметил белые халаты. Видимо, это госпиталь.

Машина опять трогается, въезжает в небольшой двор. За ней захлопываются

ворота. К машине подбегает офицер. Заглядывает в кабину. «Привезли?» — спрашивает он. И солдаты, охранявшие Григория, вдруг становятся подозрительно вежливыми. «Прошу на выход, капитан», — произносит один из них. Другой, стоя на вытяжку перед офицером, докладывает: «Начальник нештатного госпиталя, капитан Крамер, доставлен в ваше распоряжение».

— Капитан медицинской службы Крамер? — офицер пристально всматривается в лицо Григория. — Врач-инфекционист?

Судя по знакам в петлицах шинели, с Григорием разговаривает дивизионный комиссар.

«Главпур», — с непонятным облегчением подумал капитан Крамер. И тут же тяжелый выдох со стоном. Будто пробка из бутылки с шампанским. Но шампанское не для него, даже пена пролилась мимо. Крамер облизывает сухие губы. Поесть бы чего предложили. Но эти суетные мысли вылетают мгновенно.

— Так точно, товарищ дивизионный комиссар. Врач-инфекционист капитан Крамер, — произносит устало Григорий. Пробка вылетела, только пена где-то там, непонятно где. А в нем опять до жути пусто.

А откуда-то выскочил прежний знакомец, особист Седых. Вот он стоит перед дивизионным комиссаром. И комиссар, окинув взглядом помятую физиономию врача, бросает резко особисту:

— Капитана накормить, привести в надлежащий вид и в палату к больному.

Пока в пустой столовой Григорий жадно поглощал невкусную больничную снедь, медленно, наслаждаясь теплом, пил горячий чай, Седых сидел рядом с ним, с деланным безразличием посматривая по сторонам. Потом двинулся в туалет следом за Григорием. Сторожил у двери, пока доктор освобождал кишечник и мочевого пузырь и в том же туалете над раковиной долго мыл лицо, руки до плеч. Шинель и гимнастерку Григорий передал майору Седых.

— Будьте хоть в чем-то полезны, — проговорил доктор Крамер, передавая свою амуницию, — здесь повесить негде.

Седых улыбнулся зловеще: «Повесить тебя мы найдем где».

В коридоре госпиталя их ждала медсестра. Набросила им на плечи белые халаты. Седых передает Крамеру ремень, который снял с него при аресте. Гаденько усмехнулся: «Это только на людях. Чтоб вид соблюдал».

Когда шли по коридору, Седых шепнул Григорию:

— Если пациент умрет, с каким удовольствием я всажу в твою башку пулю.

Григорий взглянул на Седых. Благостная улыбка сияла на простом, деревенском лице особиста.

Больной лежал в отдельной палате. Посиневшие губы, тяжелая одышка. Увидев Крамера, больной что-то заговорил бессвязно, теряя сознание.

— Реакция Вейля-Феликса¹ положительная, температура — сорок, негромко проговорил госпитальный врач, который, видимо, ждал прихода Крамера. Он осторожно снимает одеяло с больного. Задирает рубашку. Григорий видит на обнаженном животе пятнистую розовую сыпь.

— Сыпной тиф, — врач смотрит на Крамера.

— Похоже, тяжелый случай. Прогноз — пятьдесят на пятьдесят. Но нельзя допустить, чтоб больной впал в кому. Тогда шансы, сами понимаете... — серьезно произносит Григорий. Бросает, было, взгляд на лечащего врача, но встречает насмешливый взгляд майора Седых.

«Радуетесь, сволочь. Так не дожدهшься», — с какой-то отчаянной ненавистью подумал Григорий.

¹ Реакция Вейля-Феликса — диагностический тест, позволяющий выявить наличие у человека тифа.

— Скажите, я извиняюсь, как вас по имени-отчеству? — спрашивает врача Крамер.

— Игорь Петрович Шапошников, — торопливо отзывается врач.

— Так, Игорь Петрович, вы инфекционист?

— Нет, я врач общей практики. К несчастью, наш инфекционист несколько дней назад умер от тифа. Поступила к нам группа тифозных. А он случайно порезал палец при осмотре больного. Наплеватьски отнесся к этому. А тут опять эвакуация раненых, — торопливо говорит Шапошников. — Для себя у врача в такую пору времени нет.

От слов Шапошникова что-то горькое екнуло в груди Григория. Он мельком взглянул на Седых. Тот широко улыбался.

— Товарищ Седых, — обращается Григорий к особисту, — вы хотите заразиться тифом, как этот больной? Мне ж вас придется лечить, товарищ Седых, — Григорий еле сдерживает злую усмешку. Он видит, как позеленела физиономия особиста. Григорий даже подумал с тревогой: «Не хватало еще сердечного приступа».

— Да, да. Конечно. Я понимаю ваш интерес. Но лучше вам, товарищ, за дверь. Чем черт не шутит, — сбиваясь, говорит доктор Шапошников, обращаясь к Седых.

Седых, бросив тяжелый взгляд на Крамера, покидает палату.

Григорий просматривает перечень лечебных средств. Что-то вычеркивает, заменяя другими лекарствами. Замечает в списке лекарства, которые недоступны для обычных больных. Он спрашивает Шапошникова, кого им придется лечить. Шапошников смешался. Тихо произносит: «Армейский комиссар». Фамилию комиссара Григорий не расслышал. Видимо, доктор Шапошников нарочно невнятно произнес. Но четко проговорил: «Он прислан на наш участок фронта товарищем Мехлисом»¹. Упоминание о Мехлисе заставило капитана Крамера испуганно поежиться. Но он тут же взял себя в руки. Пишет на листке бумаги слово «пенициллин»². Просит передать это начальнику госпиталя. По смущенному лицу доктора Шапошникова Крамер понимает, что это лекарство Шапошникову незнакомо.

При госпитале Крамеру выделили комнату. Человек, который его поселил, сказал: «Это только на время лечения вверенного вам больного». Григорий собрался было, спросить, а что дальше? Взглянул на говорившего с ним человека в халате, который теперь везде сопровождал его, понял, что дальше все беспросветно. НКВД или офицер медицинской службы — гадать времени у Григория не было: армейскому комиссару становилось все хуже. И «человек в халате» все с большим подозрением смотрел на него.

Капитан Крамер уже несколько ночей проводил без сна. Вчерашняя ночь была полна кошмарами: он вдруг четко осознал, что смерть комиссара обречет и его на смерть. «Хотел заразить тифом раненых бойцов, преступно-неграмотным лечением привел к смерти армейского комиссара. Намеревался перебежать на сторону врага», — одной из этих формулировок достаточно, чтобы военный трибунал приговорил его к «вышке». И никто не будет разбираться, где просто ложь и где умышленное убийство. Но сегодняшняя ночь будет другая. Верно, лютая ненависть к особисту Седых придала Григорию силы. В его памяти всплывают картины болезни всех тифозных больных, которые прошли через его руки и в довоенном Ленинграде, и в военном госпитале. Все как на ладони.

¹ Мехлис Л.З. (1889—1953) — советский государственный и военный деятель, генерал-полковник. С июня 1941 г. по декабрь 1942 г. — начальник Главного политуправления, заместитель наркома обороны Сталина И.В.

² В 1941—1943 гг. пенициллин в СССР поставлялся по Ленд-лизу. Поставки часто срывались. С 1943 г. в госпитали РККА начал поставляться пенициллин советского производства.

Как правило, течение болезни укладывается в стандартные рамки. И при летальном исходе Григорий часто находил те микроскопические медицинские просчеты, которые возможно... Возможно!!! Могли привести к смерти больного. В башке уже складывалась схема, чего делать нельзя, а что необходимо.

Вспомнить выживших больных с анамнезом, похожим на картину болезни комиссара. В голове пылает будто тысяча молний. И вот взорвалась шаровая: мальчишку привезли из Луги. В сороковом году. Картина почти такая же, как и у комиссара. Почти... Комиссару лет пятьдесят, а мальчишке — восемнадцать. Учесть дозировку медикаментов. А есть ли эти медикаменты в наличии? Все лекарства он помнит, как «Отче наш». «Отче наш» — это от тестя перенял, — и сразу вспомнилась Наденька. «Неужели я тебя больше не увижу?! Увижу!» Он не замечает, что почти кричит. Сторожевой солдат заглядывает в комнату. «Все нормально», — бормочет Григорий.

Итак, восьмой день болезни... Перечень медикаментов он помнит наизусть. Григорий торопливо надевает брюки. Гимнастерку тоже надо надеть: нынче дежурная медсестра — юная девочка. Выскакивает в коридор. «Товарищ доктор!», — жалобно кричит солдат. Григорий отмахивается от него. Солдат бежит за ним следом. Замирает перед дверью в больничную палату. Григорий буквально влетает в помещение. Удивленные глаза медсестры. Время без пяти пять. Еще ночь на дворе. Будильник на столе перед медсестрой. В пять — прием лекарства. «Это отменить! Дежурного врача ко мне!» — откуда-то прорезался командный тон.

Заспанная физиономия доктора Шапошникова. Повезло с дежурным врачом: не надо ничего объяснять.

Григорий на клочке бумаги пишет название необходимого лекарства. Доктор Шапошников возвращается из ординаторской с медикаментами. «Давать больному через каждые три часа», — уже в каком-то полусне говорит Григорий.

«Или вместе с комиссаром на тот свет, или вместе праздновать победу», — отчаянная мысль шевельнулась в голове доктора Крамера. И слово «победа» прозвучало, как затухающий бой церковного колокола. Шатаясь, Григорий плетется к своему жилищу.

Проснулся в одиннадцать часов. Полуденное солнце било в окно. Странно, что он не востребован.

Торопливо одевается. В коридоре сидит уже другой охранник. Сержант. Ночью был рядовой. Григорий спешит в палату к больному комиссару. Тревога разрывает грудь. А вслед ему слышен голос сержанта: «Товарищ капитан, завтрак сейчас вам принесут». И это не удивило его, просто прошло, как пустой звук: перед смертью не надышишься. В палате знакомая медсестра. С ней начинал лечить комиссара. Кажется, зовут Татьяной. «Итак, она звалась Татьяной. Ни красотой сестры своей, ни свежестью ее румяной. Не привлекла б она очей, — и что в башку лезет?! — А ведь с моей Наденькой не сравнить».

Полногрудая Татьяна неловко поднимается со стула. Прикладывает палец ко рту. Шепчет: «Он спит». Григорий наклоняется над больным. Ровное дыхание. «Пульс семьдесят. Температура спала до тридцати семи», — говорит Татьяна и протягивает Григорию упаковку пенициллина.

— Инструкция на английском. Обещали прислать переводчицу. Да вот все нет, — сообщает она.

Григорий тяжело опускается на стул. «Дай прийти в себя», — говорит он медсестре. А та, будто, не слышит его. Опять повторяет: «Пора этот пенициллин давать, а переводчицы нет».

— Нет проблем, — отзывается Григорий, — с английским мы на «ты».

Вспомнилось довоенное время. Осваивал английский с Ирочкой Рапопорт из иняза. Даже мама приезжала из Гомеля посмотреть на Ирочку. Одобрила выбор сына.

Но появилась Наденька, и про Ирочку тут же забыл, а вот английский не забыл. Правда, пришлось доучивать его на специальных курсах.

Уже было доложено госпитальному начальству, что кризис миновал и армейский комиссар пошел на поправку. Это доктор Шапошников поторопился...

Армейский комиссар был послан начальником Главпура Львом Мехлисом. Должен был составить представление о положении дел на данном участке фронта, разобраться в причинах отступления. «Паникеров и дезертиров расстреливать на месте как предателей», — армейский комиссар знал, как остановить отступление Красной армии. Вот один паникер и трус — артиллерийский лейтенант — был расстрелян. Но фашистская тифозная вошь — и не уберегли посланца товарища Мехлиса. А сейчас перед дивизионным комиссаром Куликовым стоит майор Седых. Требуется забрать подследственного Крамера, поскольку в нем уже нет нужды. Дело его передать на рассмотрение военного суда. И Куликов знает, что армейский комиссар вроде пошел на поправку. И это «вроде» в докладе начальника госпиталя настораживает. Тем более что прозвучало: «Возможны рецидивы. И неизвестно, как будут развиваться события». Разумеется, начальник госпиталя, подполковник медицинской службы, подстраховывается. И еще подполковник напомнил, что нынче смертность от тифа в войсках значительная. И это еще мягко сказано. Да и кому как не дивизионному комиссару этого не знать: смертность от тифа превзошла все мыслимые пределы. И еще начальник госпиталя сообщил, что по его сведениям капитан медицинской службы Крамер, будучи начальником нештатного госпиталя, обеспечил хорошее санитарное состояние войсковой части. И смертность от тифа в этом госпитале была значительно ниже, чем в среднем по войскам. «И вообще, желательно оставить Крамера при нашем госпитале. В данный момент у нас нет инфекциониста. Ведь нынче тифозная вошь — главный враг после фашистской Германии», — закончил свой многословный доклад госпитальный начальник.

И все это никак не вязалось с обвинениями, выдвинутыми майором Седых. По его словам именно он, Седых, сорвал преступные замыслы Крамера заразить раненых бойцов тифом, поместив их в один транспорт с тифозными. Но медицинские сотрудники нештатного госпиталя дали показания, что Крамер организовал эвакуацию тифозных бойцов на санях. И потом по требованию Крамера армейским командованием был выделен спецтранспорт для этих больных бойцов.

— А сейчас только благодаря неусыпному контролю, — не унимается майор Седых, — при моем непосредственном участии была сохранена жизнь армейского комиссара, товарища...

— Прекратите, — останавливает майора дивизионный комиссар. — Приказываю вам: отправляйтесь немедленно на передовую. И там обезвреживайте диверсантов, шпионов и предателей.

— Этот Крамер хотел перебежать к немцам. Но был мною арестован, — это главное, что хотел сказать Седых комиссару. И он сказал это ему. Но увидел ядовитую улыбку комиссара:

— Вы, майор, знаете имя и отчество доктора Крамера?

Не услышав ответа, чеканит:

— Григорий Исаакович. И знаете, что с евреями делают фашисты?.. Вы свободны, майор!

Комиссар уже не сдерживает раздражения.

Майор Седых еще многое не успел сказать комиссару. Он же участвовал в депортации немцев Поволжья в сентябре 1941 года. Он, Седых, сам с Волги, из селения Красный Кут. И там жила целая семья немцев — Крамеров. А этот капитан Крамер никакой не Исаакович. В сорок первом году у лейтенанта НКВД Седых был знакомый немец по имени Изаак. Не в штаны же заглядывать к этому доктору Крамеру. Но если надо, то и заглянем. А если уж заглянем, пусть и обрезанный, тут уж к бабке не ходи,

придется шлепнуть. Но с дивизионным комиссаром не поспоришь. За его спиной — всесильный Мехлис.

«Ничего, ничего. И на нашей улице будет праздник», — и эта мысль успокоила майора Седых.

И для дивизионного комиссара Куликова возня с доктором Крамером — лишняя морока. Если бы на карту не была поставлена жизнь его непосредственного начальника — армейского комиссара. И приказ Мехлиса разобраться и доложить. А так — одним Крамером больше, другим меньше. Какая разница? Лес рубят — щепки летят... Война есть война.

Дивизионной комиссар Куликов подписал распоряжение: «За недостаточностью улик закрыть дело Г.И.Крамера». Подписал — и баста. Кто ж посмеет спорить с товарищем Мехлисом?

«Включить капитана медицинской службы Г.И.Крамера в штат дивизионного госпиталя», — это уже автоматом пошло. Обошлось без дивизионного комиссара Куликова.

Доктор Крамер еще успел пообщаться с выздоровевшим армейским комиссаром. Тот крепко пожал ему руку. Но спасибо не сказал. Однако сообщил, что учитывая прошлые заслуги и нынешние, и при этом эдак хитро посмотрел на Григория, непременно поручит подготовить представление о награждении капитана медицинской службы Григория Исааковича Крамера.

Неделя не прошла. Начался налет фашистской авиации. Вместе с санитарями Григорий переносил больных своего инфекционного отделения в бомбоубежище. Во дворе госпиталя разорвалась немецкая бомба. Григорий не знает, жив ли санитар, который нес с ним носилки. И жив ли больной боец, которого несли на этих носилках. Но возможно, кровь инфицированного больного попала на раны доктора Крамера. Позже сообщили, что истекающий кровью доктор Крамер лежал на растерзанном теле тифозного красноармейца.

А теперь вот надо пойти на барахолку, что на Обводном канале. До сих пор он носит ушанку. Хоть ушанка и офицерская, но со временем истрепалась изрядно. На барахолке продавец шапки уверял, что шапка на кроличьем меху. И Надя решила, что шапка вполне приличная. Показала шапку отцу, и он сказал, что это собачья шкура. Надя чуть не расплакалась. А Грише — все нипочем. Смеется. Главное — тепло. И еще пошутил не очень складно: «Нам с нее не воду пить. И с корявой можно жить». И Сашка, Верин муженек, еще добавил, мол, шапка корявая, зато жена красавица. Нашел время ехидничать.

Эту шапку Гриша всего один день и поносил. С работы возвращался, еще светло было. Двое таких расхристанных подошли. Сразу видно — шпана Лиговская. Морды пьяные, у обоих пальто расстегнуты, полы на ветру болтаются. На головах — лондонки. Подходят к Грише.

— На каком рынке захромал, жидовская морда? Ишь, шапку новую напялил. А мы мерзнем на морозе.

И один лондонкой по лицу Грише шмякнул. Гриша на него палкой. Да ноги-то хромые подвернулись. Гриша упал. Шапка его новая покатила по вытоптанному снегу. Эти, пьянь Лиговская, шапку схватили, пошли спокойно, как ни в чем не бывало. Гриша еле поднялся, кричит вслед им, мол, шапку верните. Народ идет мимо. Никто не обернется. Не остановит воров. Гриша ковыляет следом, надывается криком: «Помогите, у меня шапку украли!» А эти в лондонках чуть шаг прибавили. Задницами вертят под распахнутыми пальто, как педерасты какие. Оглядываются, рожи скалят. Завернули под арку и дворами сгинули.

Гриша пришел домой, пальто все в грязи. Другой бы расстроился, а он смеется:

«Бог не фраер, правду видит. Мне — орденосу — собачью шапку носить не к лицу».

Надя сначала сильно огорчилась, а потом расцеловала Гришу. А Гриша все еще смеется, но какая-то мрачная тень проступила на его лице.

— Гриша, что-нибудь еще? — с тревогой спросила Надя. — Они тебя обозвали нехорошо?

— Попробовали бы. Я бы их убил, — Гриша прячет глаза от жены. Желваки тяжело ходят у него на скулах.

— Все равно ты у меня самый лучший, — говорит Надя.

— А что? У тебя были и другие? — Гриша беззаботно улыбается.

— Ну что ты несешь! — Надя сердится. Она знает, что сейчас Гриша скажет: «Когда ты сердишься, ты просто прелесть».

— Ну поморщи еще лобик, моя прелесть, — слышит Надя. И ей хочется, чтобы Гриша говорил это еще и еще.

Надя уже окончила медицинский институт. Работает хирургом в Куйбышевской больнице на Литейном. И Гриша там — ведущий врач-инфекционист. Заведующий отделением.

А вот что с шапкой? Гриша человек не гордый, поносит старую ушанку. Это он сам так про себя сказал. В больнице девчонки завидуют Наде. Конечно, не каждая дождалась с войны своего мужа. А Клавка, врачиха с отделения, где Гриша заведует, такая ядовитая баба, одинокая. Так и сказала: «Что это твой в драной шапке ходит? Человек уважаемый, а одет — прости Господи».

В следующее воскресенье Константин Иванович обещал с Надей и Гришей отправиться на барахолку. Его уж никто не обманет. Гриша смеется, мол, он специалист по тифозным вшам. А специалиста по шапкам лучше, чем тесть, — не найти. Купили каракулеву шапку. Теперь Гриша, как сворачивает с Невского на Лиговку, каракулеву прячет. Надевает воинскую ушанку. Просто смех и грех. И когда наша доблестная милиция разберется с лиговской шпаной? А ведь во дворах на Лиговке и убийства, и грабежи бывают. У Гриши с Надей вход в дом с Лиговского проспекта. Это поспокойней. А теперь вот надо найти хорошего портного. И Грише костюм справить и пальто. Чтоб Клавка заткнулась. Хотя Гриша уверяет, что своими костюмом и пальто вполне доволен.

Был хороший портной. Он Константину Ивановичу до войны пальто зимнее пошил. Но дом, где жил портной, разрушен во время бомбежки. И сам портной жив ли? Спросить уже некого.

Да, вот еще: в году сорок пятом заходил Гриша на Садовую. Адрес — Садовая 12, квартира 3 — надолго впечатан в голову. И память о расстрелянном лейтенанте Боброве жжет нестерпимой болью. Соседи сказали, что вся семья Бобровых погибла в блокаду.

Когда вернулись в Ленинград, Катя пыталась через «Ленсправку» найти адрес Сони Пospelовой. В «Ленсправке» старая тетка велела зайти через неделю, а деньги взяла сразу. Ну, деньги не такие уж и большие, но все равно жалко, если отдала зря. Господи, когда жила с Костей, о деньгах и не думала. За последнее время в Кате первый раз шевельнулось что-то живое, связанное с мужем.

Зашла в «Ленсправку» через неделю. Тетка свое окошечко не удосужилась открыть. Хрюкнула в щель: «Софья Наумовна Пospelова — такой не значится». А вот сейчас будка «Ленсправки» на Садовой. Прежнюю с Невского убрали. Девчонка сидит. Быстро полистала свои кондуиты и тут же Сонин адрес выдала. Оказывается, Соня живет на Литейном, рядом с Куйбышевской больницей, где дочь с зятем работают.

Катя купила бутылку вина. Мускат «Массандра». Коробку конфет в Елисеевском.

Соня, как увидела в дверях Катю, бросилась к ней на шею. Обнялись, расплакались.

Каждая говорит, что уже не надеялась увидеть друг друга живым. Уселись за стол, и первый вопрос Сони был, почему без Кости. Что с ним? Катя поджала губы как-то нехорошо.

— И все-таки что с ним? — повторила вопрос Соня.

— Да что с ним сделается? — Катя отводит глаза. — В Ярославле, где были мы в эвакуации, спутался с бабой.

Катя видит удивленный взгляд своей подруги, пожимает плечами.

— Седина в голову — бес в ребро, — безразлично говорит она. И почему-то ей не хочется сообщать Соне, что баба, с которой «спутался» муж, спасла жизнь внуку.

— Такая смертельная пустота в душе, — Катя тяжело вздыхает.

— У меня в блокаду умерла мама. А вот я пережила это страшное время. Сейчас только работа меня и спасает. А ты что делаешь?

Катя будто не слышит вопроса Сони. Она видит Ивана молодого, красивого. Они идут по заснеженной улице Гаврилов-Яма. Новогодняя ночь. Соня хохочет. Но среди них нет Константина Ивановича. И это вовсе не смущает Катю. Ей страшно спросить Соню, что с Ваней? Она вглядывается в Сонино лицо, и ей кажется, что и Соня боится этого вопроса.

— Где я работаю? — безучастно произносит Катя. — В общем, случайные заработки. Полгода работала в детском саду. Потом РОНО направил меня в детский дом. Сирот обучать грамоте.

— А почему не в школу? Куйбышевское РОНО? Я же там работаю. Как же ты мимо меня прошла?

Катя растеряннo улыбается. Пожимает плечами. Слышит уверенный голос Сони:

— Все! Или ко мне в РОНО. Или в школу. Я все устрою.

Соня разливает вино по рюмкам. «Твое здоровье», — обращается она к Кате. Но Катя не успевает ей ответить. Дверь в соседнюю комнату с грохотом открывается. И на пороге возникает какая-то нелепая фигура старика. Седые волосы растрепаны. На нем застиранное исподнее. Кальсоны с желтыми пятнами на штанинах. Старик безумными глазами уставился на Катю.

— Ваня, — неуверенно произносит Соня, — это Катя.

Иван криво усмехается. А Соня вдруг словно опомнилась. Вскочила из-за стола. Подбежала к нему. Увела в соседнюю комнату.

Катя закрывает глаза, а перед ней опять возникает эта жуткая сцена. Неужели это Ваня? Что же с ним сделали! Слез не было. Было мертвое оцепенение.

Катя ждала подругу, кажется, целую вечность. Наконец Соня вышла. Тихо проговорила: «Он вернулся полгода назад».

Катя тут же заторопилась домой. Продиктовала подруге свой адрес. Просила непременно ее навестить. И уже на пороге спросила: «На работу уходишь на весь день. А он?»

С именем Ваня никак не вязался человек, которого она только что видела. Соня все поняла. Сказала сухо: «Соседка днем приходит Ваню кормить».

— Сонечка, Сонечка, — вдруг прорвало Катю. — Какой бы он ни был. Главное — жив, — но что-то неожиданно остановило ее горячую речь. Верно, мрачная мысль возникла в голове. Если не Ваня, может, и меня, и Константина уже на свете не было бы, — говорит она обреченно.

Помолчала. Доверительно обняла Соню. «Соня, а доносы на Костю — Павлина Зуева? Ее рук дело?» — спросила она.

— Катя, давай присядем, — устало произносит Соня.

Подруги вернулись в комнату. Катя с тревогой ждет, что скажет ей Соня.

— Мне не очень хочется возвращаться к тем далеким дням, — Соня тяжело

вздыхает, — но скажу тебе откровенно. Тебя бы не тронули. Забрали бы только Костю. А доносы писал Петрушкин Николай Семёнович. Помнишь такого?

— Как не помнить. Директор нашей Гаврилов-Ямской школы. Омерзительный тип.

— Так вот, этот омерзительный тип был без памяти влюблен в тебя.

Катя удивленно смотрит на подругу. А Соня продолжает:

— Ну конечно, вся школа об этом знала. Только ты ничего не ведала. А Павлина, при всей ее большевистской непримиримости, оказалась все же человеком порядочным. Приехала в Ярославль. Сообщила нам, какую подлость готовит товарищ Петрушкин. Николай Семёнович считал ее своим человеком и опрометчиво был с ней откровенен. А схема простая, отработанная: мужа в тюрьму, а жену себе в койку. И еще — он же из «бывших», как и Костя.

При имени «Костя» Соня на мгновение замерла. И потом с трудом произнесла:

— Петрушкин все время должен был доказывать преданность властям.

— Боже, какая мерзость, — Катя брезгливо передернула плечами. Бросила взгляд на подругу и увидела ее помертвевшее лицо.

— Сонечка, что с тобой? — испуганно спросила Катя.

— Сейчас пройдет, — еле слышно проговорила Соня. — Катя, если бы твоему любимому человеку грозила смерть, ты бы пошла на это?

— На что на это? — шепчет Катя.

— С этой тварью, Петрушкиным, в постель?

— А ты? — растерянно говорит Катя.

— Я тебя спрашиваю. Тебя! — отчаянно кричит Соня.

— Сонечка, я не знаю. Я не знаю! У меня сейчас нет любимого человека, — Катя чувствует, что сию минуту разрыдается.

Из-за закрытой двери, куда Соня отвела Ивана, слышится хриплый голос:

— Соня, Соня! Ты кричишь?

Соня вскакивает со стула. Торопливо говорит, обнимая Катю: «До встречи. Не пропадай».

Прощание

«Никто не знает ни года, ни месяца и ни часа своей смерти. Но это ложь. Небесный счетовод каждому отсчитывает время. И заранее предупреждает о конце. Но его никто не слышит. Или не хочет слышать. А вот если кто услышит, то выбегает на улицу, зажимает уши руками и кричит: “Настал мой смертный час!” Кто ж ему поверит? Забирают в сумасшедший дом. Там пичкают лекарствами. И он забывает о смерти. И смерть забывает о нем. Живет он там много лет как растение. Но очнись он на мгновение человеком, тут же явится мысль: “Лучше бы умереть, чем жизнь такая”. Тогда и смерть не заставляет себя ждать. Ведь никто не признается, что он сумасшедший. А по кому звонит колокол, узнаем только на кладбище».

Где Константин Иванович прочитал этот текст, никак не вспомнит. Как-то содержание его пересказал Александру. Спросил у зятя, как он все это понимает? Услышал совсем не в меру раздраженный ответ: «Да выбросите вы, Константин Иванович, из головы эту антисоветчину!» Поплелся Константин Иванович в кухню, где нынешнее место его обитания. В верхнем углу кухни блеснула серебром икона Божией Матери. И тут нахлынуло на него что-то неприкаянное, горькое и тягостное. Встал перед иконой, устремил взгляд на лик божий: «Господи, знаешь все грехи, мысли, чувства и дела мои. Из бездны взываю к тебе, Господи». Услышал ли его Господь? Глядя на икону, Константин Иванович тяжело перекрестился, будто ждал смерти или прощения...

Квартира Вере досталась со старой потертой мебелью. И книжный шкаф со старыми книгами. Переплет их расползается в руках. Пожелтевшие от времени страницы рассыпаются, как осенние листья.

Муж ее собирался познакомиться с этими фолиантами, нет ли там чего антисоветского. Да все руки у него, бедного, не доходят. Измучился он со своей культей. Да и у Константина Ивановича самого со здоровьем нелады. Ведь прожил жизнь долгую и не помнит, чтобы болезни серьезно одолевали. А тут посыпалось, как из решета. Вот и вся недолга. Стал редко ходить в туалет. Похоже, запор. А когда в туалете приходится напрягаться, отдаст в голову. Врач сказал, что меньше надо есть мяса, больше овощей. Про мясо слушать просто смешно. Какое тут мясо, когда такая дороговизна. Вера делает котлеты, так столько хлеба бухает. Даже в Ярославле Катя в котлеты столько хлеба не совала. Константин Иванович врачу говорит про голову, а тот все про овощи да про овощи. Врач, и сам-то далеко не молод, эдак покачал головой, мол, в ваши годы, что говорить, на все недуги лекарств не хватит. Замерил грушей давление. Давление, сказал, как у молодого. Сказал, как показалось Константину Ивановичу, с завистью. Поди, у самого-то оно прыгает. Выписал цитрамон. Предупредил, что лекарство дорогое. Сказал — это вам от головы.

И с кем нынче поговорить о своих болячках? С Верой? Так она только о своем: «Ой, папа. У меня самой голова разламывается». С Сашкой? Какой толк — безногий да контуженный. Вот Надя обещала забежать, может, с Гришей зайдут. Тот хоть с умом, что подскажет.

В голове гул стоит. Будто сто колоколов гремят. То ли благовест, то ли поминальный колокол.

Вот Александр бросил газету «Правда» на кровать тестю. Месячной давности. Константин Иванович начинает читать без интереса: «Распущен Еврейский антифашистский комитет. Арестованы члены ЕАК».

Константин Иванович заволновался: начинается. Не к добру все это. Кому опять евреи помешали? Александр молчит. Партийный он.

— А Никольский собор не закроют? — Константин Иванович не отстает от зятя.

Александр опять молчит. Константин Иванович в Никольский на каждую воскресную службу ходит. Зять так и не сказал ни слова. Загребел костылями в свою комнату. Константин Иванович присел на кровати поближе к окну, чтобы лучше читать газету: «Факты свидетельствуют, что ЕАК является центром антисоветской пропаганды, регулярно поставляет антисоветскую информацию органам иностранной разведки». Большая статья о безродных космополитах. Не захотелось продолжать чтение. Константин Иванович аккуратно сложил газету, направился к зятю. Александр лежал на диване, уткнувшись в стену. «Саша, ты же партийный. Объясни, что это значит?» — Константин Иванович садится на диван рядом с зятем. Тот нехотя поджимает свою единственную ногу. Начинает скучно говорить: «Для них, космополитов, на Западе — все хорошо. Все плохо у нас. Конечно, их надо, так сказать...» — Александр не заканчивает фразу. Но Константину Ивановичу и так все понятно. «Да, метлой их, на свалку», — говорит он, стараясь быть ироничным. «Ну, не на свалку. Пускай дворниками поработают, грузчиками. Они все в начальство лезут, — отзывается Александр. — Что-то я не видел безногих евреев». Константин Иванович сокрушенно качает головой: «А Гришу нашего тоже в дворники?» — «Константин Иванович, прекратите допрос. И так тошно. У меня культя натерта, нарываёт. А вы меня с этими вчерашними делами достали. Вам что? Больше всех надо?» — Александр комкает газету, прыгает с тяжелым грохотом к печке, бросает газету на тлеющие угли. Газета вспыхивает ярким пламенем и оседает на углях серым пеплом. Так и мы — вспыхнем однажды ярким пламенем, а потом серым пеплом развеет нас ветер. Но Константину Ивановичу не до этих красивых фраз. Он плетется на кухню, укладывается на свою железную кровать. Трудно последнее время на ней

спать. Пружины весь матрас прорвали. Вот, похоже, дочь пришла с работы. Сумки с продуктами бросила в коридоре. Так и есть — Вера. Усаживается на кровать в ногах отца. И Константин Иванович слышит ее взволнованный голос: «Папа, ко мне в школу Надя прибежала, вся в слезах. Гришу с работы уволили. Он уже по поликлиникам несколько дней ходит. Нигде не берут. Мама поехала к Соне Пospelовой. Ты знаешь, мама ее нашла. Соня обещала ее на хорошую работу устроить, а то ведь на одну Надину зарплату троим не прожить. А Соню тоже уволили». Константин Иванович молчит. Что здесь скажешь? Свою пенсию придется отдать Наде, пока Катя не найдет работу. Кате с работой тоже не везет. Ходила по школам, с ее образованием только в младших классах учительствовать. А первоклашек в войну не больно-то настрогали. Так что с работой и у Кати проблемы. Не в уборщицы же ей идти. И здесь — Александр треть своей пенсии Гале на алименты отсылает.

«Соня — жива. Хоть одна добрая весть», — Константин Иванович хочет спросить дочь, а муж Сонин — Иван — жив ли? Но Веру совсем другое тревожит. Она рассказывает, что Гришу перед увольнением главврач вызвал, сказал такое, страшно слушать: «Вот как весь немецкий народ несет ответственность за гитлеровскую агрессию, так и весь еврейский народ должен нести ответственность за деятельность буржуазных космополитов». «Папа, что, с того света господин Пуришкевич явился? И опять евреям отвечать за то, что Христа распяли?» — слышит Константин Иванович полный отчаяния голос дочери.

«Верочка, я не знаю, что тебе на это все ответить. Спроси своего мужа», — Константин Иванович смотрит на дочь, которая в изнеможении опустила руки.

— Ты опять таскаешь тяжелые сумки. Поди, опять картошка, капуста. Я ж тебе много раз говорил, чтоб не таскала тяжестей. Скажи только, что надо купить. Может, на что другое я негоден, а уж в овощную лавку сходить — сгожусь. Ты еще молодая. Может, родишь еще мне внука или внучку.

— Папа, я беременна, — Константин Иванович слышит подавленный голос дочери.

— И прекрасно, — Константин Иванович счастливо улыбается.

— Ну что вы, папа. На что жить-то? На вашу и Сашкину пенсии разве проживешь? Ведь с ребенком надо минимум год дома сидеть. Надо аборт делать...

— Ни в коем случае! Это же нынче подсудное дело! — Константин Иванович не сдерживает крика. Вера торопливо прикрывает дверь в комнату, где лежит на диване Александр.

— Не хочу, чтоб Сашка слышал.

— Если причина только в деньгах на жительство, пойду работать. На прядильно-ниточный комбинат. Меня наверняка там еще помнят. Каким подметалой может и возьмут. Скажи, у тебя с Александром проблемы?

Константин Иванович внимательно смотрит на дочь.

— Нет-нет. С Сашей все нормально, — торопливо говорит Вера. — Он даже собирается в институте Герцена работать. На кафедре «Марксизма-Ленинизма», где он до войны трудился, все места заняты. Но там появился учебный курс «Химическая защита». Саша рассказывал, что студенты называют этот курс «хим-дым». И еще он говорит, что «Химическая защита» была его военной профессией. И в институт его просто обязаны взять. Только вот у него с ногой плохо...

Константин Иванович с сомнением смотрит на дочь. «Обязаны? И кто сейчас кому-то обязан?» — с горечью думает он.

— Ну, тогда другое дело, — с напускной бодростью, и откуда это взялось, произносит Константин Иванович. Хотел еще добавить, что теперь он может спокойно умирать. Но почему-то не решился.

В эту ночь Константину Ивановичу что-то не спалось. Всякие тревожные мысли лезли в голову. Взглянул на карманные часы, он всегда их кладет на стул рядом с кроватью. Благо, полная луна смотрела в окно. Было три часа ночи. Посмотрел на часы, и сразу — будто ухнул в прорубь, опрокинулся в глубокий сон. И снилось: они с Катенькой и малышкой Верочкой сидят на берегу Которосли. Катенька, юная и желанная, улыбается ему. Он безмерно счастлив. А мир вокруг безоблачный и светлый. Издали раздается колокольный звон. Никольская церковь в селе Гаврилов-Ям. Это далеко. И откуда этот звон? Константин Иванович считает: раз, два, три... Он ждет еще одного удара колокола. Но колокол молчит. Три удара — поминальный колокол¹. По кому это он отзвонил? И слышится голос Небесного счетовода: «Вот мы с тобой и свели дебет с кредитом». — «Подожди! У меня дочь рожает», — хочет закричать Константин Иванович. Но ворота Небесных чертогов уже за ним захлопнулись.

Утром Вера заглянула на кухню, где спал отец. Обычно он поднимался раньше всех и растапливал плиту, чтобы дочь могла приготовить завтрак, чтобы внук собирался в школу в тепле. За ночь кухня сильно выстуживалась. Окна на кухне старые, щели еще с зимы заклеены бумагой, но продувает. Май месяц, а ночи холодные. Вера подошла к кровати отца. Приложила руку ко лбу Константина Ивановича и со страхом отдернула. Лоб был холодный, как лед. Счастливая улыбка застыла на лице отца. Он был мертв.

Летняя ночь была неподвижна и светла. С Московского вокзала слышны протяжные гудки паровозов. По пустынному Невскому проспекту в сторону Московского вокзала двигался одинокий мужчина. Он был высок ростом, слегка сутул. Шел неторопливым, размеренным шагом. И в его облике смутно угадывался Константин Иванович. Он следовал на свой последний поезд.

Взошла луна. И ее призрачный, холодный свет чуть озарил шпиль Адмиралтейства. С Московского вокзала прозвучал далекий, прощальный гудок паровоза.

¹ В православной богослужебной практике во время провозглашения «вечной памяти» принято совершать три удара в колокол.

Татьяна Вольтская

В погоне за звездой ручной

* * *

То ли мало любили мы, то ли бедно цвели,
То ли тех, кого милыми звали, — не сберегли,
То ли пили не допьяна, жили не наяву —
Видишь, белым хлопьями замает Москву.
На углу постояли мы, да свернули во двор —
Слышишь, Каина с Авелем день за днём разговор?
Возит по сердцу пилами незаконченный счёт:
То ли много убили мы, то ли мало ещё.
Рассужденьями делятся собеседники тьмы.
Ты не слушай, метелица, наметай-ка холмы,
Из небесного сотканы пуха — на площадях,
Меж пустыми высотками, никого не щадя.
Слышишь, скрипка пиликает, как свернёшь на Китай, —
До Ивана Великого всё подряд заметай.

* * *

Рвутся влажные простыни снега,
Тронешь ёлку — уколет: не лезь!
И за что мне земля, человека
Отторгающая, как болезнь,

И прохожий с ухмылкой недоброй:
Улыбаться с утра — не резон,
И железнодорожные рёбра,
Протыкающие горизонт,

Ночи — как отреченные книги,
Что пылают — не скажут о ком,
Сын, похожий на смуглые лики
Византийских глазастых икон.

Вольтская Татьяна Анатольевна — поэт, эссеист. Родилась и живет в Санкт-Петербурге. Окончила Ленинградский институт культуры. Автор девяти сборников стихов. В 1990-е годы выступала как критик и публицист, была соредактором петербургского литературного журнала «Постскриптум». Лауреат Пушкинской стипендии (Германия), премий журнала «Звезда» и др. Работает корреспондентом радио «Свобода/Свободная Европа».

* * *

И жар печной, и страх ночной,
Сочельник, ёлка.
В погоне за звездой ручной
Волхвы промокли.

Гнилая оттепель, сума,
Зима больная,
Пастушья хижина, тюрьма,
Больница — знаю,

Куда проникнет тихий звон,
Свет невесомый —
Дом престарелых. Детский дом.
И снова зона.

Похабные смешки братвы.
Стена лесная.
По чёрной слякоти волхвы
Бредут, я знаю.

* * *

Скорее роди нас, Боже!
Мы предали образ Твой,
Но мы Твои дети тоже —
И тоже хотим домой.

Последний из нас не хочет
Остаться во внешней тьме,
Помножь нас на птицу, Отче,
В воздушном Своем уме.

Нас жалит любовь, не греет,
Как злейшая из скорбей, —
Пмножь её поскорее
На вспыхнувших снегирей.

Дай нам оглянуться, блудным,
Пошли нас в повторный класс,
И тех, кого мы так любим,
Скорей огради от нас.

Покуда мы дышим — в тайной
Тени Твоего креста
Позволь нам остаться. Дай нам
Не смерти, а живота.

* * *

Символ веры с прожилками золотыми
Поздним вечером в комнатной пустыне
Наливается между погасших окон
Немерцающим светом, терпким соком.
Сквозь него плывут автобусы, не касаясь,
На стебле его город висит, как завязь
Будущего небесного града:
Церкви взорванные вернулись обратно,
Как заблудившиеся овцы,
Шпили светят лучами нового солнца,
И дома прижаты плотно, как зёрна
Той любви, которая здесь зазорна —
Врывается в жизнь и торчит из неё углами,
Острыми, бесформенными, как пламя.

* * *

Как придёт ко мне дружок,
От смущенья пятясь,
У него в руке цветок,
На губах — анапест,

За плечом его — зима,
Выйдем — а за нами-то
Закачаются дома,
Точно без фундамента,

Переулок под ногой
Дрогнет тонкой щепочкой,
А снег закружит сам с собой,
Как шерочка с машерочкой.

Кто там — двери отворяй,
Нам терять-то нечего:
День горит, как светлый рай,
Ночь — как мука вечная!

Светлана Волкова

Великая любовь Оленьки Дьяковой

Рассказ

Перед парадным входом Мариинской женской гимназии, на расчерченных полузрелым апрельским солнцем квадратах, дымчатый голубь, чуть приподнимая крылья, преследовал миниатюрную голубку. Его подруга, то убыстряя, то нарочито замедляя шаг тонких ножек, петляла по пыльным булыжникам, и когда ей казалось, что кавалер отстает, поворачивала к нему аккуратную головку, удивленно косясь на преследователя маленьким круглым глазом. Голубь хорохорился, нагонял ее, но ничего боле не происходило, он лишь раздувал перья на мощной шее, бликуя на солнце зеленовато-марганцовочным металлом, и старался на полшажочка все же держать дистанцию.

Оленька вздохнула и, посмотрев на голубку, прошептала:

— Любит он меня, девочки... Так сильно, как... Как...

Никакое сравнение на ум Оленьке не шло.

— Как Ромео? — подсказала черноглазая Маша Слуцкая.

Оленька задумалась, снова взглянула на голубицу и повела плечиками:

— Сильнее, девочки.

— И ты его?

— А уж я!..

Гимназистки стояли на дорожке, под высокой черемухой, едва тронутой желто-зелеными брызгами юной листвы, и, чуть наклонив головы в одинаковых шляпках, ловили каждое Оленькино слово. Оленька закрыла глаза, всем видом давая понять, что любовь ее настолько велика, что не может быть выражена никаким русским словом. Все молчали, ожидая, пока это слово все же отыщется.

— А ты впадала в разврат? — наконец полушепотом спросила Вера Шмидт.

Девочки разом ахнули и оглянулись по сторонам: не подслушивает ли классная дама или кто-то из педагогов. Но никого рядом не было, лишь дворник гладил метлой ступеньки крыльца, но был он от них на приличном расстоянии, да и не имел привычки вслушиваться в щебетание барышень, так как ровным счетом ничего в нем не понимал.

Волкова Светлана Васильевна родилась в Ленинграде. Окончила филологический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. Автор романа «Подсказок больше нет» (АСТ, 2015). Печаталась в журналах «Нева», «Октябрь» и др. Живет в Санкт-Петербурге.

Предыдущая публикация в «ДН» — повесть «Золотой цыпленок» (2017, № 9).

О разврате Оленька знала немного, но то, что знала, бредило ее беспокойную душу привкусом тайны, ощущением совершенного дерзкого шага от трепетного поцелуя к чему-то запретному, манящему, преступному. Само слово «разврат», сладкое, как бухарская халва, ассоциировалось исключительно с Ниной Кох, красавицей из выпускного класса гимназии. Ее историю девочки долго передавали друг другу шепотом, осторожно перекачивали под языком, с остротой и некоторой завистью в голосе, а сами подробности, дофантазированные и обрастающие каждый раз новыми, иногда нелепыми деталями, были самой обожаемой темой девичьих обсуждений. Прошлым летом Нина Кох, дочь уважаемого чиновника военного ведомства, прилежная гимназистка, умница, гордость гимназии, сбежала с актером Малого театра Милосердовым. И хоть потом беглянку скоренько вернули, скандала избежать не удалось. Оленька помнила Нину еще до ее отчисления — та ходила всегда молчаливая, гордая, осанистая, окруженная подругами, как свитой. Королева! И тот позор, которым, по словам классной дамы, она себя заклеимила, невыразимо шел ей, как может идти новое пальто с пелериной или нарядная беличья муфточка. Ах, как хотелось Оленьке хоть капельку быть причастной к той огромной, волшебной Ниночкиной тайне!

— ...Впадала, девочки! — полушепотом сказала Оленька. — Впадала в разврат!

Подруги уважительно охнули, завистливо глядя на Оленьку. Такт и воспитание не позволяли спросить что-то еще, и только Вера Шмидт придвинула к ней длинный нос и, сглотнув, процедила:

— Ну и как там?

— Где? — не поняла Оленька.

— В разврате.

Оленька выдержала мхатовскую паузу и, чуть прикрыв глаза, выдохнула:

— Ма-ни-фик!

Кто-то ойкнул, тихонечко, как хлебной крошкой подавился. Девочки с восхищением переглянулись, их круглые шляпки еще больше сузили кольцо вокруг рассказчицы. У Маши Слуцкой сам собой открылся рот. Оленька снисходительно поднесла палец к ее подбородку и Машин рот прикрыла.

«Сейчас придут в себя и подробности начнут выпрашивать, — подумала Оленька. — А я скажу, что тайна».

Никаких подробностей она и не знала, разве что из Нининой истории, но заимствовать боялась: разоблачат. Да и хотелось своих, именно *своих* подробностей.

— А ты сопротивлялась? — приставала настырная Шмидт.

— Конечно! — гордо дернула головой Оленька. — При разврате сопротивляться надо! — Подумала и весомо добавила: — Иначе моветон.

Она вспомнила картину Пуссена «Похищение сабинянок» из альбома отца: полуголые пышнотелые сабинянки простирают руки к небу, а красивые мускулистые мужчины несут их куда-то. Куда? В разврат, конечно.

И, без сомнения, сабинянки сопротивляются не особо сильно, а так, для соблюдения политеса.

— Он же выкрал меня! Я не рассказывала? — вдохновенная волна вновь захватила Оленьку, и потекла неспешно сказочная история, героиней которой была она сама.

В этой истории сошлись снежно-голубая зима и медвежья полость саней, и кучер в цилиндре, и дуга в алых ленточках. И она сама, легкая, покрасневшая на морозе, в шубке из черных соболей (непрененно черных — его, его подарок, потом цыгане украли), и звон круглых бубенцов, и поцелуи, застывающие на воздухе узорчатыми льдинками. А Петенька, в мундире Николаевского училища гвардейских юнкеров, до чего хорош, и церковка, где венчаться надумали, ну прямо с открытки: маковка золотая, двери и оконца расписные, настезь, настезь! К самому действию и нагнал их папенька, вернул беглянку силой в дом, а по Петенькину душу разговор имел

с попечителем, тот не верил сперва, ведь Петенька должен был училище с «золотым шрифтом» кончить, но ведь, девочки мои, любовь, любовь, да.

— Помните, отсутствовала я на занятиях зимой, две с лишком недели, — как бы в доказательство своего побега, срываясь с тихого шепота на громкий, говорила Оленька. — Так это под домашним арестом была. Папенька не извоили выпускать никуда, Дуню, служанку, приставили.

Оленька многозначительно обвела подружек переливчатым взглядом. Она действительно не ходила в гимназию половину февраля из-за жестокой ангины, а когда появилась на занятиях, была бледной, слабой, большей частью молчала, потому как доктор советовал беречь связки «пуще зеницы».

— Врала я вам, что болела, — продолжала Оленька. — А и болела ведь — душою, сердеченьком, и мерехлюндия у меня была тяжелая, так что порошки специальные пила. Дабы не умереть от горя.

— А что с Петенькой твоим стало? — подала голос Маша Слуцкая.

— Сослали его, — вздохнула Оленька, пытаясь на ходу додумать финал.

— Куда?

— Куда-куда! На Кавказ, конечно!

Кавказ, в понимании Оленьки, был единственным местом, достойным для ссылки ее героя. Чтобы как у Лермонтова было. Чтобы серьезно и трагично.

— Так я не уразумела, — снова вклинилась в разыгрываемую драму Вера Шмидт. — А разврат-то когда был, если вы до церкви не успели доехать?

— Ну что ты за зануда такая! — вспыхнула Оленька. — В саночках и был!

Девочки разом охнули — но Оленька приложила пальчик к губам: никаких подробностей!

В воздухе вдруг стало электрически-напряженно, будто на сеансе опытов по физике, и, качнувшись, над Оленькой нависла тень от шляпы классной англичанки миссис Доррет.

— Что за собрание? Вас не ждут дома? — ее английский вне стен гимназии всегда почему-то звучал гнусавее, чем в классе.

Девочки разом сделали мелкий книксен и, заговорщицки посмотрев на Оленьку, мигом рассыпались-растеклись в разных направлениях.

— Вас, мисс Дьякова, тоже касается.

Оленька, раздосадованная прерванным спектаклем, пропела: «Йес-мэ-дэм» и, выпрямив по-балетному спину, зашагала прочь со двора.

* * *

В свои шестнадцать Оленька Дьякова была миловидной, хрупкой, с нежным природным румянцем, растушеванным полумесяцем от крыльев носа до мочек аккуратных фарфоровых ушей, и пшенкой веснушек на пухлых щеках. Гимназию она не любила, да и за что ее любить — вставать надо рано, не дай бог опоздаешь на закон Божий, уроки опять же учить, одна латынь чего стоит и английский этот. Ладно бы французский, француженка хотя бы не такая вредная, как эта миссис Доррет, но английский-то зачем в жизни нужен? В замужестве вот совсем не пригодится.

Только лишь шаловливая мысль касалась замужества, как Оленька сразу чувствовала, что начинают гореть уши, да так сильно, хоть студеное прикладывай. И все прочие мысли, разогнавшиеся было бодрым галопом в ее голове, разом останавливались, подобно упряжной тройке, повинующейся руке умелого возницы: тпруу! и пыль из-под копыт! — и где они, мысли-то? Нет их, как ни зови. Только *замужество* и разливалось по всем закоулкам-трещинкам, заполняло голову, выдавливало все лишнее, чтобы думалось бедняжке только о нем одном.

Но хотелось неизменно большего, нежели то, что она видела у знакомых супружеских пар. Никакой романтики, один мышастый быт. Взять хотя бы старшую

сестрицу с муженьком. Ведь муженек-то, Игнатушка, когда женихался, ходил гоголем, раскрасавец писанный, в театры и концерты сестрицу водил: сам в черном, без единой пылинки, смокинге, в сиянии белого крахмального пластрона, столичный денди! И сестра Катя в зеленом платье, с фамильной брошкой у горла, во французской маленькой шляпке с лентой — королевшица, как нянюшка выразилась, и точно — иное слово Оленьке на ум и не приходило. А как романсы пели на два голоса за ужином, слушаешь — заслушаешься, любишься — не налюбишься! И по саду гуляли, ручка об ручку, ну пастораль, да и только!

И что с ними стало теперь, спустя всего три года после свадьбы? Игнатушка отрастил брюшко и бакенбарды, уже давно вышедшие из моды, театры-концерты позабросил, завел живорыбное хозяйство у Тучковой набережной и — матушка сказывала — пропадает до ночи в своей конторке, точно мелкий купчик. А Катя целыми днями бродит сонной мухой по дому, потягивает чаек с пряниками по десять раз за вечерок да сплетничает обо всем и обо всех с первым же подвернувшимся гостем-слушателем. Тоска!

И если бы только с сестрицей так — со всеми же знакомыми, кого ни возьми! Оленька вот тоже полюбит какого-нибудь, к примеру, красавца-гвардейца, а после свадьбы тот выйдет в отставку, превратится в грузного дяденьку с лицом цвета вестфальской ветчины, поведется непременно ходить по дому в халате и с сеточкой на волосах, а ночью спать, не шевелясь, со специальными зажимами на усах — «для придания оным должного угла загиба», как пишут в газетной рекламе, — что может быть гаже! Да и сама она, хрупкий папенькин цветок, поскучнеет, приспустит на щеку острую «испанскую» спираль волос, начнет пудрить увядающую кожу японской цинковой пудрой, обсуждать наряды соседок и критиковать молодых девиц — ой, ужас, ужас! — лучше и думать об этом не начинать! Ежели все так заканчивается, не надобно никакого замужества!

Каждый раз, доходя в мыслях до места «тихого обывательского счастья», Оленька грустнела и запрещала себе думать о мужчинах вообще. Но лишь стоило ей выйти на улицу и увидеть кого-нибудь — хоть военного, хоть студента, — как сердечко начинало биться чаще, щеки пылать, а глаза опускались сами собой вниз, на носки туфелек, так что пару раз бывало, она натыкалась на столб или афишную тумбу.

Именно из-за этого Оленька и полюбила гулять по дорожкам Смоленского кладбища, где в тени высоких тополей можно было, не встретив никого, спокойно подумать о сокровенном, без суеты и необходимости «держать лицо», присесть на аккуратную скамью, открыть томик стихов Надсона или Брюсова и всласть помечтать о невозможном — о своем Лоэнгрине, Тристане или Сиде, о рыцарях ушедших эпох и о великой, чистой и страстной любви.

На кладбище было совсем не страшно, нет, напротив, близость холодных могильных плит, глянец полированного мрамора и запредельная тишина приносили Оленьке какое-то высокое успокоение. Хотелось прикоснуться рукой к любому из крестов, минутку подумать о чем-нибудь возвышенном — о духе бренности всего сущего, к примеру, — и на душе становилось удивительно хорошо. Оленька даже всплакнула над чьим-то памятником — чьим, не запомнила — уж больно настроение тогда способствовало слезам и размышлениям о неминуемой смерти.

И однажды, в середине апреля, в чистый четверг, бродя в отдаленном уголке кладбища, Оленька увидела «свежий» памятник. Плачущий ангел с полуопущенными крыльями обнимал каменный крест. Живые белые цветы на черной мраморной плите, кудрявая ветка ивы, склонившаяся к могиле и плачущая, казалось, в унисон с ангелом, тонкая вязь оградки — вся эта картина заставила Оленьку едва ли не задохнуться от нахлынувшего нового чувства, самой же выпестованного. Надпись на полированной табличке гласила:

Дорогому сыну от безутешных родителей. Скорбим. Помним.

Пётр Воскобойников

06/1893 — 10/1912.

Оленька несколько раз перечитала надпись.

...Пётр Воскобойников умер в октябре прошлого года, и было ему от роду девятнадцать лет...

Истории невесомой поземкой сами собой закружились в Оленькиной голове. Кем он был? Как он жил? Как получилось, что небеса позволили умереть такому молодому человеку?

О том, как он выглядел при жизни, Оленька думала ровно минуту. Сомнений не было: Пётр Воскобойников, а как иначе, был стройным красавцем с бледной кожей, большими глазами цвета серого гранита, темными, почти черными, волосами, длинными пальцами и тонкой поэтической душой. Иллюстрации к «Юному Вертеру» вполне могли копировать с него. Происходил Пётр — к третьей минуте дум о нем уже Петенька — непременно из хорошей приличной семьи древнего обедневшего дворянского рода... Тут Оленька взглянула на каменного ангела с опущенными на крест крылами... — Нет, пожалуй, *слегка* обедневшей, но род этот корнями тянется... Оленька напряженно вспоминала уроки родной истории... К Рюрикам... Ах, нет, те кровопийцы были... Пусть к какому-нибудь другому загадочному имени. К черногорским князьям... Да-да! Именно к черногорским!

...Она и сама не заметила, как все лицо ее стало мокрым от слез. Такой прекрасный Петенька, будущий... ах, конечно же, блестящий офицер... такой юный, не вкусивший... ах, ничего еще не успевший вкусить!..

Той ночью Оленьке не спалось. Снился Петенька, и как они гуляют вдвоем по аллеям Смоленского кладбища, и птицы поют тоненько, и сирень с черемухой в цвету. А то, что могилки вокруг, так совсем не мешает, а наоборот, такой чудесный фон создают — на фоне этом Петенькины стихи, что он Оленьке вслух читает, звучат сильнее, трагичнее, значимей...

Наутро, отстояв с родителями службу в храме и втихаря справив о Петеньке молитву, Оленька побежала на кладбище. Гулять — «полуденно прогуливаться», как говорила нянюшка, — ей разрешалось без провожатых уже год, а и кто бы возразил, папенька современных нравов, да и двадцатый век на дворе. С центральной кладбищенской аллеи она сразу свернула в нужную боковую и уже не шла — бежала по ней, на ходу разрывая ногтями узелок от шляпной ленты, ставший вдруг тугим под подбородком; долетев до ангела с крестом, бросилась на каменную плиту и зарыдала в голос.

— Петенька, как же так? Как же так? Как же так?!

Весенние пичуги вторили ей где-то в ветках тополей: «Цьют, цьют... Как же так!» Точно забивали серебряные гвоздики в ее собственный воображаемый крест.

И все последующие дни посетители Смоленского кладбища наблюдали душераздирающую картину: по аллее спешит к отдаленной могилке юная дева в черной шали, хрупкая и невесомая, и сердца их плакали при виде ее.

Оленькина жизнь приобрела с появлением незнакомого усопшего Петеньки Воскобойникова новый смысл. Теперь ежедневно после гимназических занятий она наскоро обедала дома, надевала для усмирения бдительного глаза домочадцев привычную пюсовую юбку, коричневый бархатный жакет с жестким воротником, шляпку с поднятыми полями, а в любимую гобеленовую сумочку клала свернутую тонкую черную шаль. Минут двадцать она шла по Васильевскому острову, где жили Дьяковы, приветливо здороваясь со знакомыми и улыбаясь, а как сворачивала с

Семнадцатой линии на набережную Карповки, навстречу бело-желтым воротам Смоленского кладбища, так в секунду мрачнела, бледнела, накидывала на плечи вынутую из сумочки шаль и, не сдерживая катившихся по щекам слез, спешила к знакомому кресту с крылатым ангелом. Там уже падала ниц, как профессиональная плакательница, и рыдала в усладу, пока запас слез не кончался. К неизменному «Как же так!» теперь прибавилось «Как же я без тебя?» И Оленька была в своем горе так искренна, так трогательно правдоподобна, что два служителя кладбища, наблюдавшие ежедневно сцены ее вселенской скорби, пару раз не выдерживали, осторожно подходили к ней и участливо предлагали срочно позвать к барышне жившего неподалеку доктора или, на крайний случай, проводить бедняжку до извозчика. Оленька мотала головой, глотая слезы, потом враз переставала стенать, подымалась и, заправив под шляпку выбившиеся пряди светлых волос, шла с кладбища прочь: спина прямая, осанка гордая, ах, ах, видела бы классная дама!

Тайна, ее собственная великая тайна, без которой Оленька не мыслила уже своего существования, приносила ей невыразимое наслаждение. День за днем сам собой тщательно вырисовывался, вычеканивался в ее голове Петенька, и вся его жизнь, и привычки, и даже милые недостатки. Он был для Оленьки *настоящий* — такой настоящий, как если бы она росла вместе с ним и распрощалась только что, буквально вчерашним вечером.

Все вокруг казалось теперь такой пресной обыденностью, граничащей с обывательской пошлостью, что появление в ее жизни Петеньки Оленька расценила как благословенный знак.

Но вот причина Петенькиной смерти никак не выкристаллизовывалась в Оленькиной голове. Очень хотелось, чтобы Петенька умер из-за нее, Оленьки, и чтобы непременно это была старомодная дуэль — из ревности, конечно. Или из-за случайной фразы, которую соперник, не думая, бросил в сторону Оленьки, а Петенька счел оскорблением. Так, кажется, было у Пушкина с Дантесом... Или нет. Оленька даже пыталась прочесть взятые из папенькиной библиотеки книги про дуэли, но чтение не шло, и ей приходилось все додумывать самой.

Немалую часть этих фантазий занимал эпизод будущего объяснения с подругами по гимназии. Оленька представляла это так.

... Она отсутствует в гимназии несколько дней (можно на эти дни уговорить мамушку вместе съездить к тетке в Псков).

... Она приходит в класс вся в черном, вопреки правилам (гимназисткам позволялся семейный траур).

... Она слушает урок отстраненно, потом неожиданно вздыхает и падает в обморок.

... И уже потом, по страшному секрету, рассказывает девочкам, что виновата в смерти возлюбленного.

Но в этой истории была масса недостатков. Во-первых, облачиться в траур, чтобы домашние, особенно нянюшка, не заметили и не начали приставать с вопросами, было категорически невозможно.

Во-вторых, классная дама в тот же день придет за папенькой или, того хуже, нагрянет сама на квартиру к Дьяковым побеседовать о состоянии Оленьки. Вот родители удивятся-то!

И в-третьих, любопытные девочки, особенно эта длинноносая Вера Шмидт, уж непременно выведают про кладбище и, чего доброго, увяжутся за ней. А там же на могиле дата смерти — прошлый год. Что же, получается, Оленька была не в курсе всего происходящего? Или же до нее все доходит, как до медведицы в спячке, — через полгода?

Оленька даже как-то подумала, что хорошо бы исправить дату смерти на табличке на весну тринадцатого года. Но тут же мысли этой устыдилась: грех, грех...

Так история с Петенькой мертвым, как ей хотелось бы подать ее подругам, сама собой расплзлась по швам.

Тогда и возникла история с Петенькой живым.

И сразу как будто легче стало. Он все равно ведь теперь есть у нее, а то что мертвый, так от этого образ Петеньки делался еще романтичней.

Продумывая детали *великой любви* Оленька успокоилась, перестала ежедневно приходить на кладбище, но все же взяла себе за правило бывать на могиле по четвергам и вторникам — как раз тогда, когда занятия в гимназии заканчивались на час раньше, чем в иные дни. Приходила всегда с одним цветком и непременно, в дань традиции, позволяла себе тихонечко всплакнуть. К привычке этой сама собой прибавилась другая: домысливать события дня, прожитые с Петенькой. А события эти были удивительными — Оленька каталась с ним на каруселях в Адмиралтейском саду, ходила в синемаграф на Мозжухина и в Александринку на Савину, после же непременно лакомилась мороженым и булочками с кремом, а однажды Петенька водил ее в знаменитый ресторан «Талон», где они ели страсбургский пирог с гусиной печенью и запивали «Вдовой Клико», и обратно ехали до дома на таксомоторе. Эта была удивительная, яркая, до деталей придуманная и продуманная жизнь, которой Оленька гордилась, и была искренне благодарна Петеньке за то, что она, эта жизнь, у нее есть. А вместе с ней есть он, Петенька, — такой милый, добрый, внимательный и романтичный — а хотя бы и неживой.

* * *

На уроке английского на стол Оленьки прилетела свернутая тонкой сигареткой записка:

«Есть ли вести от Петра?»

Оленька даже не поняла сначала, от какого такого Петра. Но потом зарделась брусничным румянцем и посмотрела по сторонам. Маша Слуцкая, сидящая через проход от нее, едва заметно кивнула.

Прошла неделя с момента разговора о несостоявшемся венчании, но Оленька любопытство девочек никак не подпитывала: ходила гордая, молчаливая, полувзмахом ресниц призывая подруг быть деликатными к бережно хранимой тайне. Артистизма хватало с лихвой, да Оленька и не задумывалась о том, чтобы *играть*. Он, ее обожаемый Петенька, был всегда рядом, в мыслях и сердце. А то, что сослали его на Кавказ, ну это же жизнь, подруженьки мои, и в ней, жизни, всякое бывает, не все сладко, как в романах. Талантливо проживая каждый день и доверяя сокровенные мысли лишь дневнику, тщательно оберегаемому от посторонних глаз, Оленька эпизод кавказской ссылки предъявила подругам, дабы те не донимали ее вопросами, где, мол, жених, сама же о ней не думала вовсе.

Петенька к этому моменту занимал Оленькину голову уже целиком, и, казалось, даже вне головы был рядом, в воздухе, курился вокруг Оленьки неким зеленоватым свечением, так что она не на шутку опасалась, что домочадцы его обнаружат.

С самого начала урока Оленька обдумывала детали их с Петенькой похода на модного комика Константина Варламова, «дядю Костю», как все его звали. Летний театр, белые колонны эстрады, чудный Павловский парк! Ах, Петенька до чего хорош в мундире — красные лацканы, пуговицы блестят, кивер с николаевской гвардейской звездой! А она сама, в белом платье с воротничком-матроской, развевающимся парусом за спиной, — это же белый флаг, Петенька, я капитулирую, капитулирую! И поцелуй — в сотый раз «первый», который виделся ежедневно с новых ракурсов, — сладок, томителен, чуден. Жаль, девочкам не рассказать!

Оленька обмакнула перо в пузатую чернильницу.

«Шлет письма часто, через доверенных лиц», — мелко написала она на записке, — «любит, страдает».

Записочка прошла несколько пар девичьих рук и легла в ладонь Маши. Пальчики вспорхнули, задвигались, разворачивая рулончик-сигаретку, затем, как по клавишам, быстро пробежали по строчкам. Маша чуть заметно кивнула Оленьке: мол, понимаю. Вера Шмидт, сидевшая рядом, тоже прочитала послание и заговорщицки прикрыла веки. Оленька в ответ сделала суровое личико и приложила палец к губам: тсс, тайна.

— Что происходит в классе? Мисс Дьякова, о чем мы сейчас говорили?

Оленька вздрогнула. Прямо перед ее глазами на сдавленном корсете крейсерного бюсте миссис Доррет качался лорнет на длинный цепочке. Лицо же англичанки снизу показалось еще огромнее, чем обычно.

— Прошу простить, мэдам, я... я... — пробормотала она, поспешно вставая и подыскивая точные английские слова. — Мы говорили о Марии Стюарт...

Миссис Доррет поднесла лорнет к носу, проткнула Оленьку насквозь льдистым взглядом и, тяжело вздохнув, будто и ей самой тоже смертельно скучно в классе, продолжила урок.

* * *

Любовь изменила Оленьку. Она стала скучна в беседах с домашними, постоянно стремилась к уединению, отказывалась от воскресных прогулок в привычной компании, состоящей из дочек папенькиных компаньонов, и непременно делала обезьянью гримаску, когда ей сообщали, что к обеду прибудет господин Н. с сыновьями Константином и Владимиром или господин М. с племянником Саввой. В столовую она все же спускалась, была любезна с господами Н. и М., но подчеркнуто холодна и неразговорчива с их отпрысками, своими ровесниками.

«Тебе не идет жеманство, Ольга», — каждый раз говорила ей матушка, но Оленька лишь пожимала плечами и норовила ухватиться за первый удобный повод, чтобы откланяться и уйти к себе.

Четверги и вторники были для нее по-прежнему отдушиной. Она шла на Смоленское кладбище, как на свидание, но уже не рыдала, распластавшись на могильной плите, а присаживалась на скамеечку рядом и, поохав, как старушка, говорила с Петенькой, как с живым.

— Вот, голубочек ты мой, а на «Юдифь» с Шляпиным ты должен непременно сводить меня после Троицы. И еще я хочу на «Девушку с мышкой». А если тебе захочется, то можем в Ботанический сад. Говорили, там цветочек водяной прижился, Виктория Регия называется, невероятной красоты, вот-вот зацвести должен. А не хочешь в сад, мы в Гатчину поедem, ты меня на лодочке покатаешь. У тебя есть деньги на таксомотор? Если нет, ты не стесняйся, скажи. Я не позволю, чтобы ты из-за меня в стеснениях был. Ах, право, твой подарок давешний так мне мил, так мне мил! Это же настоящее французское кружево, ах, ты понимаешь толк в изящных вещах! А позапрошлый твой подарок, китайскую фарфоровую собачку, я поставила на столик в спальне и смотрю на моську каждый раз, как засыпаю и просыпаюсь. А вот тебе еще сон свой расскажу...

Монолог ее длился обычно минут десять. После она вставала, кланялась зачем-то Петеньке и с чувством выполненного долга уходила прочь.

Шла вторая неделя июня, и так случилось, что четверг был занят именинами папеньки и визит к Петеньке пришлось отменить. Но, верная своей выпестованной привычке, на следующий день, в пятницу, Оленька пришла на кладбище.

Но лишь она ступила на аллею, как предчувствие чего-то... непонятно чего, но неприятного, оскоминой осело в горле. И ведь не ошиблась: едва свернула на

знакомую дорожку, как заметила тонкую фигурку в черном платье с траурной накидкой на плечах. Оленьку возмутило само присутствие чужой барышни на могиле *ее* Петеньки, но больше всего ранило то, что незнакомая девушка лежала на Петенькиной могиле, как умирающий лебедь у Сен-Санса, — руки вперед, голова где-то под мышкой, острые плечи подняты — и сотрясалась в рыданиях. Точь-в-точь, как еще недавно сама Оленька.

Кто она? Может быть, сестра? Но эпитафия гласила: «От безутешных родителей». Никого упоминания сестры! Спрятавшись за тополем у одной из соседних могил, Оленька осторожно наблюдала за ней. Девушка иногда прерывала плач, подносила изящную руку с кружевным платком к выгравированному на камне имени, гладила рельефные буквы и снова, как если бы кто-то заново завел в ней механизм, начинала реветь, выдавая богатую звуковую палитру: от высокого подскуливания до низкого подвывания.

Минут через пять она поднялась, отряхнула подол тяжелой жаккардовой юбки и, выпрямившись, зашагала по аллее к выходу. Оленька к неудовольствию своему отметила, что барышня мила, даже красива. Белая кожа, брови-ласточки вразлет, большие темные глаза, полуприкрытые модной, в крупных круглых мушках, коротенькой вуалью на шляпке, и длинная скульптурная шея в пене кружевного жабо. Поверх черных атласных перчаток был надет тонкий жемчужный браслет, что матушка сочла бы пошлым, но Оленька про себя отметила, что завтра непременно же наденет именно жемчужный браслет, и именно подобным образом. Ведь, вполне возможно, это нравилась Петеньке...

«Как же так?» — пропела птаха в ивовой кучерявой гриве.

«Как же так?» — вновь подумала Оленька, обращаясь мысленно к Петеньке. Но теперь ее привычное «Как же так» окрасилось совсем иным горьковатым подтекстом: «Как же так, Петенька, как же так?! Ты не со мной? Ты с ней???»

Оленька уже готова была записать любимого в изменники, но незнакомка в ту минуту полностью завладела ее мыслями, и Оленька решила, что успеет еще пожурить Петеньку за непостоянство. Взгляд же от барышни было не оторвать. Она плыла мимо крестов и надгробий, и бедра ее почти не колыхались, будто под юбкой были не ножки, а колесики. Оленька невольно восхитилась такой походкой, и острая булавка ревности вновь больно кольнула ее под самое сердце. Иногда незнакомка приподнимала край юбки, показывая узкую ножку в аккуратной туфельке, легко перепрыгивала через редкие лужицы, грациозно выгибалась назад — посмотреть, не намочился ли подол, и, вернув гибкое тело в вертикальное положение, катилась на своих колесиках дальше. И было в этом движении столько лебединого изящества, женственности, «взрослости», что Оленьку царапнула постыдная зеленушная зависть.

Так, незаметно для себя самой, следуя за незнакомкой на расстоянии, она дошла до Симанской улицы. У подъезда углового дома, выходящего фасадом на Шкиперский проток, барышня остановилась, сняла с плеч траурную шаль, повесила ее на руку и позвонила в колокольчик. Открыла толстая горничная в длинном белом фартуке, всплеснула голыми сдобными руками, неуклюже втиснулась в дверной косяк, пропуская девушку.

Когда дверь закрылась, Оленька подождала немного и осторожно, почти на цыпочках, подошла к дому. Прямо под колокольчиком висела громоздкая золоченая табличка «*Зубоврачебный кабинет доктора Пелеха*».

«Искрошила зубы от горя, идет вставлять фарфоровые!» — ехидно подумала Оленька, но мысль о том, что незнакомка — пациентка, сразу была отменена. Это понималось и по поведению встретившей ее горничной, и по тому, как царственно и молчаливо девушка вплыла в дом. В свой дом, сомнений не оставалось.

Как же так, как же так?! Значит, все-таки невеста! И не бедная, судя по всему, раз живет, хоть и не на парадном Большом проспекте, а в тихой улочке, но семья

занимает весь бельэтаж. Оленька развернулась и еще раз прошла мимо дома, съедаемая ядовитой смесью любопытства и ревности.

Дочь зубодера! Ах, Петенька не мог, нет-нет, не мог ее любить! Мысли прыгали в Оленькиной голове, истории сменялись, как в калейдоскопе, одна другой безобразнее, вертелись, как огненные шутихи, пылали и мучили. Барышня уже не казалась образцом изящества и женственности, и даже красавицей больше не мыслилась.

«Какой пошлый браслетик поверх перчатки!» — думалось теперь Оленьке, и все вокруг обернулось пошлым — и дом на углу Симанской и Шкиперского, и походка незнакомки, и ее шаль, и весь белый свет. Проходя мимо распахнутых окон одного из домов, Оленька услышала патефон, «Пупсика» — модную песенку, прилипчивую и сладкую, которую распевали везде и всюду, и спасу от ее навязчивой мелодии не было.

Когда я был ребенок,
Я был ужасный плут,
Меня еще с пеленок
Все пупсиком зовут:
Пупсик, мой милый пупсик...

Оленька закрыла уши руками. Пошлость, какая пошлость! Только Петенька и оставался чистым и прекрасным, а эта хищная птица — незнакомая барышня, дочь зубного врача, хотела замарать его одним фактом своей любви!

Добравшись до своего дома, Оленька бросилась на кровать в своей комнате и зарыдала. Сбежались домашние, но ответа, что стряслось, так от нее и не добились. Папенька же решил, что непременно надо отослать дочь в деревню, к родне, справил наскоро телеграмму и велел собираться через два дня в дорогу.

* * *

Две недели, проведенные в Псковской губернии, Оленька промучилась ревностью, иссушившей и полностью измучившей ее. К своему же возвращению в Петербург мнение относительно зубной барышни она переменила. Что ж, какая ни на есть, но та знала Петеньку живым, и коли он с ней общался, значит не совсем она натурой была дурна, думалось Оленьке, и мысли эти приносили какой-никакой покой мятежной душе. Пусть так, пусть! Ничего же исправить уже нельзя! Признав перед образом в церкви, что была несправедлива к сопернице, Оленька побежала на кладбище, где клятвенно пообещала Петеньке не обижать мыслями дурными его подругу.

Но с этого-то момента и поселилась в ней неугомонная идея с барышней той познакомиться. Отчего бы и нет? Надо только придумать, мол, знала она когда-то его, через общих знакомых, а как судьба сложилась, ей неведомо, да и тех знакомых не спросить — давно из столицы уехали...

Только как на разговор-то барышню выманить? Не подкараулишь же ее на улице и вот так, не будучи представленной, не спросишь, мол, отчего умер знакомец ваш, молодой господин Воскобойников, да не расскажете ли, каков он был при жизни, и не покажете ли его карточку, ведь наверняка имеете?

Оленька извелась вся, и так прикидывая, и эдак, пока не пришла ей в голову мысль притвориться, будто зуб болит. Папенька подивился, что дочь наотрез отказалась ехать к семейному лекарю, — да что за напасть-то такая, кто-то посоветовал неизвестного врача, благо кабинет неподалеку, но каков он врачеватель, никто не знает, а и спорить с Ольгой бесполезно — сразу в слезы, трудный, трудный возраст. Папенька побурчал, но согласился отправить ее к доктору Пелеху в сопровождении нянюшки.

— Ну-с, — промурлыкал доктор Пелех, улыбаясь в жиденскую бородку-клинышек. — Давайте-ка посмотрим-с. Что вас беспокоит?

Кабинет внушал Оленьке неподдельный ужас: белые застекленные шкафы со склянками, ступками, фарфоровыми баночками; стол, покрытый толстым бумажным листом, на нем — блестящие крючковатые инструменты, похожие одновременно на обломанные столовые приборы и на нянюшкины вязальные крючки; гигантская гипсовая челюсть и два медицинских плаката на стене, изображавших что-то зловеще-зубастое; сестра-ассистентка непонятного возраста в белоснежном платке, повязанном на монашеский манер, с мучным безразличным лицом и белесыми пальцами; в пальцах этих цепким хватом зажата кювета-полумесяц с нарезанными бинтовыми квадратиками и ватными тампонами. Но главное — бормашина: высокая железная стойка с двумя толстыми маховыми колесами, чуть больше зингеровских, с крючковатыми хромовыми рычажками, круглой фаянсовой плевательницей и тонкой металлической конечностью богомола, неестественно выгнутой в колене-локте и застывшей в нескольких дюймах от кресла, в котором, пригвожденная липким страхом, сидела Оленька.

— Сейчас уже ничего, доктор. Все прошло... — она подняла голову с кожаного подголовника и покосилась на пыточный агрегат.

— Откройте-с шире рот, барышня, — медово произнес доктор и нацелился на Оленьку железной загогулиной. Яйцевидное пенсне блеснуло и придвинулось к ней почти вплотную. Оленька зажмурилась и открыла рот.

Все тщательно продуманные дома фразы мигом выветрились из головы, и она, набрав в легкие воздуха через нос, выплюнула изо рта чужеродный инструмент и выпалила:

— Господин доктор, у вас есть дочь?

Доктор Пелех, ожидавший от пациентки чего угодно — кусания, брыкания, воплей, визга, только не подобного вопроса, несколько удивленно произнес:

— Две.

— Как две? — глаза Оленьки наполнились отчаянием.

— Да вот так, — доктор пожал плечами, будто извинялся за то, что не родил сыновей. И, чтобы успокоить странную посетительницу, ласково добавил: — Старшая Настюша и младшая Верочка.

— А лет им? — выдохнула Оленька.

— ...Настюше осмнадцатый, а Верочке шесть...

Все оказалось значительно проще, чем она предполагала. Можно было и не залезать в это страшное кресло!

Оленька сорвала с груди накрахмаленную салфетку и, извинившись, сделала рывок к двери.

— Куда вы, барышня! Я не закончил осмотр!

Но Оленька уже влетела в приемную и, схватив под локоть ожидавшую ее нянюшку, устремилась к выходу.

В тот же вечер было раз сто обдумано и почти столько же переписано набело коротенькое письмецо:

Анастасии Пелех (лично)

Анастасия, мы не знакомы, но я видела Вас на Смоленском кладбище у могилы Петра Воскобойникова. Прошу Вас милостивейше сообразоволи прийти в пятницу в мармеладную лавку у главного входа в Андреевский рынок. Я буду ждать Вас там около часу пополудни. Мне необходимо поговорить с Вами о Петре.

С почтением,

Ольга Дьякова

PS. Прошу Вас быть без вуали. Я узнаю Вас сама.

Нянюшке Оленька письмо доверить не решилась (возникнет миллион вопросов), и в дом на Симанской улице послала горничную Дуню.

Ко встрече с соперницей Оленька готовилась тщательно. Проговаривала перед зеркалом реплики и тренировала участливую полуулыбку, репетировала неспешную походку и гордый благородный взгляд — да знала: без толку, и как только она увидит барышню Пелех, все вылетит из головы.

В пятницу Оленька встала в семь утра — дольше оставаться в кровати не было сил, после завтрака часа три слонялась по дому, пытаясь унять маяту, а как пробило полдень, нацедила себе спасительных капель валерьянки в чашку и кивнула отражению в зеркале: пора. Оделась скромно, но подчеркнуто элегантно: в белую блузу, длинную светло-серую юбку с медной пряжкой на широком бархатном поясе, у матушки же взяла без спросу шляпку с голубым пером сизоворонки, еще раз взглянула в зеркало и осталась довольна: лицо благородно-бледное, как после чахотки, под глазами голубоватые разводы от бессонной ночи, нежные губы цвета пепельной розы. Девушка декаданса!

Оленька увидела соперницу сразу. Она шла вдоль по Большому проспекту мимо рынка — не шла, плыла, конечно же, как тогда, на кладбище, — плыла в прежнем своем черном одеянии через ярмарочную суету и сутолоку... И была прекрасна. Так прекрасна, как врубелевская «Царевна-лебедь» с недавней выставки! Но лебедь — черная.

Оленька, прятаясь до той минуты за пирамидками марципана в витрине кондитерской лавки, выпорхнула из дверей и устремила ей навстречу. Все тщательно отрепетированное дома перед зеркалом — и царственная походка, и величественная грация движений, и благородная полуулыбка, и естественная, нежеманная невинность во взмахе ресниц — все испарилось в тот самый миг, как только барышня Пелех появилась на площади.

— Анастасия? — с трудом сдерживая волнение, выдохнула Оленька.

— Настя. Зовите меня просто Настя. Здравствуйте!

Голос ее был легкий, перламутровый, будто перебирались крохотные сувенирные колокольчики. Оленька картонно улыбнулась.

Они вошли в летнее кафе при мармеладной лавке и заказали по чашке шоколаду. Посетителей было мало, несмотря на пятничную базарную суету возле Андреевского рынка. Беседа пока не выстраивалась, девушки минут пять говорили о ерунде «приличия ради», помянули душное петербургское лето, да стрекозий мор в парках и на ближних дачах, да кто в какой гимназии учится, да сколько классов осталось. Когда вертлявый официант с завитым чубом поставил на столик поднос с белым кувшинчиком и разлил дымящийся шоколад по маленьким пузатым чашкам, Оленька решилась:

— Настя, я хотела спросить вас...

Но в этот момент, к ее немалому изумлению, Настя уткнулась лицом в ладони, обтянутые тонкими нитяными перчатками, и зарыдала.

— Я должна повиниться перед вами, — ее плечи вздрогнули, из-под шляпки пружиной выскочила каштановая прядь.

— Повиниться? — Оленька выронила ложечку, и та с задорным звяком упала на пол. — За что же?

— За Петю...

Подскочил услужливый официант, поднял ложечку, положил перед блюдцем Оленьки чистую.

— Я украла вашего Петю. Чуть-чуть украла. Но вы не волнуйтесь, Оля, я уже сама себя наказала с лихвой.

Настя подняла от ладоней заплаканное лицо и взглянула на Оленьку полными жгучего страдания глазами.

— Моя история принесла мне столько горя! Но и счастья тоже...

История же была такова. Навещая могилу бабушки на кладбище, Настя Пелех увидела новый памятник на соседней аллее. Подошла ближе, вчиталась в надпись на камне. И так жаль ей стало незнакомого Петра Воскобойникова, ушедшего молодым, в девятнадцать-то лет, что стала она приходить к нему — не часто, когда выдавалось времечко, грустить и размышлять о бренности жизни. Так ходила Настя, ходила и не заметила, как влюбилась в того, кого и не знала вовсе. И пусть Ольга не тревожится, не было у нее даже в мыслях ничего «такого», и греха Петиного в том тоже нет. А запретить любить чистою душою — так ведь Бог этого не запрещает...

Оленька сидела каменная, не зная, как реагировать на Настин рассказ. Ожидались любые повороты встречи, но к такому она готова не была. И странно, что с Настей они не столкнулись на могиле, — видимо, дни посещений были разными.

— Вы не сердитесь на меня? — Настя схватила Оленькину руку и прижала к своей груди.

Оленька глотнула остывший шоколад.

— А когда вы впервые... пришли на кладбище?

— После Пасхи, — ткнулась носом в кружевной платочек Настя.

Оленька с удовольствием отметила, что история ее собственной любви к Петеньке как минимум с неделю старше.

— Вы не расскажете мне о нем? — жарко попросила Настя, не отпуская Оленькину руку.

В плетеной ивовой клетке, висевшей под потолком кофейни, заверещал лимонный кенарь, и сразу же откликнулся второй, такой же, в маленькой клетке на подоконнике. Высокие птичьи звуки стекали в фарфоровые молочники и кофейники, оседали на доньшках чашек, в конфетной вазе, отскакивали от клавиш громоздкого кассового аппарата у стойки. И так защемило на душе, что Оленька даже руки прижала к лифу платья — а ну выскочит, чего доброго, душа-негодница наружу! Еще был шанс прервать затянувшуюся паузу честным признанием, но... Но... Оленька отвела глаза.

— Он был лучшим на свете, — сами вымолвили ее губы. — Другого такого нет, хоть с фонарем по миру ходи. Добрый нравом и красавец, каких мало в Петербурге. Прохожие замирали, когда Петенька на коне проезжал. Мундир на нем всегда ладен, сапоги лаковые. С него Репин портрет хотел писать. Не успел, да... И смелый был он, Петенька. Сам Великий князь его на учениях отметил...

— Так Пётр военным был? — перебила вдруг Настя. — Я представляла его артистом...

Оленька недобро зыркнула на собеседницу и подхватила:

— А и артистом по натуре своей тонкой! Как за рояль садился, так пальцы длинные, как птицы, летали, и в гостях его всегда петь просили. Он романсов знал, наверное, сто. А может, двести. И аплодировали ему не меньше, чем Шаляпину...

Оленька творила Петеньку талантливо. Он был идеальным, без единого изъяна, без мельчайшей занозинки и загогулилки, и если крылья не шуршали у него за спиной — то лишь потому, что окружающие его люди все до единого туги на ухо и ангельских шорохов не распознают. Оленька упивалась рассказом, в особые моменты переходя почти на шепот, а когда заметила, что в одном глазу у Насти налилась крупной фасолиной слеза, тут же перешла к лирической главе:

— Любили мы друг друга безмерно...

Она попыталась вспомнить, что рассказывала подругам по гимназии, но перед глазами плыл образ дотошливой Веры Шмидт, и была опаска нарваться на «неудобные» вопросы еще и от этой Насти.

— Он мне каждый день писал с Кавказа. Письма храню бережно, перечитываю каждый вечер перед сном. И плачу, плачу...

— С Кавказа? — Настина бровь поднялась червячком. — Как же он там оказался?

Оленька выдала уже готовую и с успехом опробованную на подругах историю со ссылкой, не забыв упомянуть о чуть было не случившемся венчании, но предусмотрительно умолчав о саночках и «разврате»: что-то ей подсказывало, что с Пелех об этом толковать не следует. Когда рассказ закончился, обе они сидели минуту молча, водя пальцами по краешкам блюдец, и лишь кенари в клетках херувимскими голосами резали тишину кофейни надвое. Наконец Настя выдохнула:

— А самое главное, Оля? Самое главное вы не рассказали.

Оленька нахмурилась. Да что ж может быть главнее истории ее великой любви? Вот она, Оленька, вся в ней, от шляпки до каблучков, растворилась и парит теперь, живет одной этой любовью, непроходящей и неиссякаемой. И не будет в ее жизни никакой другой!

— Вы не сказали, от чего умер Петя...

Оленька замерла на мгновение. Это ведь она сама спешила на свидание с барышней Пелех, надеясь услышать, как закончилась жизнь любимого, и почему в таком юном возрасте, и была ли надежда на спасение. В историях, скормливаемых гимназическим подружкам, Петенька был живой, здоровый и помирать никак не собирался, а писал Оленьке трогательные стихи в письмах и посылал в конвертах засушенные кавказские цветики. Она даже не успела обдумать его кончину. Для такой красивой жизни, какой Петенька жил, и для такого красавца, каким он был, и смерть должна быть красивой! И конечно же, из-за любви.

Одна за другой, как на бешеной карусели, закружились в Оленькиной голове встрепанные мысли:

«...На дуэли... Из-за ревности. Из-за того, что кто-то посмотрел на меня вожаделенно... Нет, нет! О дуэли все бы знали, громкое дело было бы. Помнится, два юнкера стрелялись год назад, так во всех газетах гремело!»

«Может быть, он погиб, защищая честь царя от кавказских горцев? Нет, еще хуже, ему бы награду дали и... и...» Оленька спешно перебирала в голове версии. Настя выжидающе наблюдала за ней.

— Упал с лошади, — вдруг выпалила Оленька.

Она заметила, как легкое разочарование невесомо коснулось Настиного лица. Слез в ее глазах уже не было.

— Ох, бедняга, — вымолвила Настя и, помедлив, почему-то прибавила: — Какая вы счастливая, Оля!

— Да, счастливая, — Оленька резко встала из-за столика и, вынув из кошелька монету, положила на поднос. — Мне бежать надо. Очень, очень важные дела.

Настя тоже положила монетку на поднос и встала.

— Оля, — вдруг сказала она. — Если вам неприятно, я не буду приходить на кладбище.

— Отчего же! — Оленька обернулась и одарила собеседницу сладчайшей улыбкой. — Приходите. Раз в год. Но никак не чаще! Слышите, не чаще!

Настя кивнула, сделала шаг к двери, но Оленька уже выскочила из кофейни.

«Как же так?!» — хором чвиркнули кенари на одной ноте.

— Но любить-то, любить его вы мне не запретите! — крикнула ей вслед Настя, и прохожие с любопытством повернули в ее сторону головы.

Оленька не ответила, лишь ускорила шаг. Она летела вдоль 6-й линии, и сердечко ее стучало: «Как же так! Он мой, мой, мой!» И от этого убыстряющегося стука росла внутри непонятная тревога. Навстречу ей неспешно текла двухэтажная конка, облепленная серыми гроздьями пассажиров, конку обогнала пролетка с двумя дамами в огромных шляпах, тут и там Оленька натывалась на телеги, бочки, горластых

лоточников, мальчишек-торговцев в красных рубахах с ящиками на головах, теток в клетчатых платках с корзинами яиц, зевак и нянюшек с детьми, и ей показалась, что все эти пестрые люди — и в конке, и в пролетке, и на улице — смотрят на нее с укоризной, осуждают, презирают.

«Не отдам!» — сквозь стиснутые зубы бросала им Оленька. — «Никому не отдам. Он мой, Петенька!»

* * *

Прошло недели две. Оленька исписала несколько тетрадей под дневники, но зудящая мысль от том, что кто-нибудь когда-нибудь прочтет записи, ужаснула ее и заставила те дневники сжечь. На кладбище она по-прежнему ходила два раза в неделю и Настю Пелех больше не встречала. Но однажды, в тихий безветренный полдень, произошло событие, полностью изменившее ее дальнейшую жизнь.

Оленька стояла у могилы, привычным жестом держась одной рукой за крыло каменного ангела, а другой закрывая лицо, читала молитву вперемешку с сочиненными Петеньке письмами, как вдруг услышала совсем рядом приближающиеся шаги. Она встрепенулась, застыла, оцепенев не то от неудобного страха быть застигнутой врасплох, не то от сакрального ужаса, питаемого самим этим кладбищенским местом, и, озираясь, метнулась к аллее.

— Пойдите, барышня! — окликнули ее сразу в два голоса.

Оленька, бледная и чувствуя, как подкашиваются ноги, обернулась.

На аллее стояла пожилая пара: невысокий сухонький мужчина в старомодном сюртуке, немного потертом на отворотах рукавов, и полная рябая женщина в шерстяном дорожном платье с соломенной шляпой, висевшей на узкой ленте на сгибе ее локтя, как корзинка.

— Вы нас извините, барышня, — голос женщины был мягким, сахаристо-плотным, как яблочная пастила, и таким виноватым, что Оленьке показалось: сейчас попросят денег.

Но дама ничего не просила, лишь повернулась к мужчине с надеждой, что тот поможет вывернуть на нужную реплику.

— Да, — тут же неуклюже подхватил ее спутник. — Мы вас наблюдаем, в некотором роде... Уже пару раз, хотя сами не часто, знаете ли-с... Мы в пригороде живем... А на Смоленском семейное погребение у нас... Да что вы так испугались?

И сам сконфузился, с надеждой посмотрел на женщину.

— Родители мы, — переняла инициативу дама. — Воскобойниковы.

Сердце у Оленьки упало куда-то в живот и зажглось там невыносимым игольчатым огнем. Первая мысль была — «бежать», вторая — «бежать быстро», третья — «дура, дура, дура!». Тем временем мадам Воскобойникова торопливо продолжила:

— Позвольте вас спросить, как вы познакомились с нашим сыном?

Оленька стояла ни жива ни мертва, и что-то ей подсказывало: не говори ни слова.

— Он ведь мало выходил последний год, — супруги приблизились к Оленьке почти вплотную. Огонь в ее животе обернулся льдом. — Петруша нам о вас не рассказывал.

— Ах, Машенька, ей-богу, ну что ты пугаешь так барышню! — подал голос господин Воскобойников и улыбнулся ей, обнажив ряд редких зубов. — На ней и так лица нет. Вероятно, он репетиторствовал вам?

Оленька сплотнула и, облизав высохшие губы, кивнула.

— Биология была его великой страстью, да, — снова вступила «Машенька». — Мы, право, не всех его учеников знали, только тех, кто на дом приходил. А городских, как вы, мало было... Но вот вы одна и навещаете могилку, единственная, никто из них о нем и не помнит...

Она вытащила из корсета платок и промокнула слезу. Оленька перевела дух и пролепетала что-то, подобающее ситуации. Помнит.. Скорбит... Вечная память...

Воскобойниковы синхронно кивали, потом, помолчав, «Машенька» сказала:

— Вы приезжайте к нам. Чаю попьем. Петрушу помянем. Комнату мы его оставили как есть, ничего не тронули. Даже коллекцию жуков, все как при нем. Вы тоже любите жуков?

Оленька жуков ненавидела, но снова кивнула.

Втроем они дошли до ворот кладбища. Разговор вела в основном «Машенька», оказавшаяся Марией Васильевной. Илья Андреич, ее супруг, лишь изредка бросал кургузые фразы, тряс пегими прядями в знак одобрения сказанного и, когда уже прощались, вынул из кармана листок с адресом их дома на Большой Охте.

«Разоблачат!» — подумала было Оленька, но желание разузнать о Петеньке перебороло все возможные страхи, и она тихо выдохнула:

— Я приеду.

Улизнуть из дома на целое воскресенье получилось на удивление легко. Матушка была в отъезде, нянюшка тоже — как раз навещала собственных внуков в деревне, а папенька не особо вдавался в причину поездки: какой-то там у дочери благотворительный визит к родителям соученицы, кажется. Он только наказал взять в дорогу немецкие пилюли, чтобы не растрясло, нанял экипаж до Охтинской слободы и велел возвращаться к ужину.

Дом Воскобойниковых оказался деревянным, сутулым, выкрашенным только с одной стороны дешевой голубой краской, местами облупившейся. Наличники, когда-то белые, теперь свисали нечистым серым кружевом, маленькое чердачное окно сиротливо и подслеповато вглядывалось в размытую недавними дождями дорогу, а редкая неровная черепица напоминала чешую большой рыбы, которую хозяйка взяла было чистить, да и бросила. Колокольчика на двери не было, и Оленьке пришлось долго стучать, пока не послышалось ржавое говорение замка и на свет божий, шурясь земляным кротом, не выползла столетняя морщинистая прислуга в каком-то допотопном гоголевском чепце и белом балахоне, напоминавшем ночную сорочку.

Не так, ах, не так Оленька представляла себе Петенькин дом! Да и не таких родителей. Илья Андреич, бывший чиновник почтового ведомства, его жена Мария Васильевна были людьми, возможно, хорошими, но в блестящую Оленькину легенду никоим образом не вписывались. Как не вписывался и сам реальный Петенька, их любимый взлелеянный сын, за надгробный памятник которому Воскобойниковы продали двор в Сусанинской мызе.

Чинно пили чай с ватрушками. Мария Васильевна все хвалила сына, говорила, что мог бы поступить на биологический факультет университета, да на «казенный кошт», кабы не тяжелая сахарная болезнь, лечение которой не помогло, хоть мальчика и наблюдал лучший столичный доктор с тяжелой еврейской фамилией, светило в области диабета. Оленьке были предъявлены поочередно Петенькины детские каракульки, гимназические наброски — в основном насекомых, и целый арсенал коробочек с жуками, отчего ее пару раз даже замутило. Она сидела потухшая, уставившись в незамысловатый рисунок на скатерти под самоваром, и отчего-то совсем не удивилась, когда с фотографии, любовно сунутой ей под нос, на нее испуганным тюленем взглянул юноша с одутловатым лицом и маленькими болезненными зверьками-глазками под нелепыми круглыми, как полумесяц, мохнатыми бровками.

— Такой красивый мальчик! — лепетала Марья Васильевна, подливая Оленьке чаю. — Удачная карточка, не видно оспинок, заретушированы.

Оленька улыбалась, соглашаясь со всем, что говорили Воскобойниковы. Да, чудесный мальчик. Да, умный. Да, такого нынче не встретишь. И да, если б не его репетиторство, выгнали бы Оленьку из гимназии.

— Вы, милая, позвольте спросить... — смущаясь, прошептала Мария Васильевна, когда Илья Андреич вышел ненадолго из комнаты, — небось, влюблены были в Петрушу? Ну, как ученица в учителя, бывает такое, бывает, я и сама, знаете ли, в гимназические годы... А вы такая романтичная особа...

Оленька вся внутри вспыхнула — не от конфузного прямого вопроса, нет, — от возмущения. Но взглянув на Марию Васильевну, на ее руки в кошачьих царапках и клетчатое домашнее платье, на похожую на нее толстощеку бабу в платке на самоварном чайнике, на потемневшие ходики со скрипучей кукушкой и закоптелую грушу масляной лампы на столике, — не нашла в себе сил ничего отрицать. Просто молча кивнула.

Мария Васильевна засияла, крикнула прислуге нести из погреба моченные яблоки и сбитень, но Оленька решительно мотнула головой: пора ехать.

— Вы навещайте нас, — тронул козырек пролетки Илья Андреич, когда кучер уже причмокнул и лошадь подалась вперед, — чай попьем, Петрушу повспоминаем. Не чужие ведь, да.

— Непременно, — сцедила улыбку Оленька и, как только дом исчез за поворотом, с облегчением вдавила спину в жесткую экипажную подушку.

Дорога до дома показалась особенно долгой. Ощущая подкожную маяту неуютного, чавкающего где-то внутри стыда, Оленька размышляла о том, что с ней происходило за последние полгода. Был Петенька. И нет теперь Петеньки. Лишь возгоралась дымно и копотно глухая обида на жизнь за то, что ее, Оленьку, обокрали — обокрали так обыденно, так легко, как обкрадывает дебелую кухарку малолетний карманник. Увели Петеньку, вынули из души, из сердечка, осталась рваная карманная дырка: пощупай ее, и не найдешь целкового, лишь пара грошей за подкладкой. Чувство великого обмана, как эта самая подкладочная мелочь — сдача на разменный рубль великой любви, — побрякивало у самого горла, тряслось с Оленькой в жесткой пролетке до самого Васильевского острова. И от этого на душе делалось так паскудно, что хотелось выть в полный голос. И только гроздь желтогрудых птичек в придорожных кустах вторили колесному скрипу: «Как же так, как же так?!»

* * *

Спустя неделю Оленька купила в лавке конверт с нарисованными легким росчерком голубем и голубкой, бумагу верже и написала барышне Пелех письмо, в котором *разрешала* любить Петеньку, — более того, убеждала ее, что была бы искренне этому рада, потому что Петеньке там, где он сейчас находится, лишняя любовь не повредит, а только в благость пойдет. Первый черновик письма с выскочившим нечаянно постскриптумом «Берите его себе» Оленька благоразумно сожгла.

Через несколько дней она получила от Насти ответный конвертик с похожими голубями, в котором та искренне благодарила Оленьку, восхищалась широтой ее души и заверяла, что отныне жизнь ее сделалась полной, осмысленной и даже счастливой. К письму прилагалась фотографическая открытка с Шаляпиным в «Юдифи» и припиской: «Пётр как будто был со мною сегодня в опере».

Больше Оленька писем от Пелех не получала и не писала ей сама.

Через три года, в августе шестнадцатого, она случайно встретила Настю на ялтинском прогулочном пароходе. Настя не сразу узнала Оленьку, а как узнала — бросилась к ней, как к близкой подруге. И по-девчоночьи взалхлеб, перебивая друг друга, они долго вспоминали и свои гимназии, и Петроград, и родной Васильевский остров, и какие-то не прожитые вместе мелочи. Лишь о Петеньке не обмолвились ни словечком.

И не было в тот день на пароходе пичуги, которая так кстати пропела бы в ухо: «Как же так?!»

Сухбат Афлатуни

Приют для бездомных кактусов

Рассказ

Они стояли полукругом, как обычно; босиком и чуть по-кошачьи переминаясь на холодной плитке. Плитка была старая и выкрашенная суриком. Краска кое-где слезла, пол стал пятнистым; когда-то на нем лежал стоптанный, но крепкий половик, и стоять по утрам было теплее. Потом половик свернули и унесли, и теперь в переключку они стояли на голом полу, который даже в теплынь оставался ледяным, и после влажной уборки — шершавым и липким. Правда, и теплынь, и уборки случались редко; обычно было холодно и пахло накопленной грязью.

— Петров!

— Здесь, — отзывался Петров, поджав пальцы ног.

Человек за столом что-то писал и называл следующую фамилию. На столе стояла люминесцентная лампа, светившая мертвым светом. От лампы слезились глаза, и у человека за столом тоже, и на утренних переключках он выглядел заплаканным.

Звали его Батя Виталий. По правилам его следовало называть Виталием или Виталием Ильичом, но собственное имя казалось ему чересчур нежным, и отчество тоже. Закончив переключку, он отодвинул стул и отер слезу.

— Сегодня... — говорил он, оставляя широкие пролеты между словами. — У нас... ожидается корреспондент.

Пацанва стояла молча, и только ноги легонько шевелились, точно приплясывали.

— Из городской газеты... Что говорить, если спросит, знаете. Правду. И только правду. Какую... тоже знаете. Что лыбишься, Петров?

Петров мотнул головой и пошевелил потресканными губами.

— Что ты там шепчешь? Громко скажи, чтоб все знали...

— Я не лыблюсь... — поднял голову Петров.

В другое время за такое хамство Петрову светило два дежурства вне очереди, но сегодня делать это не стоило. Нужно предоставить весь контингент, прессе этой. Чтоб она горела.

— Ладно... — Батя Виталий выдохнул. — В общем, вы меня поняли.

— А тапки выдадут? — снова раздался голос. На этот раз возмутителем был не Петров, а стоявший через две головы от него Дорошенко, полутатарин.

Сухбат Афлатуни — поэт, прозаик, критик. Родился в Ташкенте. Окончил философский факультет Ташкентского университета. Автор двух сборников стихов и нескольких книг прозы. Дважды лауреат «Русской Премии» (2005, 2011), лауреат молодежной премии «Триумф» (2006). Постоянный автор «ДН». Живет в Ташкенте.

— Чего? — поднял слезящийся глаз Батя.

— Раньше выдавали.

— Может, тебе еще обувь итальянскую выдать? От производителя.

Шутки у Бати были тяжелые и незабавные, но пацаны на всякий случай захмыкали. Не столько от шутки, сколько предчувствуя, что сейчас отпустят на завтрак, а в столовке полы теплее, не говоря уже о еде.

Их и правда отпустили, и они устремились к двери, толкая друг друга и задевая коленями.

— Петров!

Петров замер. Остальные, легко его оттеснив, проходили мимо.

— Пятнадцать отжиманий.

Петров потерял ледяную пятку о щиколотку другой ноги, наморщил нос и подался на пол. Встав на четвереньки, еще раз поглядел на Батю. Тот собирал бумаги и укладывал в карман ручку.

Петров отжимался, клакая об пол пуговицами. Чтобы придать себе сил, мысленно представлял под собой распластанного Батю Виталия. Воображаемый Батя сопел и просил полегче. «Ну нет, — строго отвечал сверху Петров, — просил пятнадцать... жри пятнадцать... Восемь... Девять...»

Пят... на... дцать!

Петров осел, уткнувшись подбородком в плитку. Поглядел на Батю: вдруг почувствовал?

Батя погасил лампу и толкнул Петрова носком:

— Что разлегся? Завтракать!

Кормили их по инерции нормально. Каша с лужицей маргарина; котлеты с перловкой. На записку наливали теплый компот или чай бурого цвета с вываренной заваркой. Бывало и густое варенье, и карамельки с прилипшей бумажкой: это жертвовала соседняя церковь, иногда помогавшая почти новой одеждой. За это раз в неделю они выслушивали в спортзале беседу, которую вел отец Геннадий; после беседы шли в столовую и молча пили чай.

Сегодня были макароны по-флотски: теплый и родной запах фарша и подгоревшего лука Петров учуял еще в коридоре и заторопился. Холод в ногах прошел, в теле была горячая, сухая усталость.

Петров плюхнулся рядом с Татаринцом, как звали Дорошенко. Звали его иногда и Хохлом; оба прозвища Дорошенко воспринимал равнодушно. С другого бока быстро доедал свою кашу Митяев, он же — Митяй, или Два-члена. Прозвище это Митяй получил за свою стыдливость: в первый свой банный день отказался снять трусы. «У тебя что там, два члена?», — поинтересовался Батя Виталий, проверяя внешний вид. Митяй, пригнувшись, трусы снял, никаких аномалий под ними не обнаружилось, но кликуха пристала, как стикер: не отскребешь...

— У Серого «ночные ангелы» айфон забрали, — сообщил Петров, приступая к каше.

— Врешь, — откликнулся Митяй.

Дежурные разносили макароны. Петров почти управился со своей кашей и задумался.

— Батю, кажись, точно того... уволят.

— Не, — снова поморщился Митяй.

Митяй верил всему, что попадало ему в уши, но сперва выражал сомнение. Ему казалось, что тех, кто ничему не верит, больше уважают.

— Прошлый раз Саныча уволили, — сказал Петров как бы самому себе. — Позапрошлый раз — Петьку-завхоза... Если этот их корреспондент...

— А мне ночью... — Дорошенко поправил очки, — ...а мне приснилось, что меня убивают.

Митяй снова скроил недоверчивую физиономию. Петров проглотил кашу.

— Иди, холодной умойся. И в медпункт зайди.

Подошел дежурный и стал собирать тарелки, чтобы разложить в них макароны.

— Скажи, чтоб пополнее, — пошутил Петров.

— Лопнешь, — ответил дежурный, как и было принято отвечать в таких случаях.

— Сам лопнешь... Жрете по две порции!

— И ты жрешь, когда на дежурстве.

Это было правдой и оттого еще обидней.

Петров выхватил тарелку обратно и со стуком поставил перед собой:

— Подавитесь своими макаронами... вообще не буду.

Дежурный дернул плечом и отправился дальше, мысленно приплюсовав к двум своим порциям еще одну.

— Петров!

В дверях стоял Батя Виталий.

— Опять бакланишь?

Петров напряженно глядел в тарелку, чувствуя, что придется опять отжиматься, а может, и хуже.

— От макарон отказался, — неохотно донес дежурный.

Остальные коротко хохотнули и замолкли, вернувшись к своим тарелками и поглядывая на Батю.

— Зайдешь после завтрака в воспитательскую, — Батя, чуть ссутулясь, вышел.

Петров продолжал сидеть неподвижно, только уши стали малиновыми.

— Опять кактусы отнимут? — предположил шепотом Митяй.

Прогорлавив обычное: «Спасибо нашим поварам, за то, что вкусно варят нам!», контингент повставал и повалил к выходу.

Ключ, который Батя Виталий достал за несколько шагов до двери, не понадобился, воспитательская была открыта. Шумел чайник, возле него переодевался Денисыч, в трусах и пиджаке; на стуле висели серые брюки.

— Хоть бы закрылись, — сказал Батя Виталий, кивнув на «здрасте».

Они были на «вы».

Денисыч из-за шума чайника не расслышал, взял брюки и стал неторопливо погружаться в них. Застегнул ремень и подобрал с пола снятые джинсы:

— Про корреспондента слышали?

Батя Виталий, успевший устроиться в ободранном кресле, кивнул.

Денисыч достал три чайных пакетика и ощупывал их, точно между ними могла быть разница.

— Вам сделать? — поглядел на Батю.

— Я вот думаю... куда мы прикатимся? Со всем вот этим... Да, сделайте.

Денисыч снова ощупал несколько пакетиков и налил в свободную кружку кипятка.

— Контингент все тупее, — Батя Виталий вдавил затылок в обивку кресла. — Ни читать, ни писать... Первые хоть знали, кто такой Пушкин.

— Пряники будете?

Пряник оказался твердым, Батя размачивал его и скусывал сладковатую кашу.

— ...А если спросят, почему босиком ходят, — говорил Денисыч, — то ведь так лучше энергетика земли проходит...

Года четыре назад Денисыч устроился сюда психологом. Выглядел он тогда лучше и увлекался психоанализом; имя Фрейда не сходило с его тонких и маленьких

губ. Потом было увлечение восточной мудростью. Теперь в сумке Денисыча виднелись «Велесовы книги».

— Земля — она все своей энергией оплодотворяет... — говорил Денисыч, доедая пряник.

Батя поднял голову и прислушался.

Денисыч тоже замер, с раздутыми от пряника щеками и недосказанной мыслью.

«Нет! Не-е-ет!...»

Батя рванул с кресла в коридор. Денисыч трусцой побежал в медпункт.

В конце коридора клубилась толпа.

— Не-е-е... — визжало откуда-то из середины. Батя расталкивал побелевших пацанов.

Дорошенко бился на полу в каше вышедшего из него завтрака.

— По комнатам... — зашипел Батя. Кричать в таких случаях было нельзя, у кого-то еще могло начаться...

Дорошенко поджимал ноги, пытаясь принять позу зародыша. Под рубашкой, измазанной макаронами, краснели порезы.

Батя присел и стал вытягивать Дорошенко ноги, одну, потом другую. Пацаны пятились, но не расходились. Раздался топот, Денисыч тащил заспанного медбрата Колю, тот на ходу распаковывал одноразовый шприц, из последних запасов.

— Идите... Идите, ребятки, — разгонял пацанов Денисыч. Те отходили, но недалеко; едва Денисыч отпускал их, застывали, повернув головы в сторону Дорошенко.

Медбрат Коля распилил ампулу, поймал плясавшую руку и прижал к полу. Порезы углублялись; Коля мямл пухлую дорошенковскую руку и искал вену.

Со второй попытки нашел. Батя к тому времени разогнул Дорошенко ноги. Дорошенко, дернувшись, замолк. Порезы, или как их правильно называть, стигмы побледнели. Дорошенко засопел и, не открывая глаз, позвал:

— Мама...

Батя поглядел на Денисыча: это была обязанность психолога. Денисыч опустился на пол, чуть брезгливо приподнял запачканную голову Дорошенко и поместил себе на колени. Затем, как и требовалось, погладил два раза по коротко стриженным волосам:

— Я здесь... Я с тобой. Я тебя люблю.

Он припарковался у стены, темноватой от пролившегося под утро дождя.

Ладони, несмотря на включенный обогрев, не хотели согреваться.

Взяв нужное, вышел из машины; за спиной хрюкнула сигнализация.

— Некрасов Юрий Сергеевич... — Охранник вернул журналистское удостоверение и поглядел на гостя. — А письмо есть?

Журналист снова запустил руку в сумку. Увидев листок с печатью, охранник кивнул:

— Проходите. Предупреждали нас, — снял с гвоздя синюю куртку. — Пойдите снаружи, сейчас провожу.

Двор «воспитательного объекта» оказался большим и запущенным. У забора, вплотную друг к другу, росли две липы; из-под асфальтовой дорожки лезла молодая елка. Здание было двухэтажным, красного кирпича, и еще для чего-то крашенное темно-бордовым до уровня второго этажа.

Журналист, достав айфон, навел.

— Нельзя, уберите, — вышел из двери охранник.

— Почему?

Кругом было тихо, и все, несмотря на солнечный день, отливало серым. Откуда-то доносился ритмичный ржавый скрип. Крык-крык...

— А как я без снимков репортаж сделаю? — спросил журналист, скорее чтобы поддержать беседу.

Крык-крык...

Охранник свернул за угол; журналист поотстал и воровато сделал пару снимков.

Завернув, обнаружил источник скрипа: на качелях качался мальчик лет десяти. Хотя, нет, лицо было взрослым. С качелей на интерес журналиста никак не отреагировали. Мальчик-взрослый продолжал раскачиваться, выставив голые пятки.

Перед входом в корпус торчала клумба, с георгинами, бархатцами и еще чем-то обычным в таких местах. Из-за густо пробивавшегося сорняка вид у клумбы был слегка запущенный, лохматый.

— Клумбу фотографируйте, — предложил охранник. — Природу можно.

— А царя природы? — попытался пошутить журналист.

С порога, щурясь от солнца, спускался Батя Виталий. Охранник изобразил что-то вроде отдавания чести:

— Гостя привел.

— Юрий Некрасов, — протянул руку журналист, — корреспондент городской га...

— В курсе, — сощурился Батя, сморгнув слезу. — Виталий. — Помолчав, добавил: — Ильич. Старший воспитатель.

Журналист собрался сказать обычное «очень приятно», но не стал; сделал несколько шагов по ступенькам.

— Виталь-лич, я пошел? — топтался внизу охранник.

— Орлова не забудь покормить... Помрет он на этих твоих качелях.

— Да не помрет. Хорошо ему.

— Все равно, сказал — покорми... Идемте, — Батя обернулся к журналисту, пропуская его вперед.

До занятий оставалось минут двадцать, Петров сидел в комнате один; Дорошенко оттащили в медпункт, другой сосед, Корец, ушел в свой музыкальный класс.

Петров придвинул стул к окну и сидел, обдумывая сегодняшнее утро.

Перед этим пришлось подтирать после Дорошенко. Когда пацаны снова выползли из комнат, Батя, выждав, спросил: «И кто этот компот подтирать будет?» Петров молча отправился под лестницу за шваброй. Зато кактусы, как в прошлый раз, не отнимут.

Кактусы, два горшка, стояли перед ним, и он, задумавшись, теребил их. Разлапистый, с густыми белыми иголочками, звался Машей. А стоявший рядом, толстый и ребристый, был Валентином. Иглы у него были как пики: с таким лучше не ссориться. Петров, в общем, и не ссорился; наоборот, каждый день поливал их с Машкой, приговаривая что-то вроде: «Жрите, жрите, ребята... Вкусно?». И сам отвечал кактусовым голосом, что вкусно.

Сегодня Петров решил, что кактусам пора наконец признаться друг другу в любви. Он сдвинул горшки, не вплотную, а так, чтобы им было удобно общаться.

— Валентин, это ты? — сказала кактус Маша. — Я испугалась.

— Чего ты испугалась? — баском отвечал Валентин. — Я же твой защитник. Я буду тебя всегда защищать.

— А от кого?

— От людей. И от посторонних кактусов, — не очень уверенно сказал Валентин.

— Но ведь тут других кактусов нету... Только мы с тобой.

— Но они могут вторгнуться. Из внешнего мира.

Петров улыбнулся находчивости Валентина и похлопал по горшку: соображаешь!

— Они перелезут через забор на своих супер-перелазательных устройствах и попытаются нас убить и захватить нашу цивилизацию. Но им это не удастся. Ха-ха-ха.

— Какой ты смелый... — сказала Маша, подвигаясь вперевалочку поближе к Валентину.

Их иглы соприкоснулись. Петров вздохнул.

— Я не такой уж смелый, — смутился Валентин. — Я... я просто тебя люблю.

Петров покраснел и затеребил прыщ на подбородке. Кактусы целовались.

Чтобы Валентину было сподручнее, Петров слегка наклонил горшок, но не сильно, чтобы большой Валентин не раздавил хрупкую Машу.

— Как хорошо... — сказала Маша. — Я не знала, что это так хорошо.

— Мы поженимся, — все в том же наклоненном и взволнованном состоянии говорил Валентин. — Поженимся, и у нас будут дети... Ой!

Петров быстро выпрямил кактус, а сам подался к окну.

По двору в своей пятнистой куртке шагал Кузьма, бывший прежде воспитателем, а потом ушедший в охранники. За ним шел чужой. На чужом были желтоватая куртка и легкие ботинки. Журналист, догадался Петров, вспотев.

Кактусы, брошенные в самый ответственный момент, растерянно молчали. На иголочках Маши поблескивала слеза.

— На сегодня любви хватит, — Петров раздвигал горшки. — Будут у вас еще дети...

Валентин, отодвинутый на другой конец подоконника, подавленно молчал.

Журналист расположился в воспитательской. От чая отказался, раскрыл ноутбук. Он бы выпил кофе, но кофе не было.

Здесь, кажется, вообще ничего не было.

— А вайфай?.. Понятно. Каменный век.

— Раньше все было, — Денисич снова ощупывал пакетики с чаем, — и вайфай, и общественный сахар. Сейчас временные трудности.

— Безвременные, — Батя откинулся и с хрустом вытянул ноги.

— Но, наверное, что-то можно было сделать... — Журналист двигал пальцем, на экране открывались окна.

Он уже успел обойти здание и побывать на двух занятиях. Первым было чтение: Батя Виталий (журналист уже знал, что его зовут так) сидел за столом и записывал что-то; ученики читали книгу, которую передавали с парты на парту. Что это за книга, догадаться по чтению было невозможно; по внешнему виду тоже: обложка и первые пять страниц оказались выдранными. «Там было то, что им не следует знать», — тихо объяснил Батя Виталий. На втором занятии увлеченно лепили каких-то червяков. «Эмбрионы», — еще тише сказал Батя Виталий. «Можно сфотографировать?» — спросил журналист. Батя помотал головой.

На экране ноутбука всплыло окно: пляж, плавки, купальники. Парочка обнимающихся на первом плане, море и горы на втором. На девушке были темные очки.

Журналист быстро закрыл; кажется, никто не успел заметить...

— Наверное, можно что-то было сделать, — вернулся к своей мысли. — Я и в детдомах бывал, там — тоже, конечно... но не так.

— Здесь раньше еще лучше было, чем в детдомах, — продолжая заниматься чаем, откликнулся Денисич. — Тут знаете какое снабжение было... Четырехразовое питание. Кандидаты наук работали.

При слове «кандидаты» Батя усмехнулся и запустил руку за голову.

— А потом Институт расформировали, и всё... А мы не к социалке, а до сих пор к науке относимся. У них даже паспортов нет.

Все это журналист знал, но слушал внимательно.

В дверь постучали и дернули ее на себя. Кто-то втолкнул крупного парня с перевязанной головой. Парень взмахнул руками и замер посреди воспитательской.

— Знакомьтесь. Дорошенко, герой дня... — Батя приподнялся. — Садись. Нет, на тот стул. Истратили сегодня на него дефицитную вакцину, которых вообще осталось...

Дорошенко сел и стал искоса разглядывать журналиста.

— Ну, Расскажи, куда ты девал свои таблетки... А дело в том, — Батя повернулся

к журналисту, — что для профилактики приступов им дают... дорогостоящее импортное лекарство. Покупаемое, между прочим, на валюту.

Дорошенко вздохнул и поскреб поясницу.

— Вот тут говорилось, — продолжал Батя, — что нам средств мало выделяют... А то, что на эту богадельню тратится в пять раз больше, чем на любой образцово-показательный детдом, об этом иногда забывают...

— Ну, не в пять, — обиделся Денисыч. — В три. От силы — в четыре...

— Вы знаете, сколько стоят медикаменты? — Батя продолжал смотреть на журналиста.

— Сколько? Просто, когда я узнавал, мне сказали, эта закрытая информация...

Батя промолчал. Дорошенко наклонил голову и сдавленно чихнул. Поглядел на Батю:

— Можно идти?

— Потом пойдешь. А вначале расскажешь, для чего ты отдал свою таблетку Сергееву.

— Так я же уже говорил. Серый мне айфон давал, пока не застучали.

— Айфоны у нас запрещены, — пояснил Денисыч. — Тлетворно влияют на психику. Приступы учащаются. Это я вам как психолог говорю. И как патриот.

— Ты понял, какому риску ты подвергал себя и своего товарища?

— Понял, — ответил Дорошенко. — Понял, — повторил чуть громче.

— «Мультки» от передоза начинаются... — Денисыч вдруг тихо засмеялся.

— Да, некоторые уже пробовали... на себе, — поглядел на него Батя.

— Не-не-не, только читал. И по рассказам.

— Зато Серый другую цивилизацию видел, — тихо сказал Дорошенко. — Все четко.

— Галлюцинации, — вздохнул Батя. — Ладно, иди. Завтра с директором решим, что с тобой делать.

Дорошенко захлопал глазами. С криком «спасибо!» бросился к двери.

— Что «спасибо»? — Батя остановил его взглядом. — Может, еще и не «спасибо» будет... Иди.

Дверь хлопнула.

— А мне можно будет встретиться с директором? — спросил журналист.

Денисыч снова быстро рассмеялся, так же быстро остыл и зашуршал бумагами. Батя постукивал ребром ладони по столу.

— Директор сбежал полгода назад, — сказал Батя и стукнул чуть сильнее.

— Как «сбежал»?

— С телевизором, — вздохнул Денисыч.

— Это еще требуется доказать, — Батя снова стукнул, чашка Денисыча звякнула. — Да, телевизор исчез в тот же день. Но это еще не значит... К тому же, неработающий. Следствие пока не закончено. Скорее всего, и не начато. Но контингент об этом не знает. Для контингента директор в командировке.

— Научной, — поднял указательный палец Денисыч.

— Жалобы ему пишут... На нас. Не хотите, кстати, нашим директором стать? Посодействуем.

Денисыч снова собрался рассмеяться, но, заглянув в лицо Бати, не стал. Журналист тоже ответил серьезно: спасибо, но...

— Спасибо? Вот так: все приходят, ах, ох, как тут бедно, как тут плохо... Не хотите директором — просто поработайте. Волонтером, дня два. Тоже нет? Поняли бы многое, на своей... коже.

Денисыч приподнялся:

— Ладно, мне на музыкальное...

— Я бы хотел переговорить с глазу на глаз с парой воспитанников, — сказал журналист.

Денисыч глянул на Батю; тот кивнул.

— С этим... — заметил эту игру взглядов журналист, — который только что был...

— Дорошенко. Еще?

— С тем, который вместо эмбриона кактус вылепил...

— Петров. Всё?

— Позовете?

— А что звать? Дорошенко наверняка за дверью трется. Жаловаться собирается. Ну и эти, свои... Не удивляйтесь, если что. В конце коридора свободная комната, можете там с ним... — Батя приоткрыл толчком фрамугу и закурил.

Дорошенко торчал недалеко, у подоконника.

Дождавшись, когда журналист закроет дверь, быстро подошел к нему.

— Извините, можно с вами поговорить?

Журналист собрался сказать про комнату; Дорошенко его опередил:

— Вот там с нами обычно разговаривают... — Мотнул забинтованной головой в конец коридора. И зашагал чуть подпрыгивающей походкой.

Журналист пошел следом, прикидывая, может ли там быть прослушка...

Комната была пустая, не считая двух стульев; на стене висела странная картина. Мадонна с Младенцем, но у Мадонны было почему-то лицо Монны Лизы...

— Раньше прослушивали, теперь — нет, — Дорошенко шлепнул по обивке стула, поднялся фейерверк пылинок.

Журналист удивленно дернул плечом. Видно, напряжение сказывается; начинает думать вслух... Пристроился на краешек стула и раскрыл ноут.

— Хотите, я ваш тоже выбью? Нет? Короче, не так все было. Мне Серый просто так айфон давал, пока «ангелы» не налетели. А таблетку я сам не хотел пить. Сказать почему?

Журналист кивнул.

— Из-за вас. Ну, я уже знал, что вы придете. А таблетка подавляет, понимаете? А надо было, чтобы вы поверили. А после таблетки я так не могу... Я, конечно, не думал, что приступ будет, думал, пронесет...

— Во что я должен поверить?

— Ну, вы же про нас изучали... Статью пишете. Изучали, я знаю. Я умею мысли читать. Не верите?

— Верю...

— После таблетки тоже могу, только плохо. А Серый видит, я не принимаю... Ну, жалко мне, что ли? Он мне айфон всегда давал.

— Вы мне только это хотели рассказать?

Дорошенко улыбнулся и снова почесал ногу.

— Прикольно, когда на «вы» называют.

Журналист тоже улыбнулся. На экране был список заготовленных вопросов, он разглядывал их, соображая, с какого начать.

— Заберите меня отсюда... — Дорошенко сидел бледный и потный, в очках, и глядел на него в упор. — Вы же все равно собирались одного из нас забрать, так? Возьмите меня.

Журналист выдохнул, снял ноут с колен и опустил на пол.

— Вы же видите, я мысли читаю, это вам может пригодиться. Меня раньше здесь знаете как наблюдали? Других тоже... но не так. Меня даже цыганская община хотела выкупить, — Дорошенко заерзал на стуле.

— Как тебя зовут?

— Дорошенко...

— Имя.

— Хохол. Можно — Татарин. «Хохол» мне больше нравится. «Татарин» — ругательно будто.

— А нормальное имя?

— Типа «Миша, Петя»?.. Не. Отец Геннадий хотел нас тут окрестить... Сказали: не, нельзя, эксперимент будет не чистым. Это когда наблюдение еще шло. А сейчас уже сам не хочет. Раньше у него из головы золотистый пар поднимался. А сейчас почти только такой... синеватый. Страх, значит. Усталость.

— А у меня какой?

Дорошенко склонил голову набок, прищурил правый глаз.

— Не обидитесь, что не скажу? Ну, не сейчас... Ну, заберете? Я уже вещи сложил.

Журналист молчал.

Дорошенко поднялся и отряхнул сзади брюки. Показал на картину:

— Класс, да? Это один тут рисовал, цветными карандашами.

Журналист прищурился. Да, цветные карандаши...

— У него кликуха была «Художник». Потом умер... Все картины увезли, а эту Батя спрятал. Я, вообще-то... может быть, скоро тоже умру.

Журналист прикрыл глаза.

— Так что больших неудобств не доставлю, — гремел голос Дорошенко. — Осталась где-то неделя, две. Просто посмотрю, как там, у вас. У вас же одна свободная комната есть, в которой раньше жила эта ваша, как там...

Журналист открыл глаза. Дорошенко сидел и расчесывал руку.

— Это аллергия, после укола... Знаете, у нас тут некоторые хотят туда, чтобы родителей найти. Чтобы убить их, реально. Или простить, тоже точка зрения. А мне наплевать, хотя я даже имена знаю, — Дорошенко перестал расчесывать и скривил губы. — Другие... — быстро застегивал рукав, — ...хотя с девушкой познакомиться, хотя нам это тоже нельзя. Эксперименты были, слышали? Девушек сюда привозили. Двое наших прямо на первом свиданье того... от любви. Приступ, пацанов полуживыми с девчонок сняли. А мне на эту вашу любовь — тоже наплевать... Я хочу просто...

За стенами зазвенел звонок.

— Ладно, мне на музыкальное... — Дорошенко стоял у двери. — Если нет... Тогда, можно попросить? Айфончик, самый дешевый. Через Кузьму, охранника, передадите, только верхняк ему немного дайте, он иногда посылочки передает. А тапочки и обувь вообще не надо, все равно не разрешат. Батя любит, чтобы у всех одинаково все было, включая ноги.

Журналист постоял и вышел следом за Дорошенко. Где-то стучало расстроенное пианино. Журналист вернулся в комнату, поднял забытый ноутбук и пошел по коридору.

Музыкальный класс был на том же этаже. На стенах висели портреты, под ними на стульях, ящиках и стопках газет устроился контингент. За пианино сидел Денисыч и наигрывал одним пальцем знакомую мелодию; пацаны подтягивали. Заметив журналиста, Денисыч смутился и убрал руку за спину.

— Бетховен, Людвиг ван. «Ода к радости». Из числа рекомендованных произведений... Что сидим? Все встали!

Контингент, гремя стульями и ящиками, поднялся. Дорошенко стоял возле коробки от бананов.

— А что в этот список еще входит? — Журналист поискал глазами Петрова. Тот стоял, прислонясь к подоконнику.

— Классика, — отвечал Денисыч. — Русские напевы. Золотые коллекции.

Журналист поблагодарил и собрался уходить.

— Подождите... Петров, сними портрет Модеста Петровича Мусоргского и преподнеси его нашему гостю.

— А почему я? — отозвался Петров. — Пусть Два-члена снимает, он выше.

Пацаны зашумели. Денисыч несколько раз ударил по клавишам.

— Петров, тебе не хватило сегодняшнего?

— Зачем, не нужно... — говорил журналист, слегка наклонясь к Денисычу.

— Вы не понимаете... Великий русский композитор, автор «Бориса Годунова»...

Петров, другой стул возьми, этот поломанный!

— А кто из них — этот... ну... Му... — Петров застыл со стулом.

— Ну вот, он даже не помнит! Автора «Бориса Годунова», члена «Могучей кучки»... — развел руками Денисыч. — Этот!

Ткнул пальцем в Чайковского.

Журналист стал разглядывать пианино.

Петров встал на стул, до портрета было еще далеко.

— Может, я его шваброй собью?

— Я тебе собью!.. Митяев!

Митяй, попрыгав на стуле, ухватился за портрет и вместе с ним полетел на пол.

— Не сильно?.. — Денисыч забрал у поднимавшегося Митяя портрет, подышал на стекло и протер краешком портьеры. Сыграл одним пальцем туш. Контингент похлопал: кроме Митяя, потиравшего ушибленный бок.

Журналист повертел портрет в руках и решил забыть его перед уходом в воспитательской. Быстро поблагодарил и повернулся к двери.

— А теперь — наш музыкальный подарок... Цой!

К инструменту вышел смуглый паренек, казавшийся младше остальных, и легко поклонился. Контингент замолк, Денисыч пересел с крутящегося стула на обычный и закинул ногу на ногу.

Начал паренек тихо, пальцы двигались уверенно; мелодия, которую журналист когда-то слышал... Конечно, вспомнил. Франк, органная прелюдия си-минор. Подался вперед, вдавившись грудью в ребро инструмента.

Крым, середина двухтысячных; Новый Свет, куда они с Никой добрались из Судака, облазив старую крепость. Попробовали море, Ника была в темных очках. Потом шли по тропе... Внизу, под скалой, качалось темно-синим стеклом море; низкие ветви крымской сосны, через заросли которой они с Никой шли, касались головы и осыпались сухими иглами... Ника шла молча, с наушниками в ушах; он держал ее за руку. «Вот, послушай...» — Она остановилась, отлепила один наушник. Он придвинулся к ней и вложил в свое ухо теплый кусочек пластмассы с пористой подушечкой... Где-то далеко зашелестели аплодисменты, сливаясь с шумом воды; еще дальше, за кромкой моря, загудел орган. И они пошли дальше, как сиамиские близнецы, связанные тонкой пуповиной музыки, перед которой вдруг отступили и море, и поросшие хвоей скалы, и катера внизу, оставлявшие в синем стекле длинные белые порезы... Орган, казавшийся ему прежде холодноватым инструментом, звучал тепло; впрочем, все в то крымское лето было теплым: волны, швырявшие галькой; и вино, которое они пытались остудить; и пыльные спальни, в которые забирались на ночь...

Пальцы остановились, звук медленно гас.

Паренек так же легко поклонился; контингент захлопал. Хлопки заглушил звонок.

Последние пацаны выходили из класса; журналист заметил смуглое лицо Цоя.

— Ты где-то учился музыке?

— Н-нет... П-прихожу сюда иногда поиграть.

— А как выучил эту прелюдию?

— Н-ночью приснилась. Утром, вот, подобрал... Я пойду?
В дверь заглянул Денисыч.
— А мы вас потеряли... Идемте, отобедаете с нами.
— Да нет, спасибо. Не проголодался еще. Лучше посижу где-нибудь, попишу.
— Я вам тогда воспитательскую открою. Там кресло есть, и чайник, если что.
— А после обеда хотел бы с Петровым...
— Торопитесь?
— Работа такая.
— Понятно. В вечной погоне... В вечной погоне, говорю, за сенсациями... — Денисыч отвел гостя в учительскую, включил ему свет и отправился в столовую, продолжая поднимать брови и посмеиваться.

Журналист открыл ноут и подул на пальцы, пытаясь согреть.

Приказ о его увольнении был подписан вчера.

Главный даже не вызывал его к себе. Позвонила Валерия, вечером. Причины? «Ничего не знаю, решение Главного...» Главный в этой передрыге был не главным, даже не второстепенным... «Завтра постараюсь разузнать, перезвоню...», — шумела Валерия из айфона, поставленного на громкость: он как раз ехал к себе и чуть не проскочил на красный. «Завтра» — значит «сегодня». Ничего она, конечно, не будет узнавать...

Встал, погасил едкий люминесцентный свет, сейчас особенно раздражавший его.

Знал он, что его за все это не погладят по головке? Знал. Решил поиграть в девяностые. Хорошо, если увольнением все ограничится.

С другой стороны, была ведь договоренность. Он забирает, статья не выходит. Он остается в газете, даже, может, с повышением.

Журналист поставил портрет Чайковского, прислонив его к стопке бумаг. Что скажете, Пётр Ильич?

Композитор отбликивал и молчал.

А может, Пётр Ильич, увольнение — просто «черная метка»? Чтобы аккуратно себя сегодня вел, не дурил, не лез во все дырки... Исполнил танец маленьких лебедей и без шума удалился, занавес. Иначе придется танцевать умирающего лебедя... Помню, это не вы, это Сен-Санс. Простите, к слову пришлось...

— Что это вы в потемках? — Батя щелкнул выключателем и вошел, распространяя кисловатый запах столовой.

Воспитательская осветилась.

— Глаз, что ли, не жалко... — остановился Батя у стола. — И в столовой не были. На диете?

Журналист ограничился кивком: коротких ответов у него не было, а пускаться в объяснения...

Задал подготовленный вопрос:

— Как вы думаете, что с ними будет дальше?

— А я не думаю, — Батя пожал плечами. — Что смотрите? Не умею. Все, кто думал, уже поуходили. Вон, последний мыслитель остался, — кивнул в сторону входившего Денисыча.

Денисыч поставил на стол литровую банку, слегка запотевшую изнутри,

— Все-таки взял вам второе, треску с перловкой, — водрузил сверху толстый кусок хлеба. — Русскому человеку надо хорошо питаться.

— Вот тут пресса интересуется, что будет дальше с контингентом, — сказал Батя.

— Все попадут в рай...

— Некрещеными? — уточнил журналист.

— В буддийский какой-нибудь, — Денисыч поправил хлеб, собиравшийся

упасть. — Или славянский. Веды, это, между прочем, наши славянские книги, если не в курсе.

— Хорошо, — перебил Батя, — рай — это долгосрочное... А поближе?

Денисыч поглядел на Батю: ты-то что меня интервьюируешь?

— Я почему спрашиваю... — сказал журналист. — Четыре года как Институт расформировали. Исследования признали неперспективными.

— Признали.

— Вам перестали поставлять новеньких...

— Какое-то время они еще шли, — Денисыч поглядел на Батю, но тот молчал. — Институт не сразу закрылся, у них работали еще эти...

— Инкубаторы, — кивнул журналист.

— Ага. Ну, и вот.

— Хорошо, новых уже не будет. Но с этими — что? Будут торчать здесь до самой старости?

— Не доживут, — резко откликнулся Батя. — Смертность высокая... И вообще. Поймите наконец: они не люди.

— А кто?

— Да кто угодно... Инопланетяне. Животные.

— Но животные не могут писать музыку, рисовать картины... Они же гениальны.

— Начинается... — Батя хлопнул ладонью по ноге. — Кому такая гениальность сегодня на хрен нужна? Вы же помните эту речь на закрытии Института...

Журналист кивнул: ролик до сих пор висел в Сети. «Стране не нужны отклонения, не нужны, извините, гении, — говорил в микрофон человек с короткой шеей, перехваченной серебристым галстуком. — Стране нужны нормальные эффективные граждане...»

— И это правильно, — Батя встал. — Гении были нужны раньше, в прежние эпохи. Когда надо было что-то изобретать, что-то там менять, придумывать. А сейчас нужны... пользователи. Грамотный, четкий пользователь. Который правильно нажмет кнопку. Который вовремя сделает апгрейд. А не расхуячит все, потому что он, видите ли, гений!

— А по моей теории... — начал Денисыч, но примолк. Батя обошел кресло и присел на спинку:

— ...И потом, может, в чем-то они гении, но в остальном... — поглядел на Денисыча. — Что-то хотели сказать?

Тот махнул рукой.

— Так что в остальном? — переспросил журналист.

Батя вытряхнул сигарету и закурил.

— Спросите их, кто такой Пушкин, — Батя выдохнул дым, — не скажут. Проходили... Ничего не помнят, — замолчал, выдавил слезу и растер пальцем.

— А по моей теории, — вступил Денисыч, — у нас просто эра такая сейчас. Эроса. В России так всегда, сначала эра Эроса, потом Танатоса, потом снова... Или, если по-славянски, эра Леля и эра Велеса. Сейчас, значит, Эроса. Оттого кругом столько либидо. И пользователи нужны, а не гении. А потом, может даже скоро, наступит эра Танатоса... Велеса, то есть. Придут войны, эпидемии. И тогда о нас вспомнят. Потому что их кнопки и сексорные экраны уже не помогут...

— Сенсорные, — поправил Батя.

— Да. И мы явимся тогда во всей красе, как град Китеж и золотой фонд нации...

Батя отвернулся, чтобы зевнуть не слишком заметно. В дверь постучали.

— Да! — на полузевке крикнул Батя.

В воспитательскую заглянула голова Петрова.

— А вот и ваш золотой фонд... Заправься, рубашка болтается, — Батя загасил сигарету, повернулся к журналисту. — Идите, беседуйте.

Они молчали.

Петров, зайдя в комнату, быстро подошел к окну и встал так, словно собирался отбиваться. Журналист присел на стул и открыл ноутбук, делая вид, что ищет нужное... Ничего не искал, кружил курсором по пустому экрану.

— А вы писатель?

Журналист поднял голову.

— Журналист... А что?

— Да так, история одна есть. Можно из нее рассказ сделать. Хотите? Только вместе писать будем... Я бы сам написал, просто русский язык не люблю.

Журналист подвинул холодными руками стул.

— Сядешь?

— Не. В общем, такое... Кактусы — это такие инопланетяне, которые понемногу колонизируют Землю, — помолчал. — Возражений не вызывает?

— Пока нет.

— Иголки — антенны, через которые они общаются друг с другом и со своей цивилизацией.

Журналист кивнул.

— Они проникают в доверие к землянам, — Петров прошелся по комнате. — Поселяются у них в домах, на окнах. Земляне, конечно, относятся к ним сначала с недоверием, из-за колючек. Но кактусы на это научились цвести. Имитировать цветы, в общем. Это понятно?

— В целом, — журналист открыл на экране новое окно. «Кактусы...»

— Будете записывать?.. Валяйте. Постепенно кактусы начинают навязывать землянам свою психологию. То революция, то диктатура, то капитализм, то еще какая-то хрень... «Хрень» не пишите, поставьте другое, научное слово...

Журналист снова кивнул.

— А всё, главное, через колючки. Человек укололся — пожалуйста, импульс. Но земляне-то тоже не дураки. Смотрят, что-то не то. Цивилизация их не туда катится. Сначала думали — евреи, потом — черные маги; оп! а это кактусы. Запене... ленговали их сигналы, короче. Ученым — Нобелевскую, а сами кактусы... — Петров вздохнул.

— Под корень?

— Типа того. Апокалипсис, как выражается отец Геннадий. Но не всех. Писатели подняли шум, которые в газетах...

— Журналисты...

— Ну да. И эти, которые за деревья борются. Пусть, типа, инопланетяне, но хоть немного надо сохранить, правильно? Для природы. Те кактусы, которые спасли, устроили им вроде приюта. Колючки только подбрили, чтобы могли между собой общаться, а на людей воздействовать — нет. Ну вот. А в этом приюте...

Петров замолчал.

— И что в приюте? — Журналист оторвал глаза от экрана.

— Так я прям все и рассказал! Вместо меня все опубликуете, еще под своим именем.

Журналист поднялся.

— Я готов, — голос его звучал глухо, — чтобы это все вышло под твоим именем. Только под твоим. Как тебя зовут?

— Петров.

— Это фамилия. И не настоящая.

— В смысле — не настоящая? Есть такая фамилия!

Петров снова занял позицию у окна.

— Есть, — журналист подошел к нему, положил руку на подоконник. — Только у тебя должна быть другая.

Петров опустил глаза. Журналист осторожно провел ладонью по его мятой рубашке.

— Можно, теперь я тебе расскажу историю... Только не про кактусы.

Это были, по сути, две истории.

Какую рассказать первой?.. Наверное, ту, которая началась в Крыму, она короче. Днем они лазали по горам, обгорали, тянули сладковатое вино из фляжки. А вечером сползали с гор и сидели у огня. Он придумывал на ходу разные истории: про сосны, камни. Про шишки, которые они швыряли в костер.

О беременности Ника сообщила на обратном пути, в поезде. Он задал идиотский вопрос, который задают в таких случаях все мужчины всех времен.

«Уверена», — кивнула Ника и ушла курить в тамбур.

Нет, они, в общем, собирались пожениться, когда-нибудь. В принципе, они уже жили как семья. Почти.

Он встретил ее на выходе из клиники с цветами. Шли, не зная, о чем говорить. Мимо прострекотал велосипедист, где-то завывала сирена. Он погладил ее по плечу, она отвела его ладонь.

Они продолжали жить вместе, Крым иногда возвращался, они пили кофе с ромом, сидели в ванне, болтая, как снова поедут туда. Или еще куда-нибудь.

Ника стала довольно раскрученной интернет-журналисткой. Он сидел в своей газете. В Крым они так и не съездили. Съездила Ника одна, уже когда он стал российским, на какой-то тренинг. Он не поехал.

У него появилась еще одна женщина. Временно, ничего серьезного: «серьезным» для него была Ника. Но Ника все чаще уезжала. На сетевые тусовки, журналистские шабаши, конференции с унылыми названиями, где, по ее словам, было много нужных людей. В ее забытом однажды айфоне обнаружилась россыпь эсэмэсок от какой-то «подружки Ксюши».

Они прожили вместе еще полгода. Она исчезала все надольше; к нему в отдел пришла молодая сотрудница... да, та самая Валерия, смышленная и без комплексов.

«Подружка Ксюша» оказалась невысоким плотным узбеком из местной деревообрабатывающей компании.

Ника собрала вещи, он произнес идиотскую фразу, которую произносят в таких случаях все мужчины всех времен. «Друзьями», — кивнула Ника, застегивая сумку.

Внизу в джипе дожидалась «подружка Ксюша».

Он постарался забыть о Нике, и это почти получилось.

Если вспоминал, то почему-то даже не Крым, а разогретый вагон. Лязг колес и ее короткая фраза: «Подзалетела».

Ту-ту, ту-ту... ту-ту, ту-ту...

Когда он впервые, еще в школе, услышал это слово, ему представилась девочка, качающаяся на качелях. Качели раскачиваются все сильнее, все выше, так что ветер взметает юбку и всё видно. Девочка визжит, не удержавшись, летит вверх и плюхается лягушкой в траву.

Он съездил в Японию, по программе для журналистов.

«А это что?» — он остановился возле небольшой бамбуковой рощицы. Под зелеными стволами разместились выводок маленьких идолов в красных вязаных шапочках и слюнявчиках. Рядом шелестела вертушка. «Дети воды», — ответил экскурсовод. Так называют нерожденных детей. Из-за выкидыша, но чаще тех, кому не дали родиться.

Он снова вспомнил Нику.

Здесь, около бамбуковой рощицы, заканчивается первая история. Длинные стволы гнутся и раскачиваются, крутятся разноцветная вертушка.

Петров чуть присел на подоконник, приподняв холодные пятки. Солнце пошло на закат и освещало его сзади; лицо было в тени.

Вторая история началась там же, в Японии.

— Ночью ко мне в номер позвонили...

Нет, началась она, конечно, раньше. В самом начале двухтысячных, когда весь мир узнал о достижении российских ученых. Достижении, перевернувшем представления о жизни и смерти.

А может, и еще раньше. Когда группа медиков, биохимиков и инженеров начала свои первые эксперименты. Строго засекреченные. Речь шла, ни больше, ни меньше, о воскрешении. Пока только *до* рождения.

Вскоре гипотеза, что в развитии плода существует такой короткий промежуток — его назвали «точка V», от латинского Vita, — когда даже смертельно поврежденный плод можно оживить, была подтверждена. Правда, не полностью. Крысы оживали. Собаки. Оживший человеческий плод жил недолго.

Группа была оформлена в отдел, а в начале восьмидесятых — в Институт.

В девяностые Институт, как и всё, сел на мель. Но выжил: повезло с директором. Маленький, живкий, из «шестидесятников», он каким-то чудом добывал средства. И сохранил коллектив, который уже распался, как манная каша. Когда один из ключевых сотрудников заявил, что собирается уехать в Штаты, директор ответил, что заявление подпишет... Только, э-э, просит задержать отъезд, чтобы тот проводил его в последний путь... Говоря это, директор ловко вскочил на подоконник: окно было открыто, кабинет на десятом этаже... Сотрудник успел ухватить его, когда тот уже шагнул вниз. Больше с такими заявлениями к нему не приходили.

Зарплаты, как рассказывали журналисту прежние сотрудники, были нормальными, еще постоянно какие-то гранты... Эксперименты шли по намеченному графику. Инкубаторы не отключались ни на секунду.

В середине девяностых директор крестился, и еще несколько сотрудников с ним. «Первый раз академика крещу», — шутил молодой батюшка, закончивший когда-то биофак МГУ. Здание освятили, инкубаторы окропили. Перед началом каждой новой серии экспериментов служили молебны. Скептики и атеисты стояли на них с кислым видом, но не сбегали, уважая шефа. В Церкви тоже не все отнеслись к этим опытам однозначно. Но это проявилось потом. Пока епископы охотно приезжали в Институт и фотографировались на фоне инкубаторов.

И вот, в самом начале двухтысячных... Все, конечно, помнят эти снимки. Новорожденный Вася Потапов. Да, голова чуть крупновата. И вес маловат. Что вы хотите, с того света вернули. Выкидыш, все зафиксировано. Да, еще будет находиться под наблюдением. Родители? Нет, родителям возвращать не будут, мать подписала соответствующие бумаги. Вася принадлежит науке. И зовут его по-настоящему не Вася, и фамилия не Потапов...

Следующая сенсация, следующий младенец. Уже не выкидыш: аборт. Многие отказывались верить, прежде всего медики. «Невозможно...» Академики ходили именинниками; иереи напоминали о кроплении инкубаторов и отслуженных молебнах. «Чудо...» Мировая пресса кипела, об овечке Долли забыли: «Сенсационное открытие русских!», «Русские победили смерть!» Институт посетил президент, побаяюкал знаменитого младенца Васю и сфотографировался с директором.

— Тогда, в начале двухтысячных, — говорил журналист, глядя в пятнистый пол, — повеяло чем-то новым. Какой-то момент казалось, страна снова возродится, с великой наукой, литературой, всем... Это была, наверное, наша точка V. А потом...

Вася Потапов, прожив два тяжелых для себя года, умер. Тысячи людей оплакали его, к стенам Института натащили игрушки и зажженные свечи. Но многие, оживленные и выношенные в инкубаторах после него, продолжали жить. Смертность, конечно, была высока, и в инкубаторах, и после рождения. Но постепенно, с огромным трудом,

уменьшалась. С приступами, от которых многие умирали, научились как-то бороться. Кто-то уже до четырех лет дожил, до семи...

Решили построить специальный детдом, по последнему слову науки; даже начали стройку. (Журналист был там на прошлой неделе, фотографировал котлован...) А пока, временно, переоборудовали один бывший детсад. Сельская местность, чистый воздух. Воспитатели не ниже кандидатов наук.

А потом поползли трещины. Вначале мелкие, едва заметные. Снова урезали финансирование: кризис. Возникла какая-то организация, объявившая работу Института «делом Антихриста»; к Институту двинулось шествие, зажгли свечи, расписали стену проклятиями. Умер старый директор. Новый, из его учеников, был тоже видным ученым. Но выбрасываться из окна из-за ухода сотрудников он бы не стал.

Журналист запнулся, почувствовав, что начал пересказывать свою недописанную статью.

— Ну, остальное ты, наверное, уже помнишь. У вас же был тут телевизор.

Солнце садилось и жалило глаза; он слегка прикрыл лицо ладонью.

— Не, — пошевелился Петров. — Как только начиналось про нас, «ангелы» тут же переключали.

— Ангелы?

— Воспеты. Воспитатели. Это их отец Геннадий так назвал. Воспитатели, они для вас, говорит, как ангелы должны быть...

Журналист поглядел на часы. Нужно переходить к главному, иначе не успеть. Провел ладонью по стене и нащупал выключатель.

— Я приехал за тобой. У меня есть разрешение. Я приехал тебя забрать.

— Да, — Петров чуть сощурился. — Мне уже один наш сказал.

— Этот... Дорошенко?

— Ну. Он вначале решил, вы за ним явились. В туалете потом ревел... Не поеду я.

И стал очень похож на Нику.

— Ты... Как? Я понимаю... — журналист пытался вспомнить, что он собирался в этом случае говорить. — Я виноват. Да. Теперь мы будем жить вместе. Я буду о тебе заботиться.

Петров помотал головой.

— Почему?!

Петров пожал плечами.

Журналист погладил его по спине; Петров глядел, покачиваясь, в пол.

— Ну, давай, — журналист приблизил к нему лицо, — давай, быстренько собирайся...

Петров молчал.

— А Машу с Валентином? — спросил наконец.

— А кто это?

— Ну... Кактусы такие.

— Да, — журналист выдохнул с облегчением. — Конечно, возьми. И Машу, и... Там у тебя комната своя будет, можешь ее всю кактусами заставить...

Петров снова замотал головой:

— Не.

— Я тебе объясню... — Журналист помолчал. — Ты не можешь больше здесь оставаться.

Петров поднял глаза.

— Я встретил человека, — быстро заговорил журналист. — Да, там, в Японии, я начал уже рассказывать... Одного из бывших. Он сам на меня вышел, сам позвонил мне в номер. Это тайна, он рисковал, понимаешь? И списки он мне тогда дал. Всех вас.

И фамилия, имя, отчество матери. Стал просматривать — бац! — Ника. И сроки все совпадают... Хочешь, я ее разыщу?

Петров молчал.

— Поехали, — журналист взял его за плечи и легонько встряхнул. — Понимаешь, здесь скоро... Здесь тебе нельзя быть. Я потом тебе объясню. Здесь тебе оставаться нельзя.

Петров резко снял ладони журналиста с плеч и вышел из комнаты.

«...Я встретил человека. Да, там, в Японии, я начал уже рассказывать... Одного из бывших. Он сам на меня вышел...»

Журналист рывком открыл дверь воспитательской.

В кресле сидел Батя Виталий и держал айфон.

— Давно не включали... Думал, уже не работает. Работает, звук только грязноват.

«Понимаешь, здесь скоро... Здесь тебе нельзя быть. Я потом тебе объясню...»

Журналист тяжело сел на стул. Запись кончилась.

— Любопытно, — Батя спрятал айфон. — В общем, как и ожидал. Можно, кстати, поглядеть на разрешение забрать этого?..

Журналист порылся в сумке.

— Любопытно, — повторил Батя, разглядывая листок. — Это вам дали в обмен на молчание?

Журналист кивнул.

— Инъекций осталось на три приступа, — Батя склонил голову. — Таблеток — на месяц. Медикаменты, кстати, дорогущие, и в аптеках нет, не знаю, как вы там собирались... Если только не пообещали вас ими снабжать. Пообещали? Так что вам еще сообщил этот камикадзе?..

— Что планируется их усыпить... — журналист сглотнул. — Есть уже решение...

Батя Виталий подался чуть вперед:

— Об этом мы тут тоже слышали... — закашлялся. — Ну что, теперь будете писать? Все правду-матку?.. Понятно. Петров же с вами отказался... И правильно сделал.

Журналист сжал губы.

— Не выживают они в мире, — Батя чуть улыбнулся. — Одно время американцы сюда пытались, давайте, мол, усыновим. Потом, конечно, эту лавочку с усыновлением закрыли... Но двоих все-таки успели усыновить. Ну и что? Один через год отключился, второй — чисто уже как овощ, в клинике на одних капельницах... Вон, у нас даже из монастыря одного приезжали, игумен у них сердобольный... «Давайте, они у нас воспрянут». Трое ушли, одного даже в монахи успели... Не приживаются. У них одно в сознании — в мамочкину утробу обратно залезть. Это для них рай. А все, что потом, это для них ад. И нынешнее их здесь... Даже если плясать на цыпочках перед ними будем.

— Но что-то же надо делать...

— Надо. Тоже пару лет назад голову ломал. Потом решил. Ушел из... Ушел, короче, с прежней работы, устроился сюда. Полгода назад уволили, под сокращение. Ничего, снова взяли. Работать некому. Я, Денисыч, еще ночной воспитатель придет, волонтер местной церкви.

— Зарплата маленькая?

Батя хмыкнул.

— Тогда что вас держит?

Батя поднялся, захрустел пачкой сигарет.

— Сын. Тоже сын.

Журналист медленно встал:

— Дорошенко?

— Не угадали, — Батя закурил. — Цой. Пианист, помните? Да, не похож... Мать коряночка была, в музыкалке. А муж моим сослуживцем... Ладно. Уходить собираетесь?

Журналист кивнул.

— Композитора не забудьте, — Батя протянул портрет.

Журналист помотал головой. Остановился в дверях.

— А если их все-таки усыпят?

— У меня для себя тоже приготовлена ампула... Ну, — Батя пожал холодную руку журналиста. — Приятно было познакомиться. Не будете Денисыча дожидаться? Ладно, передам спасибо. Кстати, — понизил голос: — будете садиться в машину, осмотрите повнимательней. Бардачок, багажник... Ну, — снова прибавил звук, — желаю удачи.

Журналист прошел по коридору, спустился по лестнице, остановился и прислонился к стене. Постояв минуту, оттолкнулся и пошел к выходу. Снова остановился.

Где-то наверху шла возня, загремели по лестнице шаги.

— Юрий Сергеевич! — шел к нему Денисыч. — Простите!

Подошел, запыхавшись, и протянул портрет.

— Простите, перепутал. Сам не знаю как. Вот он, Мусоргский, Модест Петрович. А тот... — Махнул рукой.

На лбу воспитателя алела ссадина.

— Да, пришлось вот самому доставать... Контингент на ужине, просить некого. Может, поужинаете с нами? Нет? Каша рисовая с компотом.

Журналист поблагодарил. В другой раз.

Денисыч вызвался проводить до ворот.

Успело похолодать, что-то сверху, поблескивая, летело. Обошли темную клумбу. Все тот же, как и утром, скрип качелей. Только прибавился сухой простуженный голос, что-то бубнивший... Журналист прислушался.

«Я так уснул, что если бы не память... Я смог бы спать до Страшного Суда... Когда бы глаз моих сырую мякоть... С ресниц не морозила жилка льда...»

— Орлов, — Денисыч мотнул головой в ту сторону. — Целый день качается, вечером начинает стихи свои... Сколько раз его оттуда снимали...

«Я так уснул, но заиграли птицы... На флейтах из речного камыша...»

Они завернули за угол, слова стали неразличимы, только скрип доносился.

Журналист остановился, поглядел на корпус.

— Приходите еще, — поежился Денисыч, вышедший в одном пиджаке.

Они уже были возле будки охраны. Внутри горел свет, был виден затылок Кузьмы.

— Приду, — журналист продолжал глядеть на окна второго этажа. — Может даже, навсегда.

Последнее было сказано тихо, и Денисыч, начавший подмерзать, не расслышал. Мужчины попрощались, журналист дернул дверь; Денисыч, втянув голову, заспешил в корпус.

Ужин шел к концу, дежурные уносили пустые липкие тарелки.

Вошел Батя.

За столами притихло и сжалось.

Батя медленно обошел столы.

— Петров!

Петров поднял голову.

— Двадцать отжиманий и дежурка завтра по кухне.

— За что?

— За всё. И еще пять отжиманий за дурацкий вопрос... Дорошенко!

— Здесь! — вскочил Дорошенко.

— Пятнадцать отжиманий.

— Прямо... сейчас?

— Нет, когда срать пойдешь.

Контингент осторожно засмеялся.

— Цой!

— Да.

— Что — да? Что смеешься?

Цой заморгал.

— Тоже пятнадцать отжиманий. За неуместное чувство юмора. Поехали...

Петров, Дорошенко и Цой обреченно вышли из-за столов и опустились на пол.

— А вы все что молчите? — летел сверху голос Бати. — Считаем. Р-раз...

— Два... — откликнулся хор.

Пол то приближался, то отдалялся. Из живота кисло давила рисовая каша. Клацали об пол пуговицы, у Дорошенко свалились очки.

— Три-и...

Петров долго не мог уснуть, болели руки и не согревались пятки.

Дорошенко, повздыхав, заснул; спал с приоткрытым ртом. Кореец, как обычно, во сне напевал, к этому в комнате давно привыкли и не будили, чтобы заткнулся. Все равно уснет и будет снова петь.

Петров сел на кровати и поглядел на свои кактусы. Они так и стояли на разных концах подоконника. За окном тяжело лил дождь.

— Маша, — тихо позвал Валентин.

— Ну что?.. Я сплю.

— Маш, у меня, оказывается, отец есть. Представляешь? Настоящий, как в кино. Писатель... журналист. Собирался Батю уволить и меня забрать. То есть, нас с тобой. А я ему: мы должны это обсудить с Машей... И связаться с нашей цивилизацией. А пока не свяжемся и не получим сигнала — не-е... Не удастся вам, земляне, нас снова перехитрить, да, Маш?

Маша молчала: то ли вправду спала, то ли обдумывала.

Петров погладил горшок с Валентином; Машин не стал, чтобы не тревожить.

Забрался обратно под одеяло, согнул ноги и поджал их к животу. И какое-то время, пока не заснул, еще слышал пение Корейца и стук дождя.

Владимир Шпаков

Красное платье

Рассказ

1

Дорога с самого начала не задалась: пробка на выезде, жара под тридцать, да еще кондиционер летит! Вместо приятной прохлады из-за пластиковых решеток струится горячий, пахнувший бензином заборотный воздух. Откроешь окно — та же обжигающая волна, закроешь — задохнуться можно. Костя на заднем сиденье молчит, но в зеркале видно: открыв рот, мальчик тяжело дышит.

— Ты как, сынок? — оборачивается Валентина. — Тебе плохо? Слышишь, ты! Ему плохо! Когда починишь кондиционер?! Когда вообще свою развалюху сменишь?!

Это уже в адрес Ветрова, то и дело давящего на тормоз. Разогнаться бы, чтобы салон продуло, только пробка и не думает кончаться. Значит, терпи ад, где роль черта играет супруга. Ее упреки — как полешки в костер под сковородкой, на которую усадили Ветрова. Он никогда не сменит машину, поскольку а) зарабатывает копейки, б) ненавидит жену, в) терпеть не может тещу, слава богу, та отмучалась. Соединить это в логическое целое невозможно, но кто сказал, что черти должны быть логичны?!

Впрочем, тещу Ветров и впрямь не мог терпеть (как и она — Ветрова). И что отмучалась — тоже правда. Собственно, они и ехали на сороковины, за семьсот верст от дома, куда Ветров, знавший состояние старенького «Фольксвагена», предлагал отправиться на поезде.

— У меня топливный насос барахлит. — урезонивал он супругу, — Можем сломаться!

— А ты почини насос! Денежек заработай — и почини! Пусть не ради меня — ради сына! Он же не выдержит поезда, хоть это ты понимаешь?!

— Тогда самолетом...

— И самолет не выдержит! У него не ветрянка, а миопатия!

Миопатия всегда приплеталась, когда требовалось дожать супруга, склонить чашу весов в свою пользу. Иногда болезнь называлась полностью: «миопатия Дюшена», будто французский врач, что открыл эту хворобу еще в XIX веке, своей экзотической фамилией освящал страдания матери, отдавшей все силы больному чаду. А ведь Ветров тоже отдавал силы. И страдал не меньше Валентины, хотя в последнее время все чаще раздражался. Вот и во время того спора вспылел, послал жену подальше и ушел в гараж, где тут же нашлась компания. Мужики травили анекдоты, ржали, а Ветров тупо накачивался водкой. Только водка не снимала груз с души, наоборот — придавливала к земле. Вернулся домой за полночь, чтобы застать на кухне Валентину, неспящую и

Шпаков Владимир Михайлович родился в 1960 году в Брянске. Прозаик, драматург, критик. Автор восьми книг прозы, ряда пьес и множества литературно-критических статей. Живет в Санкт-Петербурге. Последняя прозаическая публикация в «ДН» — рассказы (2016, №12).

злую. После чего они еще час высказывали друг другу накопившее. Такая была у обоих отдушина — свалишь на другого вину, и вроде как легчает.

Сейчас Валентина тоже на красной черте. Вот еще чего-нибудь вякнет — точно получит! При сыне они старались не собачиться, берегли и без того богом обиженного, но тут вариантов нет...

— Господи, ну почему так поздно выехали?! Мы же не успеем за сегодня доехать!

— Не успеем — заночуем в дороге... — цедит сквозь зубы Ветров.

— Ага, у тебя денег много! Гостиница тоже не бесплатная, между прочим!

Когда Ветров набирает воздух, чтобы выдать *обратку*, сзади внезапно сигналият.

— Кому это я мешаю?! — пялится в зеркало Ветров. Там виден черный внедорожник, хозяин которого бурно жестикулирует, типа Ветров — чмо.

— Ах ты, козел...

Высунувшись в окно, он оборачивается назад и матерится, заглушая гул моторов. В другое окно вылезает на полкорпуса Валентина и тоже орет.

— Вот заразы! — говорит, усевшись на место. — Накупят своих джипов и думают — они главные!

— Ну да! — отзывается Ветров, — То фарами мигают, то гудят... Короли дороги, блин!

Они сбрасывают напряжение, объединившись вокруг общего врага. Но это ненадолго. Час, другой — и опять найдется повод цапнуть друг друга. Если бы их души можно было представить визуальнo, те оказались бы полностью покрыты царапинами, ссадинами и кровоподтеками. Физически это проявлялось тем, что Валентина каждые две недели тщательно закрашивала корни волос — скрывала седину. А Ветров обрел привычку засовывать руки в карманы. Поздоровается с кем-нибудь — и в карман, чтобы не было заметно тремора. Не алкогольного (если бы!), просто руки начали как-то подозрительно дрожать, даже если месяц в рот не брал спиртного. Общей у супругов была затаенная тоска в глазах. Тоска тщательно маскировалась, особенно на людях, но от себя-то ее не скроешь...

Безысходность поселилась в семействе Ветровых пару лет назад. Первые годы жизни Кости были, как у всех мальчишек — лазал по деревьям, гонял мячик во дворе, даже дрался иногда. В школу пошел, как все, — но во втором классе внезапно начал слабеть. Пришлось сопровождать на уроки, для чего вызвали тещу — та водила Костю в школу, а дома, пока родители работали, обихаживала единственного внука. Только слабость (несмотря на массажи и растирания) не покидала, напротив — усиливалась. Однажды теще пришлось едва ли не на руках затащить Костю по лестнице, а вскоре тот и вовсе перестал ходить. А потом инфекции — одна за другой! В младенчестве мальчик почти не болел, тут же не было вируса, который он не подхватил бы. Причем даже от обычной простуды Костя буквально задыхался, дважды в реанимацию попадал. Что говорили врачи? Вначале на проблемы с иммунитетом напирали, мышечную слабость диагностировали, лишь спустя года полтора, когда позвоночник изогнулся дугой, прозвучало: миопатия Дюшена. А следом озвучили перспективы: коляска, специальный корсет, дальнейшая атрофия мышц, и это на всю жизнь. Каковая, уточнили, будет недолгой. Какой недолгой?! Ну, до двадцати, может, дотянет, если уход будет соответствующий. Но до тридцати — вряд ли...

Как водится, врачам не поверили. Возили мальчика к медицинским светилам, массажистам, мануальщикам, а еще (по наводке тещи) к народным целителям. Денег истратили бездну: все семейные запасы угрохали, потом дачу продали — на благое дело не жалко. В ту пору Ветровы сплотились, даже какое-то воодушевление появилось в семье. Но годы шли, симптоматика ухудшалась, и мрачные прогнозы вдруг сделались реальностью. Практика неумолимо доказывала: да, недолгая жизнь у таких больных. И можно ли это жизнью назвать? Кормление с ложечки, утки, бессмысленные процедуры... Слово «бессмысленно» все чаще звучало в их разговорах. Что ни делай,

все равно упираться в стену, и впереди маячит понятно что. Тут-то и начались скандалы — тяжелые и, если здраво рассудить, тоже бессмысленные. Валентина взялась ковыряться в его родословной, обнаружив там некие наследственные болезни, Ветров в пылу полемики также мог пройти по ее генеалогическому древу. Да что — древо?! Тут живой пример — теща! От нее-то, обладательницы целого набора хронических болячек, тлетворный ген и перескочил на мальчика! Понятно, что супруга зверела, так что полемика, как правило, заканчивалась истерикой.

«Хоть бы на трассе не заводилась... — думает Ветров, кося глаз на жену, — А то ведь можно в столб или в дерево впилиться!» Когда «Фольксваген» добирается до скоростного шоссе, Ветров оборачивается.

— Ну вот, сейчас поедет с ветерком...

По лбу мальчика стекает струйка. Стараясь улыбаться, тот делает попытку утереть пот, только рука не слушается.

— Сейчас утру, Костенька... — бормочет жена, заметив испарину. А Ветров, испытав мгновенный укол в сердце, топит газ.

Первая сотня километров пролетает быстро. А дальше опять втык — дорожники сразу две полосы закрыли, оставив потоку игольное ушко.

— Почему они ночью не работают?! — нервничает Валентина. — Почему в разгар дня надо асфальт укладывать?!

Насчет графика работы ремонтников Ветров солидарен, а вот насчет разгара дня... Действительно поздно выехали, скорее, день клонится к закату. А впереди еще полтысячи километров. Можно и при свете фар ехать, конечно, только ночью Ветров за себя не отвечает.

В очередной пробке они теряют час. Когда выползают на оперативный простор, Ветров наверстывает упущенное: девяносто, сто, сто двадцать... И тут же окрик:

— Куда гонишь?! Как можно на твоём корыте такую скорость развивать?!

— Сама ты — корыто!

— Ну да, еще старой гримзой обзови! Как маму!

— Да причем тут мама?!

— Ты ее так обзывал! Что, не помнишь?! Зато я помню!

Ветров и впрямь не помнит, хотя допускает. Не сложилось у него с тещей, причем с самого начала, когда только поженились с Валентиной. Ветров старался понравиться, видит бог, даже «мамой» одно время ее называл. Но вскоре остановился на «Зое Васильевне». Какая «мама», если по десять замечаний на дню тебе делают?! Причем начиная от зарплат, каковая не соответствует потребностям молодой семьи, и заканчивая манерой поведения за столом. Ветров увлекался беседой, особенно когда выпивал, становился шумным, громко хохотал, за что после каждого семейного праздника огребал. Потому и праздники предпочитал проводить дома, а не у тещи в гостях, хотя Валентина тащила к ней то на Новый год, то на Пасху, что для Ветрова — нож острый. А после клятого *Дюшена* нож вообще превратился в мечете, шинковавший зятя на мелкие кусочки. Теперь не они туда, а она сюда зачастила, месяцами у них жила. Да, ухаживала за Костей, всю себя ему отдавала, но Ветров-то при этом был главным виновником семейной драмы! Даже когда Зоя Васильевна молчала, казалось, в воздухе звучит прокурорский вердикт: виновен! Самое мягкое, что ему говорили: «Вы не чуткий» (они обращались друг к другу на «вы»). Вот у нее сердце, почки, поджелудочная — а он даже не поинтересуется, как она себя чувствует! И к жене не проявляет чуткости, а главное, к больному сыну равнодушен. Что было, конечно, неправдой. Про внутренние органы Зои Васильевны Ветров мог забыть, а вот о мальчике думал неотступно. И если не всегда хватало на «сюси-пусси», то он все-таки мужчина. Мужчина?! А вот выкуси, Ветров, в этом звании тебе отказано, потому что а) твой мелкий бизнес накрылся, б) на работу не мог устроиться три месяца, в) устроился, но заработок — курам на смех! И тут не поспоришь, заработки за

последний год упали ниже плинтуса. Вся продукция на их заводике пластиковых изделий начала скапливаться на складах, не находя сбыта, а директор (школьный товарищ Ветрова) только руками разводил, мол, кризис! И что делать? По любому нужны лекарства, коляска, специальные корсеты, закрепляющие позвоночник, — и все это за сумасшедшие бабки! Тогда-то и начала затягиваться на шею долговая петля. Вначале школьный товарищ выручал, другие сослуживцы, кто был в курсе и сочувствовал, а дальше по наклонной: брал у всех, даже под процент. Втихаря брал — ни супруга, ни (тем более) теща о долгах не знали. Но час расплаты был близок, месяц-другой, и на пороге квартиры возникнут коллекторы, о чем Ветров даже думать боялся.

В очередной раз обстановку накаляет неработающий туалет на бензоколонке. Валентина устраивает разнос местным служащим, грозит дойти до областного начальства (хотя вряд ли представляет, в какой области находится). Она раздраженно двигается вдоль прилавков местного маркета, хватая не глядя какие-то леденцы, чипсы, чтобы вскоре вывалить их на заднее сиденье.

— Угощайся, сынок... — говорит, сдерживая клокочащие эмоции. — А вот по малому сходить — не получится!

— Да я не хочу, мам... — смущается Костя.

— Да? Зато я хочу. Что ж, придется искать укромное место, а потом: мальчики налево, девочки — направо...

Укромное место находится через пару километров, благо дорога идет сквозь дремучие лесные массивы. Первой в чащобе скрывается Валентина. Ветров тоже вылезает, затем опять сует голову в машину.

— Точно не хочешь? — спрашивает. — Я помогу, если что...

— Не хочу, — мотает головой сын. И тут непонятно: либо правду говорит, либо готов терпеть до последнего. Кормление с ложечки — куда ни шло, но туалетные процедуры для подростка — это ж мука смертная, у него от стыда даже лицо судорогой сводило.

В лесу слышно, как над головой тихо шелестят под ветром кроны, и где-то вдалеке щебечет птица. Муравьи под ногами ползают, а вон вылез желтый гриб, кажется, сыроежка.

Застегнув ремень, Ветров прислушивается к непривычной тишине. Он давно не выбирался в лес; и грибов не собирал давно, и на рыбалку положил с прибором. Ему не хочется обратно — туда, где ворох проблем, переживаний, и каждую секунду ждешь очередной истерики. «Эх, остаться бы тут...» — пронзает мысль. Хочется сделаться лесной пичугой, превратиться в муравья, в неприметный куст — лишь бы не возвращаться в ад, обманчиво похожий на жизнь...

— Эй, где ты там застрял?!

Окрик с трассы возвращает в реальность. И Ветров, зачем-то сорвав гриб, возвращается.

— Держи! — сует сыроежку сыну. — Когда поправишься, пойдем с тобой грибы собирать. Белые, подосиновики, ну и сыроежки тоже.

Он старается говорить бодро, хотя сам не верит своим словам. «Сказка про белого бычка» — называл он оптимистические байки, которые выдавали то Ветров с Валентиной, то покойная теща. Планов на будущее было выстроено громадье, да только все они напоминали песочные замки, что распадаются от первого дождя...

Спустя час машина выскакивает из леса на открытое пространство. Влево и вправо до горизонта — бескрайние поля, покрытые высокой травой. Когда зависший впереди красноватый огненный шар касается земли, перистые облака окрашиваются в багровые тона — ну очень красивый закат. Только Ветрову не до живописных пейзажей. Бессмысленна эта красота, как и все, что в последнее время происходит. Закаты, восходы... Чушь собачья!

Еще через полчаса на трассу медленно наползает тьма. Включенные фары не

помогают — дорога не ах, запросто колесо в выбоине потеряешь, если разгонишься. А еще встречные слепят! Вот чего ближний не включить, а?! Ветров-то включает, когда видит идущую навстречу машину, а эти уроды — ни хрена! Вскоре он тоже перестает включать. Назло, пусть уродов тоже ослепляет! Но удовольствие от этого быстро кончается. После целой кавалькады встречных начинают слезиться глаза, и вдруг — фьюу! — буквально на расстоянии вытянутой руки пролетает большегруз!

— Ты чего — обалдел?! — вскрикивает Валентина. — За дорогой смотри!

— Смотрю... — бормочет Ветров. Нет, такая езда не годится. Еще три сотни километров до цели, и не факт, что остальные фуры пролетят мимо. Он смотрит на придорожные таблички — на них сплошь названия деревень и сел, в таких не заночуешь. И вдруг «Пряжск. 10 км». Похоже, город, там должна быть гостиница. Ветров доезжает до поворота и притормаживает.

— Все, нужно передохнуть до утра.

Впервые за день супруга не вступает в спор — понимает: ехать ночью опасно. «Фольксваген» сворачивает направо, чтобы минут через десять въехать на центральную улицу.

— Ну и дыра... — разочарованно произносит Валентина, глядя на неказистые строения за окном. — Представляю, какие здесь отели!

Указателей, мол, гостиница там-то — не видно. Аборигены тоже не в курсе, а может, просто забыли, поскольку повально пьяны.

— Гостиница?! — очередной местный житель, покачиваясь, чешет затылок. — Была вроде. Но потом ее переделали — под торговлю. А-а, еще одна есть! Но это далеко.

— Как проехать?

Абориген долго и путано объясняет, после чего (в качестве компенсации) требует сигарету.

— Бери две, — говорит Ветров. Они едут по темным улицам, сворачивают, куда указывали, только отелем и не пахнет. Пахнет помойкой, коровьим навозом, а дома делаются все меньше; если на центральной улице еще были пятиэтажки, то здесь, похоже, частный сектор.

— Н-да, попался нам Сусанин... — бормочет Валентина, тревожно оглядываясь. — Может, обратно вернемся? Еще у кого-то спросим?

И вдруг — о, счастье! — в свете фар мелькает полицейская форма. И машина, раскрашенная в белый и синий цвета. Ветров резко газует, чтобы вскоре услышать:

— Так вы же в другую сторону уехали!

— Да? А как нам...

— Развернитесь, потом прямо полкилометра. Далее левый поворот, после чего сверните направо... Хотя ладно, езжайте-ка лучше за мной!

Семейство веселеет — все-таки представитель властных структур, не гопник какой-нибудь. Они долго плутают по улицам, где хоть глаз выколи, чтобы затормозить возле двухэтажного строения с подсвеченной надписью над входом «Гостиница "Пряжская"». Ветров горячо благодарит доброго полицейского, и тот решает выполнить свой долг до конца:

— Вы это... Ценных вещей в машине не оставляйте.

— А что так?

— Шалят у нас... — полицейский разводит руками. — Депрессивный город, что поделаешь!

Приходится перетаскивать в холл чемоданы, подарки, ящик с инструментами, Костино кресло, затем самого Костю. Ветров несет его на руках, чувствуя обмякшее тело сына, который даже за шею обхватить не в силах. Что-то напрочь лишенное мышц, даже скелета, будто из человека вытащили не только позвоночник, но и все косточки. И опять охватывает отчаяние. Господи, ну за что?! Вот только что полдесятка алкашей с ними общались, некоторые, видно — полные отбросы, и ничего,

живут себе припеваючи! А мальчик в чем провинился? И они, родители, в чем виноваты?!

Еще раз этот вопрос он задает после того, когда устроились в номере с облезлой мебелью и вываленными из стены розетками. Теперь можно выйти, закурить (в машине дымить запрещено) и поднять глаза к усыпанному звездами небу. Звезды сияют холодным светом, загадочно отмалчиваясь. Есть ли среди них бог? А если есть — слышит ли тех, кто вопиет внизу? Нет, навряд ли. Вот видел сегодня Ветров мурашей в лесу, захотел бы — смог бы запросто сотню раздавить. Тысячу мог бы, да что там — муравейник мог бы сжечь, а что при этом переживали бы крошечные насекомые — ему по барабану. Вот и создателю небесных светил люди по барабану, мы для него не муравьи даже — вредные микробы...

Окно их номера, что рядом с гостиничным крыльцом, распахивается.

— Колесо из машины принеси! — раздается голос Валентины.

— Какое колесо?!

— Запасное! Сам же слышал: могут украсть!

— Хорошо, принесу...

«Да провались ты со своим колесом... — думает Ветров, швыряя окурок в урну. — Дайте хоть пару часов отдохнуть от этого бедлама!» И подняв воротник, устремляется в темноту.

Дорогу до центра он не помнит, идет наобум. Ноги то и дело проваливаются в какие-то ямы, Ветров спотыкается на колдобинах, продолжая движение в никуда. Но вот один уличный фонарь, затем еще несколько, значит, внутренний компас ведет в правильном направлении.

Центральную улицу тоже не назовешь залитой светом. И народу на ней с гулькин нос, лишь парни и мужики кучкуются там и тут. Ветров движется мимо компаний, ловя на себе подозрительные взгляды — чужака в забытом богом городишке опознают на раз. И хрен с ними, пусть глазеют. А вот если пристанут — мало не покажется! У Ветрова даже кулаки в карманах сжимаются, когда представляет драку с аборигенами. Порвет любого, так что не суйтесь к залетному, жители депрессивного города...

Неожиданно для самого себя он направляется к группе парней — шумных, матерящихся и что-то пьющих из металлических банок. По виду — отморозки, гопота, так нет же, именно к ним потянуло!

— Закурить есть? — спрашивает Ветров. В кармане у него половина пачки, но тут, что называется, шлея под хвост. А главное, интонацию с ходу берет грубую, типа нарывающегося мужика.

— Держи... — протягивают сигареты.

— А огоньку?

— И это найдем...

Парни оглядывают его, но как-то лениво, без желания войти в клинч. А Ветрову хочется клинча. Чтобы привязались, накинулись, потом кто-то вытащит из кармана нож и... И все. Кончатся мучения, оскорбления, истерики, бессонные ночи и т.п. А самое главное, он будет не виноват — ну вышло так!

Выждав паузу, он спрашивает:

— Где тут выпить можно? Кафе или ресторан имеется?

— Шалман за углом, — звучит ответ, — круглосуточный.

Разочарованный Ветров идет за угол. Неоновая вывеска «Ромашка» собирает представителей мужского пола, как лампа — мошкар: тут самое интенсивное клубление алкашей. Ветров продирается сквозь толпу курящих на крыльце, входит внутрь и направляется к стойке.

Первая порция — двести плюс томатный сок (закусывать почему-то не хочется). Хотелось бы, чтобы порция была и последней, все-таки с утра за руль. Да куда там! Ветров знает: он не остановится; знает и то, что облегчение возникнет лишь вначале, дальше мрак, тот же ад, только в кубической степени.

Он выбирает пустой столик, без компании: если конфликт не задался, лучше напиться в одиночестве. Но оно, увы, тут же нарушается неким седобородым персонажем.

— К вам можно? — спрашивает и, не дожидаясь ответа, ставит Ветрову на стол стакан и блюдо с бутербродом.

— Увидел новое лицо и решил познакомиться! — радостно сообщает персонаж. — Меня зовут Аркадий Павлович. А вас?

— Бонд, — криво усмехается Ветров, — Джеймс Бонд.

Аркадий Павлович хохочет.

— А вы с юмором, это хорошо! Ну, тогда за знакомство!

Они чокаются, и Ветров отхлебывает половину.

— Вы, я вижу, приезжий?

Ветров кивает.

— То-то я вас раньше не видел... Что ж, мы тут тоже с юмором. Вот это заведение, например, в народе именуют «Рюмашка». А еще у нас есть памятник козлу!

— Козлу?!

— Ему самому. Только не путайте с козой. Памятник козе есть, например, в Нижнем Новгороде. В Урюпинске, опять же, стоит такой памятник. А у нас — козел! Самец, в смысле.

Ветров молчит, переваривает информацию.

— Что ж, тогда — за козлов!

Он намахивает остатки, чувствуя: потащило. Однако к стойке не спешит — нужна пауза.

— А почему ваш город — депрессивный? — задает вопрос.

— А-а, уже знаете... Тут раньше было несколько оборонных предприятий. Потом перестройка, конверсия, и — конец благополучию. Тысячи людей за бортом жизни оказались. Кто-то уехал, кто-то спился, были и такие, что с собой кончали. Это и называется — депрессия.

«Мое место, — думает Ветров, — У меня вся жизнь — сплошная депрессия, пора переезжать в Пряжск».

— Но не хлебом единым, как говорится. Есть тут и кое-что другое. Успенский монастырь, например, неподалеку. Не были? Обязательно посетите! Там сейчас все восстановлено, но главное — икона чудотворная есть! Говорят, от разных болезней помогает!

Увлечшись, Аркадий Павлович вспоминает какие-то графские развалины, стоянку первобытных людей — похоже, краевед-любитель. Но Ветров слушает вполуха. Он идет к стойке, берет еще двести, затем возвращается.

— Икона, говорите... — произносит, отхлебнув. — Видал я иконы. И в монастырях бывал. И к экстрасенсам ездил. Даже у одного шамана был в гостях! И что?! Ничего!

Не ожидавший такой реакции собеседник с удивлением таращится на Ветрова.

— Что у вас с руками?!

А у Ветрова опять тремор, будто он с дикого бодуна. Он с трудом доносит стакан до рта, отпивает и (тоже с трудом) ставит обратно.

— Руки — ерунда! Главное, против этого Дюшена ничего не помогает, понимаете?!

— Против чего, извините?!

— Есть тут один... Француз, кажется. Так вот нету средств против него! Ни-ка-ких!

Посетители уже начинают оглядываться. А Ветров в одном шаге от срыва, одно неверное слово — и понесется душа в рай!

В себя он приходит на крыльце. Его поддерживает Аркадий Павлович, помогая спуститься вниз.

— Как быстро вы запьянели... Не закусываете потому что! Да и состояние ваше... У вас что-то случилось? Тогда извините. Я к вам с юмором, а вы...

Они доходят до угла.

— Живете в гостинице?

— Угу.

— Сами дойдете?

— Угу.

Зависает недолгая пауза, и уже в спину произносят:

— А монастырь посетите! Совершенно невероятные вещи там происходят, поверьте!

Обратный путь Ветров одолевает на автопилоте, каким-то звериным чувством угадывая направление. На лице блуждает саркастическая ухмылка, дескать, плавали — знаем! Покойная теща тоже норовила затащить то в святую обитель, то к каким-то знахаркам и тоже рассказывала сказки про чудеса чудесные. А себя не уберегла, хоть и причащалась, и исповедовалась каждую неделю. Теперь вот зять едет посмертные почести воздавать, хотя с превеликим удовольствием манкировал бы. С похоронами свезло — Косте в те дни нужно было важные анализы сдавать, и супруга поехала одна. Теперь не увильнешь: делай, Ветров, скорбное лицо и показывай, насколько ты безутешен. А еще слушай родню, которая будет славословить бесценную Зою Васильевну, а «в кулуарах» — обсуждать наследство. Там всего наследства — двушка в хрущевке, подписанная брату Валентины, отцу троих детей. Но обсуждение таки произойдет, поскольку не всем такое решение кажется справедливым. Если честно — и Ветрову не кажется, но влезать он не станет.

— Не втягивай меня в ваши разборки! — заявил недавно жене.

— Что значит — ваши?! Тебя это не касается?!

— Да, не касается!

К гостинице он подкатывает на взводе, готовый к скандалам, ссорам, оскорблениям и т.п. Но Валентина непривычно тихая, с распухшим носом.

— Все в порядке? — напористо вопрошает тот, кто «явился — не запылится» (любимое присловье супруги).

— Потихше говори... — отворачивается она. — Костю разбудишь.

Ветров сбит с толку: начинать скандал — не его прерогатива, стартовый выстрел обычно дает жена.

— Так все нормально?

— Нормально. — отвечают после паузы, — Просто маму жалко. Костю жалко. Да и нас тоже...

Она начинает хлюпать, чем окончательно обезоруживает Ветрова. Он оглядывает неказистый номер, заваленный скарбом.

— Колесо надо принести... — бормочет и, поднявшись, идет к машине. Когда он втаскивает колесо, Валентина сбивчивым шепотом говорит про операцию, что делают в Израиле. Мол, есть успешные случаи, когда пусть не излечивают, но хотя бы останавливают прогрессирование болезни. Прооперированный получает шанс на жизнь, а может, и на выздоровление — мы же не знаем, куда через двадцать лет медицина шагнет!

Не первый раз она заводит этот разговор, надо признать, бесивший Ветрова. Зачем толочь воду в ступе?! Цена операции — дюжина ветровских «фольксвагенов»; плюс дорога, плюс месяц проживания за границей... Но он молчит. Что-то прочно забытое проснулось, чего не хочется спугнуть.

— Ладно, посмотрим... — отвечает уклончиво. — А сейчас спать давай.

Ночью он спускается на лыжах с горы. Рядом — Костя, закладывает виражи, как заправский слаломист. «Ну, молодец! — гордится папаша Ветров. — Уроки не прошли даром!»

— А что там внизу? — спрашивает он сына.

— Как что?! Монастырь! Там происходят невероятные вещи!

Ветрову хочется сказать: невероятно то, что ты научился стоять на лыжах! Мы еще и коньки тебе купим! Велосипед! Но говорить некому — оторвавшись, Костя уносится по склону. Ветров безуспешно пытается его догнать, несется вниз, чтобы вскоре проскочить через широкие ворота и оказаться внутри высоких монастырских стен. Удивительно — вместо собора тут возвышается памятник козлу! А вокруг водят хоровод жители Пряжка во главе с Аркадием Павловичем.

— Ну как? — подмигивает тот, — Я ж вам говорил, а вы не верили!

2

Он просыпается то ли от жары, то ли от сушняка. Подняться, дойти до стола, где стоит минералка, а, черт! Ветров спотыкается, не заметив колеса, оно с грохотом падает и всех будит.

— Что ты как слон?! — доносится с кровати жены. — Ни ночью, ни днем покоя от тебя нет!

Призрачное ночное согласие испарилось, воцаряется привычная предгрозовая атмосфера. Каковая вскоре оборачивается настоящей грозой.

— Да от тебя разит, как из винной бочки! — восклицает супруга. — Любой гаишник в два счета унюхает!

— Ничего, прорвемся... — бормочет Ветров, хотя сам чувствует: хмель не прошел. На лбу испарина, руки дрожат, да и ноги заплетаются — он едва не роняет сына, переноса в машину, за что огребает очередные звездюли.

— Как теперь поедем?! — кусает губы Валентина, — До первого поста ДПС?! Ах ты скотина... Хорошо, я свои права взяла!

Супруга усаживается на водительское сиденье, Ветров занимает место справа. Да, он скотина, потому что такая жизнь, черт бы ее побрал! Прервал бы ее кто, перерезал ниточку одним махом, чтобы не мучиться!

Прихлебывая из бутылки, Ветров указывает путь на трассу, после чего прикрывает глаза. Супруга водит осторожно, на нее можно положиться. Ветрова нередко штрафовали, как-то прав на полгода лишили (за что Валентина пилила ежедневно), она же — само воплощение ПДД. Знак 40 км/час увидит — с такой скоростью и поедет. Про выезд на встречку и мысли нет, она вообще никого не обгоняет. А главное, молчит за рулем — все внимание на дорогу.

Открыть глаза приходится, когда машина делает резкий вираж на обочину. Летящая навстречу белая тачка проносится в нескольких сантиметрах от них и исчезает где-то сзади. А «Фольксваген» начинает мотать влево-вправо, чтобы вскоре вынести на встречную полосу. Далее замедленная съемка, когда два глаза фиксируют происходящее независимо друг от друга. Левый глаз видит раскрытый рот Валентины и белые костяшки пальцев, намертво вцепившихся в руль. Правый наблюдает огромную синюю кабину, с которой они сближаются. Сближаются стремительно, да что там — с бешеной скоростью, но мозг успевает прочесть: SCANIA. Левый глаз фиксирует, как пальцы отрываются от руля и Валентина закрывает руками лицо. А в правом промельк чего-то красного. Что не совсем понятно, поскольку фура (он успевает понять, что это — фура) светло-синяя, можно сказать, голубая. Последней вспышкой мелькает: конец! Далее удар, их закручивает и выбрасывает на обочину. В шею впиваются острые осколки, «Фольксваген» с треском ломает березы, и — тишина...

Тишина длится с полминуты, не меньше. Двигатель заглох, фура пронеслась, дорога пуста. А перед глазами почему-то качается пролезшая в салон ветка с мелкими зелеными листиками.

Отодвинув ветку, Ветров видит: Валентина так и сидит, закрыв лицо руками, вроде целая и невредимая. Теперь обернуться, чтобы увидеть широко раскрытые глаза сына.

— Как ты? — разлепляет губы Ветров.

— Все хорошо, — звучит ответ, — а у тебя это... Кровь!

Ветров проводит рукой по загривку — и впрямь кровь. Но боли он не чувствует.

— Ерунда, это осколки... Осколками посекло.

Только потом рядом возникают люди, и кто-то кричит:

— Аккумулятор отсоедини!!! Аккумулятор, говорю!!!

Дальнейшее происходит без его участия. Просят открыть капот, и Ветров выполняет просьбу, будто робот. Потом распахивается дверца, и он, как сомнамбула, вылезает наружу. Ему вроде как показывают кино, где он не участник, а зритель. Он еще там, на дороге, где два автомобиля неслись навстречу друг другу — и каким-то чудом разошлись, зацепило только багажник. Перед глазами синяя кабина, красный промельк, некий силуэт...

Когда худощавый мужик в тельняшке пытается вытащить сына, Ветров наконец включается.

— Подождите, я сам...

Он осторожно укладывает Костю на траву.

— С ним все в порядке?! — тревожится мужик.

— В порядке... Он просто болен.

— Ну слава богу... И вы, я вижу, уцелели... А я ведь думал — все! Когда вы передо мной выскочили, я решил: кранты! Ну, вам кранты! А вы как-то вывернулись! Господи, счастье-то какое...

Похоже, это водитель фуры, он ощупывает Ветрова, чтобы убедиться: тот цел и невредим. Затем помогает вылезти супруге, все еще пребывающей в шоке. Ветров оборачивается. Ну да, багажник вдрызг, заднее стекло в мелкое крошево, а в целом — *вывернулись*...

На дороге тормозят машины, водители высовываются из окон: нужна ли, мол, помощь? Кто-то едет дальше, кто-то задерживается, спешит с аптечкой, с баклажкой воды, так что народу постепенно прибывает.

— Да живы, живы! — радостно восклицает водитель фуры, отвечая на расспросы. — Думаю, и машина на ходу!

Улыбка до ушей открывает железную фиксу у него во рту. А вот напарник, что закончил возиться с аккумулятором, не столь весел — он что-то вполголоса говорит о разбитом подфарнике. Но обладатель тельняшки отмахивается:

— Фигня, страховка покроет! Главное, не убили никого!

В ожидании полиции Ветрова подводят к большегрузу. Поясняют, мол, виновата белая иномарка, что обгоняла фуру по встречке и заставила «Фольксваген» вырुлить на обочину. А какие тут обочины? Рваный асфальт да песок, вот вас и начало таскать влево-вправо! Ветров думает: надо бы Валентине передать, чтоб себя (а заодно и его) не грызла. Хотя на самом деле его волнует другое. Он ощупывает крупные серебристые буквы SCANIA на капоте фуры. Ну да, он их помнит. И синеву кабины помнит; но ведь было что-то еще!

— А вы не заметили... — нерешительно спрашивает он. — Ну, красное?..

— Что — красное? — не врубается водила в тельняшке.

— Вроде как платье...

Ветров смущается своих слов. Что за ересь он несет?! Сейчас нужно думать, как с гаишниками объясняться, где эту чертову иномарку искать, а он про какое-то платье!

Переглянувшись, дальнбойщики пожимают плечами.

— За платье ничего не скажу, — отвечает напарник. — А вот что у вашей семейки сегодня второй день рожденья — это к бабке не ходи!

Разборки с ГИБДД, вызов эвакуатора, каковой оказался не нужен (машина и впрямь была на ходу), заполнение бумаг на посту ДПС — все это происходит будто во сне.

— Номер не запомнили? — интересуется молоденький светловолосый лейтенант.

— Чей номер?

— Иномарки, что по встречной неслась. Мы бы в розыск объявили, а потом привлекли за создание опасной ситуации!

Только Ветров не помнит, как и супруга. Оба будто ушибленные пыльным мешком, так и не осознали пока, *что* с ними произошло. Ветрову опять хочется спросить про платье, но он сдерживается — это будет выглядеть совсем уж нелепо. Он спрашивает другое:

— А дорогу в том месте часто перебегают?

— В месте аварии? А кому там перебегать? Медвежий угол, разве что животное на проезжую часть выскочит... Но в вашем случае виноваты не животные, а гомо сапиенсы.

Выдав перл про «сапиенсов», лейтенант улыбается. Он явно доволен: ДТП без трупов, вообще без вреда здоровью — это ж мечта! При другом раскладе торчать бы тут еще одну смену, а так — снял показания, и гуляйте на все четыре стороны.

Наконец их отпускают. За рулем опять Ветров, чей хмель испарился, как утренний туман. Валентина помалкивает, чувствуя свою вину, он тоже молчит, поглощенный странным видением. Чем дальше отъезжают, тем отчетливее проявляется картинка, словно на опущенной в проявитель фотографии. Но поверить в такое, значит, тронуться головой — этого не может быть!

— Чего не может быть?! — удивляется супруга.

— А я это сказал?!

— Сказал...

Пауза, затем звучит ответ:

— Не обращай внимания, это я о своем.

3

Они успевают аккуратно к застолью. В пути многожды связывались с родственниками, сто раз все рассказали, однако по прибытии опять требуют подробностей. Вот прямо так, из-под колес выскочили?! Надо же, повезло! Радостное событие заслоняет печаль поминок, тосты звучат в основном за здоровье. Ну и конечно, каждый норовит подлезть к Косте, что-то ободряющее сказать или сунуть в карман гостинiec.

— Ты своих-то притормози! — не выдерживает Ветров. — Замучили парня, а ему и так после всего...

Обычно выражение «свои» (типа — твоя тупая родня) пробуждало негатив, но тут Валентина исполняет просьбу — просит дать отдохнуть мальчику. Она вообще ведет себя тихо, общается в основном с теткой, младшей сестрой покойной матери. Разговор о каких-то вещах, о гардеробе, который требуется разобрать — Ветров не вникает, он сосредоточенно хлопает рюмку за рюмкой. Но странное дело, напиться не получается. И забыть (а забыть ой как хочется!) мелькнувшую перед глазами картинку не получается.

Спасает выход на балкон, где курит брат Валентины. Тот заводит разговор о наследстве, за что-то извиняется, а Ветров и рад. В другой раз отбоярился бы («Не вмешивайте в ваши разборки!»), а тут приземленный быт выручает, вытаскивает из сюрса, что мучает с самого утра...

Гардероб тещи разбирают на следующий день. Сестра лезет в шкаф с зеркалом, чтобы выгрести оттуда ворох пальто, блузок, юбок и т.п. Что-то предлагают Валентине, что-то откладывают себе, дескать, не пропадать же добру. Ветров не взял бы от покойной тещи даже пары носков, но мужских вещей в гардеробе, по счастью, нет.

— Ладно, — не выдерживает он, — вы тут заканчивайте, а мне надо машину в ремонт ставить!

— Да уже закончили!

Сестра упрятывает вещи обратно и вдруг останавливается.

— Хотя погоди-ка... Валь, смотри какое платье! Зоя его весной купила, хотела на юбилей покрасоваться — да так ни разу и не надела! Возьми себе!

Когда разворачивают платье, Ветрову делается не по себе. Красное, приталенное — именно оно мелькнуло между «Фольксвагеном» и фурой! Он мог бы поклясться! Еще был силуэт, но какой-то полупрозрачный, неотчетливый, в то время как платье увиделось во всех подробностях... А ведь он уже начал считать мелькнувший образ наваждением, «глюком»!

Пока супруга прикидывает платье на себя, Ветров, не веря глазам, щупает материю.

— Да новое, новое! — говорит сестра. — Ненадёванное!

Под руками что-то мягкое и гладкое, то ли шелк, то ли другая ткань (Ветров тут не специалист).

— Не стоит его брать... — неожиданно произносит он.

— Почему?! — удивляется жена. Она смотрит на отражение в зеркале, затем со вздохом возвращает платье:

— Нет, не подойдет. Я же теперь как вешалка, на мне оно болтаться будет...

У Ветрова — гора с плеч. Не то, чтобы он чего-то боялся, просто не хочется предметного напоминания о чем-то непонятном и абсурдном. Было — не было, с этим еще разбираться, но если перед глазами будет это платье, крыша точно поедет! Она и сейчас не в порядке — Ветров отправляется в автосервис, беседует с мастером, а мысли далеко, душа будто отделилась от тела и витает где-то в иных мирах...

Закончив диагностику, мастер вытирает руки ветошью.

— В общем, на неделю работы.

— Что?!

— Я говорю: задержаться придется.

— А-а... Что ж, задержимся, спешить некуда...

Ветров пока не может сформулировать итог странной (по меньшей мере) истории. Не его это епархия — потусторонние фокусы, он привык стоять на земле, не прибегая к дешевой мистике. Лишь одна фраза крутится в голове, словно заезженная пластинка: «Ничего не заканчивается...» Опять придется ползти по жизни, обдирая локти и колени, что-то делать, таскаться по врачам, ругаться с женой, выкуривать по пачке на ночной кухне, впадать в отчаяние, а потом опять исполняться надеждой. Тащить, короче, то, что суждено тащить.

По дороге к дому Ветров размышляет: не зайти ли в кафе «Северное», где обычно снимал стресс после бурных дебатов с тещей? Но он сдерживает порыв.

В квартире Валентина и ее брат, они о чем-то вполголоса беседуют. В присутствии Ветрова разговор сходит на нет, брат прощается и уходит. А супруга долго молчит, вроде как желая, но не решаясь что-то сказать.

Ветров пристраивается с сигаретой на балконе, где вскоре появляется Валентина.

— Дай мне тоже.

Жена год назад бросила, но Ветров не напоминает — скандалить ни смысла, ни желания нет. Выдохнув дым, та наконец произносит:

— Брат сказал: уступает квартиру нам.

— Да? А с чего это он...

— Сказал: вам нужнее. Если продать по хорошей цене — хватит на операцию. А там — как бог даст...

«Ничего не заканчивается...» — опять всплывает мысль. Город погружается в сумрак, в окнах вспыхивают огни, а Ветровы молчат.

Алексей Малащенко

Знать или не знать?

Рассказ

До города Олег добирался долго, но как-то незаметно. Зачем он отправился в этот город, Олег не понимал. Значит, надо было. Сначала ехал на поезде, потом на желтом автобусе, потом на другом автобусе, тоже желтом. Потом шел через поля, потом лесом. Дошел. Перед входом в город был поднятый шлагбаум. Олег миновал его и зашагал по улице. С домами, перекрестками, с деревьями. С прохожими.

Он удивлялся: шедшие мимо люди, даже катившие детские коляски женщины, двигались с одинаковой скоростью.

Повсюду были часы — на перекрестках, над каждым подъездом, над каждым входом в магазин. Огромные циферблаты зависли над шершавой площадью, на углу которой Олег остановился. Был полдень. Но часы молчали. Стрелки проползали верхнюю точку, тишина продолжалась.

На Олега никто не смотрел, но все же внимание к себе он ощущал.

Олегу нравилось бывать чужим, случайным. Он умел соблюдать правила общения, вовремя сказать, вовремя слушать, когда надо — поддакивать, когда надо — возражать. Главное — он оставлял за собой право в любую минуту подняться и уйти. Вежливо и быстро. Ему никто не был нужен, зато и он не был нужен никому.

Олег попробовал перехватывать взгляды прохожих. Но на лицах не было выражения. Хотя нет, выражение было. Только что оно выражало?

Олег присел на скамью с железными ножками. Немного лип, две простенькие никчемные елки, сувенирные магазинчики. Тяжелый памятник: неуклюжие руки, шершавая голова, даты рождения и смерти. Олег прочитал фамилию памятника. Он о нем не слышал.

К Олегу подошел парень лет двадцати — сорока в яркой куртке. Олег почувствовал, что парень на что-то зол.

Парень коснулся Олега рукой. Он пах водкой. Или виски. Олег догадался, что этого человека не избежать, что придется разговаривать, может, поскандальить, смолчать не получится.

— Интересуешься?

— Сколько времени? Который час? — спросил Олег.

— Что? — Тот вздрогнул. По лицу пробежала морщина. — Для кого который час?

Малащенко Алексей Всеволодович — российский востоковед, исламовед, политолог. Доктор исторических наук, профессор. Один из ведущих российских специалистов по проблемам ислама.

Олег сообразил, что обидел этого человека и ему придется оправдываться за свой вопрос.

«Сколько времени?» его не раз выручало, помогало избежать конфликтов. Теперь «сколько времени?» оказалось нестати.

— Тебе не все равно? — отозвался парень. — Тебе зачем? — Он вдруг размахнулся и ткнул Олега в грудь. Олег устоял. Но его правая рука отлетела в сторону и как-то сама по себе оказалась возле уха парня. Но драки не получилось. К ним уже подходили два полицейских, один — молодой, другой — постарше. Молодой обхватил сзади хулигана, а его напарник положил руку на плечо Олега.

— Пойдемте с нами, это недолго, пустая формальность. — Старший кивнул в сторону противоположного края площади. — А ты этого вежи, — скомандовал он напарнику.

По дороге Олег рассказал полицейскому, что случилось.

— А, — протянул тот, — так вы про время спросили?

— Да, и что?

— Значит, вы у нас гость. У нас гости редко бывают. Вы как к нам попали?

— Приехал, то есть пришел. Доехал до... — Олег назвал городок, в который его привез желтый автобус, — а дальше пересел на другой, часа два ехал, потом сошел, пересек большое поле с какой-то травой. Потом лесом, потом опять по дороге и вот....

— Долго вы шли, — заметил полицейский.

— Да нет, не слишком, — сказал Олег и подумал, что шел он действительно долго.

— Вот и пришли, — подытожил полицейский.

Они поднялись по каменным, с острыми краями ступенькам, зашли в кабинет, перегороденный пустым столом, возле которого стояли два стула с одной стороны и два с другой.

Сели. Старший полицейский был дружелюбен. Младший возился с хулиганом.

— Документы, пожалуйста, — обратился он к нему.

Тот раскрыл паспорт на первой странице, с полным именем и годом рождения. Олег глазами пробежал страницу: Семён Николаевич Смирнов. Год рождения был с конкретной датой, был и год смерти, но он был прописан без числа. Смерть датировалась нынешним годом.

— Никогда не видел ничего подобного, — сказал Олег. — Странная запись.

— Все как есть, — молвил старший.

— Господин полицейский, — сказал Олег, — вам что от меня нужно? Я ничего не нарушил, просто дал сдачи.

Полицейский повел плечами.

— Вы не понимаете. И не должны понимать. Вы видели паспорт?

— Да.

— Вы видели годы жизни? Вы заметили, что срок ее прописан: и начало, и конец.

— Это невозможно.

— Невозможно. Но у нас в городе — возможно.

— Это розыгрыш?

— А вы встречались с такими розыгрышами? Я вам больше скажу. В паспорте, наверно, есть вкладыш, бумажка, где указан месяц, а у кое-кого и день смерти... . Продолжать?

— Раз уж начали.

— Так вот, этот парень, по вкладышу, уйдет сегодня. Он это знает. Но в последнюю минуту некоторые отказываются в это верить. Пока живем, привыкаем, а перед последним звонком не хотим верить. В последний момент каждый хочет отличиться, что-то натворить. Чтобы оправдаться за прежнюю скучную жизнь или чтобы просто не забыли. Вот и этот захотел, тут вы и подвернулись. Я вас понимаю, — продолжал полицейский. — Сам бы не поверил. Я сюда тоже пришел, как

вы. И остался... Отсюда почему-то не уходят. Короче, сейчас выйдет этот Смирнов, а через минут десять — вы. Сами все увидите.

— Что я увижу?

— Когда увидите, сюда не возвращайтесь. Это ни к чему.

Олег посидел какое-то время и вышел. Раздался визг тормозов, потом вязкий стук упавшего тела. Олег по куртке опознал лежавшего на мостовой Смирнова.

Вокруг мертвого быстро собралась небольшая толпа. Женщина в коротких брюках склонилась над ним, и до Олега донеслось: «Все нормально, так и должно быть».

«Это какое-то безумие, — подумал Олег. — Страшного ничего нет. Просто я не врубаюсь в ситуацию. А если принять игру, лечь сейчас здесь на улице и закричать: “Умираю”? Но лучше спросить, где вокзал, сесть в поезд и уехать.

— Как добраться до вокзала? — обратился Олег к обогнавшей его девушке.

Она остановилась.

— Вам нехорошо?

— Почему вы спрашиваете?

— У вас такой взгляд...

— Да нет, все в порядке, мне просто нужно на вокзал.

— Вы хотите уехать?

Олег внимательно посмотрел ей в лицо. Оно было красиво. Покой и обаяние.

— Вы торопитесь?

— Да, тороплюсь.

— Вы никуда не торопитесь. — Она говорила мягким голосом и слегка в нос. —

Вы хотите уехать отсюда?

— Да, — ответил Олег решительно. — Я хочу уехать из вашего города.

— Сегодня вы отсюда точно не уедете.

— Почему?

— Потому что не сможете.

Конечно, надо было бы узнать у нее почему. Но вместо этого он спросил:

— Что же мне делать?

— Вы новенький? — спросила женщина. — Помочь не могу. Лучше пойдемте ко мне. Отдохнете, переночуете, а утром вместе подумаем.

И Олег пошел за доброй девушкой, не спросив ее имени, не думая, зачем он идет.

Она привела его в желтый подъезд, вызвала лифт с деревянными панельками, подняла на пятый этаж, длинным ключом отперла железную дверь, пропустила его вперед. Потом зашла сама, повернула Олега лицом к себе, поцеловала в губы и представилась:

— Ольга.

— Олег, — ответил Олег и обнял ее. Он не знал, что делать дальше с девушкой, назвавшейся Ольгой, но не хотел отпускать ее от себя.

— Ты зачем ко мне пришел? — спросила Ольга, когда они лежали на широком диване, одетые, тесно прижавшиеся друг к другу. — Ты зачем сюда пришел? — повторила она и по слогам добавила: — О-лег. Мой О-лег. Я люблю тебя.

Олег оторвался от нее, сел на стул, обхватил голову руками.

— Откуда ты знаешь, что я — Олег?

— Так ты мне сам только что сказал.

— Ах, да. Я — О-лег. А ты — Оль-га.

— Ты меня любишь? Нет, ты меня не любишь. Но я стану твоей любовью.

Понимаешь?

— Понимаю, — соврал он.

— Ты ничего не понимаешь.

Она стала раздеваться. Олег взял ее за руку.

— Погоди, погоди, пожалуйста. — Ольга сбросила лифчик, а он все сжимал ее руку. — Не сразу. Скажи, пожалуйста, где я? Почему так много часов и почему нет церквей? Даже на площади.

— Ладно, расскажу. Только сначала поверь, что я тебя люблю. Куда ты попал? Туда, где знают, когда умрут, когда кончится их жизнь. Поэтому так много часов, которые нам об этом напоминают. Количество часов в городе всегда одно и то же. Их иногда чинят. На машинах приезжают люди в желтых комбинезонах и что-то внутри крутят. А церкви не нужны. Говорят, когда заходишь в церковь, начинаешь считать, сколько тебе осталось. Спрашиваешь об этом... ну, у него... у Бога. Так здесь и без него про это знают. И не смотри на меня так. Я не сумасшедшая. «Сколько времени» у нас не спрашивают. У нас такая традиция, вроде закона.

— Получается, я его нарушил?

— Каждый, когда ему исполняется двадцать лет, узнаёт, когда он умрет. В паспорте ставят «год смерти». Мы живем, как поезда, по графику. Выходим замуж, заводим детей. Тех, кому предстоит умереть раньше, на работу берут охотнее. «Ранние» стремятся больше успеть. Когда знаешь, что скоро... одним словом, хватаешь от жизни больше.

Некоторые просят, чтобы им дали вкладыш, где указан месяц и даже день смерти. Есть любители, которые считают оставшиеся до конца дни, часы, минуты, даже секунды. Оказывается, можно сидеть, ни о чем не думать, а просто до самого конца считать свои секунды.

В свой час умирают от старости, от болезни, погибают в аварии, или на голову падает ледышка. Случаются самоубийства. Это когда человек не в состоянии больше ждать. Одного такого — он повесился — откачали, потому что он ошибся даже не в месяце, а в целом годе. Поспешил.

Когда человек начинает обходить знакомых, все понимают — зачем. Высший шик — собрать за полгода всех друзей. Но, по-моему, это... это — пижонство.

Ольга положила его руку себе на грудь. Олег нащупал маленький сосок.

— Нравится?

Ольга жалась к нему, а Олег думал, что она знает, когда ее не станет, и поэтому так торопится. Может, по ее часам, он у нее последний.

У нее кто-то наверняка был. Тот, бывший, знал, сколько ему осталось. И ей с ним было проще.

— Зачем я тебе, Оля? Я не хочу знать то, что известно тебе. Лучше жить, не зная, почему я сюда пришел, почему мы встретились.

Женщина беззащитно раскинулась на кровати.

— Видишь, я тебе нужна. И ты мне нужен.

— Я уеду отсюда. Исчезну.

Выдохнув «исчезну», он почувствовал, что никогда не выберется из Ольгиного города.

Ольга отвернулась от него. Олег не обиделся. Он так и не решил, верить ему в этот странный город или это — забытье, сон, который когда-нибудь закончится. Гибель парня в курточке насторожила, но для полного доказательства реальности города и самой Ольги этого было мало.

— Не веришь? — Ольга читала его мысли.

— Не верю.

— Я тоже не верила, когда попала сюда.

— Ты попала сюда?

— Приехала, пришла, как и ты. Сюда многие приходят.

— Почему не уехала? — Он приподнялся на локте.

— А вот не уехала. Взяла и не уехала.

— Что мне делать?

— Остаться со мной.

— Я не хочу знать, когда ты...

— Я тебе не скажу.

— А про меня ты знаешь?

Ольга задумалась. Рукой закрыла ему глаза.

— Ты хочешь, чтоб я узнала?

— Нет, не хочу. Жить, зная про это, не стоит. Нельзя. Зачем? Я живу в нормальном городе, где никто не знает своего срока, — уверенно говорил Олег. — Даже старики, которые хотели бы умереть, не знают, когда это случится.

— Ты когда уезжаешь?

— Я?

— Ты, ты. Ты же уезжаешь?

— А мне можно уехать?

Задав этот дурацкий вопрос, Олег догадался, что начинает принимать город, становится местным жителем и, значит, скоро узнает про то, что здесь должны знать все.

— Ты от меня уезжаешь? — спросила Оля.

— Нет. От тебя не уезжаю.

...Утром, проснувшись, Олег обнаружил, что Оли нет дома. Именно *дома*, потому что место, где его поселили, стало домом.

Олег поднялся с кровати. Большой круглый стол, темная арка, ведущая в коридор, через который он проходил в туалет. У окна желтое, из искусственной кожи, кресло. Пустые стены, только на одной — картина с написанной маслом водой. Не морем, не рекой, а просто водой. Под ногами — серый ковер, на котором стоят серые мужского размера тапочки.

Олег сунул ноги в тапочки и позвал: «Оль-га!» Ему не ответили. Олег встал, раздумывая, куда идти. Правильнее всего было отправиться на кухню, которая за аркой. Можно было прогуляться по комнате. Еще можно подойти к окну и выглянуть из него наружу. Взгляд из незнакомого окна расширяет кругозор и поднимает настроение. Но он боялся окна, потому что за стеклом был тот город, который все еще внушал страх.

Лучше уйти, убежать. А Ольга? Что Ольга? Что случится с этой бабой, заманившей его к себе, залюбившей до полусмерти — у них тут, видно, мужики не ахти какие — и заморочившей ему голову всяким бредом? Надо же было влюбиться в первую встречную, хотя сиськи у нее, конечно, хороши. Но мало ли на свете таких сисек. Кофе на кухне наверняка есть.

Олег снял со стула аккуратно повешенные на спинку джинсы. Растворимый кофе действительно нашелся. Чайник был теплым. Перед уходом Ольга тоже пила кофе. Вот и сыр, самый обыкновенный, как везде. Олег выпил чашку, потом всосал вторую. Теперь надо подойти к окну, выглянуть из него и уехать.

Он шагнул к окну. Опять часы, много часов. Он отшатнулся. И остался в квартире.

Ольга вернулась к обеду. Достала из сумки розовые котлеты, хлеб, пучок редиски, помидоры, плоскую консервную банку.

— Уходил?

— Ты хотела, чтоб я ушел?

— Прости, что притащила котлеты, — извинилась Ольга, — лень сегодня готовить. Я хочу жить с тобой. Но ты для меня другой. Ты — как бессмертный, не знаешь своего времени. А жить, не зная, кто из нас раньше... я не могу.

Женщина говорила с ним, как с умным ребенком.

— Впрочем, — жестко закончила она, — уйти тебе будет непросто. Не с руки, так сказать.

— Ты права, я не хочу уходить *от тебя*. Но *отсюда* хочется уйти. Не хочется... — промямлил Олег, — умирать по часам. Ладно. Сейчас выйду на улицу, но вернусь. Просто хочу убедиться...

— Иди, убеждайся.

Олег застегнул рубашку и пошел к двери. Ольга его не остановила: она заметила, что он не взял с собой рюкзака.

Он отправился на последнюю проверку, толком не ведая, что и как проверять. Зайти в паспортный стол, мэрию, психиатрическое отделение ближайшей клиники, на местную телестудию? И там спрашивать, не знаете ли вы, ребята, случайно, сколько каждому из вас в отдельности, а заодно и лично мне жить осталось? Хорошо, если не отправят в психушку. А если скажут, что знают?

Может, просто спросить у прохожего, у нескольких прохожих, провести социологический опрос? Разные ведь проводятся опросы. Иногда даже спрашивают: «Любите ли вы Бога?» Еще можно, как в прошлый раз, узнать, «сколько времени».

Он выбрал прохожего в разноцветном картузе, пошел за ним. Они шли уже минут десять, когда Картузик оглянулся и, улыбнувшись, спросил:

— У вас ко мне дело? Обознались или хотите что-то спросить?

— Нет, простите. Хотя, скажите сколько времени?

Они стояли на углу улицы под часами.

— А-а-а, — протянул Картузик и внимательно посмотрел на Олега. Потом поднял глаза на уличные часы. — Сами видите сколько.

— Да я так, просто хотел проверить, — попытался оправдаться Олег.

— Ничего проверять не надо.

Картузик пошарил в кармане пиджака, достал клочок бумаги, ручку и что-то старательно написал. Потом, не оборачиваясь, двинулся дальше и свернул в первый же переулок. Олег, как зачарованный, последовал за ним. Его охватила злорада на этого спокойного случайного прохожего, на Ольгу, но главное — на самого себя, ничего не понимающего, не способного ни на что решиться.

Он догнал Картузика, зыркнул по сторонам, замахнулся и ударил его по голове. Кепочка слетела, а ее владелец улыбнулся и упал. Олег наклонился над ним. Тот был мертв. В его руке был зажат тот самый клочок бумаги. Олег легко разжал пальцы, достал бумажку и прочел: «Мое время кончилось. — Дальше стояли число, месяц, год. И приписка: — Теперь ясно?».

Олег вернулся. Его возвращению Оля не удивилась. Она его ждала.

— Не страдай больше, я узнала твоё время. Потом скажу. Поживешь — привыкнешь. Если тебе от этого легче, конечно, то знай: у нас с тобой этого времени очень много. — Она поцеловала Олега. — Иди на кухню, я подогрела котлеты.

Он проглотил — оказалось, был очень голоден — котлеты и сказал:

— Я остаюсь. — И добавил: — Я сейчас убил человека.

— Ты никого не убивал, — буднично, даже равнодушно сказала Оля. — Просто подошло его время. — Он ведь об этом знал, был к этому готов. Может, даже сам сказал тебе об этом. Так?

— Так, — ответил Олег и подумал: «Действительно, какая разница, как это произойдет, зато теперь точно знаешь — когда. Так действительно лучше. И спокойнее».

Фестивали и конкурсы

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ БАЛТИИ ПО РУССКОЙ ПОЭЗИИ — 2018

Дмитрий Артис

Никаких прощаний

* * *

Есть комната, и в комнате — она,
ты рядом с ней, и всё — по воле Божьей.
Облокотится жёлтая стена
всем телом на целующихся. Позже.

Не в этот миг, чуть позже, недалёк
тот час, когда с отчаянностью беса
обрушится бетонный потолок,
придав стене значительности, веса.

Котёл земли, приподнятая крышка
небес и пар, стремящийся во тьму, —
невнятное и в то же время слишком
простое окончание всему.

* * *

Как решение неразрешимых проблем,
лишь бы плесень мозги не затронула,
я почищу картошку, а милая М.
полистает Андрея Платонова.

Бронзовеет ночей пролетарский овал,
трудодни, как предчувствие, множатся.
Она знает почти наизусть «Котлован»,
я же только орудую ножичком.

Можно было бы всё поделить пополам,
только «всё» почему-то не делится.
У меня в голове намечается план,
созревает желание действовать.

Мелкотемье. Одна из волнующих тем
поднята и стремглав залитована:
поострее возьму себе нож, а затем
полосну им по книге Платонова.

Дмитрий Артис (псевдоним Дмитрия Краснова-Немарского) — поэт, драматург, литературный критик. Родился в 1973 году в Подмосковье. Окончил Российскую академию театрального искусства и Литературный институт им.А.М.Горького. Автор четырех книг стихов, в т.ч. «Закрытая книга» (М., 2013) и «Детский возраст» (М., 2014). Лауреат Открытого чемпионата Балтии по русской поэзии (2016, 2018). Живет в Москве.

* * *

Мы с тобой на коне,
и вокруг ни единого мрака —
эта часть бесконечности
больше законного брака.

По траве ли, по гравиию,
чувствуя сложность крыл,
и не важно, кто правит
и кто кому спину прикрыл.

* * *

Я видел
кладбище со стороны моста,
оно, как человек, тянулось к свету,
и две сосны, которым нагота
несвойственна, виднелись неспроста,
текла река, и реку звали Сетунь.

Мы поднимались выше по тропе,
по кладбищу, насвистывая тему
симфонии Бетховена, — тебе
казалось, что находишься в толпе,
слоняешься по метрополитену.

Привычное движение к нулю.
Увереннее письменного знака,
садилась на прогнившую скамью:
— Кого ты любишь?
— Я тебя люблю.
— Прочти мне что-нибудь
из Пастернака.

* * *

Задевая носом по пути
паутины слабенькую нить,
умереть со всеми, отойти,
чтобы никого не хоронить.

Никаких прощаний, панихид,
девять, сорок неусыпных дней.
Обновить бумажный свой прикид
и пойти до утренних огней,

налегке, со всеми, далеко,
без печали праздной, без оков,
наблюдать, как божье молоко
льётся вдоль кисельных берегов.

* * *

Вот этот лес, остывший к ноябрю,
уставший за год,
оставил куст рябины воробью —
горчащих ягод,

перетряхнул опавшую листву,
вздыхая тяжело,
и разошлась тропинками по шву
его рубашка.

Как воробей, продрогший на ветру,
лишенный веса,
я в эту зиму также не умру,
гнездясь у леса,

где пролетарским хлебом на крови
горчит рябина,
благословенна, что ни говори,
неистребима.

Валентин Емелин

Коллизия

Альтернативная поэма-дереконструкция

*...Мировой пожар в крови —
Господи благослови!*

А.Блок

1

Эх, дороги...
Холодно в Таганроге.
Похрустывают ледком —
Будет идти легко.

Странник со светлым ликом —
Армяк с чужого плеча.
Не поминайте лихом
Фёдора Кузьмича.

Валентин Емелин — поэт, переводчик. Работает в Центре сотрудничества с Программой ООН по окружающей среде ГРИД-Арендал. Лауреат Открытого чемпионата Балтии по русской и поэзии и многих других конкурсов. В журнале «Дружба народов» печатается впервые.

Скрыто
ангельское лицо —
Прятко
Красное Колесо.
Настежь остроги:
Революция на пороге!

2

В тюрьме проекции Меркатора
На карте корчится Россия...
Пошли ей доброго диктатора!
Пошли ей мудрого мессию!

И вот — пришёл. Воззвал к народу:
— Взойдём на баррикады вместе ль?
За Конституцию, свободу!
— Да-здравствует-полковник-Пестель!

3

Ой, мороз, мороз,
В небе — купорос.
Скинули царя
Четырнадцатого декабря!
Картель да шпицрутены,
Вороны над трупами,
Хоща человечинки...
Хто там в белом венчике?
Кацавейка куца,
Жена те Конституция!
Мы пьяны с утра.
С нами бог! Ура!

4

Скачет тяжёлой поступью,
Супостатов круша,
Конница Муравьёва-Апостола —
Эх, встрепенись, душа!
Эх, раззудись, рука,
Весёлым звоном клинка!
Очи — чайными блюдцами:
Чай у нас ре-во-люция!

5

Што, барин мордатенький?
Воля нам, не слышал?
А если — рогатинкой?
А — красного петуха?
Вот уж заалееет вам,
Выметет чисто стужею...

Боже, храни Рылеева,
Боже, храни Бестужева!

6

Эй, драные зипуны,
Вы — опора страны!
Были — перекатная голь,
Стали — земельная соль!
Надо ль барина на шее вам?
Все — в коммуны Аракчеева!

7

Патруль проявляет бдительность:
— Стой! Кто таковский?
Беспощаден к вредителям
Ситуайен Каховский.

В сердце — жар, холод — в голову,
Глаза тусклые, словно олово.
Крепостников ликвидирует как класс.
Боже, помилуй нас!

Хоть и кроткие сердцем мы,
Но не будите Герцена!
Не поднимайте веки ему,
Пока не время реквиему...

8

— Вчера ты был холоп и раб —
Нынче — нагребленное грабь!

— А не любит нас милая —
Так возьмём её силою!

— Я за мосластую мадам
И «бенкендорфинки» не дам!

— Гей, не любо вам, лабазнички,
Да на нашем да на праздничке?

— Ух, дорвусь же до вина —
Пойду бить жидовина!..

Кистенями поигрывает в карманах
Торжествующее хамьё.

«Вчера
гражданин
Николай
Романов
Расстрелян со всей семьёй».

9

В воздухе пахнет серою.
Крестят святую Русь
Робеспьеровой верою
И террором «марусь».

Жизнь не дороже полушки нам —
Будет вечным клеймом
Пуля в затылок Пушкина
В кровавом тридцать седьмом.

10

Ох, начальнички строги
Да в трудовом остроге!
Ровно кладёт кирпич
Старец Фёдор Кузьмич.

Верить, просить, бояться —
За это не впишут в святцы.
На нарах погасла свеча.
Один день Фёдора Кузьмича.

11

Дымят уральские заводы,
И воронёная броня
Со стапелей сойдёт на воды,
Врагов надежды хороня.

Европе бросим вызов смелый,
Закончим стародавний спор.
Поберегитесь, Дарданеллы:
Российский флот прошёл Босфор.

Дрожи, султан! Тебе на горе
Оставим россыпи могил.
Веди нас в бой, святой Егорий!
Веди, архангел Михаил!

12

Што, нехристи, оробели?
Будет вам «казус белли»...
Аве, Генералиссимус!

13

Вот такая коллизия-с.

Юрий Серебрянский

Полное затмение

«Алтыниши»: свидетельства и документы

В ноябрьском номере «ДН» была напечатана повесть Юрия Серебрянского «Алтыниши». Повесть родилась из встреч и разговоров писателя с депортированными в 1936 году с Украины в Казахстан поляками и их потомками. В этом номере мы предлагаем вашему вниманию пять из тех трагических историй польских семей, которые составили вторую часть будущей книги, и секретное Постановление Совета Народных Комиссаров СССР о депортации.

Совершенно секретно

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 776-120сс
Совета Народных Комиссаров Союза ССР

28 апреля 1936 г.

Москва, Кремль

О выселении из УССР и хозяйственном устройстве в Карагандинской области Казахской АССР 15 000 польских и немецких хозяйств

Совет Народных Комиссаров Союза ССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Возложить на НКВнудел СССР переселение и организацию поселений в Карагандинской области Казахской АССР для польских и немецких семейств, переселяемых из УССР в количестве 15 000 хозяйств — 45 000 человек, по типу существующих сельскохозяйственных трудпоселков НКВД.

Переселяемый контингент не ограничивается в гражданских правах и имеет право передвижения в пределах административного района расселения, но не имеет права выезда из места поселений.

2. Жилищно-хозяйственное и коммунально-бытовое строительство, а также сельскохозяйственное устройство контингента возложить на ГУЛАГ НКВД с привлечением сил и средств самих переселенцев.

3. Обязать Карагандинский областной исполнительный комитет в местах расселения переселенцев организовать поселковые советы.

4. Обязать НКЗем СССР немедленно закрепить за переселяемыми хозяйствами необходимые земфонды за счет земель Летовочного, Красноармейского и Тарангульского мясосовхозов системы НКСовхозов в Карагандинской области

Юрий Серебрянский — прозаик, поэт. Родился в 1975 году в Алма-Ате. Окончил Казахский государственный национальный университет, получил диплом химика-эколога. Постоянный автор «ДН». Дважды — за повести «Destination» («ДН», 2010, № 8) и «Пражаки» («ДН», 2014, № 9) — лауреат «Русской премии» в жанре «Малая проза». Живет в Казахстане.

и произвести внутрихозяйственное землеустройство, немедленно командировав для этой цели в Казахстан потребное количество землеустроителей.

5. Разрешить НКСовхозов перевести скот Летовочного молмясосовхоза в Красноармейский, Тарангульский молмясосовхозы, обязав ГУЛАГ НКВД возместить НКСовхозов стоимость животноводческих построек и жилищ, остающихся в Летовочном молмясосовхозе.

6. Разрешить НКСовхозов в пределах этой суммы произвести в 1936 году строительство производственных и жилищных построек в Красноармейском и Тарангульском молмясосовхозах, сверх отпущенных капиталовложений на 1936 год.

7. Обязать НКЗем СССР не позднее III квартала 1936 года организовать на территории новых поселений три МТС.

Отпустить на организацию этих МТС 4500 тыс. рублей, в том числе 2170 тыс. рублей за счет плана капиталовложений НКЗема СССР на 1936 г. и 2330 тыс. руб. за счет резервного фонда СНК СССР.

8. Обязать НКТяжпром отгрузить не позднее 1 июля 1936 года для указанных МТС 30 тракторов ЧТЗ, 60 СТЗ, 12 автогрузовых машин ЗИС, 2 автоцистерны, 3 автомашины Пикап, 3 легковых автомашины, 6 локомобилей мощностью 75 и 57 сил со всеми прицепными орудиями и необходимым оборудованием для машинотракторных мастерских.

9. Возложить на Наркомздрав и НКПрос РСФСР по принадлежности организацию в поселках, содержание и обслуживание медико-санитарной сети и культурно-воспитательных учреждений, для чего обязать Наркомздрав и Наркомпрос РСФСР не позднее мая-июня месяцев 1936 года по согласованию с НКВД укомплектовать эти учреждения медицинским и педагогическо-воспитательным персоналом и необходимым оборудованием, пособиями, медикаментами.

10. Обязать СНК УССР весь скот, находящийся в индивидуальном пользовании выселяемых, отправлять вместе с выселяемыми хозяйствами в Казахстан.

Колхозы обязаны выделить выселяемым членам колхозов лошадей, приходящихся на их долю.

Посевы выселяемых единоличников передать местным колхозам по оценке РайЗО с немедленной уплатой стоимости этих посевов их владельцам.

С выселяемыми членами колхозов колхозы обязаны произвести полный расчет натурой и деньгами за все выработанные ими трудодни.

11. Обязать Госплан СССР, Наркомлес, Наркомтяжпром и НКМестпром РСФСР выделить и отгрузить НКВнуделу в течение 2 и 3 кварталов 1936 года

равными частями следующие стройматериалы и оборудование:

Леса круглого	55 000 кубм
Леса пиленого	62 000 кубм
Жердей	9000 кубм
Гвоздей	250 тонн
Стекла	117 000 кв. м
Железа кровельного.....	19 тонн
Железа сортового	190 тонн
Проволоки	13 тонн
Клея столярного	14,0 тонн
Олифы	103 тонны
Краски разной	47 тонн
Белил	22 тонны
Толя	128 000 кв. м
Цементы	300 тонн
Фанеры	5490 кв. м
Труб железных	7 тонн
Шпалорезок	10 штук
Пил к шпалорезкам	30 штук
Инструмента	на 100 000 руб.
Печных приборов	560 тонн
Пакли	87 тонн
Войлока	34 тонны

12. Предложить ГУЛАГ НКВД при выполнении строительной программы в поселках особое внимание обратить на развертывание и поощрение строительства жилищ и надворных построек самими переселенцами, выделив для этой цели из отпускаемых фондов стройматериалы и средства, которые выдавать индивидуальным застройщикам как за наличный расчет, так и в порядке долгосрочной ссуды сроком до 8 лет.

13. Обязать Комитет заготовок сельскохозяйственных продуктов при СНК СССР выделить ГУЛАГ НКВД в 1936 году по государственной заготовительной цене:

- а) зерновых семян для выдачи в ссуду переселенцам 3600 тонн
- б) хлебофуражного зерна в ссуду 5000 тонн

Кроме того, отпустить Центросоюзу для свободной продажи поселенцам 4200 тонн муки и крупы.

Семенная и продфуражная ссуды должны быть выданы переселенцам на срок 3 года с возвратом равными частями, начиная с 1937 года; отпуск семян и продфуража произвести из зерна, подлежащего сдаче государству трудпоселками НКВД и МТС в Карагандинской области Казахской АССР.

14. Обязать Центросоюз организовать в новых поселках не позднее мая месяца 1936 года торговую сеть, обеспечив ее необходимыми товарами для продажи поселенцам (продовольствие, промтовары, обувь, хозобиход и проч.).

15. Обязать НКВнуторг СССР выделить Центросоюзу во 2, 3 и 4 кварталах 1936 г. для продажи поселенцам:

- Масла растительного 150 тонн
- Рыбы 1000 тонн
- Мяса 200 тонн
- Сахара 630 тонн
- Промтоваров на 5 000 000 руб.

в т.ч.:

- Эмалиров[анной] посуды 150 000 руб.
- Оцинков[ованной] посуды 50 000 руб.

16. Обязать НКВнуторг СССР немедленно отпустить ГУЛАГ НКВД для временного расселения переселяемых 250 больших палаток.

17. Дома и хозяйственные постройки, построенные ГУЛАГом НКВД, передать сельхозартелям переселенцев в порядке долгосрочной ссуды на срок 8 лет. Оформление всех ссуд, выдаваемых сельхозартелям и отдельным переселенцам, возложить непосредственно на Сельхозбанк.

18. Сельхозартели, организуемые из переселенцев, в порядке настоящего постановления, и индивидуальные хозяйства переселенцев освободить от всех налогов, сборов и поставок государству зерна, картофеля и продуктов животноводства сроком на 3 года, считая с 1937 года.

19. Предложить НКПС по заявкам НКВД произвести перевозку переселяемых семей и их имущества по льготному воинскому тарифу, обеспечив подачу подвижного состава по плану НКВД. Расчет за эти перевозки произвести с НКПС в централизованном порядке за счет отпускаемых на эти цели средств.

20. Определить затраты на проведение предусмотренных настоящим постановлением работ по переселению и хозяйственному устройству переселенцев в сумме 23 000 тыс. рублей, в том числе за счет:

- а) резервного фонда СНК СССР в сумме 19 000 тыс. руб.;
- б) сметы Всесоюзного Переселенческого Комитета при СНК СССР в сумме 1830,0 тыс. рублей;
- в) плана капиталовложений НКЗема ССР на 1936 г. в сумме 2170 тыс. рублей.

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР

В. МОЛОТОВ

*Зам. управляющего делами
Совета Народных Комиссаров Союза ССР*

В. МЕЖЛАУК

Вн. УД СНК'С

д. № 200-44

2/ов. 28.IV.36

ГАРФ. Ф. Р-5446. Оп. 1. Д. 486. Л. 116–120. Подлинник.

Людмила Червинская

Я долго думала, прежде чем сесть и написать о своей судьбе, не хотелось будоражить память, вспоминать все то, что мне пришлось пережить, а пришлось многое. По национальности я полька, мои биологические родители — мама Камиля и папа Иван Савицкие — были высланы в 1936 году с Украины, с Житомирской области в Северный Казахстан, в совхоз имени Кирова (как называли тогда, на 3-е отделение), что в Чкаловском районе бывшей Кокчетавской области. Их тут ждала суровая зима, бескрайняя степь, полное бездорожье и жизнь практически под открытым небом. Было жутко и страшно. Но они приспособивались к этим невероятным условиям и надеялись, что вскоре смогут вернуться на родину. Но их мечтам не суждено было сбыться. Наступил 1941 год, грянула война. Папа ушел на фронт и погиб неизвестно где, я его так и не увидела и не знаю даже в лицо, так как родилась осенью 1941 года без него. Мама работала в совхозе — возила на быках в большой бочке воду по бригадам, где трудились люди. А так как зимы были суровые, простудилась и заболела малярией. Лекарств не было, больниц тоже, лечить было нечем. Если бы хинин (хина), возможно, ее бы и можно было спасти, а так она умерла в 1945 году. И когда мне исполнилось только 4 годика, я осталась круглой сиротой. Здравомыслящему человеку даже трудно представить такую картину. Родных у меня тоже не было, только соседи, точно такие же сосланные поляки. А что они могли мне дать, чем помочь, если у каждого из них своя семья и жизнь впроголодь? Кто давал кожурку от запеченной в углях картошки, кто хлебную корочку, кто маленькую кружку несладкого чая. Жила где придется: то в чьем-то сарае, то в стогу соломы, в общем, везде. И так я скиталась в течение двух лет. Соседи начали собирать документы для оформления меня в детский дом, так как я была никому не нужна. А в двадцати километрах от нашего села находилась деревня Зелёный Гай (так называемая в то время «11-я точка»), где проживали такие же сосланные поляки и немцы из Поволжья. И одна семья — Очковские Аделя и Эммануил — жили в этом селе, и у них не было детей. Они очень хотели взять в семью ребенка, но такого, чтобы у него не было родных, чтобы потом не было никаких претензий. И таким ребенком оказалась я, шестилетняя. И вот они приезжают за мной. Но представьте себе, как я выглядела за два года скитаний под заборами в холоде и в голоде. Увидев меня, они даже сначала испугались — я выглядела так, как будто была выпущена из Бухенвальда, почти ослепшая на почве истощения, со страшным рахитом, обросшая, как Маугли. Но когда они подошли ко мне, я, подслеповатая, с радостью бросилась на шею Аделе с криками: «Мама, мама, ты приехала! Не покидай меня!», так как соседи мне внушили, что скоро за мной приедет мама, и я от безысходности поверила в это. А Эммануил сказал, глянув на меня: «Аделя, мы не довезем этого ребенка до дому, посмотри, он еле живой». Но Аделя была глубоко верующим человеком и ответила: «Знаешь, если Богу угодно, он поможет нам. При мне иконка Иисуса и его матери Девы Марии, я помолюсь и попрошу помощи, и они помогут нам. А если нет — кто-то же должен похоронить это дитя». Господь услышал ее молитву, и они довезли меня домой. Сразу же обратились в больницу, задав первый вопрос врачам: «Ребенок будет жить, будет видеть?» Врачи ответили, что да, только необходимо положить ребенка в больницу и достать необходимые лекарства. Так, в больнице,

* Истории депортированных в Казахстан польских семей публиковались в журнале польской диаспоры *Aimatycski Kurier Polonijny* с 2012 по 2018 годы. Часть историй записана и собрана в Казахстане, часть прислана уже из Польши теми, кто принял решение вернуться на историческую родину. Помощь в работе оказывали сотрудники польских этнокультурных объединений, музеев, в том числе музея Второй мировой войны в Гданьске.

я пролежала три месяца, после чего приобрела человеческий вид. Приблизился сентябрь 1948 года, время поступления в школу, а у меня никаких документов на руках, даже свидетельства о рождении не было. Пришлось с папой обратиться в ЗАГС Чкаловского района и выписать дубликат свидетельства, в который вписали дату рождения: 20 сентября 1941 года. Папа у меня работал комбайнером в Яснополянской МТС, а мама на колхозном огороде в селе Зелёный Гай. Благодаря этим людям (а я их всю жизнь звала только мамой и папой) я обрела второе рождение, семью и счастье. Я им низко-низко кланяюсь и благодарю за это, хотя их уже и нет в живых. Мама умерла в 1980 году, а папа — в 2002-м. Пусть земля будет им пухом... В 1958 году я окончила Яснополянскую среднюю школу, так как в Зелёном Гае школа была неполная средняя (семилетка), затем поступила в Петропавловский пединститут, который успешно закончила. В 1965 году вышла замуж за Червинского Чеслава Францевича, родила двух прекрасных сыновей: Валерия и Олега. Оба получили высшее образование: Валерий окончил Новосибирский государственный университет, живет и трудится в Новосибирске, имеет семью. А Олег окончил факультет журналистики Казахского национального университета и живет в Алма-Ате. Я проработала 48 лет на педагогическом поприще, из них 30 лет — завучем школы. Сейчас на пенсии, живу в Новосибирске. Кто бы мог подумать, что из такого умирающего, осиротевшего ребенка вырастет человек, да еще и даст плоды — двух прекрасных сыновей, которыми я горжусь. Я благодарю Господа, что он меня спас и подарил жизнь со всеми ее прелестями. И поэтому я искренне верю, что Господь есть и он нас ведет по жизни. Верьте в это, люди! И молитесь ежедневно за то, чтобы мир был на нашей планете Земля и чтобы мы любили и ценили жизнь, которая нам дается однажды. И, как говорила Святая Мать Тереза Калькуттская: «Жизнь — это бездна неведомого, это имущество. Береги его. Она твоя жизнь, борись за нее!»

Эдуард Любчанский

Как прекрасна человеческая жизнь, когда ты живешь полноценно и свободно в стране, которую считаешь своей Родиной, когда можешь свободно передвигаться, ехать, куда тебе надо, и когда у тебя есть хорошая работа и ты чувствуешь, что кому-то нужен. Совершенно в иной ситуации оказались поляки, проживавшие в западной части Украины и Белоруссии в 1936 году. Родители, наверное, понимали, что их, в первую очередь, лишают свободы, а потом уже гадали, куда их отвезут. А трудиться они могли и на новом месте. Жили они на Украине небогато, но у них был дом, работа и родина, где они родились. Но в том, что они лишались свободы (и особенно я понял это уже позже), убедились на месте ссылки. Поэтому хочу немного рассказать об отдельных моментах своей жизни в ссылные годы. Мне было чуть больше годика, когда вместе с родителями, бабушкой и дедушкой по материнской линии нас выслали из местечка Городок Хмельницкой области. По словам родителей, дали несколько дней на сборы и в товарных вагонах повезли в Казахстан. Привезли нас в центральный Казахстан. Повезло, что приехали летом, потому что расселяли практически в голой степи, и многим пришлось строить землянки, чтобы пережить первую зиму. Моя семья была поселена в «Точку №13» (эти поселения и позже, имея уже названия, назывались точками, видимо, так было легче службам КГБ), в последующем — село Лозовое Ново-Черкасского района Акмолинской области. Нашей семье повезло, потому что нам досталась недостроенная землянка. Потом ее достроили, и мы жили в ней до 1946 года. Этот так называемый дом я хорошо помню, потому что закончил в этом поселке четыре класса. Он представлял собой полузаглубленный дом, пол был на метр ниже земли, стены из глиняного самана, крыша, покрытая соломой и глиной, защищающая от осадков. Полы были тоже глиняные. Дверь открывалась внутрь,

так как зимой дома заносило снегом, после бурана сугробы были до крыши, и чтобы выйти из дома, копали изнутри траншеи и по ним передвигались. Зато нам, ребятишкам, было хорошо кататься на санках с крыш своих домов. Человек привыкает ко всему, и в этих трудных условиях люди жили, не имея возможности отлучаться из поселка никуда, и обязаны были дважды в день отмечаться в комендатуре. Земли, куда поселили поляков, были плодородными, их нужно было обрабатывать, бесправные ссыльные делали это за мизерную оплату, поэтому жилось очень тяжело. В годы войны все зерно растили для фронта, и люди это понимали. Я мальчишкой в поселке видел людей, которые опухали от голода, хотя совхоз был зерновой (фактически это было принудительным переселением для освоения целинных земель). Впоследствии читал в газете «Правда», что совхоз «Первомайский», куда входило наше отделение Лозовое, освоил еще до войны целинные земли. Вот так Сталин еще до Хрущёва рабским трудом осваивал целину. Моя детская память сохранила многие вещи, которые сегодня кажутся дикими, хотя в то время были обычным делом. Так, впервые сахар и яблоко я увидел уже после войны, учась в четвертом классе (видать, кто-то завез их к нам). В школе на весь класс были один или два учебника, и ходили заниматься друг к другу по очереди. Писали на обрывках бумаги и на газетах, чаще всего использовали страницы из каким-то образом попавших в поселок книг. Чернила делали из свеклы или сажи. Но тем не менее мне очень хотелось учиться, и я пошел в первый класс с шести лет, но проходил только до больших холодов, потому что валенки полагались только начиная с семи лет. Вспоминаю, что в поселке не было грамотных людей. Моему отцу перед войной пришлось стать председателем (тогда еще колхоза), хотя он закончил всего два класса церковно-приходской школы. Он умел читать и писать, но совершенно не знал дроби, и в последующем (уже в Караганде, когда он был мастером) мы с сестрой помогали ему заполнять наряды. В армию ссыльных поляков не брали, поэтому в 1942 году многих из поселка, в том числе отца, увезли в трудовую армию. Отец попал в Караганду и работал на угольных разрезах, в которых открытым способом добывался уголь, так необходимый для фронта и страны. Я хорошо помню, как отец присылал мне тетрадки с желтыми страницами. Желтые листы были потому, что они делались из мешков, в которых привозилась взрывчатка для взрывания угля в разрезах. Но мы с сестрой были счастливы и считались в классе «богатыми». Наша семья прожила в этом поселке Лозовое до 1946 года без отца. Но благодаря его рукам у нас был небольшой запас зерна в отсеке, сделанном им в сенях (в 1940 году был большой урожай, и зерно развозили по дворам, высыпали прямо на землю, кто смог его сохранить, жил два-три года). В последующие годы на трудовень (а именно трудовнями оценивался труд колхозника) выдавали по 100-150 граммов зерна. Большой семье этого явно не хватало, но других выплат не было. Я хорошо помню, что мы ходили в обуви, присланной отцом из Караганды, он шил ее сам из старой прорезиненной ленты для транспортеров. Шил и другое, что получалось. Отец был мастеровитый и даже делал кое-какую мебель из того, что было под рукой, и в разобранном виде присылал нам. Наша ребячья жизнь казалась нам нормальной, все беды обрушивались на родителей. Из детства я не помню каких-либо ЧП, так как другой жизни мы не видели и не знали. Я учился хорошо и очень радовался, когда надо было идти в школу. Летом бегали в поле и на озеро. Собирали степной щавель, грибы, ловили рыбу. Самым трудным считалось, когда родители заставляли собирать в степи кизяк (сухой навоз от животных), им топили зимой печки. Хорошо помню, как, начиная со второго класса, мы школой организованно собирали колоски на уже скошенном поле, чтобы урожай не пропадал. Это было нашим маленьким вкладом для фронта (и не дай Боже было взять хоть колосок домой!). Учили в школе нас по тем же программам, что и во всей стране, и, конечно, мы, дети, не понимали, что мы были ограничены в свободе и не могли выехать за пределы поселка. У наших родителей не было даже паспортов. Мы не знали, что такое пионерлагерь, не говоря уже, допустим, об экскурсии в Акмолинск. Но зато

как мы радовались 9 мая 1945 года Победе, и это было от души! В 1946 году тех из нас, у кого отцы были в трудармии, так же в товарных вагонах под охраной бойцов НКВД перевезли в Караганду. Большой промышленный город во многом изменил мои взгляды на жизнь (хотя я в то время был таким же мальчишкой). Жили в районе угольных разрезов на станции Михайловка, где я закончил седьмой класс. А уже среднюю школу №4 заканчивал в поселке Фёдоровка, которая находилась в пяти км от нас и куда ходил пешком вместе с друзьями, среди которых были и русские, и казахи. Жили мы бедно, но так после войны жили все спецпереселенцы: поляки, немцы, чеченцы, корейцы, да и свободные люди других национальностей (правда, они могли в любой момент уехать), которые осваивали угольные недра Караганды, а впоследствии создавали металлургию Темиртау. Мне запомнились отдельные моменты жизни в Караганде. Строительство дома (материалы для него отцу выдали на работе), до этого мы жили в бараке. Помню рассказы, как в Караганде орудовала банда «Черная кошка», как у нас из сарая украли корову. Но в целом жизнь была полегче, чем в Лозовом. Хоть и была карточная система снабжения продуктами, жить было можно. Я был старшим из детей, а было нас двое братьев и двое сестер, поэтому на меня легла обязанность получать продукты по карточкам. Какая же это ответственность — не дай Бог, чтобы у тебя утром украли карточки или же ты их потерял. Тогда помирай с голоду — ведь карточки выдавались сразу на месяц и восстановить их было невозможно. Но даже по карточкам получить хлеб было нелегко: нужно было встать рано и отстоять огромную очередь в магазин. Толпа была огромной, и я видел, как из нее вытаскивали полузадушенных людей. Мы, мальчишки, чаще всего проползали под ногами, и хотя была опасность, что тебе оттопчут руки, была надежда, что ты пробьешься к продавщице пораньше и тебе достанется еще белый хлеб. Учился я в школе хорошо, так как понимал, что, только хорошо закончив школу, можно было на что-то надеяться в будущем. Нас практически ни в чем не ограничивали, можно было даже вступить в комсомол. Я часто советовался с отцом, вступать ли мне в пионеры, потом в комсомол? Отец говорил: сам решай, тебе жить. Но я точно знаю, что его не раз звали вступить в КПСС, но он всегда отказывался, а так как настоящую причину назвать было нельзя, говорил, что недостойн. В старших классах я вступил все-таки в комсомол, и в десятом классе был даже секретарем комитета комсомола школы. По вечерам ходил в аэроклуб, так как хотел стать летчиком. Но к окончанию школы мне сказали, что я зря трачу время, так как в летное училище меня не примут. Мне пришлось расстаться с этой мечтой, хотя я уже готовился к учебным полетам, а вот моих друзей — русского и украинца — приняли. Это была первая пощечина. Дальше — больше. Хорошо заканчивая школу, решил поступать в Московское высшее техническое училище имени Баумана. Тогда мне категорически отказали в комендатуре, попросил хотя бы Свердловский политехнический институт. Очередной отказ — разрешили учиться только в Казахстане. Тогда я послал документы в Алма-Атинский горно-металлургический институт. В этот же город ехала учиться моя одноклассница поступать в университет, решили ехать вместе. Но пока я получал разрешение на выезд, она уже уехала, и наконец, к концу июля, я кое-как успел в приемную комиссию. Вроде все шло нормально. Но 31 июля 1953 года меня вызвали в приемную комиссию и попросили забрать документы, так как практика у них за пределами Казахстана, а меня все равно не выпустят. Экзамены начинались завтра, 1 августа, и меня к ним не допускают. Я, в душе еще мальчишка, с полными слез глазами забрал документы и бегом помчался в Сельскохозяйственный институт, на факультет лесного хозяйства. Там сказали, что, если хорошо сдам экзамены, возьмут. Сдал шесть экзаменов, получил четыре «пятерки» и две «четверки». Стали вызывать тех, кто прошел, свою фамилию не слышу. Уже и троечники пошли, а меня все нет. Иду в приемную ректора вуза, и там мне говорят, что я не прошел. Вот тут я вспомнил своего отца, который говорил мне перед выездом: «Сынок, сиди дома, все равно тебя

никуда не примут как поляка. Найдем тебе работу в Караганде». Но я ответил отцу, что добыю своего и в Караганду не вернусь. Я решил (как последняя попытка) обратиться в ЦК комсомола Казахстана. Тем более, работая в школе в комитете комсомола, я примерно знал уже, как вести себя в подобных случаях. Со мной попросилась еще одна девушка, немка, тоже не принятая по национальным мотивам. На второй день нас приняли в ЦК, выслушали, при нас позвонили ректору Сельскохозяйственного института. На факультет лесного хозяйства не было мест, и нам предложили пойти на гидромелиоративный факультет. Мы вынуждены были согласиться. Вот так я стал студентом. А через три года, в 1956 году, с нас, ссыльных (поляков и других народов), было снято позорное клеймо спецпереселенца. Хотя по жизни и дальше мне не раз напоминали о том, что я поляк и мне не все положено. Вспоминая эти отдельные моменты из своей жизни, я все же прихожу к мнению, что, если бы моя жизнь повторилась сначала, я бы многое оставил неизменным. Меня в жизни окружали хорошие люди и отличные друзья всех национальностей (у меня много друзей-казахов, с которыми я прошел по жизни). Но при условии гарантий, что я буду свободным. Мне уже 82-й год, и я счастливо прожил жизнь. Многие мечты я осуществил через сына, он закончил вместо меня Бауманку и сейчас живет в Алма-Ате. Я прошел путь от инженера до директора крупнейшего в Средней Азии проектного института. Имею награды. Все время хочу вернуться в Польшу, на историческую родину, но пока не хочет сын, а родители должны быть там, где их дети... Можно много рассказывать про прожитую жизнь, я вспомнил только отдельные моменты. По жизни мне не раз приходилось слышать, что я ссыльный поляк, но я горжусь своей национальностью. Часто езжу в Польшу, где живет мой младший брат, которому я помог выехать из Караганды с семьей в трудные 90-е годы. Живут они хорошо, никто их не упрекает и не попрекает. В заключение хочу только подчеркнуть, что самое страшное для человека — это потерять свободу. Поэтому для каждого поляка главное — это свобода!

Альберт Левковский

...Весна 1933 года, голодного года. Именно тогда наши родители начали строительство нового дома. Запомнился первый день. Еще с ночи шел мелкий густой дождь. Серые хвостатые тучи задевали верхушки деревьев. Люди начали сходитьсь с раннего утра. Отменить работы нельзя было, потому что уже раскопан котлован, в бочках стояла вода, вокруг разложена солома, и главное, потому что обед уже варился в горшках и у нас, и у соседей, а обед был главной оплатой для всех, кто пришел сегодня работать. А работа предстояла такая: нужно было замесить котлован глины, переработать ее вместе с соломой в «вальки» и уложить их в стены строящегося дома. Женщины, подоткнув юбки за пояс, накинув на себя мешки, платки, голыми ногами месили грязь. Мужчины подливали воду, точнее поливали замес, посыпали его половой. Когда же это болото было доведено до требуемой консистенции, мужчины сменяли женщин и вилами, лопатами-шуфлями выкидывали его на обочину котлована, а женщины, стоя на коленях и хватая комьями это болото, добавляли соломы и месили его до тех пор, пока не получался очень упругий валец. Мужчины тут же складывали их на носилки и доставляли под соломенную крышу каркасного дома. Там «специалисты» укладывали вальки в стены, точнее лепили из них стены. Валец к вальку, ряд за рядом рос простенок. Потом был обед. Под крышей будущего дома на строительные козлы положили доски, покрыли их какими-то скатертями и разложили керамические миски, деревянные ложки, хлеб и соль. Из закопченных горшков, чугунов струился щекочущий запах украинского борща. Перекрестившись, начали есть. Никто ничего не говорил, только приглушенные скребки ложек и свистящее втягивание горячего нарушали эту тишину. На второе была густая пшенная каша,

обильно зажаренная на подсолнечном масле с луком, ароматный запах которого витал в воздухе. После обеда люди разговорились, оживились и запели грустные и прекрасные украинские песни. Но делу — время, а потехе — час. Опять взялись за работу.

Помню выложенные из вальков стены, которые долго не штукатурились, так как были сырые и давали осадку; помню, как делали обрешетку для черного потолка и как молот сорвался у кого-то из строителей и рассек лоб и нос отцу, проходившему внизу. Чудо! Еще бы сантиметр — и не было бы отца.

Помню, как перешли в новый дом — одна комната, кухня и сени, а еще две комнаты отделялись аж до весны 1936 года. В апреле наконец-то вошли.

Помню радость родителей, их гордость перед соседями, чистоту и порядок во всем. Каждый день у нас были гости, в основном свои, родные — тети, дяди, бабушка, соседи.

Родовались родители, радовались родные. Но были и завистники, недоброжелатели. И может быть именно они постарались: в середине мая с субботы на воскресенье поздней ночью постучали в окно. Назвался — уполномоченный сельрады (сельсовета) такой-то. Отец открыл дверь — при свете керосиновой лампы он увидел знакомого выконавца (исполнителя) и незнакомого красноармейца с ружьем. Выконавец вошел в дом, красноармеец остался на дворе. Выконавец объявил о переселении и ушел. Красноармеец с ружьем остался на посту. Две недели сроку. Две недели красноармеец стоял у двери, две недели шли сборы: резали поросенка, нажарили шкварок с луком, напекли колбас, уложили в кастрюли, чугунки и залили кипящим свиным жиром. Поставили в погреб, чтобы хорошо застыли. Упаковали постель, посуду. Разобрали деревянную кровать, приготовили канапу (софу), две табуретки. И две иконы, одна из которых до сих пор висит в квартире покойного брата Володи. Испекли хлеб, пересушили на сухари. Особой заботы требовала корова, которую тоже разрешили взять с собой. Заготовили несколько тюков сена на 15-20 дней, «дерти» (грубо смолотые ячмень, пшеница) для приготовления «пойла» и смачивания им сена. Всего можно было взять вещей и «барахла» на две подводы. Такая была норма. Последнее воскресенье прошло в заключительных сборах, беседах с родными, близкими и соседями. В понедельник к дому подъехало две подводы в конных упряжках, и родители начали укладывать нехитрые пожитки. Сверху посадили нас, троих братьев десяти, восьми и шести лет. Начался дождь, детей укрыли одеялами, платками. И поехали. Родители пешком молча шли за подводами. Шли родные, друзья и соседи. Возле каждого дома стояли люди, молча смотрели на эту процессию. На выезде из села уже ждали несколько подвод, уполномоченные сельсовета и солдаты с винтовками — ехать должны все вместе, одним обозом. В местечке Купеле, в двух километрах от нашего села, остановились у костела, помолились, поплакали, помолчали. Женщины, причитая, выли. Следующая и последняя остановка — железнодорожная станция Войтовцы. Разгрузили вещи рядом с рельсами. Поезда еще не было. Женщины и дети сидели на вещах, мужчины со скотом и мебелью уехали в какой-то тупик, чтобы там загрузить все это в вагоны. Нам, детям, все было ново, все было интересно: и железная дорога, и проходящие поезда, и люди, и дома не такие, как наши. Но вот подошел товарняк — пустые вагоны с двойными нарами, верхними и нижними. Нам отвели верхние, и это было нашей первой радостью — там слева и справа были зарешеченные окна-щели и все-таки выше других. Мама расстелила все, что можно было расстелить, пришел отец, и мы пообедали. На всю жизнь запомнился вкус жаренных с луком шкварок, намазанных на хлеб, — казалось, ничего вкуснее никогда не ел. Но вот задвинулись двери-ворота, кто-то снаружи с лязгом задвинул железный засов, и в полумраке мы поехали. И впервые нам, детям, стало страшно: почему закрыли, почему темно и куда нас везут? Прижавшись к родителям, все молчали, и каждый думал о своем. А еще причиной молчания, возможно, было то, что в каждом вагоне

(это я узнал в 1993 году из комендантских книг о переселении, когда занимался реабилитацией поляков, немцев, чеченцев, ингушей, евреев, турков и др.) ехал чужой человек, сексот (секретный сотрудник), в обязанности которого входило знать настроение переселенцев, всех и каждого в отдельности. Некоторые доносы сексотов были аккуратно подшиты в списках переселенцев по вагонам. Так, например, один грузин «говорил, что его выслали за то, что его брат жил в Турции»; в другом доносе подробно описаны причитания одной польки (кстати, нашей соседки), когда пересекали Уральские горы, о том, что она, подняв руки к небу, плача, причитала: «Боже, куда нас везут, нас везут на погибель, спаси нас». При этом было подчеркнуто, что в это время муж «что-то на ухо ей говорил». Летом 1937 года «черный ворон» среди белого дня забрал его с концами. Ни письма, ни звонка. Только в конце 50-х годов пришло извещение о его реабилитации, посмертно. Такая же участь постигла и маминого брата, тридцатилетнего ветеринара Николая Сочиньского, старших братьев на Украине Владека и Адольфа, а их семьи вывезли на Соловки.

Всего было назначено на переселение 6 семей, в них 30 человек.

Вот список этих семей в полном составе:

I.

1. Левковский Георгий Казимирович, 1899 г.р.
2. Левковская (Сочиньская) Полина Ивановна, 1904 г.р.
3. Левковский Героний Григорьевич, 1926 г.р.
4. Левковский Альберт Григорьевич, 1927 г.р.
5. Левковский Вильгельм Григорьевич, 1930 г.р.
6. Сочиньска Мария Ивановна (бабушка), 1870 г.р.

II.

1. Сочиньский Николай Иванович, 1906 г.р. — брат мамы
2. Сочиньская Александра Кирилловна, 1912 г.р. — жена брата
3. Сочиньский Иван Николаевич, 1936 г.р. — сын

III.

1. Сташевский Виктор — 1896 г.р.
2. Сташевская Елена
3. Сташевский Эдвард
4. Сташевская Нина
5. Сташевская Регина

IV.

1. Ручинский Иосиф, 1904 г.р. — отец
2. Ручинская Юзефа, 1905 г.р. — мать
3. Ручинский Леонид Иосифович, 1930 г.р. — сын
4. Ручинская Люся Иосифовна, 1927 г.р. — дочь
5. Ручинский Иван Иосифович, 1936 г.р. — сын

V.

1. Белецкий Феликс, 1900 г.р. — отец
2. Белецкая Мария Ивановна, 1906 г.р. — мать
3. Белецкий Болеслав Феликсович, 1925 г.р. — сын
4. Белецкая Гелька Феликсовна, 1926 г.р. — дочь
5. Белецкий Эдвард Феликсович, 1928 г.р. — сын

VI.

1. Мацкий Павел, 1885 г.р. — отец
2. Мацкая Теофиля, 1890 г.р. — мать
3. Мацкий Иосиф Павлович, 1915 г.р. — сын
4. Мацкая Ирена Павловна, 1921 г.р. — дочь
5. Мацкая Евгения Павловна, 1926 г.р. — дочь
6. Мацкая Касюнька Павловна, 1923 г.р. — дочь
7. Мацкий Иван Павлович, 1927 г.р. — сын

.....

Но вернемся к дороге. К сожалению, воспоминаний о двухнедельном пути осталось очень мало: душные, наглухо закрытые вагоны, частые остановки, охота за кипятком и холодной водой, поиски туалетов и постоянные разговоры об отставших. А еще запомнились похороны мальчика, умершего в дороге. И, конечно, Уральские горы, глубокие ущелья, мосты через реки, незнакомые города и безжалостная болтанка вагонов.

Наконец, последняя станция — Таинча Северо-Казахстанской (тогда Карагандинской) области. Девятого или десятого июня. Впрочем, точную дату можно установить по календарю солнечных затмений¹. Разгружались переселенцы почти целый день, и вывозили всех на машинах за село, за станцию. Вещи складывали по семьям, почти рядом. После трудной разгрузки и короткой ночи наступил теплый солнечный день, где-то в высоте трелью заливались жаворонки, поодаль паслись истосковавшиеся по свежей траве коровы, шутливо «дрались» доселе незнакомые собаки. Мы, дети, тоже радовались солнцу, траве, теплу и свободе — бегали наперегонки, кувыркались, играли в лапту. На кострах, впервые за две недели, готовилась горячая пища, запахи которой дразнили и звали к очагу. После завтрака наступило относительное затишье, все так же в высоте продолжал свою песню жаворонок, на станции постукивал на стыках рельсов проходящий поезд, откуда-то доносился размеренный звон ведра от струй молока при дойке коровы. Люди копошились в нехитром своем скарбе: что-то развязывали, снова завязывали, снова собирались в дорогу, теперь уже недолгую и последнюю — до нового и постоянного места жительства. И вдруг кто-то заметил пасмурность дня, поделился с соседями. Все смотрели на небо, но там ни тучки, все так же светило солнце, но с чуть заметной грустью, словно прищурилось и задумалось. Переговариваясь вполголоса, люди бросили свои занятия и стали ждать. А солнце все мрачнело и кругом все быстро темнело. И вот наступила кромешная тьма, на небе появились звезды, но никто их не видел. Семьи, сбившись в кучи, ждали конца света. Завыли собаки, замычали коровы, плакали и вслух молились женщины. Никто не знал, что это закон природы и что «это» скоро пройдет. Лишь один молодой человек Адольф Зивинюк (это я потом узнал), которому в то время исполнился 21 год, постарался успокоить людей, объяснить это природное явление, но его никто не слышал из-за плача и рыданий, а еще и потому, что у него после неудачной хирургической операции в горле была щель, из которой со свистом вырывался воздух, и вместо крика из его уст слышна была только хрипота. Все продолжали смотреть на солнце, но на его месте виднелась только оранжевая корона. Но вот справа часть короны стала медленно светлеть и превращаться в яркий серп, который стал быстро расти и выделяться. Вот он уже, как в новолуние, только очень яркое, вот больше и больше, и наконец солнце засияло с несравнимо большей яркостью, чем было. Дети прыгали от радости, хлопали в ладоши, кувыркались на зеленой траве. В лагере наступила тишина, в небе снова зазвенел жаворонок. Однако старые люди продолжали молиться, остальные угнетенно молчали — это было тяжелое предзнаменование.

В тот же день после обеда начали подъезжать грузовые машины ЗИСы, и люди начали грузить свое нехитрое имущество. Помогая друг другу, работали молча и быстро — всем хотелось быстрее попасть на место, осмотреться, как-то обустроиться и никуда больше не ехать. Машин было много, по мере загрузки они отъезжали в сторону и выстраивались в колонну. Человек в военном, другой — в штатском, проводя с водителем экспромт-семинар, сели в газик и возглавили движение в западном направлении. Светило жаркое июньское солнце, передняя машина угадывалась по облаку неподвижно стоящей пыли. Кругом, куда ни глянь, до горизонта простиралась седовласая ковыльная степь. Ехали относительно медленно, грелись моторы, во время

¹ 19 июня 1936 года — полное солнечное затмение (Прим. ред.).

коротких остановок слышна была звенящая степная тишина, только суслики столбиками стояли на бугорках и посвистывали от удивления. Но вот и первое село, Многоцветное, хотя в глаза бросались только темные и изредка белые домики. Основано село в начале двадцатого века русскими, «жертвами» сталинских реформ. Изредка по дороге встречались одноконки, управляемые казаками. Под телегой болтался бурдюк (кожаный мешок с кумысом), на телеге сидел, подогнув ноги калачиком, хозяин этой степи. Несмотря на жару, он был одет очень тепло: на голове огромный малахай из бараньей кожи, стеганный сюртук без воротника, кожаные штаны на очкуре и высокие сапоги с раструбами голенищ выше колен. Острый, даже колющий взгляд его узких раскосых глаз, жиденькая клинышком борода и желтый цвет лица не оставляли приятного впечатления. Еще километров через тридцать проехали мимо двухрядного немецкого села Келлеровки, потом Любимовку, Летовочное, Краснокаменку, Славяновку. И, наконец, наша колонна остановилась возле полуразрушенных стен землянки, построенной когда-то хозяином этой степи Сарыгачом. Здесь было стойбище «Джайляу» — центр летнего выпаса лошадей, скота. Тут же в небольшой низине был колодезь, очень глубокий, но с хорошей холодной водой. Этот родник был главным богатством будущего села — чистая, вкусная вода и ее неисчерпаемость. Благодаря этому колодезю спецпоселенцы за одно лето изготовили десятки тысяч штук самана, построили «сталинские» домики, готовили пищу, спасались от жары, поддерживали санитарию. На каждые две-три семьи выдали по одной палатке, то ли от солнца, то ли от ветра, но в дождь они сплошь протекали. В первые же дни мужчины из дерна построили печки, где готовились обеды, ужины. Ни дров, ни соломы в первые дни не было, топили кизяком (высохшим коровьим дерьмом, оставленным прошлогодним скотом). Рядом с нашей палаткой стояли палатки комендатуры и медпункта. Старшим комендантом был Фролкин, его помощником Иван Тимченко, в медпункте жила фельдшер, очень миловидная девушка с восточными чертами лица. Военная форма, ромбики на лацканах рубашек, портупеи и кобуры на поясах внушали страх и уважение. Фролкин был очень строгим и даже жестоким, отчитывал за каждое нарушение режима или неповиновение, мог даже ударить, каждый день предупреждал о недопустимости побега. Тимченко был веселым молодым человеком, высокий, статный, как говорится, ладно скроен, крепко сшит. Военная форма, галифе еще более подчеркивали его стать. Он всегда был открытым для людей, мог выслушать, посоветовать, помочь. Помню, как он возле костра одним ударом ножа разделил пополам вареное неочищенное яйцо. Нам, мальчишкам, показалось это и ловкостью, и силой, и красотой. Кстати, к осени он влюбился в переселенку, девушку неопишущей красоты, Гелю (Елену) Куликовскую и женился на ней, за что был изгнан из органов НКВД.

Помню первое собрание переселенцев. На небольшой возвышенности, несколько вдали от палаток, накрыли красным полотном длинный стол, принесли табуретки, стулья, и представитель района открыл собрание. Перед ним стояли, сидели около двухсот мужчин и женщин. Зачитал список, кого следует пригласить в президиум. По мере занятия мест он называл их фамилии. На повестке дня стояло очень много вопросов: о названии села, об организации колхоза и сельского совета, колхозных ферм и производственных помещений; о пастухах для выпаса личного скота, о выделении места под кладбище, о рытье колодезев и другие. Село назвали «Степным», колхоз — «Авангардным». Первым председателем колхоза избрали Ковальского Викентия Ивановича, сельсовета — Репневского Станислава. Оба в 1937 году были репрессированы. Репневский вскоре вернулся (говорили, дал показания на киевского прокурора), а Ковальский в 1956 году был реабилитирован посмертно без сообщения о причине, месте и времени смерти.

После собрания началась повседневная, очень напряженная и тяжелая работа. Были созданы строительные, полеводческие, животноводческие бригады, появились

кузнецы, плотники, конюхи и скотники, но основная масса людей была задействована на выделке самана — кирпича из глины и соломы. На земле вычерчивался круг радиусом 7-8 метров, в центре вбивался крепкий кол. Землю в круге выкапывали вручную, заливали водой и обильно посыпали соломой. На кол надевали колесо и прицепляли к нему упряжь для двух лошадей, которые ходили (их гоняли) по кругу и месили глину. Мужчины и женщины носили и подливали воду, подсыпали соломы. Когда же это месиво достигало определенной кондиции, лошадей выпрягали, а люди, закатав штанины, подоткнув юбки, продолжали эту унылую и очень тяжелую работу — солома до крови растирала кожу, от холодной воды судорога корчила ноги. Но люди не жаловались, коллективный труд и понимание его необходимости объединяли их, придавали сил и даже энтузиазма. Мужчины старались перед пока еще малознакомыми женщинами, а женщины перед мужчинами. Кто-то вполголоса запевал песню, кто-то подпевал, поддерживал, и вот уже все в такт своим размеренным шагам негромко выводили: «Нэсэ Галя воду, коромысло гнэцця. А за ней Иванко як барвінок вьэцця...» Когда ноги уже с трудом проваливались в месиво, наступала очередь мужчин. Они, как бывало на Украине, вилами выкидывали эту вязкую смесь на носилки и относили на полянку, где вываливали ее на деревянные формы из девяти секций, каждая из которых имела размеры самана. Две женщины разравнивали эту смесь, тщательно заполняли все углы и специальной дощечкой стягивали излишки и неровности, предварительно смочив верх водой. Затем, взявшись за ручки, поднимали форму, оставляя на земле девять саманов-кирпичей. Остальную работу завершали солнце и ветер. Выбрав весь «строительный материал», дно котлована снова перекапывали, и все повторялось сначала. И чем глубже разрабатывался котлован (до 1,5 м), тем лучше была глина, тем меньше нужно было воды и соломы и тем труднее было разрабатывать его. Таких котлованов было около тридцати, весной следующего года они заполнились талой водой и превратились в искусственные озера, где дети (да и взрослые) купались (и даже тонули), поили скот, разводили гусей и уток, стирали белье. По мере высыхания саман складывали стенками-пирамидами с окошечками внутри, что способствовало скорейшему высыханию. А метров двести севернее саманного карьера «прорабы» по какому-то плану разбивали колышки, натягивали шпагат и копали неглубокие траншеи, которые стали фундаментом «сталинских» двухквартирных домиков общей площадью 38 квадратных метров, т.е. каждая квартира 16 кв.м. Это была одна комната и сени. И стены, и потолок (крыши не было), и пол были земляными. В дождь не хватало посуды и других емкостей, чтобы подставлять их под всюду протекающий потолок. А летом, когда температура поднималась до сорока градусов, не было спасения от жары и блох. Как только с ними не боролись: и водой поливали, и коровьим пометом смазывали... Но самым эффективным оказалось — застилание пола полынью-травой. Так и жили — днем тяжело трудились, а ночью крепко спали и укусов блох не замечали, хотя тело по утрам было сплошь покрыто красными пятнышками. Работали от темна до темна, не было ни выходных, ни праздников. Но люди все равно помнили и отмечали воскресенья и католические праздники. Летом, в канун праздника или в субботу наводился элементарно возможный порядок — смазывался земляной пол, выгонялись или уничтожались мухи, завешивались окна, и если были березовые ветки (их привозили попутки за 30 км), их развешивали по углам, по стенам, возле икон... Запах березовых листьев умиротворял, располагал к отдыху, объединял с природой, напоминал о родных краях. А по вечерам, подоив коров и управившись по хозяйству, женщины тайком в одиночку или парами уходили на ружанец на заранее условленную квартиру. Мужчин было мало — боялись, того и гляди пришьют 58-ю статью — враг народа. А еще в праздничные и выходные дни людей отличало белое чистое белье. Верхняя одежда могла быть и была старой, семь раз латаной-перелатаной, но нижнее должно было выглядеть и светиться белизной.

План села был простой: 10 параллельных рядов, состыкованные попарно

огородами и разделенные шестью улицами с востока на запад и двумя с юга на север. В длинных по краям было по 18 домиков, в коротких — по 12. Всего было построено 144 домика, 288 квартир. Не все они были готовы к осени, последние ряды заканчивали в конце года. Вселялись переселенцы в более-менее готовые дома глубокой осенью, даже в ноябре месяце, когда на дворе стояла сибирская зима. Во многие квартиры — сырые, холодные, без окон (их завешивали одеялами, келимками, рапчаками) — вселяли по две-три семьи. Но даже и таких всем не хватало. Все, кто имел какую-то живность, строили землянки, в основном для скота, а кто и для себя. В последующие годы все домики на зиму обкладывались загатой: закреплялись жерди от земли до крыши в 30-40 см от стены, и это пространство запаковывалось соломой, картофельной ботвой, другими мягкими отходами осени, оставляя просветы для окон и дверей. И в этом была какая-то своя особая красота. На дворе еще осень, а хорошие хозяева уже аккуратно утеплили свои домики золотистой соломой или темно-коричневой ботвой.

А как же люди жили? Чем кормились? Помню, что отец получал в первый год 70-80 рублей в месяц, и этих денег хватало на самое необходимое: хлеб, сахар, соль... Буханка хлеба стоила 90 копеек, его привозили в палатку, позже в магазин, люди с ночи занимали очередь, но часто всем не хватало. Самое тяжелое впечатление оставила палаточная жизнь: знойная жара, нехватка воды, много лежачих больных, особенно детей и стариков, а в дождь — звон капли в кастрюли, ведра, чугуны. И первые и частые похороны на отведенном под кладбище участке. Позже его обозначили полуметровым рвом и земляной насыпью, соорудили большой деревянный крест. Так и стоит он вот уже 70 лет, правда уже не в центре, а отодвинулся далеко на север, потому что кладбище продвинулось далеко на юг. Заросло акацией, деревянные кресты подгнили, попадали, могильные холмики уже сравнялись с землей. В 1961 году умер наш отец, и я, работая уже инспектором облоно, заказал железную оградку, памятник и установил их на могиле отца. Моему примеру последовали многие оставшиеся родственники давно и недавно умерших людей. Рядом с деревянным крестом возвели железный, огородили кладбище, построили домик-капличку для последнего отпевания. Так и лежит зеленым оазисом летом и серым сугробом зимой кладбище поляков-спецпереселенцев, основавших село Степное.

Леон Креницкий

Массовой депортации поляков из Украины на Восток в 1935—1937 годах предшествовало принятое решение об исключении из Коммунистической партии Украины всего руководства Мархлевского автономного польского района. Одной из важнейших причин, послужившей поводом для применения репрессий, было наличие родственников в Польше, а стандартным обвинением — сотрудничество с польской разведкой. По этой причине депортация проходила под эгидой НКВД. Народным комиссаром этой организации был Генрих Григорьевич Ягода (правильно — Енох Гершеневич Иегода). Родственник Сведлова, Ягода — один из главных руководителей ВЧК и ОГПУ.

А у моих родителей четверо детей: Вацлав, Болеслав (названные в честь казненных братьев мамы), Валя и Стася. Старшему, Вацлаву 7 лет. Июнь 1936 года, на колхозных и своих огородах все посеяно. Все растет и цветет. Вдруг всех жителей Малой Радогощи выгнали на плац. Руководство районного центра с. Плужное в присутствии работников НКВД объявило, что в соответствии с постановлением Совета Народных Комиссаров СССР №776-120 от 28 апреля 1936 года немцы и поляки из приграничных районов Украины переселяются в Казахстан. Там заботливая советская власть построила вам жилье, даст домашний скот и все необходимое. Будете хозяйствовать, участвовать

в строительстве новой колхозной жизни. Никто не знал, где находится этот Казахстан и что там творится. Одни говорили, что он граничит с Сибирью, другие, что где-то там около Монголии. Так или иначе — на краю света. Зашумели мужики, заголосили женщины: «Не поедem, хватит издеваться над нами! Бросить дома, огороды? А как же дети? Как ехать с младенцами? Боже, спаси нас!»

А руководство им в ответ: «Что, сопротивляетесь Советской власти? Хотите стать врагами народа? Вам известно, где они сейчас? Идите домой, собирайтесь! Завтра в это время в путь, а руководству поселка и НКВД — проконтролировать! На отправку явиться с личными документами! С собой брать только самое необходимое». Побрели домой несчастные. Там уже шныряли активисты из Большой Радогощи. Собирайтесь, собирайтесь! Быстрее! Мама коровку завела в огород, где росло все для жизни, напасла ее и сопровождала на колхозный двор. Вела ее, последнюю, мама со всей детворой. Мама держала ее за рога, Вацлов держал за добрую, пахнущую молочком морду. Валя и Болеслав уцепились за хвост. Стасю мама несла на руках. А мыня, так польские дети зовут коров, послушно шла. А мама обливалась слезами: «Кто теперь будет давать тебе все самое лучшее? Кто тебя будет доить? Ты ведь своенравная. Чужим женщинам ты ведь молочка не дашь. Как только сядет под тебя чужая, ты обнюхаешь, если это не я буду, ударишь ногой задней по ведру, а своим пушистым хвостом стеганешь ее по лицу, и будет тебя бить колхозная доярка стульчиком, на котором под тобой сидела, по бокам. Будь послушна, Тароля (так ее звали). Не обижайся на нас. Мы не виноваты». Отец тем временем документы о польской жизни, фотографии родственников в Польше, деда в форме офицерской армии, его наградные листы — все бросал в огонь. Мать заголосила: «Что ты делаешь?» — «Чекисты найдут, меня посадят, а вы без меня не выживете, погибнете!» — ответил отец.

На другой день, 31 мая, под конвоем сотрудников НКВД, при сопровождении руководства села, активистов и комсомольцев поляков на подводах повезли на станцию Изяслав. Прибыли. Что там творилось! Люди, кони, телеги, брички, крики, команды, плач людей, причитания, проклятия! Поезд готов, длинная череда вагонов. Слышится речь украинская, русская, польская, немецкая. Несколько человек поют громко «*Woże coś Polskę...*». Видать немцев из сел Кустарня, Михайловка, Лесная. Команда строится перед вагонами. Переключка. Сдать личные документы. Сдали. Человек без документов кто? — никто. Не убежишь. Объявили посадку. Охрана подгоняет, кричит, толкает, ни малейшей деликатности в отношении женщин, стариков и детей. Загоняют в вагоны, пахнет навозом, значит, скот перевозили. Нары в два яруса, родители занимают нижний. Темно, дети перепуганные, режут. Входят другие жители Малой Радогощи: Озинковские, Сливинские, Ясинские... Олишевские... Отец обращается к Олишевскому: «Антон, а вас за что? Вы же первые пошли в колхоз и других за собой звали!» А их пять братьев: Антон, Иосиф, Тадеуш, Филипп, Броньк! Ничего не сказал Антон, пошел занимать места.

В конце вагона дыра, через которую видать рельсы и землю. Импровизированный туалет. Окно одно, заделанное решеткой. Вагон набит до отказа. Двери закрывают на засов, контакт с внешним миром прерван. До свидания родные, прощайте... Не забудьте. Прощальные слезы, рыдания. Впереди тяжкая дорога. Поезд стоит долго, зачем была такая спешка? Еще не тронулись, а все уже измучены. Поезд тронулся, никто не знает куда, в каком направлении. Слышны молитвы «Отче наш...», «Святая Мария», «Под твоей защитой...». Частые долгие остановки, поезд то и дело загоняют в тупики... Шесть суток ехали до Москвы. В столице усиливают охрану, чтобы не разбежались. В вагоне разные разговоры, рассуждения, дискуссии, полные горечи слова: «Куда нас везут, что с нами будет?» Смотрят в окно по очереди, за вагоном лето, красивый вид, на полях работать нужно, а мы закрыты. Какая-то станция. Двери не открывают. Люди на перроне смотрят на охраняемый транспорт как на перевозимых преступников. Видать, так их информировали. Кулаков везут, мироедов. Родственник,

Креницкий Адольф, заглянул в окно, дождь, унылый вид, какая-то деревня. На крыше одного дома, видимо клуб, висит большая пятиконечная звезда и портрет Сталина. «Что там интересного, Адольф?», — спрашивает отец. «Ны куровы, ны свыни, тылько Сталин на стини», ответил по-украински участник Первой мировой, кавалерист, воевавший в Армии генерала Брусилова.

Дети просятся домой. Хотят есть. Им что-то нужно готовить. Как? На чем? Маленькая Стася, которой нет еще годика, постоянно плачет. Пеленки мама с папой сушат на своих телах без стирки. Воды мало, не хватает даже для питья. Туалет воняет, дышать невозможно. Через ту проклятую дыру залетают большие зеленые мухи, мошкара. Больно грызут комары. Не хватает воздуха, запах давно не мытых тел. Мужики хотят курить. В пути уже 10 дней. Дети уже не плачут, только хрипят. Нет сил дальше терпеть. Отец на какой-то остановке стал кружкой бить в дверь. Открыли. Что надо? Не дождавшись ответа, чекист, сквозь зубы, ответил: «Будете хулиганить, закроем в последнем вагоне». Это значит, что в тюрьме на колесах. Мама схватила отца за плечи: «Błagam cię, przestań, jeżeli ciebie posadzą do kryminaiu co z name będzie?!» («Я тебя умоляю, если тебя посадят, что будет с нами?!»). Как-нибудь проживем. Как другие, так и мы, Бог не оставит нас. Отец сел на край нар, обхватил голову руками. Мама увидела на его голове первые седые волосы. Дети с каждым днем становятся бледнее. Напал понос. Мученическая дорога продолжается. Проехали Уфу. Как все хотят выйти на воздух, на солнышко из этой железной тюрьмы! Помыть детей, погулять с ними по траве. Как мало ценили то, что имели. Не нужно ни серебра, ни золота, только бы каждый день купаться в лучах солнца, на свежем воздухе, не сидеть в заточении, а работать в огороде, в поле, чтобы было чем накормить детей! В соседнем вагоне женщина родила, ребенок умер, она ничего никому не говорила, прятала трупик у себя на груди. Когда уже от него пошел запах, люди стали колотить в дверь. Поезд остановили, несчастная женщина завернула его в тряпку, засунула под шпалу. Поезд поехал дальше. Перевалили через Урал, проехали Курган. В один день после продолжительной остановки на большой станции Петропавловск поезд повернул на юг. Сначала поезд пыхтел через перелески, а потом степь, степь, степь...

20 июня прибыли на станцию Таинча, которая тоже только что начала строиться. Стояло несколько станционных домиков, строилось депо, стояла палатка с красным крестом — для женщин с грудными детьми. Для большей части приехавших это была последняя станция в жизни. Конвоиры с винтовками открывают вагоны. Приехали! Выгружайтесь! Быстро, быстро! Трупы есть? Выносить в первую очередь. Очистить вагоны от хлама! Пасмурно. Дует сильный ветер. Выскакивают из вагонов измученные, грязные, бледные, заросшие мужики. Страшно смотреть! Качаются на онемевших ногах. Ослабевших, больных, изможденных выносят. Теперь только видно, как много депортированных. Боже! Водочка! Около самых путей. Все бросились к ней! Пить! Пить! Пить! Чистая, свежая вода! Бери сколько хочешь! Роскошь! Через шум и гам отец слышит: «Wujku, wujku! Wujku!» («Дядя, дядя!») Это зовет дочь родной сестры Анели и двоюродного брата мамы Мазура Яся. «Янэчка, где отец, где мама?» «Тутай, тутай, в соседнем вагоне!» У них шесть детей. «Все живы?.. Слава богу!.. Pozdrowienie wszystkim (Привет всем)».

Так под открытым небом, в ожидании распределения, просидели на рельсах трое суток. Оказывается, с Украины везли общественный скот, сельхозинвентарь: плуги, бороны, возы. Объявили кому — куда. Часть переселенцев из Радогощи переселилась в Келлеровский район, часть в Чкаловский. Сестра отца Мазур Анеля с семьей попала на 7-ю точку, в село Константиновку, как впоследствии назвали это поселение.

Абдельман

23 июня. Вечерело. Подогнали транспорт. Прибыла охрана. Началась посадка. Погрузились. Поехали! Шоферам известна была дорога только до села Драгомировка,

основанного в 1903 году украинцами-переселенцами, а куда ехать дальше, никто не знал. Знали только направление — от Таинши на запад. Стали блуждать, колесить по степи. Шофера ругаются с сопровождением и охраной. Только под утро 24 июня, в день святого Яна (Ивана Купалы) прибыли к месту назначения. Стояла длинная брезентовая палатка, воткнута палка, на которой висел кусок красной ткани, флаг, значит. Командуют: «Разгружайтесь!» Прибыли грузовики с переселенцами из немецких колоний, а также грузовики с сельхозинвентарем: плуги, бороны. Своим ходом пригнали общественный скот, в том числе 70 лошадей. Корова и конь — основа крестьянства, ну а крестьянство — основа государства. Значит, давно готовили переселение, а люди ничего не знали. Спустя десятилетия мы узнаем, что все документы, касающиеся переселения поляков, немцев, значились под грифом «Совершенно секретно», значит, только для узкого круга лиц, имеющих доступ к документам, содержащим государственную и служебную тайну. Вот знакомые с Украины немцы гонят своих коровок. «Guten tag! Dzień dobry! Franek, du auch bist hier?» — «Да, да я тоже здесь!» — виновато отвечает мой отец. «Was ist das zajien zi bitte?» — спрашивают: где мы находимся? «Это степь, пани Рейнгарт, степь!» — «Dast ish meine Aundertrauen?» — спрашивают: можно ли верить своим глазам? «Den Kop einernen Woist hier Krankinenhaus» — Ты заболел, у тебя болит голова? Где больница? На западе остались больницы... «Donner weter!»

Немцы оказались умнее и практичнее. Привезли с собой мебель, сепараторы, коров. Рпдогощы — ни с чем. Подчинились уполномоченным по выселению, отвели своих коров на колхозный двор, а теперь сидели с детьми на сундуках и узлах, жалкие и подавленные, испытывая вину перед детьми и стариками. А вокруг была степь, ровная, как доска, казалось, нет ей ни конца, ни края. Дул пронзительный ветер. Высоко в небе, расставив широкие крылья, парили ястребы-шуляки, удивленные такому скоплению людей на месте, где они веками высматривали жирных сусликов и зайцев. А под ногами у людей была трава, мягкий ковыль. Между пучками то тут, то там на солнце серебрилась просторная, крепкая паутина, в центре которой в норках прятались большие, страшные, гадкие, волосатые пауки. Из нор выскакивали, становились на задние лапки и быстро прятались назад юркие суслики.

Людей мучила жажда. К обеду на одноконной телеге человек, на вид русский, привез воду в двудонной бочке. Выстроилась очередь, давали по одному литру на человека. Позже воду привозили из ближайших аулов Жанатлек и Караозек на верблюдах, которых наши люди видели впервые в жизни. На красивых, пыльных двуконках приехали руководители района из Келлеровки, которая находилась в 35 километрах к северу. Самый главный из них вылез на воз и сказал: «С этого момента вы являетесь спецпереселенцами, под специальным надзором НКВД. Доставили вас на север Казахстана. Ближайший город — Кокчетав. В степи вы не одни. Шесть километров на восток — аул Жанатлек, семь километров на запад — Караозек. Там живут казахи. На месте, где мы сейчас стоим, будете строить село, которое будет называться "Абдельман"». Как-как? Господи, что за название? Представили коменданта, Петр Працко, офицер НКВД, и его помощника, должность — стрелец с карабином. Люди стали возмущаться: «Не хотим здесь оставаться, домой хотим! Невыносимые условия! Где обещанные дома?» «Кто вам обещал, я? — крикнул начальник. — Кто такой добрый вам обещал, с того и спрашивайте!» Юзик Сабинский, голосистый паренек, запел, подтанцовывая, старую украинскую песню: «Йихалы казаки, из войны до дому, пидманулы Галю, зыбрали з собою... Пойдем з намы, з намы казакамы, лучше тобі будэ, як у риднэй мамы...» Да! Обманули доверчивую Галю казаки, обманули коммунисты и этот доверчивый народ! «Что за шум? — закричал начальник. — Хватит, прекратить! Комендант! Наведите порядок! Кто без разрешения коменданта выйдет отсюда за километр — арестовать и в Келлеровку, в ДОПР (дом предварительного заключения). И еще предупреждаю, если кто не сдал личные документы — сдать.

Если кто имеет какие-нибудь свидетельства, записи, дневники о вашем тяжелом положении — уничтожить. Будет проверка». Спецпереселенцы выполнили приказ и отдали коменданту все документы, какие имели, а у коменданта условий для хранения не было, причем офицеры часто менялись, документы нигде не учитывались, поэтому просто терялись. Не одно поколение еще не сможет доказать свое происхождение. Начальники поговорили и поехали, а спецпереселенцы остались сидеть на узлах и мешках. Поляки отдельно, немцы отдельно. Среди спецпереселенцев, сидевших с немцами, сидела Крафт Мария Фридриховна (девичья фамилия Миллер). Впоследствии она проработала 21 год секретарем сельского совета и 22 года бухгалтером в колхозе. Благодаря ее знаниям я могу привести следующие цифры. Она, слава Богу, жива. Ей 84 года будет в ноябре. Удивительный и сильный человек, с кем только возможно из односельчан поддерживает связь. Проживает в Гамбурге.

Привезли на «вечное поселение» в поселок Абдельман из сел:

Михайловка — 30 семей, 135 человек, немцы;

Лесная — 29 семей, 108 человек, немцы;

Кустарня — 20 семей, 78 человек, немцы;

Сторниче — 11 семей, 45 человек, поляки;

Малая Радогоща — 42 семьи, 159 человек, поляки;

Билотень — 13 семей, 48 человек, поляки;

Итого 155 семей, 570 человек.

Как видно, больше всего пострадала Малая Радогоща. Как у поляков, так и у немцев, в среднем было по 4 человека в семье.

Кочевники

Вдруг с западной стороны показались всадники. «Едут, едут», — закричали спецпереселенцы. Ехал конный отряд примерно из двадцати человек. Шли важно, стремя в стремя, легкой рысью. В седлах сидели крепко, как будто всадник и лошадь одно целое. Поляки знали толк в конной езде. Некоторые служили в кавалерии и участвовали в битвах Первой мировой войны. Приближаются. Вид у конников был необычный. Несмотря на то, что было лето, одеты были по-зимнему. На головах большие шапки из меха рыжей лисицы, задняя часть закрывает спину. Одеты были в грубые ватные халаты, подпоясаны скрученной тканью. Штаны тоже были ватные, спрятанные в высокие сапоги из выделанной бычьей кожи. Голенища сверху расширялись и доходили до паха. Под всадниками небольшие гнедые лошади с гривой и хвостом до самой земли. Как позже узнали, это была монгольская порода лошадей, неприхотливая в содержании, неумолимая в походах. Уздечки из сыромятного ремня, украшенные блестящими овальными и круглыми бляшками. Седла деревянные, стремена из гнутого дерева, отполированные до блеска. За всадниками тянулись трех-четырёхметровые тонкие жерди, одной стороной прицепленные к седлу, с петлей из плетеного конского волоса. Оказывается, этой петлей ловили коней. За каждым всадником бежала рыжая, размером с доброго теленка, собака. Говорили, что такой пес берет волка. Всадники держались с достоинством. Лево́й рукой держали повод, в право́й — короткая плеть, называемая «камча», плетенная из ремня. Такого седока с коня не выбить, разве только вместе с конем перекинуть. Женщины испугались, стали собирать вокруг себя детей, как клуши цыплят. Мужики наблюдали с интересом. Что за люди? Чего хотят? Это киргизы, кочевники, пояснил кто-то. Что это значит, кочевники? Это значит, что они на одном месте долго не живут. Как это возможно? Видишь, сколько у них земли? Всадники подъехали ближе и остановились. Теперь можно было рассмотреть их лица. Казалось, что лицом и одеждой они похожи друг на друга, как близнецы. Плоские, скуластые лица цвета бронзы от солнца и ветра. Все

имели редкие усы и такие же редкие бороды. Гости стали что-то говорить громко, но их язык не был похож ни на какой, ранее слышанный спецпереселенцами там, на Украине. Ни на русский, ни на венгерский, ни на чешский, ни на молдавский. Никогда не унывающий Бронислав Свидецкий, музыкант, кинулся к своим вещам и вытащил трубу, Палыга Броник — кларнет, немец Люцус — флейту, совсем юный Штебарт Людвиг — тенор, Сабинский Юзик — скрипку, сестры Штраух — с гитарами. Музыканты, которые никогда не были вместе, заиграли, да еще как заиграли! А музыканты подходили и подходили... Балалайки, бубны... Немцы, поляки народ музыкальный... Над дикой степью зазвучала музыка европейская, за тысячелетия — в первый раз! Взвились в небо степные птички, попрятались в норы суслики, умолкли кузнечики, а кони всадников, в жизни не слыхавшие таких звуков, дико выкатили глаза, заржали, поднялись на дыбы и понеслись в степь. Не помогла железная узда, натянутая струной сильными, стальными мышцами рук степняков, до крови рвущая губы, ни огнем обжигающая уши качма. Музыканты испуганно стихли. А ссыльным музыка понравилась. «Bitte spiel noch, noch ein mal!» — пожалуйста играйте, играйте... сыграйте еще раз, — просили немцы. Прозвучала музыка, не Шопена и не Шуберта, а всего-навсего военный марш «Тоска по родине». Прекрасная, останавливающая кровь в жилах польская мелодия в обработке композитора, офицера царской армии Агапкина. Так получилось, что этот марш сопровождал меня всю мою жизнь. Под этот марш шли мы на сельские общие собрания, под этот марш парни водили своих невест в сельский совет расписываться о заключении законного брака, мелодия эта, сопровождаемая плачем мамы и сестер, звучала, когда мы с родным братом Владиславом шли на службу в Советскую Армию, когда в Москве «рубил строевым шагом» на плацу сержантской школы, потом в войсковых частях на Украине, в городе Ташкенте, столице Узбекистана.

Вернемся на Абдельман. Люди просили сыграть еще раз. Музыканты посоветовались, Броник Свидерский взмахнул раструбом инструмента, и полилась мелодия старинного, прекрасного вальса «Беженка». Боже! Что это за музыка! Спецпереселенцы начали танцевать. Разве усидишь под такие чарующие звуки? Надо иметь каменное сердце! Кружились в танцевальном вихре женщины, мужчины, молодежь, дети, даже старики! Танцевали немцы, поляки, чехи! Танцевали и плакали... Этот вальс они танцевали на оставленной Украине, в польских, украинских селах и немецких колониях, плакали от перенесенных страданий, плакали от того, что остались живы... Музыка, как наркотик, помогает забыть о боли, о несправедливости, раздирающей душу, о смерти. Так зародился наш сельский самодеятельный духовой оркестр, который существовал до смерти Б.Свидерского. А вот ему уже некому было сыграть траурный марш «Мы жертвою пали»...

А на Абдельмане людей мучает жажда, хочется пить. Воды нет. Со стороны аула Караузек показались диковинные животные, два горба, между ними сидит человек! Ссылные пооткрывали рты. За верблюдами возы с бочками! Воду везут! Как же залезть на такое высокое животное? Окружили гостей плотным кольцом! Верблюд на кого-то плюнул. Мальчишек привел в восторг! Вода разошлась в мгновение ока. Кочевники раздали лепешки и уехали. Спасибо вам, добрые люди! Спасибо и тем, кто вас направил!

Закончился первый день ссылки. Вечереет. Засыпает все вокруг. Ветер утихает. Засыпает ровная, как стол, степь. Не могут заснуть голодные дети. Плачут. Над ними «колдуют» измученные женщины. Кашляют простуженные, грызут комары, везде залезают муравьи. Целую ночь были волки, шумели совы и шуршали летучие мыши. Молодежь не спала, караулила до утра.

25 июня. Второй день ссылки. В четыре часа уже рассветает. Видно, как с самого края земли поднимается ранняя заря, постепенно заливающая небо и землю розовой краской. Поднимаются в небо жаворонки, заполняющие все вокруг своим чарующим пением. Какой прекрасный мир сотворен тобой, Господи! Спасибо тебе за это. Ты не виноват, что на свете так много злых людей! Пять часов. Взрослые уже не спят. Да и

спали ли они вообще? Укутывают детей, ослабевших и бледных. Не могут понять, из-за чего столько несправедливости и столько зла люди приносят людям! Для чего эти бедные дети вынуждены лежать не в теплых постелях, а в сырой траве, под открытым небом! Что с ними будет? Как их спасти?

Между тем появился покойник. Не выдержала собачьей жизни доченька Бронислава Свицерского. Не было больницы, не было врача. Ребенок это знал и не просил помощи. Ушла тихо. Угасла, как свеча, в чужом краю, в норе, под грязной дырявой палаткой. Немец Горн Густав из чего-то сколотил гробик. Справили божьи старушки молебен. Спи спокойно, девочка. Там, на небесах, пусть тебя опекает Матерь Божья. Похоронили в степи, сразу же за палатками. Сотням спецпереселенцев она первая показала путь в вечность.

27 июня родился Рыске Густав, первый и последний ребенок поселка Абдельман. Вскоре поселок Абдельман был переименован в село им. Горького.

Давайте посмотрим, как на эти события смотрел выпускник Омского строительного техникума, русский, комсомолец, направленный после окончания учебы на строительство нашего поселка. Более объективно и правдоподобно вряд ли кто опишет. Долго я искал его записи и спрашивал у упомянутой выше Марии Крафт (Миллер). Перерыл домашний архив своего шурина, бывшего главы администрации села Александра Мухарского, говорил с учителями школы, с директором, строгим администратором и в то же время прекрасной женщиной Татьяной Николаевной Борецкой, и расспросы привели меня к бывшему завучу школы Станиславе Тимофеевне Галимской, дальней родственнице. Как я раньше описывал, моя бабушка со стороны отца из рода тех самых Галимских. Без труда она находит нужную нам папку и говорит: «Никому бы не отдала, а вам, Леон, вручаю, потому что уважаю». Спасибо, спасибо, пани Стася, обещаю вернуть в целости и сохранности. Знаю, попадись она не вам, а другому, может быть, не нашли бы ее вообще.

Итак, читаем:

«4 февраля 1965 года. Здравствуй, Володя! (Поясняю: Володя — это Владимир Адольфович Верещинский, в 1965 председатель сельского совета, какие были люди! — Л.К.). Получил от тебя письмо. Ты просил описать историю села Горькое. Если бы я знал, что мне когда-нибудь придется писать об этом, я бы постарался еще тогда вести дневник, в котором записывал бы все события, фамилии хороших людей, которые строили этот поселок. С тех пор прошло 29 лет. О селе Горькое и о других таких же селах, которые строились в то же время, можно написать книгу. Может, кто-нибудь когда-нибудь и напишет... Вот сижу и думаю, как это все было. Май 1936 года. Выпускной вечер в строительном техникуме г. Омска, который я окончил. Присутствует представитель НКВД. Вместе с директором и парторгом техникума присматриваются к каждому выпускнику. На следующий день нас собрали и зачитали список выпускников, которые должны ехать на строительство социалистических поселков, на освоение новых земель. В этот список попал и я, Леонид Перов. В техникуме мы изучали металлические, бетонные конструкции, и когда узнали, что придется строить из самана, то многие товарищи над нами посмеивались. Ничего смешного. Мы были комсомольцы, куда партия и правительство пошлет, туда и поедем и с гордостью свой долг выполним до конца. Лично я ехал на эту работу с удовольствием. В конце мая месяца я с одним товарищем (он работал в поселке Степное) приехали на станцию Таинча в кузове. Проливной дождь. У товарища байковое одеяло, у меня ничего... вымокли с головы до ног. Приехали в село с названием "Юденич", потом переименованное в село Красная Поляна... В этом селе было установлено много брезентовых палаток, в которых были размещены приезжие люди, и нам разъяснили, что это спецпереселенцы, привезенные в Казахстан для освоения новых земель, и что они сами для себя будут строить "социалистический поселок". Были это поляки, немцы, украинцы, грамотные, культурные люди. Много хорошего они привезли в эти места. Культуру, музыку.

Здесь мы и получили назначение, кто куда... Мне сказали, что я поеду строить поселок Абдыльман. В начале июня мы погрузились в грузовую машину. С нами продукты, необходимый инструмент на первое время и самое главное — брезентовая палатка. Человек шесть нас поехало: двое рабочих, двое из районной администрации, Петр Игнатьевич Працько и я. С Петром Игнатьевичем в этот день я впервые познакомился. Я прораб по строительству, он комендант — начальник строительства поселка Абдыльман. На нем зеленая фуражка с красной звездочкой, защитная гимнастерка и брюки, сапоги, на боку револьвер. Не помню, сколько часов мы ехали, но где-то под вечер остановились прямо в степи. Кто-то воткнул в землю красный флаг и сказал, что здесь будет построен поселок. Правда, здесь был старый, полуразрушенный, зеленый от плесени колодец. Кто-то сказал, что в этих местах раньше кочевал казахский бай по имени Абдыльман, был очень богатый, имел тысячи голов скота... Натянули палатку и после многих разговоров и размышлений легли отдохнуть...

30 апреля 1965 продолжаю писать историю поселка. На следующий день мы с Петром Игнатьевичем решили сделать рекогносцировку местности. Т.е. посмотреть, что нас окружает. До самого вечера ходили. Местность неровная, имеются ложбины, в которых сохранилась вода. Значит, ею можно пользоваться для изготовления самана. Наткнулись на старые казахские разрушенные зимовки, которые когда-то были сделаны из саманного кирпича. Попробовали сломать, прочные. Говорили, что если построить из такого саманного кирпича дом, будет стоять 400 лет.

Продукты нам привозили, пищу готовили на костре. Ездили в Петропавловск в областное земельное управление, где знакомились с чертежами и методами строительства. Петр Игнатьевич ездил по аулам, договаривался о приобретении соломы. В селе Литовочное (20 км) была районная комендатура. Старший — Королев. Там же была и районная администрация. В селах Литовочное и Подлесное, тоже переселенческих, строительство уже шло полным ходом, мы набирались опыта. Во второй половине июня к нам приезжают из райкомендатуры и сообщают, что ночью нужно организовать прием людей, которые будут на машинах прибывать из Таинчи (это примерно 70 км от нас). Мы с Петром Игнатьевичем не ложились спать. С самого вечера все смотрели в сторону Таинчи. В середине ночи вдали появилась масса движущихся прожекторов. В то время для меня, молодого и еще неопытного, как-то было страшно. Едут сотни людей, в том числе дети, женщины, старики, которых нужно встретить, устроить. Обязанность большая, огромная ответственность. А прожекторы все ближе и ближе. Вот останавливается одна, вторая, третья и т.д. машины. Люди сходят с автомашин, почему-то в недоумении, недовольные, многие не верят, что именно здесь, в темной и голой степи, конец их пути. Возмущаются и, убедившись, что это именно так, падают на землю, заливаются горькими слезами. Но что можем сделать мы? Наша основная задача — большое терпение. Спокойно и понятно разъяснять людям, успокоить их, помочь. А машины все подходят и подходят. Не помню, сколько их было, около сотни или больше ста... Я представляю, как людям было тяжело уезжать из своих собственных домов, из родного края, где они выросли, и вот... Приехать в такую даль, на пустое место, где все начинать надо с нуля.

...Прислали нам бригаду рабочих из Караганды для строительства временных палаток. Это были тоже спецпереселенцы, иначе говоря, они были раскулачены и сосланы. С помощью этой бригады мы сумели очистить старый колодец, а также установить несколько палаток из брезента. Сколько палаток, я не помню. Они были длинные, наверное, метров 10-12... Когда нам привезли первый пиломатериал со станции Таинча, мы построили: 1) небольшую баню из горбыля, 2) временное помещение под ларек...

Люди стали размещаться в палатках сами. Кому и где удобно и лучше. Когда заходишь в палатку, то с обеих сторон располагались люди со своим имуществом, а посередине оставили проход. Некоторые имели кровати».

Следующее письмо прораба Перова датируется 19 мая 1965 года.

«...Не помню, с какого числа и согласно какого документа поселок Абдыльман стал называться поселком Горькое. Помню одно: как только умер пролетарский писатель А.М.Горький, мы сразу с Петром Игнатьевичем решили твердо, что наш поселок будет Горькое. Об этом заявили в комендатуру. Нам пошли навстречу, и таким образом поселок стал Горькое. В прошлом письме я описывал, как мы встречали будущих жителей и разместили по палаткам. Люди были недовольны. Кроме того, почему-то в то время происходили частые ссоры между поляками и немцами. Находились такие смельчаки, которые приходили к нам и открыто заявляли, что, если нас не отделите, будет война и кого-то не будет, либо немцев, либо поляков. Мы с Петром Игнатьевичем верили, что это временное явление, построятся поселок, и будут жить дружно. Надеюсь, что так и вышло...

По-прежнему не было воды. Колодец, который мы очистили, воды давал мало... Помню, возле колодца выстраивалась длинная очередь людей с ведрами. Я крутил ворот, а Петр Игнатьевич (комендант) на каждую семью выдавал в ведре чуть-чуть. Что делать? Был у нас медицинский фельдшер — мужчина. Посадили мы его в телегу и поехали к ближайшей ложбине, где было много воды. Помню, как я набрал этой воды в носовой платок, а там водяные букашки, маленькие и чуть побольше, желтые, черные, зеленые головастики. Фельдшер посмотрел и сказал: "Если процедить и вскипятить — то пить можно". Так пришлось и делать. Одновременно организовали рытье нового колодца. На работу спецпереселенцы шли неохотно. Кто-то пустил слух, что зачем строить, зима подойдет, тогда расселять их будут по старым селам, уже существующим: Обуховка, Драгомировка, Иван-город и т.д., были случаи умышленного поджога степи. Огонь доходил до палаток. Тушить пожар выходило мало людей. Остальные сидели на узлах в ожидании своей гибели. Пришлось вызывать трактор и плугом опаживать вокруг палаток. Вот тут бы мне хотелось перечислить тех людей, кто первым из жителей взял в руки лопату, пилу, топор и вышел на работу и своим личным примером увлек за собой других. Прошло 29 лет, я очень сожалею, что не смогу назвать всех. Это были Густав Битнер, Слободянюк, Янык Поплавский, Юнг, Финк, Миллер и его жена Лодзинская. Забыл фамилию одного немца, он был первым нашим бухгалтером, а его сын — табельщиком (кажется, его сына звали Людвиг). Нашим первым возчиком был Галимский, старый. Пусть мне простят те, кого не назвал. Многих помню в лицо, но фамилии забыл...

В июне прошли дожди. Те, кто еще сидел на узлах, поняли, что поселок строить нужно самим, не зимовать же в палатках. Так мало помалу "повалили" на стройку. Организовались бригады, кто в какую и с кем хотел. Я очень благодарен тем, кто первым вышел на стройку. Нужно было работать физически, а перед и после работы они в качестве агитаторов проводили разъяснительную работу. Такие достойны благодарности и наград...

Следует отметить, что районное начальство, комендант, прораб, прислушались к мнению спецпереселенцев, они предложили поселок строить на два километра ниже, среди ложбин, где лучше земля под огороды, грунтовые воды ближе и вода в некоторых ложбинах сохраняется даже в засуху.

Настало время организовывать колхоз

На общем собрании решили, что колхоз будет называться «Имени 1 мая». Приняли Устав сельхозартели, избрали правление колхоза и председателя. Им стал Густав Эмильевич Битнер, бухгалтером — Людвиг Юльевич Финке, председателем сельского совета — Адам Сергеевич Слабоденюк, секретарь — Юлиус Данилович Радецкий. Избрали бригадиров по строительству: Иосиф Мартынович Крафт, Густав

Яковлевич Аух, Ипполит Рутковский, Адольф Иосифович Шварцберг. Принимали заявления от спецпереселенцев о вступлении в колхоз. Многие и здесь не хотели вступать в колхоз, но впоследствии они вступили, потому что ни со стороны государства, ни со стороны колхоза поддержки никакой не получали.

Следующее письмо прораба Петрова — от 18 июня 1965 года.

«...Точно не помню, сколько объектов нужно было построить, примерно 150 двухквартирных домов и 50 общественных и хозяйственных. В том числе: школа, акушерско-фельдшерский пункт, комендатура, детский сад-ясли, магазин, пекарня, баня, мельница, конюшня, коровники, овчарня, свинарник, телятник, ветеринарный пункт...

Для постройки нужен саманный кирпич. Начали делать, сначала шел брак. Постепенно дело стало налаживаться...»

Я не стану описывать технологию изготовления кирпичного самана. Из него дома сейчас на селах уже никто не строит. Это тяжелая, изнурительная работа. Замешенное в ямах болото с соломой руками закладывается в формы, утаптывается, затем переворачивается, сушится в штабелях. Работа выполняется голыми руками, перчаток в помине не было. Работали все: мужчины, женщины, старики, дети... «Дома росли как грибы, — пишет прораб. — Не успевали делать разбивку домов... Я не помню, чтобы на строительстве устанавливали строгий рабочий день, работали с утра до темноты... Народ творческий, поступало много ценных рационализаторских предложений, которые тут же претворялись в жизнь, облегчая тяжелый труд, сокращая время, быстрее шла работа».

На этом рассказы прораба заканчиваются.

В этом же году, в сентябре, прибывает второй этап спецпереселенцев из Житомирской области, Емельчинского и Мархлевского районов. В их числе: Карпинские, Мельницкие, Мышаковские, Туровские, Кондрацкие, Бахуринские, Багинские, Лисовские, Лусовские, Жигады, Гонгало, Мисюна, Колосович и другие. Их расселили в уже готовые домики, разделенные стеной наполовину, 18 м² каждая. В каждую квартиру поселили по 10-12 человек. Кровати ставили в два яруса.

К зиме первая половина поселка, до магазина, уже была построена.

С образованием колхоза стал поступать общественный скот. Одновременно со строительством велась заготовка кормов для личного и колхозного скота. В степи косили ковыль. Кто хоть немного разбирается в крестьянском труде, тот поверит, какая титаническая работа была проведена этими несчастными людьми! Что значит, например, косой косить ковыль. Его можно скосить только рано утром, как говорится, чуть свет, по росе. И люди еще затемно вставали и шли в степь.

Наступила осень. Спецпереселенцы торопились. Из объектов первыми были построены магазин, хлебопекарня, школа (начальная — 4 класса). Первый директор школы — Соболевский. Первые учителя: Янык Поплавский, Казимир Иосифович Мельницкий, Раиса Даминовна Весельская-Колосович. После Соболевского директором стал Николай Иванович Ким, затем Виталий Станиславович Лисовский.

Построили коровники на 40 голов, конюшни на 50 лошадей, овчарню из дерна, контору колхоза, сельский совет, комендатуру, шестиквартирное общежитие, медицинский пункт. Первый фельдшер — Клавдия Перова, после нее — Елизавета Дмитриева. А бессменной санитаркой 30 лет проработала Леня Красуцкая. Построили шесть рядов домиков. Сняли палатки и переселились в них. А на том месте, где хоронили первых умерших, образовалось кладбище. Далековато от села, где-то два километра. С этого времени слово «Абдельман» стало ассоциироваться с местом переселения в иной мир. Где такой-то спецпереселенец? «Отвезли на Абдельман». Значит, нет человека.

А село жило своими делами, заботами. Потихоньку стало выдавать сельхозпродукцию государству.

Крыша над головой

Выделили и нашей семье половину землянки, площадью 18 м², с одним окном на улицу. Хотели к нам подселить еще одну семью, но никто идти на подселение к нам не хотел, в такую тесноту. И без подселения нас насчитывалось шесть человек. Другую половину, через стену, занял Юзик Кондрацкий, тоже многодетный, тоже из Малой Радогощи. Крыша дома была такая: на саманные стены ложились лаги, на лаги доски, на доски солома, она играла роль утеплителя. На солому настилалась земля и трамбовалась. Что думал проектировщик? Его бы в эту землянку! Хороший дождь — и внутри потоп! Спасаясь от дождей, стали на крыше делать стяжку из болота. Когда засыхало, хватало на 2-3 хороших дождя. Лепнянки не имели фундамента, стены ложились прямо на грунт. Вокруг по земле уже сами заселенные, чтобы не подтекала под стены вода, делали порожек в один саман и облепляли болотом, затем замазывали разведенным коровьим пометом, «коровянкой». Этот порожек называли по-украински — «прысьба». Летом садились на нее, чтобы поговорить, служила скамейкой. Внутри землянки проектировщик деревянные полы не предусмотрел. Утопанный грунт смазывали «коровянкой». Внутри и снаружи стены красили белой глиной, которую копали в километрах четырех от села по дороге на Келлеровку. Стены после нее были снежно-белые, но очень пачкались. Снаружи дождь ее быстро смывал. С улицы заходишь в сенцы, затем в жилую комнату. Справа от входа отец сам поставил печь. Оказывается, он был еще и превосходным печником. Печи, которые он «муровал», стоят до сих пор, а это 50-60 лет! Кирпич для печей он формовал сам. Его печи не громоздкие, с превосходной тягой, и они отлично грели при минимальном расходе топлива. А топили соломой и кизяком. Дров не было. Для нас он поставил печь с лежанкой размером 1,5х1,5 м. Это было спасение наше от холода. На ней мы лечились от простуды. Если затопить печь, горячий дым, вырываясь в «комын» — в трубу, проходит под лежанкой и нагревает ее. Слева от входа стоял небольшой столик, сделанный самим отцом, с выдвижными полками (шुфлядами), где отец хранил весь сапожный инструмент, которым он после работы чинил обувь вечерами и ночами. Далее, слева, стояла деревянная кровать отца и мамы. Под окном стоял стол. Справа, за столом, стояла вторая деревянная кровать, на которой спала вся детвора. Располагались на ней «валетом». Кровати заполнялись соломой. Сверху солома покрывалась простыней. В кроватях заводились клопы, вши, блохи. Особенно донимали клопы отца. Он, бедный, чесался целую ночь. От их укусов тело покрывалось волдырями. Мыла не было в помине. Мама что-то наподобие мыла варила из золы, но оно, рукотворное, дезинфицирующих свойств не имело. Одежда, белье перед стиркой долго кипятились. Между кроватью и печкой, справа, стоял «куфэр» — сундук. Когда его открывали, играла музыка. За сундуком стоял «kolowrotok» — прялка. Последние два предмета были изготовлены еще в Польше.

Грамотей-проектировщик не предусмотрел помещения для содержания коровы. Спецпереселенцы сами достраивали хлев из дерна. Мышь не дура, холодной сырой осенью она перебралась из степи в теплые стены, особенно она облюбовала дерновые. Что только там не водилось: крысы, мыши, какой только ни хочешь масти — черные, серые, коричневые, рябые. Жиреющих на глазах котов от них уже тошнило. Свирепые крысы кидались на котов. Не всякий кот еще мог справиться с ними. Если кот умный, он нападал на эту гадкую тварь сзади и острыми когтями и зубами вгрызался ей в загривок. Крыса визжала и отчаянно сопротивлялась. Мы, мальчишки, услышав знакомый визг, спешили смотреть, как идет борьба не на жизнь, а на смерть. Кот-победитель противное мясо крысы не ел, а отгрызал ей голову. Такие коты у нас, голодранцев, пользовались большим уважением. Отрывая от себя, мы победителей

поили заслуженным в бою молочком. Мыши прогрызали даже потолок над нашими кроватями. Раз смотрим — и упала на голову мышь через проделанную в потолке дырку.

Стены домиков под тяжестью земляных крыш садились, штукатурка из болота трескалась и отдувалась. Постоянно нужно было ремонтировать. Комсомолец-прораб Перов пишет, что такие дома могут стоять 400 лет. Может и правда, если соблюдать технологию изготовления самана. Лепить его не из чернозема, а из глины. Главное, чтобы в стены влага не проникала. А ведь все делалось впервые и на скорую руку.

Электричества не было. Оно появилось у спецпереселенцев только через 20 лет! Какая это была радость! Школа, дома освещались керосиновыми лампами, семилинейными и десятилинейными. Но они расходовали много керосина. Для экономии делали маленькие лампадки «слепаки» (от слова слепнуть). Бралась бутылочка, обычно где-то на 20 грамм керосина, в пятикопеечной монете делалась дырочка, туда вставлялась трубка из жести, в нее втягивали фитиль из тряпки, фитиль помещали в бутылочку, он быстро намокал и пропитывался керосином, и его поджигали. При таком сильно коптящем свете мы на печи читали, и еще как читали, запоем! Родители нас гоняли, отнимали эти коптилки, вынуждали спать. Вспоминаю и думаю: «Как эти глаза до сих пор еще видят?» У многих портилось зрение.

Чернил не было. Писали разведенной сажей на кусках газеты. Кто что найдет. Вот в таких, примерно, условиях оказались потомки славной польской шляхты, которая в былые времена так же хорошо воевала, как и растила хлеб.

На таком же положении были и трудолюбивые немецкие колонисты.

Попирая элементарные нормы прав человека, советская власть на этих безвинных людей наложила следующие «ограничения».

Лишались свободы передвижения. По этой причине дети не имели возможности учиться в техникумах и ВУЗах.

Лишались избирательных прав.

Дети спецпереселенцев не призывались в Советскую Армию.

Запрещалось справлять религиозные обряды. Коммунисты изобрели свою религию — марксизм-ленинизм.

Соседи

С левой стороны от «сталинки», в которой жили мы и семья Кондрацких, проживали пожилые немцы Адольф Айхорст с супругой, он работал потом завтоком в колхозе. Через много лет с его внуком Густавом мы нашли отчеты о поступившем и отгруженном с тока зерне. Мы обалдели. В музей бы их сейчас выставить! Буква к букве. Цифра к цифре. Ни одного исправления, ни одной поправки! Как будто на пишущей машинке отпечатано! Вот это да!

В другой половине «сталинки» жил родной брат председателя колхоза Гайнрих Битнер с супругой Фридой. Была, видать, Фрида из очень богатой семьи. Жила в Гамбурге. На фото — в дорогой белой широкополой шляпе, в роскошном, до самой земли, белом платье. Прибыли в Казахстан с тремя детьми. Здесь господь посылал им детей почти ежегодно. Она чем-то напоминала героиню фильма «Тени исчезают в полдень» Пистимею Макаровну. Никогда не улыбалась, с детьми была сурова, ни с кем не общалась, дальше подворья своего не выходила. Привезла с собой ножную швейную машинку «Зингер» — большая роскошь! После войны, при заготовке леса, Гайнрих погиб. Вся тяжесть по обеспечению семьи легла на старших детей — Густава, Ванду и Вальдемара. Их сестра, моя одногодка, Валя, красавица с тяжелой судьбой, умерла недавно в Гамбурге. Царство ей небесное! Младшие дети, после Валентины, росли необычайно закаленными. Весной еще лед под водой, а они босые бегают по

ней, плещутся. Никогда не болели. Конечно, своей тяжелой долей немка была недовольна. Я сам слышал, как она со стоном выговаривала «Farfluchten land» («Проклятая страна»).

Напротив нас, через улицу, жил Крафт Эдвард с женой Матильдой и детьми: Адольфом и Бертольдом. У них был большой немецкий сепаратор на ведро молока сразу, с ручным приводом. После каждого оборота он коротко звонил «дзинь». Вся улица к ним ходила перегонять молоко. Во дворе у них был колодец, глубиной восемь метров. Вода в нем была солоноватая, но ее пили, на ней готовили, стирали, ибо другой не было. Примечательно, что от нее никогда не болело горло, даже если выпьешь ее со льдом и в сорокаградусный мороз. Через стенку с ними проживал Эмиль Райнгард, родной брат Матильды с супругой Линдой. У них были дети: Адина, Эля, Оля, Бэрта, Адольф. Обе семьи — прекраснейшие люди! Они для нас были больше чем родственники!

На нашем ряду справа жила семья Лисовских: Станислав, Броня и их дети. Отец работал зав. молочной фермой. Умные родители, хорошие дети: Стася, Леня, Толик. Мои друзья, вместе выросли. Напротив них, через дорогу, проживал Эмиль Шмитке с женой Фанкой. Эмиль до депортации служил в Красной Армии, в кавалерии, воевал в Средней Азии с басмачами. Пулеметчик, первый номер станкового пулемета «Максим». Не учли его боевые заслуги в НКВД, под общую гребенку попал.

Далее, в сторону колхозного двора, жил Гавлацкий с женой Ельжбетой и сыном Люсе, которого в селе любили все за его юмор. За ним жила семья Егера Райнольда, ветеринара, у них были две дочери-красавицы: Бэрта и Мильча, подружки моих сестер. На нашей улице также жила семья Рыхерт. У них были дети: Эдвард, Фридрих, Дына, Роберт, мой друг детства. Забыл, у кавалериста Шмитке были дети Адольф, Роман и Эльза. Роман — самый близкий друг детства. Жили близко от нас Башинские, Галяшинские, Лусовские, Зелинские. В первую «сталинку» со стороны площади заселилась семья Гомдт.

Село получилось компактное. Домики строились друг от друга на расстоянии не более 20 метров. С расчетом, что если комендант выйдет и глянет, все чтобы были как на ладони. Спецпереселенцы жили между собой спокойно, связанные одной горькой судьбой.

Jakie życie, taki zgon...

Какая жизнь, такая и смерть...*

Климатические и материальные условия, в которых оказались спецпереселенцы, были необычайно трудными. «Сталинки» годились как жилье только летом. Зимой в них было холодно. Стены внутри покрывал лед. После бурана вообще из нее невозможно было выйти, задувало снегом. В стенах заводились грызуны. Болели дети, да и взрослые тоже. Смерть посещала каждую семью спецпереселенцев. Страшная беда подкрадывалась и к нашей семье. Заболели мои братья: Вацлав в возрасте семи лет и Болеслав — полтора годика. Их так называли родители в честь выброшенных в Белое море энкэвэдэшниками родных братьев мамы. Они были светловолосые, кудрявые, как их погибшие дядя. Вацлав заболел водянкой. Его маленькое измученное тельце наполнялось какой-то жидкостью. Дите умирало в муках. Отец побежал в медпункт. Фельдшер, женщина, дверь не открыла и сказала: «Отойди, у меня рабочее время окончено», — а проживала она в этом же самом помещении, в котором находился медпункт. Отец продолжал стучать, она не открывала. В коридорчике стояла корзина, в ней лежали дрова, а наверху топор. Отец схватил топор и рубанул им по дверям. Прибежал комендант, навел на него револьвер, вырвал из трясущихся рук отца топор и почти раздетого повез в Келлеровку и сдал в милицию. Дежуривший следователь спросил у коменданта: «Где вещественное доказательство, топор, под суд его сдадим».

* Слова из польской песни.

Комендант в ответ: «Под суд не надо, хватит ему 15 суток, у него четверо детей, все больные, все помрут».

Перед смертью маленький Вацлав прошептал: «Mamusiu, ja na pewno niediugo umrę i pójdę do nieba i tam uproszę żeby Tata wypuścili z kryminalu i żebyście wszyscy wrócili do Polski...» («Мамочка, я скоро умру и пойду на небо, а там попрошу чтобы отца выпустили из тюрьмы и чтобы вы все вернулись в Польшу...»). Над умирающим собрались соседи: Кондрацкие, Крафты, Лисовские. Родственники. С потертых молитвенников, которые достались им еще от бабушек и дедушек, молились: «Otwórz mi bramę życia wiecznego i dozwól ze świętymi Twoimi radować się w chwale wiecznej...» («Открой перед нами ворота вечной жизни и позволь ему со святыми твоими радоваться хвалой вечной...»). А бедный страдалец жаловался на боли в животике. Держась ручками за раздутый живот, катался по кровати, потом просился на земляной пол. Несчастная мать рыдала, ломая руки, испуганно хныкали больные сестрички Валя и Стася. Притих в люльке маленький Болеслав. Вдруг внутри, в брюшке Вацлава как будто что-то треснуло и полилась с него красная жидкость... Успокоился навеки маленький мученик. Собравшиеся запели: «Porzuciła dusza ciało...» («Оставила душа тело...»). Добрые Райнгард и Крафт, из чего нашли, сколотили гробик. Похоронили на Абдельмане. В это время арестованный на 15 суток отец носил камни в Келлеровке под фундамент строящегося здания в самом центре. Подъехал на двухконке начальник района. «За что сидишь, Креницкий? Знаю, что в колхозе хорошо трудился». Отец рассказал свою историю. На другой день его выпустили.

Бедна на этом не оставила нашу семью. Состояние здоровья Болеслава ухудшалось с каждым днем. Опять в его измученном теле поднялась высокая температура. Мучил кашель, задыхался. Вспомнили, что дите некрещеное. Пришла Францишка Креницкая, на Украине работала при костеле... «Я тебя крещу во имя отца и сына и духа святого...» Стоящие возле нее погрузились в чтение «Верую...» После смерти Вацлава прошло два месяца, и не стало Болеслава. На похоронах немец Миллер Фридрих сказал по-польски: «Эти дети жили так мало, зато перенесли столько страданий...» Обезумевшая от горя мама еще долго рвала на себе волосы. «Не плачь, Хэлю, — успокаивал ее отец, — на все воля Божья... Самое дорогое, что у них было, отдали этой чужой земле и сказали Богу: "Будь воля Твоя как в небе, так и на земле..."»

Еще долго несчастной маме казалось, если она находилась в хате, что сыновья зовут ее с улицы: «Мамо!», а если она находилась во дворе — что они зовут ее из хаты. Было четверо детей, а осталось двое.

Часто на могилки умерших ходил с мамой лучший приятель Вацлава — Бертольд Крафт (вместе хорошо играли). Молились над свежими холмиками из сырой земли и мысленно зажигали свечи, ибо взять их было негде в этом пустынном, безжалостном краю. Пусть небесные светила светят вам вечно! Позже отец посадил в их изголовьях две сосенки. Прошло столько лет, и они стали огромными. В их крепкие стволы перешел прах крохотных тел, а души переселились на небо, потому что греха в их жизни не было. Сколько раз я видел при посещении их могил, как под этими соснами играют зайцы. Это ангелы спускаются к ним с небес...

Ну а дальше была война, трудармия, рабский труд, перестройка, гибель коммунизма и колхозного строя. Что создавалось с таким трудом, политики развалили.

Анатолий Гриб

Я родился в 1966 году, детство провел на юге Киргизии, в городе Узген. В семье было четверо детей, из которых я младший. Моя мама — Гриб Вера Игнатьевна — состояла в гражданском браке с моим отцом, которого я не помню. Всю заботу о детях мама несла на своих плечах. Она не владела грамотой, постоянно трудилась, зачастую работала на две ставки. В нашей семье поддерживались строжайший порядок и чистота. Этим мы сильно отличались от жителей провинциального среднеазиатского городка.

В доме всегда отмечали все религиозные праздники. Иконы с ликами святых висели в нашем доме, несмотря на проводимую атеистическую пропаганду правительства того времени. Помню, очень стеснялся того, что мама посещает церковь, а в доме висят иконы. В нашей семье был очень скромный достаток, но в противовес ему — бережливость и аккуратность во всем. По рассказам моих старших сестер, когда впервые на экранах советского телевидения транслировали польский фильм «Четыре танкиста и собака» по одноименной повести Януша Пшимановского, мама словно расцветала. Она понимала польскую речь главных героев, не дожидаясь перевода на русский язык. Позже мама, словно скинув незримые оковы, стала рассказывать нам о своем прошлом, которого мы не знали. Это были сбивчивые рассказы о ее далекой Родине, отце, маме и младших сестрах.

Она рассказывала о каких-то лесах, большом доме, военных, нагрянувших среди ночи, железной дороге и вагонах, забитых людьми. Где-то логическая цепочка ее рассказов обрывалась, но мы вновь и вновь просили маму делиться воспоминаниями. Она стала называть имена: отца — Игнаций, мамы — Зося (либо София), сестер — Нина, Лида, Елена и Татьяна. Но больше всего нас поразило то, что мама, по ее утверждению, родилась в Польше в семье польского лесника. По документам (свидетельству о рождении и паспорту) она была русская, и местом рождения указан город Узген Киргизской ССР. Она говорила о холодных бараках, в которых проживали поляки, о голоде и постоянном страхе.

Мама рассказала, что к концу 1941 года она со своей семьей длительное время ехала в железнодорожном эшелоне. По пути следования эшелона были случаи смерти среди пассажиров, которых попросту выкидывали из вагонов. Не хватало еды, воды, лекарств для больных, свирепствовала полная антисанитария. Беда не прошла стороной. На подъезде к границам Средней Азии заболела и мама. Это был тиф. Предположительно в Ташкенте ее, полуживую, отец на руках доставил в больницу. Эшелон убыл, и он вынужден был следовать за ним. Там, в вагоне, остались жена и четыре дочки, которым нужна была его помощь. Мама не помнит, сколько времени находилась в больнице. Чудом выжив, она без вещей и документов, побритая наголо, не зная русского и местного языка, оказалась в совершенно незнакомой ей стране. Тиф не прошел бесследно — была частичная потеря памяти. В поисках своей семьи она оказывается в городе Узген. Шла война, чтобы выжить, необходимо было работать. Какая-то азиатская семья приютила польскую девушку. Вскоре выправили и новые документы, в которых год рождения был изменен с 1926-го на 1928-й. В этих же документах изменили место рождения и национальность.

Длительное время мама жила в страхе разоблачения и не говорила на родном — польском языке. С начала семидесятых годов в СССР повеяло оттепелью. Мы узнали о прошлом мамы и пытались найти ее родных. Более двадцати лет писали в Москву, в «Бюллетень розыска родных», в Ташкент и в другие архивы. Но нигде не находили следов маминых родных. В последние годы жизни у мамы часто были нервные срывы. Она понимала, что матери и отца нет в живых, но всем сердцем верила, что живы ее четыре младшие сестры.

25 апреля 2012 года мама умерла на 86-м году жизни. До последней минуты мама ждала долгожданной встречи с сестрами. Она похоронена в селе Лысогорка Ростовской области. После смерти мамы прошло почти шесть лет. Моя сестра, Ирискина Татьяна Анатольевна, проживающая в городе Калининград, в интернете оставила воспоминания о маме. Через день к ней по интернету обратилась женщина, проживающая в Москве. Эта женщина (Марина Садлуцкая) обратила внимание на совпадение наших фактов, имен и фамилий с информацией, оставленной на сайте неким Jerzy Gruszkiewicz, проживающим в Англии. Далее, при огромной поддержке незнакомой нам Марины Садлуцкой, была проведена колоссальная работа по вскрытию и изучению сайтов и архивов, проверки информации человека из Англии. Как не верить в Бога, если произошло чудо! Оказалось, что Jerzy Gruszkiewicz — сын Janiny Gruszkiewicz (Нины). А девичья фамилия Нины — Grzyb (Гриб), и она младшая сестра моей мамы. И он

оставлял информацию о поиске своей тети Weroniki Grzyb (Вероники Гриб), т.е. моей мамы. Дальнейшие события развивались как вихрь. Оказалось, что живы три сестры моей мамы: Нина (Janina), Лида (Leokadia) и Татьяна (Teresa). Четвертая сестра — Елена (Helena) умерла в Варшаве. Наша встреча с сестрами нашей мамы произошла в Польше 26 августа 2017 года в городе Нидзица. Невозможно словами выразить радость и эмоции, переполнявшие нас. Это была встреча со слезами и радостью на глазах. Встреча, которую наши тети ждали 75 лет! Очень много информации я получил у своей тети Лиды — Wilarska (Grzyb) Leokadia. Она по образованию филолог, проживает в городе Вроцлав. С ее слов постараюсь изложить весь трагический путь семьи в хронологическом порядке.

Отставной офицер Войска Польского Игнаций Гриб с супругой Софией Клапоч проживали в деревне Синкевичи недалеко от районного центра Лунинецк. Это была восточная окраина Польши. Работал Игнаций лесничим и имел большой надел земли. К 1939 году в его семье было пятеро детей, а самое главное — все девочки. Старшая дочь — Вера (Weronika) 1926 года рождения — была кроткой и послушной дочерью. За ней следовали Нина (Janina) 1928 г.р., Лида (Leokadia) 1930 г.р., Лена (Helena) 1932 г.р. и Таня (Teresa) 1935 г.р. Непокойное было время. Игнаций, как бывший военный, прекрасно это понимал. Понимал, но не предполагал, что осенью 1939 года Польшу разделят на две части. Западную часть государства захватит Германия, а восток Польши перейдет к СССР и станет частью Белоруссии. Согласно заявлениям советского руководства, целью операции являлась защита украинского и белорусского населения восточных районов Польского государства в условиях его распада, произошедшего в результате германского вторжения. Беда приходит не одна. В декабре 1939 года политбюро ВКП(б) и Совет народных комиссаров утвердили постановление № 2010—558 о выселении осадников из западных областей БССР и УССР. Так 10 февраля 1940 года постучали и в дом Игнация. «Пятнадцать минут на сборы, вещей не более десяти кг на человека, иметь с собой документы», — набатом пронеслось по Синкевичам. Февраль, в переводе на польский, — лютый. Словно в подтверждение тому лютая стужа выдалась и зимой 1940 года. В феврале около 140 тысяч польских осадников и лесников с семьями были вывезены в спецпоселки НКВД в северных и восточных районах СССР. Вологодская область, куда была депортирована семья Игнация и Софии, граничит с Архангельской — самой северной областью СССР. По воспоминаниям тети Леокადии, в спецпоселке ежедневно проводилась «линейка». Это проверка наличия всех спецпереселенцев, после которой мужчин под конвоем уводили на лесоповал, а женщины и дети возвращались в бараки. Вследствие хронического недоедания, отсутствия теплой одежды и обуви, антисанитарии среди спецпереселенцев имелись случаи эпидемических заболеваний тифом, дизентерией, скарлатиной, чесоткой. В начале советско-германской войны вышел указ ПВС СССР № 19/160 от 12.08.1941 года «О предоставлении амнистии польским гражданам, содержащимся в заключении на территории СССР». В июле 1941 года Правительство СССР приняло решение разрешить формирование на территории СССР национальных комитетов и национальных воинских частей из чехов, словаков, югославов и поляков. В августе 1941 года командующим польской армией был назначен генерал В.Андерс. Вступить в формируемую польскую армию — шанс вырваться из «сибирского ада». Игнаций, как бывший офицер Войска Польского, записывается в армию генерала Андерса. Ориентировочно в ноябре-декабре 1941 года амнистированная семья Гриб, как и многие польские граждане, выезжает эшелонами в Среднюю Азию. Формирование польской армии планировалось провести на территории Узбекской ССР, Казахской ССР и Киргизской ССР. Фактически штаб армии Андерса находился в поселке Вревский Янгильского района Ташкентской области Узбекской ССР. Конечно же, Сталин понимал, что армия Андерса не будет сражаться на его стороне. Против Гитлера — будет, а за него — нет. Армия была сформирована, но из-за бесконечного саботажа со стороны советской администрации ее перебросили через Иран, Ирак и Сирию в Палестину, где она перешла под британское командование. И вновь

начались проверки, аресты, допросы. НКВД продолжил свою работу. Волна репрессий опять накрыла беззащитных граждан. Часть польских семей так и не смогла пополнить ряды армии Андерса. Они были разбросаны по отдаленным районам всей Средней Азии. На подъезде к городу Ташкент (возможно, Арысь) Игнаций был вынужден оставить старшую дочь Веру в больнице. Она была в бессознательном состоянии и, вероятно, болела тифом. Его жена София с четырьмя дочерьми оказалась в селе Чаян Байдибекского района Чимкентской области. Председатель колхоза имени Сталина, немолодой казах, поселил их в комнату одного из домов. Через трое-четыре суток свою семью отыскал Игнаций, но здоровье его очень сильно пошатнулось. Через день Игнаций Гриб скончался. Похоронили его местные аксакалы недалеко от большого хлопкового поля. София с малыми детьми осталась одна. Казалось, это — конец света, а впереди голодная смерть. Но вскоре в их комнату стали приходить люди, говорить на непонятном им казахском языке. Каждый приносил что-то из еды: кусочки мяса, лепешки, курт, какие-то сушеные фрукты. Подобные визиты продолжались постоянно. Каждая казахская семья делилась с ними куском хлеба. Дети стали играть вместе. Местную детвору поражали золотистые волосы младшей польской девочки. В селе ее прозвали «Алтыншаш», что означало «златовласая девочка». Лида (Leokadia) очень быстро освоила казахский язык и через три-четыре месяца уже свободно объяснялась на нем. Казахское население села Чаян принимало польскую семью за своих. Ни один той (праздник) не проходил без белокурых веселых девчат. София работала в колхозе и позже приняла решение отдать детей в детский дом. Старшая из девочек Нина (Jania) осталась с матерью. Детский дом находился в городе Туркестан. Это была единственная возможность жить, учиться и питаться. Алтыншаш была маленькой для учебы, но так красиво исполняла казахские народные песни, что ее выступления в детдоме стали постоянными. Лида прославилась как непревзойденный переводчик с казахского языка. У матери разрывалось сердце от разлуки с детьми. София надеялась на скорую встречу с ними. Настал 1946 год. По всем просторам Сибири и Средней Азии прокатилась долгожданная весть о возможности возвращения на историческую Родину депортированных граждан Польши и других государств. Но только родное село Синкевичи давно уже не принадлежало Польше. Формирование вагонов для отправки польских граждан проходило на станции Ташкент. Детей-поляков со всех детских домов готовили к отправке в Польшу. София со старшей дочерью Яниной возвращалась другим транспортом, ничего не зная о младших дочерях. Уже в Польше мать искала детей через Красный Крест. Встреча произошла в городе Квидзын. Не хватало только старшей дочери Вероники. После того, как Игнаций оставил Веру в больнице, сведений о ней не было. Все поиски сводились к нулю. Но сердце матери подсказывало, что дочь жива. После возвращения в Польшу София долго пыталась отыскать старшую дочь по линии Красного Креста. Время неумолимо утекало, как и сама надежда увидеть Веронику. С течением времени стали устраивать свою жизнь и младшие дочери. Некоторые еще учились, кто-то уже работал, создавали свои семьи, родили детей. Несомненно, героиней из них была Нина (Janina), которая родила двух дочерей и восьмерых сыновей. Моя бабушка — София (Grzyb Zofia) — в последние годы своей жизни жила с младшей дочерью Тересой. Умерла в 1982 году и похоронена на кладбище в городе Гдыня. Бабушка София — это маленькая, хрупкая женщина, которая прошла ужас репрессий, не сломалась в Сибири, выжила и сохранила детей в Казахстане, возвратилась на историческую Родину и была центром большой и дружной семьи.

В заключение своего повествования хочу выразить благодарность всем, кто, узнав об этой трагической истории длиной в 75 лет, оказывал помощь для встречи с родными. Сапаров Бекзат, проживающий в Алма-Ате, посетил село Шаян, встретился с 95-летним аксакалом, который помнил о польской семье. Я видел у всех знакомых и друзей желание хоть чем-то оказать содействие. И находясь в Польше, я слышал от своих тетюшек слова о бескорыстной помощи всего казахского населения. Это пример того, что, невзирая на различие вероисповедания, национальности и языка общения, могут жить в дружбе разные народы.

Герман Гуськов

Вопреки всем испытаниям

Матюшенко, Матюшенки... С детских лет на слуху эта фамилия.

«Завтра мы приглашены к Матюшенкам», — бывало, напоминала нам матушка. Глава этого семейства Яков Антонович служил паровозным машинистом на Московско-Курской железной дороге, а жена его Евдокия Григорьевна — бабушка Дуня — приходилась тетей моему отцу. Проживали мы тогда в подмосковном Люблине, а Матюшенки — в Китаевке, как назывался в быту Китаевский поселок, примыкавший к городу.

Мы с братом Олегом дожидаться не могли, когда наступит завтра. Визиты к Матюшенкам всякий раз бывали для нас волшебным приключением. В доме все держалось на бабушке Дуне. Она всегда приветливо встречала нас, угощая чаем и непременно вкусной домашней выпечкой. Чай же, помню, разливался из самовара. Для нас с Олегом это была экзотика.

Военную осень 1941 года Евдокия Григорьевна не пережила. Помню ее похороны. Написал «помню», а что за воспоминания-то? Отдельные мгновения. Мне было тогда шесть лет. Я спиной вперед сижу в санях, запряженных гнедой лошадкой. Левая моя рука лежит на крышке гроба. Видимо, обнимает домовину, а возможно, старается согреть бабушку. Уже установилась суровая зима, мороз был жуткий. Следом за саниями — немногочисленные плачущие родственники...

Сама же бабушка Дуня никогда прилюдно не горевала, и никто никогда не видел ее слез. Скорбела, уединившись. А ведь было от чего и о чем... В 1933 году ее старший сын Павел в одночасье был арестован.

Его биография на тот момент была краткой. Родился в 1902 году. В семье еще два сына и дочь. Он старший. Надежда родителей на старшего всегда велика. По окончании школы второй ступени Павел в семнадцать лет — ученик слесаря. В восемнадцать, сдав экзамен, работает на паровозе помощником машиниста. Это влияние отца. Кстати, младшие его братья Федор и Николай тоже служили на паровозах помощниками машиниста, а Федор Яковлевич, как и отец, стал машинистом. В 1923 году Павел, пройдя конкурсное испытание, поступает на рабфак, продолжая работать на паровозе. С 1925 по 1930 год учится в Московском высшем техническом училище, опять-таки не оставляя работы. После успешного окончания МВТУ он — инженер, старший инженер проектного отдела на заводе «Серп и молот» в Москве. На это судьба отмерила ему всего два года. А затем — арест по обвинению в принадлежности к контрреволюционной троцкистской группе.

Вместе с Павлом были арестованы его товарищи, имена которых я назову ниже. Все шестеро — выпускники инженерно-строительного факультета МВТУ, ровесники, объединенные не только студенческой дружбой, но и общими интересами. По давней

Гуськов Герман Александрович — заместитель начальника Управления федеральной государственной службы Президента России, ныне пенсионер. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

традиции они нередко собираются у Павла, порой засиживаются допоздна — дом большой, условия позволяют. Здесь было по-семейному уютно, Евдокия Григорьевна непременно озаботится, напоит, накормит. В былые годы друзья совместно готовились к занятиям, а теперь, собравшись за чаем, вспоминают былые студенческие годы, оживленные семинарские занятия, коллоквиумы, размышляют о будущем, обсуждают новые решения партии, мечтают...

Однажды появилась в этой компании некая особа, их ровесница. Привел ее и поселил в доме Павла его товарищ Сергей Галкин, который познакомился с особой, отдыхая в Крыму, и вывез «даму своего сердца» в Москву. Была она активистка, парттысячница, производственник-передовик и имела партийные рекомендации для поступления в вуз. Правда, был у нее муж, дети, но Галкин, вероятно, очень уж увлекся и был не слишком разборчив в связях.

Родители Павла Яковлевича приняли особу со всей матюшенковской сердечностью. Они знать не знали, что первые три дня по приезде в Москву она прожила в доме родителей Сергея. Однако его родители быстро распознали в ней злодейку и выдворили из дома, хотя и они, вернее всего, не знали, что она стукачка и вскоре доложит следователю ОГПУ: «За время моего нахождения в квартире Галкина мне удалось установить», что вся семья — «антисоветчики». Для того чтобы составить это суждение, ей хватило трех дней. «У меня сложилось определенное мнение», что все они входят «в контрреволюционную группу, которая связана с определенной контрреволюционной организацией».

Мне не хотелось бы называть ее имя, да и стыдно за нее. Поэтому обозначу ее как «S», по первой букве фамилии, которую она, кстати, подписываясь, тоже выводила в виде этой буквы латинского алфавита. Доносила по личной инициативе, никто ее не неволил. Вначале она оговорила своего бывшего возлюбленного, а затем заодно с ним и всех его друзей, разговоры которых слышала, живя в доме родителей Павла. Почему? Чем можно объяснить ее предательство? Именно предательство, никак иначе это не назовешь, — ведь она оклеветала людей, которые ее приютили.

Душа предателя — потемки. А потому вряд ли можно узнать, кому конкретно мстила особа — родителям Галкина, которые выставили ее из дома, или же самому Сергею, который чем-то ее обидел. Вот и наказала его: «Находясь в близких отношениях с Галкиным и живя с ним, мне неоднократно приходилось от него слышать явно контрреволюционные определения...», «он сразу показался мне подозрительным». А может, задел ее неосторожным словом в застольной беседе кто-то из молодых инженеров... Да это и неважно, главное — она умело отомстила, обрушив на обидчиков всю мощь государственной машины. Такое объяснение дает и заключение по данному делу, утвержденное Управлением КГБ при Совете Министров СССР по Москве и Московской области: «Основанием к возбуждению дела и аресту Матюшенко и др. послужили показания свидетеля "S"... из чувства мести». К сожалению, это заключение было сделано через тридцать с лишним лет после описываемых драматических событий — в 1966 году.

А тогда 17 января 1933 года органы ОГПУ Московской области выписали на имя Матюшенко Павла Яковлевича ордер № 490 на «арест и обыск». Согласно протоколу, в этот же день по месту его жительства был проведен обыск. В результате обыска в протоколе была сделана запись: «Взято для доставления в ПП ОГПУ Московской области... один сверток книг и тетрадей». Что это были за материалы, в деле не упоминается.

Как происходил арест? Привожу описание из воспоминаний Павла Яковлевича. В январе 1933 года «глубокой ночью больного гриппом, с высокой температурой (я бюллетенил) и, несмотря на возражения родителей и мои тоже, меня насильно одели, — сказав, что меня срочно вызывают на консультацию по одному якобы вредительски спроектированному проекту, и что я скоро вернусь домой, меня увезли из дома, прямо на Лубянку, где сразу же приступили к допросу и избиениям, обвиняя меня в контрреволюции и чтобы я подписал нужные им показания на меня и моих товарищей».

В день ареста, сразу после допроса Павла Яковлевича заключили в Бутырский изолятор. Основным и единственным свидетелем обвинения по заведенному делу «Матюшенко Павла Яковлевича и др.» была доносица. Никаких других доказательств вины обвиняемых найти не удалось. Но оказалось, что можно обойтись без них.

Во время допроса следователь угрожал, что подследственному и его родным придется плохо, если он откажется давать нужные показания. В итоге Павел Яковлевич не выдержал допроса, который продолжался много часов подряд, и признал все, в чем его обвиняли. Надо учесть, что он был серьезно болен, так что сил сопротивляться у него осталось не много, и единственное, чего он хотел, — это покоя. Он поставил подпись под протоколом допроса, который начинался словами: «Чистосердечно признаю себя виновным...»

Вряд ли он сдался бы, если бы был здоров. Ему уже доводилось сталкиваться со следователем, проводившим допрос. В заявлении на имя генерального прокурора СССР от 24 марта 1966 года Павел Яковлевич высказывает предположение, что поводом для его ареста в январе 1933 года послужило обстоятельство, имевшее место в конце 1932-го. Тогда, пишет он, его «вызывали на Лубянку д. 14 к этому же следователю, который впоследствии вел и мое так называемое "дело"... Он предложил дать ему обвинительный материал на сотрудников завода "Серп и молот". Я ему наотрез в этом отказал... Он тогда закричал и сказал мне, что я об этом пожалею. Я уверен, это единственная и самая главная причина незаконного моего ареста и обвинения».

Павлу Яковлевичу было предъявлено обвинение по широко известной в те времена статье 58 (пункты 10 и 11) УК РСФСР. Состояла статья из четырнадцати пунктов. Пункт 10 гласил: «Пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти... а равно и распространение или изготовление или хранение литературы того же содержания».

Через пару месяцев состоялся суд. Привожу сокращенную выписку из протокола заседания Коллегии ОГПУ (судебное) от 8 марта 1933 г.

«СЛУШАЛИ:

Дело по обв. гр. МАТЮШЕНКО Павла Яковлевича, ГАЛКИНА Сергея Дмитриевича и друг. в числе 4-х чел. по 58/10, 11 ст. УК;

ПОСТАНОВИЛИ:

1. МАТЮШЕНКО Павла Яковлевича,
2. ГАЛКИНА Сергея Дмитриевича — заключить в исправтрудлагерь, сроком на ПЯТЬ лет, считая срок с 17/I-33 г.
3. САДОВНИКОВА Бориса Николаевича,
4. АНДРОНОВА Владимира Петровича — заключить в исправтрудлагерь, сроком на ТРИ года, считая срок с 17/I-33 г.
5. ДМИТРИЕВА Сергея Ивановича,
6. СОРОКИНА Сергея Кирилловича — выслать <...> в Зап. Сибирь, сроком на ТРИ года, считая срок с 17/I-33 г.»

Вот и весь «приговор». Никаких мотиваций, доказательств.

Через десять дней комендант Бутырского изолятора и «нач. упр. КАРЛАГ ОГПУ. гор. Караганда» (так обозначена должность в документе) получают письменное предписание этапировать осужденного гр. МАТЮШЕНКО Павла Яковлевича в Караганду, где Павел Яковлевич провел определенный ему срок последующей жизни.

Ровно через год после высылки Павлу Яковлевичу предстоял очередной «этап», теперь в обратном направлении (из Караганды в древний город Дмитров). В это время начиналось строительство нового канала Москва—Волга и была острая потребность в инженерных кадрах. Павел Яковлевич пишет в своих воспоминаниях: «В марте 1934 года я был переведен в Дмитлаг НКВД, на строительство канала Москва—Волга».

Развернувшееся грандиозное строительство, трудовые успехи участников строительства канала были отмечены администрацией «Дмитлага». Поощрения удостоен и Павел Яковлевич. В 1936 году он был досрочно освобожден от исполнения наказания. Но и освободившись, продолжает трудиться в должности инженера-проектировщика в той же системе, как он пишет, «по вольному найму».

После завершения строительства канала его привлекают на инженерные должности на различные предприятия и строительные объекты. Его послужной список обширен: старший инженер проектного отдела на строительстве Куйбышевского гидроузла; технорук жилищно-коммунального отдела (Талдом); прораб ОКСа на строительстве угольно-промышленного предприятия (Нальчик). В начале июня 1941 года его приглашают на работу в систему Наркомата авиационной промышленности на оборонные предприятия — авиационные заводы в городах Кимры, Ржев. Занимая ответственные руководящие должности (начальника строительной ремонтной конторы, главного инженера ОКСа, главного механика заводов), он снискал уважение заводских трудовых коллективов и многократно поощрялся руководством и министерством. Более десяти лет он трудился на этих заводах, и все эти годы его работа высоко оценивалась и была отмечена правительственной наградой — медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», а также почетной грамотой Минавиапрома.

Удивительно, но я никогда не видел его с этой наградой на лацкане пиджака. Да и не упоминал он о ней. Отмечу, что природная скромность Павла Яковлевича была его отличительной чертой. Однако не исключаю, что награда была изъята у него при повторном аресте.

Но арест еще впереди, а в 1949 году он был откомандирован в город Ржев на восстановление разрушенного неприятелем авиазавода. Это был известный в стране завод № 493.

А через два года — арест в городе Калинин, ныне Твери. По странному стечению обстоятельств, произошел он, как и первый, тоже в январе и тоже в 17-й день месяца, но только спустя восемнадцать лет — в 1951 году. И на этот раз я не могу найти никаких объяснений тому, почему он был арестован. Во вновь заведенном деле говорится: «Матюшенко П.Я. совершил преступление, предусмотренное ст. 7 и 35 УК РСФСР и, принимая во внимание, что Матюшенко, находясь на свободе, может уклониться от следствия и суда, мерой пресечения избрать содержание под стражей». Обратим внимание, номера статей УК РСФСР теперь другие, нежели в 1933 году. Тогда, как помним, была статья 58.

Подписывать какие-либо протоколы или ордера Павел Яковлевич отказался. Теперь он выдержал прессинг следователей и дознавателей.

Проведенные обыски (один — по месту его жительства, второй — личный во внутренней тюрьме города Калинина) — никакой крамолы не выявили. Опять начинаются допросы. Каждый день. Точнее — каждую ночь. Потому как все они проходили исключительно в ночное время, с постоянными угрозами и физическим насилием, с одним только требованием подписать нужные следствию документы. Это продолжалось полтора месяца. И вновь и вновь звучал вопрос дознавателя: «Был ранее судим?» Ответ подследственного: «Да». И тут же следует вывод: «Значит, виновен». А коль виновен, следовательно, «опасен». И как завершение логической цепочки выводов: «Следовательно, является активным участником антисоветской организации».

Настойчиво повторяются надуманные обвинения. Павел Яковлевич продолжает игнорировать их. Не подписывает и очередные протоколы допросов. Чтобы сломить, его помещают в одиночную камеру, к тому же без окна. Он теряет силы, чувствует, что не вынесет страданий, и решает объявить «смертельную голодовку». Он ломает голову над вопросом: после освобождения в 1936 году я работал на оборонных заводах, занимал руководящие должности, по профилю работы имел доступ к секретным документам. Почему же следствие теперь мне не верит? И не находит ответа.

А следствие тем временем продолжается. 20 февраля выносится постановление о предъявлении обвинения. В нем, как и прежде, утверждается, что Матюшенко П.Я. достаточно изобличается в том, что до 1933 года являлся участником антисоветской террористической группы. Однако почему не учитывается, что по тому делу наказание уже исполнено? Павел Яковлевич делает заявление о том «что на все вопросы следователя он отвечать не будет, так как виновным себя ни в чем не считает». Один из документов в деле — врачебная справка, подготовленная тюремным врачом после медосмотра подследственного. Диагноз заболевания — «миокардит, стенокардия».

Павлу Яковлевичу в то время не было и пятидесяти, а сердце его уже изношено, хотя сам об этом он нигде не упоминает.

И вот наконец выносится обвинительное заключение. Это документ объемом всего полторы страницы, включая справку. Вот его краткое содержание:

«В Управление МГБ по Калининской области поступили данные о том, что МАТЮШЕНКО Павел Яковлевич являлся участником антисоветской группы. На основании этих данных Матюшенко 7 февраля 1951 года был арестован и привлечен к уголовной ответственности... По своей прошлой антисоветской деятельности и связям является социально-опасным. Допрошенный в качестве обвиняемого Матюшенко в предъявленном ему обвинении по ст. ст. 7-35 УК РСФСР виновным себя не признал.

На основании изложенного обвиняется:

МАТЮШЕНКО Павел Яковлевич в том, что по своей прошлой антисоветской деятельности и связям с преступной средой является социально-опасным, так как является участником антисоветской группы...»

Далее следуют подписи, дата, справка... В справке, кстати, имеется пункт: «Вещественных доказательств по делу нет». Пункт, заведомо ложный. Доказательства имелись! Правда, совсем не те, в которых нуждалось следствие, имевшее целью осуждение социально опасного субъекта.

У субъекта имелись характеристики, составлявшие на него на оборонных предприятиях, авиазаводах, на которых он долгие годы — довоенные, военные и послевоенные — трудился на руководящих должностях. Эти официальные отзывы изобилуют похвалами, отмечают его профессионализм, оперативность, заботу о людях и о производстве. Они характеризуют Павла Яковлевича как опытного руководителя, производственника, пользующегося доверием и уважением трудовых коллективов. Однако следствие не озаботилось приобщить эти доказательства к материалам дела.

К сожалению, Павел Яковлевич не оставил никаких предположений о том, почему был вторично наказан за преступление, которого не совершал. Могу лишь представить, что при его переезде в Калинин за ним последовало и досье на него, заведенное в органах государственной безопасности много лет назад. И кому-то было выгодно освежить папку новыми документами. Кто это был? Возможно, какому-то сотруднику органов необходимо было срочно выполнить план, а тут под рукой — готовое дело. Или же мой дядя, сам того не зная, обзавелся недоброжелателем на новом месте работы, а недоброжелатель имел возможность знакомиться с анкетами на работников в спецотделе предприятия. И возможность эту использовал. Вновь повторилась та же ситуация — маленькие люди приспособили страшную государственную машину для своих маленьких целей. Это именно то, что Ханна Арендт назвала «банальностью зла». Но вряд ли мы когда-нибудь узнаем истинную причину. Все это, разумеется, лишь мои предположения.

А на деле в мае 1951 года Особое совещание при Министре государственной безопасности Союза ССР рассмотрело дело Павла Яковлевича и вынесло постановление: «Матюшенко Павла Яковлевича, как социально-опасный элемент сослать в Кустанайскую обл. Казахской ССР сроком на ПЯТЬ лет, считая срок с 7 февраля 1951 г.»

Его отправили в поселок Федоровку Узункольского района Кустанайской области Казахстана. Здесь ему выдали его старую трудовую книжку, выписанную еще в 1939 году:

«Трудись, зарабатывай новый стаж...»

Вспоминаю, как бабушка наша — Елена Григорьевна, которая приходилась теткой Павлу Яковлевичу, навещала его вскоре после высылки в Казахстан. Полагаю, она не только провела племянника, но и поддержала его морально. Это ему было необходимо, хотя держался он стоически. В год второго ареста Павла Яковлевича она вышла на пенсию, а потому очень быстро собралась и пустилась в путь. Сборы в памяти не сохранились, но помню ее возвращение. Видимо, бабушка немало пережила в тех богом забытых краях и решила, что чехарда с арестами и ссылками племянника никогда не закончится. Однако Павел Яковлевич потом поведал нам, что тетушка привезла ему в ссылку новые силы и уверенность в будущем.

В марте 1953 года он направил в Президиум Верховного Совета СССР прошение об освобождении из ссылки, продолжая доказывать свою невиновность и ссылаясь на безупречную свою работу в прошлом. Через месяц МВД СССР уведомляет его, «что его заявление рассмотрено» и он «на основании Указа от 27/III-1953 года подлежит амнистии». Проживать теперь он может где угодно и наконец-то возвращается в Москву. Спустя двадцать лет. После смерти родителей. Однако оставаться в Люблино не хочет — его квартира после кончины родителей занята другими людьми. Конфликтовать он ни с кем не желает, а потому перебирается в подмосковную Апрелевку, где на известном в те годы заводе грампластинок ему была предложена работа в должности начальника отдела капитального строительства с предоставлением квартиры. Теперь он может воссоединиться с семьей — женой и приемной дочерью, ожидавшими его возвращения. Тогда же впервые увидел своего дядю Павла и автор этих строк.

В январе 1955 года Павел Яковлевич получает приглашение на работу в союзном проектно-институте «Гипрокинополиграф», что в центре Москвы. Его высокая профессиональная квалификация не остается незамеченной. Он назначен на должность старшего архитектора института и осуществляет авторский надзор за строительством фабрики офсетной печати в Дмитрове, производственного корпуса «Красный пролетарий», других объектов, а также большого количества жилых домов в столице и области.

В конце 1965 года, будучи уже на пенсии, Павел Яковлевич получает приглашение работать во вновь организуемом Специальном конструкторском бюро АН СССР. Это весьма престижная, интересная работа. Силы еще есть, квалификация позволяет, он дает согласие и приступает к обязанностям врио начальника отдела конструкторского бюро. Но начавшееся кадровое оформление дает сбой. Ему сообщают, что на должность начальника его назначить не смогут: «У вас прошлое...»

«Как же так? — справедливо возмущается он. — Я же амнистирован!»

Но в данном случае это, оказывается, не имеет значения. Амнистирован, то есть прощен. Прощен — стало быть, было за что прощать. Следовательно, совершил что-то преступное. И это «что-то» преследует его и будет преследовать весь остаток жизни.

Тогда он берет перо и обращается к генеральному прокурору СССР: «В 1953 году я был амнистирован из ссылки... отпущен на свободу», — пишет он и просит реабилитации, которая, помимо освобождения от уголовного преследования и снятия судимости, восстановит его в гражданских правах, вернет доброе имя, прежнюю репутацию.

Это его заявление было удовлетворено. Прокурор города Москвы внес в Президиум Московского городского суда протест, в котором отмечал, что «основанием к осуждению Матюшенко и других послужили их личные показания и показания свидетеля "S"» и что «расследование по делу проводилось с грубым нарушением норм УПК РСФСР, с материалами дела осужденные не знакомились...» и т.д. В итоге, после всех официальных процедур Павел Яковлевич был реабилитирован и по первому, и по второму делу. Однако силы и нервы у него уже на исходе. Тридцать четыре года нес он этот крест. Половину жизни...

Он никогда ни на что не жаловался. Старался не подавать и виду, что ему тяжело, что он опасно болен. Но теперь, поздравляя родных, сообщает, что занемог. Как же ему не хворать после многочисленных допросов, сопровождавшихся истязаниями?! Вспоминаю его частые сердечные приступы и неприменное обращение к лекарствам. Да и как сердце могло выдержать все, что пережито?!

28 декабря 1969 года Павел Яковлевич скончался. Причиной смерти стал инсульт. Провожали мы его в последний путь на местное кладбище, что на окраине Апрелевки. Стояли такие же суровые морозы, как и в памятном 1941-м, когда хоронили Евдокию Григорьевну, его матушку. А я, стоя над свежей могилой, думал, как много, вопреки всем испытаниям, удалось ему сделать в своей жизни.

Ольга Балла

Обитаемое пространство

Город-палимпсест

Родной город — как родной язык: не только другие города, но и смыслы, и чувства, и их соотношения убедительнее, точнее, безусловнее всего воспринимаются в его формах — да, собственно, в них только и воспринимаются. Выговариваются языком его пространств. Нужно специальное внутреннее усилие — никогда не достаточное вполне, — чтобы отделить пережитые смыслы от пространственных обликов, в которых те однажды явились. Отпечаток всегда останется. Да и надо ли отделять? Не только обедним — исказим.

Формами Первогорода, сколь бы ни были те — на внешний взгляд — косноязычны, выговорено *все*. (Когда это *все* проговаривается позже множеством других форм и языков, оно лишь утопает в избытке подробностей, ветвится в них, разрастаясь из одного ядра: в этом ядре оно было уже тебе дано с самого начала, и разворачивается изумленная работа узнавания. В некотором смысле все грядущее изобилие мира оказывается тавтологичным.) Это буквально образ мира, сумасшедший по интенсивности, данный тебе раз и навсегда в одном небольшом и по существу случайном облике. Опыт изначального — всегда опыт универсального и предельного: жизнь и смерть в их нераздельности смотрят на тебя его глазами.

Отношения со «своим» городом, тесно вплетенным в личные смыслы, — принципиально незавершаемый гештальт, открытая структура: всегда что-то может быть добавлено, и оно непременно закрепится здесь на уже накопленной основе — весь город работает как собирающая матрица личного опыта. В точности как ремонт, отношения с ним невозможно закончить — только прервать, всегда недосказанными, всегда на полуслове — и всякий перерыв будет по определению болезненным.

Для меня, человека глубоко автохтонного, прообраз и точка отсчета, матрица восприятия всех городов вообще — Москва. Каждый город, сколь суверенен ни будь, сколь ни отличайся он от моего Первогорода — непременно ухитряется обнаружить в себе что-то московское и сделаться мне понятным именно через это.

Москва — один из моих собственных обликов: со всеми сложностями, трудностями, неоднозначностями и неизбежностями отношения к ней, которые свойственны и отношениям с собственной неустранимой персоной. Она — и большая, бесконечная записная книжка, в которой поверх (не очень-то тщательно стираемых) старых записей накладываются все новые, новые, новые. Между мною и Москвой нет границ. Мы с нею срослись в одно большое, неуклюжее, нерасторжимое целое. Она — моя большая медвежья шкура, а я — ее внутренний медведь.

Она — даже почти уже и не город. Город — это просто один из аспектов ее существования. Иногда даже не самый главный.

Потому-то, видимо, на собянинские преобразования в Москве, на его зачищающую город практику у меня непопулярная точка зрения.

Нет, мне совсем не нравится то, что он делает (в частности, не нравится преобразование живых, сложных и многомерных некогда улиц в плоские пешеходные зоны, мне это видится вымиранием и упрощением живого города; не говоря уже о разрушении исторических зданий с многодесятилетней памятью). Мне мучительно насилье над городом, из которого уже вычищены таким образом некоторые ключевые точки моей памяти. Но, думаю я, что бы кто тут ни выделял, Москва не перестанет быть собой, она так устроена. Она будет восстанавливать себя из любого материала, любой материал перерабатывать в себя. Большевики перекраивали ее, снося непредставимо, недопустимо громадные пласты жизни и памяти, еще и гораздо круче. Москва имела все шансы стать чем-то до полного неузнавания другим — и все равно узнается.

Москва — город-палимпсест.

Этот город состоит из утрат. Пуще того — он создается ими, рождаясь из постоянных — и, разумеется, катастрофических — отрицаний самого себя.

В нем есть какие-то гармонические силы, залегающие гораздо глубже всего этого и позволяющие ему все это выдержать.

Есть города, в которых время копится столетиями, тысячелетиями, нарастает слоями на стенах, не разрушаемых на протяжении жизни неисчислимых поколений; которые все уже состоят из времени и памяти как из основного своего материала, почти вытеснившего камень, растворившего его в себе. Жизнь тихо, терпеливо, непрерывно намыкает в них себя, наращивает, будучи уверена, что никуда не денется. Входя в такие города (хоть в ту же Падую, которую не перестаю вспоминать, прожитую на протяжении одного-единственного, огромного, интенсивнейшего апрельского вечера, — бывает опьянение городами, интоксикация городами? — еще как бывает), входишь сразу в плотную-плотную — почти твердую — толщу чужих жизней, их смыслов, предмыслий и снов, в надышанный поколениями воздух.

Но Москва, которая всю эту нарощенную шкуру время от времени резко и болезненно с себя сбрасывала, тоже ведь — вся целиком — состоит из времени и памяти. Это и ее основное вещество. Только содержится оно в воздухе — и вот уж оттуда точно неизъяснимо.

Сколько ни соскребай написанное, все равно будут проступать сквозь новейшие записи старые соскобленные строки, а еще того сильнее — основа, которая все их держит, все их превосходит. Станным образом, город — всякий город — создается не зданиями, даже не комплексами их, не теми структурами, в которые они срастаются. Он создается идеей, разлитой в воздухе, впитанной в изгибы пространства, в землю, в стены каждого из нововозводимых и новоразрушаемых зданий. Дома, улицы, кварталы, районы замышляются, появляются, исчезают, забываются, вспоминаются и забываются снова, а город, упрямый и упорный, — остается.

Москва вся изъедена норами времени. Есть места, где я «проваливаюсь» в 30-е, например, годы — когда не только меня, но и моих родителей не было на свете, а я проваливаюсь в них, как в чувственную реальность. Есть места, утягивающие в 50-е, 60-е, 70-е; есть те, что засасывают в чужие жизни, и уж подавно много таких, которые отправляют в мои собственные другие возрасты. Москва — магический город.

Но главное, центральное, самое глубокое, совпадающее с первичным молчанием — это Юго-Запад.

Он расходится концентрическими кругами от своего порождающего эпицентра, от самой горячей и глубокой своей точки — от Красных домов на улице Строителей (шелестящее, желтое, прохладное имя — уравнивающее раскаленность этой точки, смягчающее ее, делающее ее выносимой).

Красные дома: точка сборки

В дошкольном детстве я была уверена, что живу в Центре Мира. Не сомневаюсь, что такая уверенность была в свое время у каждого, но у меня-то были осязаемые доказательства! Ведь я жила в Красных домах, от которых по красной ветке метро можно прямо и быстро доехать до Красной площади, — и все это в городе, обозначавшемся на некоторых картах красной звездой! За минувшие с тех пор десятилетия каждое из этих доказательств почему-то утратило свою убедительность (хотя да, по-прежнему и Красные дома, и красная ветка метро, и Красная площадь где-то у нее посередине — все на месте, разве что без красной звезды) — чувство центральности, как ни странно, осталось в полной своей силе.

В смысле «экзистенциального рельефа» это место, где обитаю я и по сию минуту, — место максимально *низкое*: все окрестное и неокрестное пространство, по моему чувству, мягко, плавно, но неостановимо стремится сюда, стекается к нему, как в воронку. И только здесь останавливается, замирает в блаженном спокойствии. Это *абсолютная точка* пространства (причем, как ни смешно, центр — мира, да, — находится не в том углу дома, где мой подъезд, а в центре двора, где фонтан. Она и сегодня незыблемо там: *низкая и светлая*).

Очень люблю эти места — как человека. Чувствую с ними сильную телесную связь.

Здесь хорошо дышится. Сам вид этих мест сообщает мне особенную — спокойную и надежную — внутреннюю свободу (состояние, вообще мало мне свойственное, но здесь его можно черпать горстями, грести охапками), и нигде не бывает надо мной так много неба, как над Воробьевыми горами. У этих мест есть свое время. Здесь всегда чуть-чуть — всегда, в любое из времен года — записанная на эти пространства, как на пластинку, ясная ранняя осень, любимейшее и главнейшее из состояний мира. Здесь человек (во всяком случае, если он — я) всегда получит свой глоток сентября. А во дворах Красных домов — всегда немного густой июль, склоняющийся в август, спелый, как малина, с большими запасами тепла внутри, на все холода.

Жить на одном месте — предприятие из увлекательнейших и, разумеется, из самых глубоких.

Время — влага, и у него бывают глубокие затоны. Есть предметы, сырые от времени. Непроходящей сыростью.

Впитывая время, насыщаясь им, предметы тяжелеют. Наливаются соком и (горькой) сладостью, как спелые плоды. То же относится к пространствам.

Здесь — пространство тяжелое, сладкое. Оно не снашивается от многолетнего употребления, не притупляется, но наоборот — нарастает. Наполняется глубиной.

Оказывается, можно добывать глубину простым многолетним обитанием на одном и том же месте, даже без специальных усилий — глубина оказывается естественной производной существования.

Его надо всего лишь накопить и сгустить.

Чем дольше живешь, не меняя пространственных координат, тем больше опыта аккумулирует в себе обитаемое пространство, тем более насыщается оттенками и подтекстами, тем более оно стереоскопично — и голографично: по любому его сколку восстанавливаешь всю свою, и не только свою, жизнь; каждый его фрагмент прозрачен до непроглядного дна и светится. Разумеется, к некоторому возрасту не избежать перенасыщения пространства этими подтекстами: оно уже слова тебе в простоте не скажет, каждая его деталь подвергается бесконечному уточнению и превращается в овеществленную память, уводит в воспоминания о воспоминаниях, в воспоминания о воспоминаниях о воспоминаниях... Каждая его черта своим существованием отсылает к томам примечаний и комментариев, которые ты не можешь не читать, хоть

зажмурясь: будешь считать их всем телом, по рельефу, по объемам воздуха. Пространство само превращается в твое собственное тело; без него тело как таковое, не говоря о душе, утрачивает объем, становится лишь заготовкой, возможностью самого себя — лишь в привычном, накопленном обиталище обретая полноту реальности.

«Чужая» среда для нас нема, или мы способны расслышать в ней только самые общие и самые грубые сообщения, окрики, сказанное в лоб. «Свое» — царство оттенков, нюансов, обертонов, намеков.

«Собственный» город — жирная почва, на которой все время растешь. Ее невозможно истощить: она постоянно обогащается, нарастает. Чем дольше живешь в городе, тем больше есть что ему сказать (и о чем с ним помолчать, естественно).

Каждое движение здесь, по видимости легкое (потому что автоматическое: ну кто думает о том, как он спускается по лестнице или вызывает лифт, как привычно срезает дорогу через школьный двор, как ходит через ту, а не через эту арку, потому что так однажды пошли в 1983-м — и с тех пор, в память об этом, *традиция?*), на самом деле многократно утяжелено: облеплено ассоциациями, памятью о многочисленных своих повторениях, обременено далеко вглубь уходящими корнями. В «чужой» среде мы выполняем в значительном объеме «голые», едва ли не асемантические действия, точнее, с одной только «прямой» семантикой, почти без подтекстов.

И еще: живя в одном и том же пространстве долго-долго, однажды вдруг ловишь себя на мысли, что ведь оно — которое ты застала при рождении практически готовым — моложе тебя. Потому что куда более тебя, скоропреходящей, мимолетной, переполнено возможностями и своим огромным, уже неизвестным тебе будущим.

И распаивается в это будущее так же безоглядно, как и полвека назад.

Изначальные пространства — дом и двор младенчества и детства, их окрестности — воспринимаешь, с самого начала и потом всегда, помимо их «красоты» или «некрасоты» (в самом раннем восприятии нет этих категорий; когда появляются — не помню). Видишь их как иносказания собственной внутренней структуры, нет — как ее прямую речь. Одна часть двора означает страх, другая — защищенность, третья — надежду, четвертая — глубину... Они означают их до имен, прежде (словесного) языка, потому что они сами — язык. На это первоувиденное, первопережитое всю жизнь, как на основу, хотя бы и не осознаваемую, укладывается, его форму принимает все, что будет пережито. Оно точно, без зазоров распределяется по квадрату изначального двора.

Юго-Запад: От земли до неба

Юго-Запад. Беляево, Коньково, Тропарево-Никулино. (Что ни имя — то «круто налившийся свист», горячее от смыслов, скачущее от нетерпения быть — именная мячики, только лови!) Проспект Вернадского, в самом имени которого мне всегда чудился крепкий горный воздух, вот это «рн» — будто усилием одного движения забитый нос прочищается, и начинаешь дышать, — проспект Вернадского «на выдохе», там, где скатывается к улице лобастого Лобачевского и, пересекши ее, совсем уже впадает в окрестности метро «Юго-Западная» — живое воплощение открытости, даже распахнутости. Веселой и умной неготовности существования. Места, жарко-родственные моему черновиковому Чертанову (а то, в свою очередь, — всегда весне, ранней, безалаберной, неряшливой, черные проталины из-под снега, солнечные кляксы недалекого еще небытия, жизнь пробует себя на растущий зуб, на бьющий озноб) — и началу жизни.

Первые ее пробы, серые и грубые — и тем более настоящие. Юность — еще до обрастания красотами и защитами более поздних возрастов. Грунтовка холста; первые неумелые на нем краски.

Здесь всегда весна, даже когда осень, даже когда зима или вообще какое-нибудь невыносимое в своей плоскости лето. Здесь нормально — и даже должно — быть несовершенной, незавершенной. Перерастешь же.

Здесь все — рост.

Жизнесмерть моя, конценачало. Как не просто близко — едино и взаимопроникнуто в них все. Все мои начальные и рубежные времена, тучные от возможностей (как грозовые тучи! — и да, они не замедлили пролиться дождями), гудящие от роста. Близкие совсем.

Сюда — за чем бы ни отправлялась — всегда ходишь подпитываться началом, размахом молодости (от «Университета» до «Юго-Западной», от «Юго-Западной» до Очакова — все она!), переполняться им.

А вот если в другую сторону, до Воробьевых гор и Лужников, — там уже чистая — хотя и телесно переживаемая — метафизика.

Лужники — линза пространства, собирающая в себя небо. Ленинские-Воробьевы горы — первый, еще младенческий, опыт крупности и смелости существования. Это место, где жизнь крупна, максимальна, предельна, — даже когда просто там стоишь.

Мне кажется, на меня повлиял сам рельеф Воробьевых гор, территория Университета, по которой в разных обстоятельствах, на разных этапах жизни, включая самые начальные, много хожено и в разговорах и молча, — в смысле общего чувства жизни. Повлиял прямолинейный размах этого пространства (в нем само слово «пространство» разворачивается с сильным хлопком, как большой парус, — и чувствуется его жесткая, шершавая парусина), небо над ним, вид Лужников и Москвы со смотровой площадки — самим количеством неба и чувством мощного тела земли. Мне давно подозревается (скорее всего, ошибкой, — но это же *моя* ошибка, меня она и формирует, — на правах внутренней истины), что тот, кто как следует, прочувствованно стоял под этим небом, уже никогда не согласится внутри себя на мелкость, узость и ограниченность, всегда будет тосковать по крупному и тянуться к нему.

География ли это? География — крупнее, масштабнее, а тут — скорее, топография, ландшафт.

Это — пространство требовательное, категоричное и щедрое, дающее одним большим жестом все бытие сразу: держи. И знает, что удержишь.

Мне кажется, что именно под влиянием этого ландшафта с его образом в качестве внутреннего стимула мне и по сей день хочется расти во все стороны — и быть прямой, смелой и сильной, как линии, его образовавшие — и крепко держащие его над небытием.

Воробьевы горы и Лужники всегда, начиная с младенческих первовпечатлений, были пограничной областью между землей и небом, принадлежащей столько же первой, сколько и — если не больше — второму. И вообще не удивлюсь, если этот стадион, летающая инопланетная тарелка, поднимется однажды да и улетит. А вслед за ним и гигантский звездолет ГЗ МГУ, а уж за ним — и мы все.

Отступление: Черновик бытия, помарки на полях. Чертаново

Очень возможно, для полноценной душевной динамики, для качественного смыслогенеза человеку необходимы и родины — то есть точки становления (а они, да, множественны) — утраченные, куда можно и необходимо время от времени ездить за подлинностью существования. Тут важно само напряжение утраты, сама задаваемая ею дистанция.

Такую роль выполняет у меня Чертаново — один из не самых изначальных, но коренных топосов детства.

Чертаново — черновик моего бытия, быстрыми небрежными штрихами прочерченная его, будущего, схема. (Метро «Университет» — густой его замес, замешивание материала для его лепки.) С Чертановом связаны несколько огромных, интенсивных лет детства. И эти годы до сих пор огромнее всех остальных — соперничать с ними в огромности способно только младенчество. (Но оно, конечно, и не соперничает — оно тихо довольствуется своим.)

Чертаново — пространство живого возникновения.

Как сиюминутные впечатления помню деревню и сады вдоль Варшавского шоссе сорок с лишним лет назад, — огромный страшный чуждоватый мир по сравнению с моей уже тогда обжитой улицей Строителей — и новорожденные кварталы Чертанова, которые, о чудо, — были младше меня, совсем ведь маленькой. Чистая магия — на моих глазах рождался город! И через раскисшие от грязи пустыри вели доски, по которым ходили от дома к дому, и дома были такими новыми, что еще не вполне домами.

Сметанные размашисто и торопливо, на живую нитку, слишком простые внешне, чтобы выглядеть настоящими, — дома по Кировоградской, Сумской, Днепропетровской, Чертановской казались временными: поспешными набросками того, чему только предстоит состояться.

Чуть позже на моих глазах строились дома Северного Чертанова — долго, долго, как казалось тогда, детское время длинное, — и неизменно волновали воображение. Мнилось, в них должно быть совершенно особое состояние времени-пространства, позволяющее путешествовать во времени (любимая до навязчивости, если не сказать — до одержимости, идея детства) или улетать в космос прямо на этих домах, как на ракетах. Казалось, там должны жить необыкновенные люди — или, если они вдруг обыкновенные, то, пожив там, должны необыкновенными становиться. Рассказывали, будто там есть двухэтажные квартиры, что опять-таки воспламеняло воображение и почему-то вселяло в мой юный ум идею (впрочем, тоже любимую с младенчества до одержимости) двойственности бытия, тайного — а то и явного — близнечества вещей. Мечтала попасть внутрь — ни разу не случилось.

И даже теперь, когда новостройки семидесятых постарели и обветрились, во мне жива новизна этих пространств, их юная, негнущаяся жесткость, их удивленность самим себе.

По этим местам хорошо ходить и думать (по крайней мере, мне). Они и в детстве представлялись, и, раз так впечаталось тогда, то и теперь кажутся идеальной рамой для самосознания: с их сдержанными, небрежными, а теперь уже и заметно усталыми формами. Они не навязывают себя восприятию, позволяют ему работать в своем ритме, не отвлекаясь на окружение. Такого, конечно, не делают мои родные окрестности Ленинского — Ломоносовского, которые сами по себе — полнокровная, самовластная речь. Их надо слушать и слышать, они много чего сообщают (представляю, каково человеку, живущему, да в повседневном режиме, в совсем насыщенных и эстетически напряженных городах, таких, как, например, Прага. Нет, я себе этого не представляю).

Чертановские улицы — пространства на грани бормотания и молчания. Пространства шуршащей внутренней тишины, тихого дыхания. Пространства для внутренней жизни.

Мне и сейчас иногда (как приеду туда, так особенно) хочется там жить. Все воображается, что это задало бы жизни какую-то совсем другую — и уж конечно, более правильную — формулу и форму. Впрочем, несбывшееся — великий утешитель.

Внутри внешнего: так души смотрят с высоты

И только в этом марте — впервые в жизни, во втором ее полустолетии — попала я по прикладной рабочей надобности внутрь Дома преподавателей на Ломоносовском, на Той Стороне Ломоносовского, на дальнем его берегу, — в дом, который все детство воображался мне далеким волшебным замком. Мне и по сию минуту странно и волшебно, что он настоящий и там тоже живут люди, вполне сопоставимые по настоящести со мною недостойной (ведь по идее-то так быть не должно, жить там должны, разумеется, духовные сущности, и находиться он должен, конечно, в другом измерении). Впервые в жизни увидела, как выглядит с высоты его десятого этажа (так души смотрят с высоты) пространство, которое я уже то самое второе полустолетие топчу пешком, терпеливо проецируя на него жизненные смыслы, — смиренная, хорошо обжитая горизонталь стремительно приросла, расширилась, перевесилась дерзкой, головокружительной, распахнутой вертикалью. И Боже мой, даже теперь, на шестом печальном десятке лет, это немедленно предстало мне как очередное доказательство таинственной неисчерпаемости изначально обитаемого мира.

Смешно сказать, стыдно признаться: Рим и Иерусалим, Афины и Стамбул не потрясли меня так, не трогали так сильно, так необычно и точно, как вид двора дома № 18 по Ломоносовскому из дома № 14 по тому же проспекту, двора, через который хождено столькими многократными, не имеющими никакого общекультурного значения путями. Потрясали, конечно, и трогали, но совсем иначе — и да, без такого уязвления в самое сердце. По той, на самом деле, самоочевидной причине, что Рим и Иерусалим, Афины и Стамбул — это обо всех, о человечестве вообще, а двор дома № 18 сверху — это только обо мне, о моей единственной жизни и о других единственных жизнях, сплетенных с моею одной из важнейших, из не вполне вербализуемых тайн: тайной пространственно-биографической общности.

Сильнее этого разве что виды двора Красных домов из не виданных прежде точек. Но то вообще сплошная магия, имеющая дело с корнями бытия, о которой правильнее всего, точнее всего — молчать.

В силу того простого, случайного и непреодолимого обстоятельства, что в этих пространствах начиналась моя жизнь — а начиналась она долго-долго, так долго, что и теперь еще не может привыкнуть к тому, что не начинается, не умеет в это поверить, — здесь все пропитано будущим, переполнено им. Были огромные, необозримые запасы его здесь в шестидесятых (я их еще помню!), в семидесятых, в восьмидесятых, даже в девяностых, даже в двухтысячных. Было бы неприлично признаться в том, что им же было полно все здесь даже в две тысячи десятых, но ведь правда же было. Эти пространства так долго, подробно и внимательно обещали будущее, так долго означали его, что стали просто тождественны ему, стали воплощенной перспективой, осязаемым, твердым, надежным обещанием. Прошлого, которое они в себе накопили за все эти десятилетия, просто не получается вспомнить без огромных запасов будущего в нем. Эти улицы, дома и дворы и сию минуту полны свежим, крепким будущим, как воздухом. Пока я здесь, все оно — во всей его неисчерпаемости — со мной. Все — здесь и сейчас.

Кажется, останься я без этих пространств — осталась бы без пластического чувства будущего, без убедительного, мускульного переживания самой его возможности.

И гораздо больше всех странствий по всем мыслимым странам света дает мне, как ни дико звучит, путь к дому через дворы от метро «Университет» — с терпеливыми его ежедневными повторениями. Это одна из самых насыщенных, самых всеговорящих дорог на свете — да, собственно, самая.

Другие города и земли острее всего как феномен воображения. Впрочем, как такой феномен вообще все острее всего.

И только дорога к дому от метро «Университет» — реальность.

Елена Коняева

«Когда Земля, начав вращенье...»

*Моей выпускнице
Алисе Зылевой,
ставшей балериной,
несмотря ни на что...*

Двадцатипятилетний венский скрипач Алоизий Людвиг Минкус, отправляясь в Россию на заработки и страстно желая устроиться в любой — хоть в крепостной — оркестр, вряд ли мог предполагать, что впоследствии станет уважаемым профессором Петербургской консерватории Леоном Фёдоровичем Минкусом, вписав свое имя в историю Российских императорских театров.

Из шестнадцати же балетов, сочиненных им, через двести лет останется два, горячо любимых русской публикой, — таинственная «Баядерка» с тридцатью двумя танцовщицами, бесконечно возникающими из воздуха в акте «Тени», и блистательный «Дон Кихот» с участием всех балетных звезд трех веков, включая уходящий XIX и начинающийся XXI, — от Тамары Карсавиной и Ольги Спесивцевой конца позапрошлого века, Майи Плисецкой и Рудольфа Нуриева прошлого века до Дианы Вишневой и Светланы Захаровой нынешнего.

И даже фигуристка Алина Загитова триумфально-победно ворвалась в этом году на олимпийский лед с «Дон Кихотом»...

Парижский танцовщик Мариус Петипа, приехавший в Россию чуть ранее Минкуса, оценил не только материальную обеспеченность и императорский патронаж искусства в России — Россия виделась ему тем нетронутым райским уголком, где семена высокого творчества упадут на благодатную духовную почву, а балет — эта воплощенная в земной энергетике мечта о летящих ангелах небесных — станет учением, стремлением и образом жизни.

Он торопился, подгоняя свою мечту: танцевал главные партии во французских и итальянских балетах Санкт-Петербурга, сочинял большие многофигурные спектакли с техническими эффектами, заказывал музыку под уже продуманную собственную композицию и просчитанные такты, дружил с Петром Ильичом Чайковским, делал русскими французско-немецкие сказки о спящей красавице и злом духе Ротбарте и вырашивал артистов, свободных от штампов и напыщенной театральности..

Елена Коняева — учитель русского языка и литературы гимназии № 12 г.Белгорода. В 1979 г. окончила МГПИ им.Ленина. Почетный работник общего образования, победитель Всероссийского конкурса лучших учителей России 2007 г. Постоянный автор «ДН». Живет в Белгороде.

Петипа скручивал свою жизнь в пружину. Он, подобно Блоку, мог бы провозгласить:

О, я хочу безумно жить:
Всё сущее — увековечить,
Безличное — вочеловечить,
Несбывшееся — воплотить.

Блоковский императив для французского балетмейстера стал реальностью судьбы: сущее — увековечилось, безличное — вочеловечилось, а несбывшееся — воплотилось.

Балет как «душой исполненный полет» стал частью русского национального сознания, постановки Петипа — художественным эталоном балетного искусства, а сам он — популярнейшим артистом и хореографом в царствование Николая I, Александра II, Александра III, а кроме того, героем фильма моего детства «Третья молодость».

Маленькой девочкой из южного русского городка, окруженного меловыми горами, я погружалась в неясный сон-путешествие — в щемящую музыку «Лебединого озера» или умиротворяющей «Жизели», в драматическое торжество «Щелкунчика». Музыка и слившийся с ней танец давали возможность гармонии и красоты на Земле — той красоты, без которой и жизнь не в жизнь, и радость не в радость.

Я родилась в том году, когда Уланова-Джувьетта впервые блистала в Covent Garden. Орбита ее существования, запредельно далекая, тем не менее, несла свой свет и тепло, семена махнули в рост, и спустя почти тридцать лет я могла рассмотреть свое божество невооруженным глазом — совсем рядом, с высоты бельэтажа, я видела ее аккуратно уложенные волосы, изящную ножку в туфле на высоком каблучке, энергичный взмах ее рук, обращенный к Григоровичу... Жюри обсуждало конкурсантов-участников Международного московского конкурса артистов балета — многие эксперты и любители отдавали пальму первенства Нине Ананишвили.

И Екатерина Максимова, облитая черным платьем, садится в партере Большого — снимался фильм «Фуэте», и к ней немедленно выстраивается очередь за автографами.

А вот и Владимир Васильев с большой кинокамерой и, кажется, ждет еще кого-то...

Галины Улановой уже не видно — но на сцену одним прыжком, зависающим в воздухе, — без музыки — явился сияющий «солнечный мальчик» Вадим Писарев из Донецка! Зал ахнул, танцовщик медленно, торжественно приземлился — и вот тут-то очнувшийся оркестр расколол воздух яростной вариацией из «Дон Кихота» все того же бессмертного Минкуса, а респектабельный зал взорвался футбольным свистом и криком!

Те, кто успели выйти из ложи в антракте, услышав рев публики, попытались вернуться обратно, но не тут-то было! Все были одержимы желанием увидеть чудо природы собственными глазами, так что вход был закрыт плотной толпой...

Дело было, естественно, в Большом, и нетрудно вычислить — когда: пятьдесят шестой плюс двадцать девять — восемьдесят пятый, разгар перестройки, встреченной мной в Визенбурге — восточногерманской, или гэдээровской языковой школе, где юные берлинцы, саксонцы, мекленбуржцы изучали русский язык под чутким руководством носителя языка, то есть меня, а в отпуск можно было вернуться в Москву, домой, поехать в Сочи.

Танец и музыка бродили во мне, как молодое вино, так что, отдыхая в Сочи, в пансионате «Знание», по путевке, полученной почти бесплатно за прочитанные на предприятиях родного города лекции по литературе из цикла «В рабочий полдень», я услышала от обиженного поклонника, увлеченного неторопливой беседой на балконе: «Что ты поворачиваешь голову на танцплощадку, как боевая лошадь на звуки трубы? Что ты там нашла?»

Лошадь, умное и чуткое животное, сопровождала мудрецам-физикам из пансионата «Знание». Она задумчиво вздыхала за спиной шахматиста, поглощенного игрой на скамейке возле входа. «Это мой запасной конь», — не поворачивая головы, бросал он, а после партии в шахматы до самой темноты читал всем желающим лекцию о «Шаттлах». Звезды мигали и падали в чернильное море, шумел прибой, сладко пахло японской акацией и магнолией.

Звезды сошлись в Германии в конце восьмидесятых.

Мы сразу заметили друг друга в Берлине, в советском посольстве — Люся, с ее королевской посадкой головы, и я, молоденькая учительница русского языка, преподававшая в старинном замке Визенбурга и постоянно хлопавшая ресницами от изумления — неужели это я? в сказке? Замок был превращен в школу-интернат после 45-го года, владелец скрылся в Западной Германии, в высоком трехэтажном корпусе, кольцом замыкавшемся в сторожевую башню, звучала русская, английская, немецкая речь. Диктуя диктанты, я смотрела из окна на парк с редкими породами деревьев, на лебединое озеро в конце главной аллеи — лебеди были настоящие.

Люся — балерина Малого (сегодня вернувшего себе старинное имя Михайловского) театра оперы и балета, заслуженная артистка РСФСР Людмила Владимировна Шилина¹ — работала приглашенным педагогом в Берлинской Staatsballettschule. Как и все петербуржцы (посмотрите на Фрейндлих), считала пафос в повседневности излишним. Обладая здоровой самоиронией, просила называть себя именно так, по-домашнему — Люся.

— Там у вас такой Олег Виноградов, — протянула я, немножко играя своей осведомленностью. Об этом постановщике ходили легенды. Еще в семидесятых балетмейстер Виноградов сделал «Слово о полку Игореве» с декорацией — увеличенным древнерусским текстом. В те времена, когда мы уже знали фильм Андрея Тарковского «Андрей Рублёв», казалось, сильнее о Древней Руси ничего не скажешь.

Но Виноградов сказал свое — и как сказал! Он переплел музыку, танец и слово — три стихии человеческих чувств, воздействующие вживую и покоряющие безраздельно.

— Да, я виноградовская. И боярчиковская тоже, — строго ответила Люся. — А на бенефисе я танцевала Клеопатру.

Она не боялась ничего (да и чего ей, рожденной в блокадном 43-м году, было бояться? Выжившее поколение блокадных детей, заявившее о себе миру, — ее друзья, наставники, партнеры — великий артист Никита Долгушин, танцовщик и балетмейстер Николай Боярчиков...).

В Малом театре (императорском Михайловском) она действительно станцевала все главные партии — от классической Одетты-Одиллии до гротескно-лирической, на грани модерна, Клеопатры в спектакле Игоря Чернышева «Антоний и Клеопатра».

Модерн, говоря словами Маяковского, был для нас «езда в незнаемое». И нечто чуждое советскому зрителю. И хотя Джордж Баланчин был наш Баланчивадзе, и все дягилевские парижские удивления были наши, и Барышников был наш, открытие нашего модерна — в его заграничном существовании — для меня совершилось в Берлине. Но об этом чуть позже.

Объехав с гастрольями тридцать шесть стран, что в 60—80-е было фантастической роскошью путешествий, дозволенной только балету и спорту, Люся оставила сцену. Тридцать пять лет для балерины — рубикон и окно в другую жизнь. Вместе со своей старшей подругой, гениальной, по словам Люси, Аллой Осипенко, которая поступила в Вагановское училище 21 июня 1941 года, начала учиться в эвакуации и стала блистательной примой Кировского (императорской Мариинки), танцевавшей с Нуриевым и Джоном Марковским, — Аллу она боготворила и нежно любила и любит

¹ Фамилия изменена.

до сих пор безо всякой зависти и ревности «этуалей» друг к другу, — она проходила трудный путь обновления личности, освобождавшейся от былых привязанностей, страстей и стремлений, путь смирения, самоуглубления, самопостижения и профессионального педагогического роста. Но при этом сохраняла прежнюю балетную статью и была похожа на ракету, готовую вот-вот ворваться в небеса.

Ее требовательность к себе и к ученицам была безграничной. Она быстро выучила все наименования анатомии и физиологии человека по-немецки, чтобы во время урока точно поставить диагноз — в чем ошибка, какая мышца не работает.

Перемешивая немецкие слова с привычными балетному миру французскими — *плие*, *батман*, *тандю* — она ловко управлялась со всеми ученицами, успевая собрать «рассыпавшийся» корпус у одной, поправить плечо у другой, очертить прыжок на опорную ногу третьей. Каждая ученица должна была перед уроком сделать мысленную разминку — ответить выученную запись о последовательной работе мышц в том или ином движении. Люся настаивала — балерина должна работать головой. А потом уже ногами.

Кстати, нынешний ректор Петербургской академии танца, Николай Цискаридзе, вслед за своими педагогами говорит о том же.

Мне было позволено присутствовать на уроке — вообще-то в режимное учреждение немцы никого не пускали, но я нашептывала по-русски перевод всего, что говорилось вокруг нее, следуя за ней как ниточка за иголкой: Люся работала первый год, не успевая войти в бытовую коммуникацию, — и директор Мартин Путке, бывший выпускник Московского хореографического училища, посчитал, что сотрудника КГБ (а как же иначе объяснить, что я не отхожу от русского педагога) лучше приветствовать и не раздражать.

Войдя в первый раз на урок и увидев свое отражение в зеркальной стене, я растерялась: ученицы присели в реверанс.

— Люся, может, мне тоже сделать реверанс? — нерешительно спросила я.

Но Люся махнула рукой:

— Садись на скамейку и смотри.

Пятнадцатилетние девочки были разными: кокетливая кудрявая Мариам, высокая блондинка Барбара, задорная Сабина и упругая, как мячик, бразилианочка Мерседес, прилетевшая в Берлин — при активном содействии Мартина Путке, создававшего классическую школу международного уровня, — на стажировку. Латиноамериканка была крепенького характера, могла помериться прыжками с мальчиками, но иногда плакала навзрыд, как ребенок, — она и была ребенком, который отчаянно хочет домой и соскучился по маме.

«Запомни: здесь я твоя мама», — так же строго, как и всегда, говорила ей Люся, и девочка понимала: вот здесь и сейчас она оттачивает прыжок, а после можно обнять маму Люсю и вздохнуть, и всхлипывать, приговаривая что-то на испанском. Для немецких педагогов это было невозможно. После конца рабочего дня их как ветром сдувало — личное время священо, а воспитанницы — это часть работы.

Итак, лучший в мире классический немецкий балет, возвращенный после 45-го года усилиями выпускников вагановского и московского хореографических училищ (до войны запросы местной публики вполне удовлетворялись танцовщицами варьете), в юбилейный год 750-летия Берлина, когда «все флаги в гости к нам», должен был показать товар лицом: и весь блеск маскарада, и талантливейших, подававших надежды учеников, и педагогический дар их наставников.

И все это среди буйного цветения танцевальных миров: в Берлин приехала из США ученица Анны Павловой Марта Грэхем, точеная, готовая танцевать в черно-белом дуэте (чернокожий партнер и белокожая партнерша) в свои девять лет с хвостиком. Приехал Королевский балет Великобритании, у истоков которого была

балетная школа той же Анны Павловой. И конечно же, Ленинградский государственный Малый театр, МАЛЕГОТ с дебютантами — учащимися Вагановского хореографического училища.

Приехал знакомый с московских гастролей экспериментатор Морис Бежар с неоромантиком премьером Хорхе Донном — пресс-конференцию Бежар давал по-французски, дальше шел синхронный перевод на немецкий, и надо успеть для Люси на русский — мозги плавилась в лавине языковых и культурных реалий, но я была счастлива: ах, какая это была жизнь!

Приехал Национальный балет Испании с руководителем — танцовщиком и киноактером Антонио Гадесом, и их графически вытянутые силуэты, выстукивания каблуками фламенко привели в такое же неистовство аристократичных невозмутимых немцев, в какое приводил тогда, в 50-х, невозмутимых британцев танец Галины Улановой.

А еще, конечно, соседи из Западной Германии — магического драматизма и невероятной экспрессии артисты Пины Бауш, танцующие то в торфяном песке, то в воде, то с бегемотом; нервный, как Нижинский, Джон Ноймарер, постигавший искусство с русским педагогом Верой Волковой из дягилевских сезонов, — спустя тридцать лет после берлинских гастролей он открылся нам заново в России, поставив «Анну Каренину»...

На генеральной репетиции в Staatsoper что-то не задалось. Девочек несколько раз гоняли с выходом — то кисть руки забудут подобрать, и слышен негодующий окрик: «Daum!» — то опоздали с музыкой... Тапер — русский эмигрант — относился к сумятице с философским спокойствием. Мартин Путке летал по залу, бросая распоряжения. Пролетая мимо меня, он обворожительно улыбнулся и произнес по-русски: «Они еще не проснулись!» Я, уже не удивляясь, что передо мной извиняются, важно соглашалась: «Ну ладно».

Барбара делала вращение на пальцах, поддерживаемая партнером. Я засмотрелась — и забыла обо всем...

Всё начиналось с Фуэте,
Когда Земля, начав вращенье,
Как девственница в наготу,
Разволновавшись от смущенья,
Вдруг раскрутилась в темноте, —

лукаво шепнет мне поэт Гафт, как будто я каким-то образом впрыгнула в фильм «Фуэте».

«Фаворит, — заметил тапер. — Конфетка! Ее ждет Оперный театр!»

Неожиданно «конфетка» пошатнулась... и упала под общий вскрик.

Мартин нахмурился. «Еще раз, пожалуйста», — произнес он холодно, не теряя самообладания.

Но Барбара опять чуть не упала... Среди педагогов царил недоумение — на репетициях в школе все проходило прекрасно. И ее действительно прочили прямой в Staatsoper.

«У нее одно бедро выше другого. И падать она будет всегда. Пока росла, это было незаметно, но в пятнадцать-шестнадцать все стало ясно», — объясняла мне Люся, когда мы возвращались домой, обсуждая произошедшее.

То, что Барбаре не быть балериной, к карьере которой она стремилась с шести лет, обрушило бы любую жизнь катастрофой.

Но в девушке заговорила кровь древних викингов. Никакого отчаяния, рыданий, по крайней мере внешне. Дисциплинированности, собранности можно позавидовать. Приехали родители. Обсудили. Вероятно, будет танцевать, но недолго. Что ж, будем

учиться другой профессии. Например, провизора в аптеке. Очень уважаемое, хорошо оплачиваемое занятие.

Стоял май, и вся земля в старых районах Берлина была усыпана желтыми одуванчиками. Я сбегала с восьмого этажа во двор-колодец, собирала в корзинку эту желтизну, чтобы сварить из нее варенье. Где-то мы прочитали, что варенье из цветков одуванчиков очень полезно. А из листьев мы резали горький, но очень полезный салат. Лифта же в старых берлинских домах не предусматривалось, как и центрального отопления, — топили, как и до войны, углем. Несколько корзин с углем домохозяйка с двумя детьми поднимала на восьмой этаж — а ведь еще надо нагреть воду в ванной! Все это было крайне непонятно — чего проще, горячая вода или газовое отопление?

Стоял май, скоро домой, в Союз. Мы бродили по старым улочкам Берлина, заходили в шляпную мастерскую, мерили эксцентричные шляпки, хохотали, а после спектакля сидели в маленьком ночном кафе, пробуя сухое вино, как сживал здесь почти двести лет назад Иван Сергеевич Тургенев, слушавший курс философии в Берлинском университете. Официант безмолвно уносил открытую бутылку, если вино не нравилось, и приносил другую. Мошенничать, то есть раз десять требовать замены вина, здесь было не принято, поэтому владельцы заведения улыбались и выполняли просьбы.

Люся готовила ученицу к международному конкурсу в Лозанне. Как раз в это время в Берлине оказался главный балетмейстер музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Дмитрий Брянцев.

— Ты придешь на репетицию? Я пригласила посмотреть Брянцева. Все-таки у него больше опыт постановок.

Приду ли я? Посмотреть, как ставит Дмитрий Брянцев, азартный и остроумный постановщик, создатель любимого народного телебалета «Галатhea» с Екатериной Васильевой и Марисом Лиепой, художественный руководитель известного московского театра?

Он не был похож на танцовщика. Высокий, в черном кожаном пальто, властный, он был бы похож на тучу или Мефистофеля — если бы не ирония и домашние интонации.

Девочка танцевала модерн — она изображала растение, тянущееся вверх.

— Привет! Ну, показывай!

Для Люси это был постановочный дебют, и она ужасно волновалась.

— Эй, стоп, ты так ей ногу вывихнешь. А ну-ка, попробуй еще раз сложиться.

— Нет, лучше сюда. Да что ты кричишь на меня, будто я твоя жена?

Засмеявшись, Брянцев потянул ее, сидящую на полу, за ногу. Через минуту, забыв обо всем, они уже погрузились в обсуждение руки — как голову ученицы протянуть через сцепленные сзади руки.

Я тоже была полностью захвачена этим процессом, мне даже захотелось вмешаться — у меня уже был опыт постановки мюзиклов на школьной сцене, но — тыфу-тыфу — не приведи случай влезть в игры богов и спугнуть... Росточек, живой, трепетный, родился у меня на глазах...

...И что там Минкус?

Мы с Люсей даже предполагать не могли, что пасхальные чудеса уже кончались — и начиналась жизнь, отвратительная в своих соблазнах и ловушках.

Доходили туманные слухи, что дома ведется суровая борьба с пьянством, новый генсек партии ввел запрет на алкоголь.

Мы шли по улице, и Люся неподражаемо рассказывала анекдот об уставшей кассирше в гастрономе, выбивавшей бесконечной очереди чеки — три шестьдесят две, три шестьдесят две, и когда безнадежный алкоголик, в ответ на ее замотанное «отдел называйте», артистично растопылив пальцы и вложив всю возможную иронию, пропел «Ки-индистерский» — я, не выдержав, расхохоталась: казалось, так легко научиться у

нее этой способности мгновенно перевоплощаться и одновременно снисходить с улыбкой к трудностям и неприятностям жизни.

Казалось, что мы можем пережить все... Легко...

Я вернулась домой из Германии после окончания трехлетнего контракта.

По стране гремела перестройка Горбачёва: поток возвращенной литературы, лавина мемуаров, разоблачений, новых прочтений, прямая трансляция съездов народных депутатов — «Борис, ты неправ!»...

Рухнула Берлинская стена, а вслед за ней рухнул Союз — и горящий Белый дом, как странное отражение шумно поставленной с моими ребятами уже после возвращения из командировки притчи Г.Полонского «Перепёлка в горящей соломе», делал реальностью насилие фашизма спустя полвека после войны. Я успела повидаться с Георгием Исидоровичем в Москве незадолго до его смерти: великий романтик 60-х, автор сценария «Доживём до понедельника», оживленный, слегка растерянный — пьеса не очень удачно прошла в ТЮЗе, будущем РАМТе — он ликовал, что у нас такой успех, и недоумевал: неужели школа стала такой, как показывает ее Л.Разумовская (только что жестокий фильм о выпускниках по ее пьесе, «Дорогая Елена Сергеевна», увидели наши соотечественники)...

...А сорвавшаяся со всех тормозов жизнь неслась дальше, в девять кругов Дантова ада.

Захваченные заложники — школьный автобус в Минводах, потом роженицы в больнице Буденновска, потом дети и взрослые во время мюзикла «Норд-Ост» на Дубровке, где погибла моя однокурсница Маша. Взрывы в метро, в переходе на Пушкинской, в аэропорту «Домодедово».

Очереди за хлебом с шести утра в начале 90-х, барахолки, где в торговцах можно было увидеть всех: от мелких мошенников до физиков-профессоров, когда-то споривших о «Шаттлах». Умиравшие от холода старики в нетопленных квартирах Севера и вымершие военные городки, разрушенные заводы...

Вдруг — тишина. Пришло письмо от выпускников: школа в Визенбурге прекращает свое существование — из Западной Германии возвращается наследник и владелец замка.

Дмитрий Брянцев руководил музыкальным театром имени К.С.Станиславского и В.И.Немировича-Данченко, был успешен, известен, часто выезжал в Европу.

В 1995 году заговорили о необычном спектакле, который увидели зрители Петербурга и Москвы... Необычной в те годы была чистая классика, без всякого модерна. Танцующие пары. Шопен. Спектакль «Призрачный бал». Название отсылало к петербургским сновидениям, мистике и фантазмагории белых ночей, водно-зеркальных отражений, игре световых оттенков и переливов. Хотя в нем проступало что-то тревожное, как предощущение близкой беды, — призрак прошлых скрытых чувств, у которых уже нет будущего, и невидимые слезы, и неожиданная нежность и беззащитность. Было ли то прощанием с теми, кого любишь?

Как водилось тогда, он занимался и бизнесом — у него была то ли гостиничка, то ли кафе в Праге. Он летал самолетом из Москвы в Прагу и обратно. Однажды шофер служебной машины не встретил его — пассажир не вернулся в Москву.

Тело Брянцева было найдено в машине в лесу под Прагой спустя год после его невозвращения — капитализм угрюмо скалился нам из-под сказок о барышах свободной торговли.

Люся работала по другому контракту в Лейпциге — уже никто не ждал и не встречал с цветами как специалиста, представителя огромного Союза. Надо было самой находить квартиру и оплачивать ее из собственного жалования... Потом она уехала по приглашению оперного театра во Францию.

Как и кумир моей студенческой молодости Ирек Мухаммедов — в Англию. Как и «солнечный мальчик», Вадим Писарев — в Дюссельдорф.

И многие другие артисты, писатели, ученые, не желавшие продавать часы или видеокассеты на газетке, постеленной прямо на тротуаре.

Ее отец, известный хирург-панкреатолог, лауреат Государственной премии СССР, называемый учениками и последователями «великим врачом», Владимир Иванович Шилин, умирал — и все заработанные за границей деньги дочь, нежно привязанная к отцу, отдавала на лекарства.

Слышал ли кто-нибудь об опубликованной статистике заболеваемости онкологией в те годы?

Похоронив отца, она порвала все заграничные контракты и жила на пенсию, подрабатывая частными уроками и опекая мать.

Однажды та не ответила на телефонный звонок. Люся примчалась, чувствуя беду, — и не успела...

Мы редко созванивались, но никогда не расставались.

Она могла позвонить под Новый год, чтобы сообщить: «Умерла кошка». Для нее, как настоящей петербурженки, это было драматическим переживанием.

Когда я серьезно заболела, она позвонила мне в больницу.

— Живи! — велела мне она. — Или я умру тоже.

— Ну уж нет, Люся! Мы так просто не сдадимся! — возмутилась я.

И — странное дело! — балет, вопреки всему, тоже продолжал жить, как это уже случалось в потрясениях и катаклизмах века.

Несмотря на все, каждый день нас встречало одно и то же солнце, тот же дождь или безоблачный простор над головой.

Не они размывали ценности нашего существования — но искусство становилось другим. Изощренным в пластике, в эффектах, бьющих по нервам, — как на изломанных безликих лицах картин Энди Уорхолла.

Балетные сказки творятся все более печальными (апофеозом обреченности стал фильм «Чёрный лебедь»), а иногда — зловеще-гротескными, как «Щелкунчик» с оформлением Михаила Шемякина.

Но классика устояла — вопреки постмодернизму, перекиривлявшему всех и вся, в том числе и вечные балетные сказки.

Вопреки политикам, манипулировавшим любовью населения к классике, — телевизионное «Лебединое озеро» как прикрытие событий 19 августа 1991 года могло бы стать смертным приговором для спектакля-легенды («После путча люди стали тревожиться, когда балет транслировался снова — подозревали неладное»¹), но этого, к счастью, не произошло.

Никто не мог предполагать, что балет останется в потерявшем все ориентиры государственном механизме. Что там земля в своем вращенье — не угадать, в какую сторону ее будет крутить завтра, кого захватит турбулентность...

И все-таки, несмотря ни на что, балет оставался с нами, как остается жить битый-перебитый, обманутый и брошенный политическими мошенниками народ.

Как оставалась жить вера в добро и божье чудо.

...Народный артист Украины, обладатель приза ЮНЕСКО «Лучший танцовщик мира» Вадим Писарев после травм покинул сцену и руководит Донецким национальным академическим театром оперы и балета им. А.Б.Соловьяненко, а также детской хореографической школой и Международным конкурсом «Звёзды мирового балета».

Донецк — родина Сергея Прокофьева, и это обязывает.

Недавно в интервью газете «Культура» он сказал: «Две трети труппы *вернулись в свой театр* после вынужденного отпуска. Вокруг идет война, город обстреливается, но люди идут смотреть балет, оперу, мюзиклы. На всех спектаклях — аншлаги, артисты ощущают, что нужны соотечественникам как никогда!» Писарев убежден: «Театр

¹ Лиза Лернер, главный редактор портала «Сила культуры».

помогает жителям выстоять! Он укрепляет веру, несет любовь... ребята влюблены в танец и горят желанием освоить профессию. Если бы вы видели их глаза — они ведь настоящие дети войны, под звуки выстрелов учатся, репетируют, возвращаются домой. Так каждый день...»

Когда-то Юрий Файер, известный дирижер Большого театра, в своей книге «О себе, о музыке, о балете» вспоминал, что после гастролей Большого балета в США газеты писали: «Русские покорили Нью-Йорк. Если они хотят завоевать Америку, то пусть это делают своим балетом». Хорошо было бы, если бы все мерились силой только этим оружием. Разве искусство, эта «красивая неправда», не целительный бальзам, помогающий залечить раны, нанесенные враждой, склеить трещины и замазать швы на разломах наших отношений? «Начинается танец — и чужих в зале нет! Все стали нашими, потому что переживают и волнуются, радуются и страдают, как и мы, — пусть всего на несколько часов, пока идет балет, но зато — это часы, когда дух красоты, дух взаимного общения, в конце концов, дух правды и мира царит в душах людей, собравшихся на наш спектакль»¹.

...В этом году она сказала: «Какой ужас! И мне уже 75!»

— Ну да! В этом возрасте баллотируются в президенты.

— Нет уж. Я лучше к своим вышивкам!

Простившись с балетом и уединившись в своей квартире, как в башне из слоновой кости, Люся стала страстной вышивальщицей.

Как известно, вышедшие в отставку военные становятся самыми дисциплинированными менеджерами, а покинувшие сцену артисты — лучшими художниками: профессия научила их тщательно работать с деталями, вкладывая профессионализм и ответственность в исполнение каждой из них, подобно исполнению самой маленькой роли.

Районная библиотека возле станции метро «Удельная» с удовольствием выставляет ее рукоделия — большие картины Саврасова «Грачи прилетели» и Климта, и Дега — и маленькие вышитые истории о балете.

Здесь она всегда окружена людьми — ее спрашивают про искусство, что есть и что будет. Люся отвечает с тихой гордостью, что ее мнение важно для людей — а ведь казалось, что сцена, роли, ученики, педагогика — все в далеком прошлом.

Одна из наших современных балерин заметила, что балет похож на внутреннюю эмиграцию, где свои интересы, своя жизнь, свой микрокосмос. Но если взглядеться внимательнее — балет будет видеться нам необходимой несущей частью всей конструкции русского мира, русского космоса.

¹ Файер Ю. О себе, о музыке, о балете. — М.: Советский композитор, 1974. С. 418.

Александр Солженицын

Дневник Р-17

1973 год. Фрагмент

Публикация Наталии Солженицыной

Начав работу над «Красным Колесом», исторической эпопеей о русской революции 1917 года, Солженицын завел себе в соавторы дневник, надеясь, что он будет «ещё одним действующим лицом в создании романа — помощником, критиком и — погонщиком». И действительно, дневник стал для писателя необходимым и взыскательным собеседником, с которым он четверть века советовался, спорил, делил мучительность поисков и радость находок.

Мы предлагаем неопубликованный фрагмент дневниковых записей Солженицына 1973 года, в разгар его работы над «Октябрём Шестнадцатого», Узлом II эпопеи. Работа эта была прервана в 1974 году арестом и изгнанием. На Западе автору стали доступны материалы русских хранений, мемуары участников событий, обильные печатные издания, обогатившие, но и удлинившие работу. Окончательная редакция Узла II была завершена в 1983 году.

2 января

Законы перспективы в пространстве и во времени как будто противоположны. В пространстве далёкие предметы кажутся сгруженными тесно, а простор — только около тебя. Во времени наоборот: близ тебя всегда тесно, не хватает минут, не то что часов. А какие-нибудь отдалённые месяцы кажутся просторными, ёмкими, вот где много сделаю! Приходят те месяцы, и опять не успеваешь, опять не вздохнуть. За эту зиму думал горы сдвинуть, — а ползими прошло, и так мало сделал.

6 января

Из тех удач, какие бывают, когда само тянет на выигрыш. Дни 17—18 октября автоматически попали, исходя из общей композиции Узла. А теперь в награду узнаю: именно в эти дни широкие забастовки (от большевиков) по Выборгской стороне и волнения 181 запасного пехотного полка¹. До этого не было много месяцев и ещё 3 месяца не будет такого, до самой революции.

10 января

О, это ощущение Красоты, ещё не воплощённой (да может быть, и не удастся), но уже прозренной! — самое упоительное состояние писателя.

¹ Эти события описаны в: Солженицын А.И. Красное Колесо. Узел II. Октябрь Шестнадцатого // Собр. соч. в 30 т. — М.: Время. 2007. Т. 9. Глава 26.

Все три дня Рождества складывал окончательный план II Узла, какие окончательно главы и вставки, и как лягут, план полной переработки ранней середины (Петроград 17 и 24 октября), — и так уже этим наполнен и счастлив, что по сравнению с нею вся дальнейшая работа — серость, долг, обязанность.

11 января

Если металл при разливке недостаточно горяч, он лениво занимает свою форму в опоке и может заполнить не все предназначенные ему объёмы. Лишь хорошо раскалённый занимает всё доступное ему пространство, все малые углубины и извилины.

Так и замысел произведения: если не создано и не поддержано вокруг него жара воображения — он не занимает всё своё истинное пространство.

Я счастлив, что не испугался и не пошёл по меньшему сопротивлению: отказаться и от крестьянских и от рабочих глав. Новая вспышка жара сейчас помогла раздвинуть границы II Узла до своих, как мне кажется, оптимальных и закономерных пределов.

2 февраля

Одна из главных опасностей такому охватному историческому повествованию, как моё, — «клеточный метод» — заполнение подразумеваемых несомненных пустых «клеток». Без этого не будет всеохватности и репрезентативности. А — с этим? Вот упёрся в рабочую беседу в шишельной¹. Говорят они у меня то, что несомненно говорили ежедневно, что больше всего их задевало, «типичное». А значит и — подделано. Потому что войди вот в тот самый момент — обязательно какой-нибудь вздор городят, к делу не относящийся, зато — живо. Как это разрешить? При собственном жизненном опыте, например на шарашке, я всегда знал, какой именно вздор, — потому что слышал двести раз.

3 февраля

Удивительное наблюдение я сделал. Что историческое повествование, когда ты ведёшь его с упорным зрелым чувством — не очень-то (не более 30 градусов) уклоняется от интуитивно предвиденного пути приходящими (прежде тебе не известными) историческими материалами. И даже более: выбор материалов не обязательно должен быть систематичен: даже из случайного частичного поступления их сосредоточенные ум и чувство выбирают много. Не так важно, *какой именно* материал попадётся, и не надо гнаться охватывать весь: он охватится сам собой! так, как из случайного учебника артиллерии я взял: рабочую сцену, инженерный сюжет и даже юмористическую сцену на батарее, — а ведь ничего этого там нет прямо. Как угадал Милюкова или Столыпина чувством, ещё в руки не взявши замечательную Тыркову² или других.

6 февраля

И всё-таки только сейчас, кончая 1-ю редакцию «Октября», я начинаю сам впервые понимать значение, объём, охват, смысл этого Узла. Чтобы быть его достойным — надо теперь-то, после тяжёлого строительного труда 1-й редакции, н а ч и н а т ь самую работу, художественную! — обтёску, залепку, скрепку, штукатурку, — вся тонкая работа впереди. И надо бы — ещё трижды всё переписать, и *есть* на это терпение и охота — но времени никак нет: есть неизбежные *сроки* выпуска,

¹ Солженицын А.И. Красное Колесо. Узел II. Октябрь Шестнадцатого // Собр. соч. в 30 т. — М.: Время. 2007. Т. 9. Гл. 32.

² Тыркова-Вильямс А.В. На путях к свободе. — Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1952.

и необходимость кончить *общую* задачу хотя бы в скелете, это, м.б., более важно. Моя жизнь — ограничена, и не могу же я серьёзно рассчитывать на наследника-продолжателя.

— «Рабочие» главы пишу не вынужденно, но с большим удовольствием, вот это да! И как я предполагал обойтись без них?¹ <...>

8 февраля

Некоторые западные рецензенты (не один) называют мои экранные куски *лирическими* включениями, другие отмечают их как бы полустихотворную форму. Я — не имел этого в виду нисколько, но здесь не просто путаница от формы записи. Действительно, экран часто используется в лирических, даже патетических (и притом безличных) местах, а от рубленности строк получает налёт стихотворной ритмики. Надо разобраться, что-то неожиданное получается. <...>

17 февраля

Перед главой о Шляпникове² мучился неудовлетворённостью: как этот материал подать свежо? непременно надо свежо! — ощущаю так, не могу понять почему. Постепенно приходит: внутренний монолог чистого вида (автор не отстраняется от героя), плотная динамика (как побег Тэнно³), короткие энергичные фразы при мало выразительной лексике (свойство Шляпникова), смягчение и лирика только — в прорыве старообрядческого детства и флёр вокруг Коллонтай. Так что ж, обойтись без 3-го лица (в монологе)? — почти, только в конце можно просветить обычную манеру.

А как вобрать огромный ретроспективный материал, чтоб это не было ретроспективно, а — живо, в движении? Построить главу: 1) на стержне событий того дня (прямая линия); 2) на развороте характера, чувств и мыслей Шляпникова (спираль). Вот так, сразу на двух каркасах. Очень интересно, что же получится? И спираль давать — по возможности не в противоречии с хронологией *г о д о в*.

И не случайно будет, что это резкое изменение повествовательной манеры придётся на показ первого большевика. Отрубистость информации без плавных фраз традиционной прозы — по сути, проза 20-х годов — много её было, и не случайно ж она такая родилась. Как толчок свежего ветра.

И после этого сразу — мяклая переписка царя и царицы⁴. Выразительный стык.

И — контрастный переклик с главой Упадок⁵.

— Ещё, очевидно, в такой главе: много абзацев и они мелкие, даже по строчке, по две. Никогда не проходит сразу большой кусок повествования, что-то перебивает. <...>

18 февраля

Как же решить проблему личного местоимения? Говорить «я» — невозможно. Начать с обобщённого «ты» — можно, но долго не удержишься. На что же перейти? Просто на «Шляпников» — получится чрезмерное отстранение, почти обычное. А вот что: «мы, нам» в мыслях — и сразу слияние автора, героя — да почти и читателя увлекаем. (И иногда — обобщённое же «ты». Словом, 2-е лицо — спайка!)

Это, по сути, новый вариант Ивана Денисовича — только с другим героем, в другой тональности.

А очень важно «не отличать» себя от Шляпникова! — тогда большевики вводятся *изнутри*! Большая сила всех суждений.

¹ «Октябрь Шестнадцатого» // Собр. соч. Т. 9. Гл. 31—34.

² Там же. Том 10. Гл. 63.

³ «Архипелаг ГУЛАГ». Ч. 5. Гл. 7 «Белый котёнок».

⁴ «Октябрь Шестнадцатого» // Собр. соч. Т. 10. Гл. 64.

⁵ «Упадок» — Ленин в Цюрихе, его уныние и раздражение. Тогда предполагалась одна глава, в окончательной редакции две — «Октябрь Шестнадцатого» // Собр. соч. Т. 10. Гл. 43 и 44.

И какие прекрасные стыки: большевики — династия — Дума — Ставка — тоскующий монархист. Сгущение перед финалом! А финал — вдруг сползает на личное и поднимается к высотам исповеди¹. Ой, здорово будет, если всё вытяну.

19 февраля

Это будет б о л ь ш а я глава! Что-то неожиданно-общее с главой «Узда»²: как там всю суть и душу Операции надо дать непременно в цельной единой главе — так и здесь, в одной длинной главе — всё состояние и настроение большевизма (что отличается от закисшего «Упадка»).

А от «Ивана Денисовича» тут — черезслойный монтаж, ничто не даётся цельными, большими кусками, а всё — дробно, дробно, возвращается же повторно — при новых стыках. (Только в «Иване Денисовиче» это естественно, легко развёртывалось из моей души, из памяти — а здесь надо искусно-естественно смонтировать из чужого материала.) <...>

21 февраля

И вот как отчасти покрылся этот разрыв — между сердечной сроднённостью с материалом «Ив. Ден.» и искусственным знакомством с материалом Шляпникова: я *не сразу* стал писать, и не уверенно классифицировал многочисленные записи, а как-то читал их, читал несколько дней, книги его, письма к нему, от него, видел людей его знавших³, — и вдруг всё связалось живою связью *в памяти*: когда пишу, то очередное выскакивает не из классификации и даже вопреки ей — из памяти. Получаются ходы неожиданные, сердечные — то, что и надо.

25 февраля

При такой большой энергичной шляпниковской главе падают новые оттенки на окружающие главы: на две предыдущих бригадных — фронт предан, на последующую переписку царя-царицы и говорить нечего. Но — и на Думу (болтайте, вы уже не ведёте), но — и на ставочные главы, на всю энергию Гурко и Нечволодова: тянете шкурку на кисель, бесполезно!

27 февраля

Читаю письма Ленина к Шляпникову и Коллонтай. Какой же материал 1915 г. пропадёт при уплотнении и ретроспекции! Даже если бы год назад я бы всё это расщупал и сообразил — я бы писал узел о 15-м годе. Но уже слишком завязано, слишком поздно теперь...

1 марта

Сегодня утром сел писать — ну совсем не думал, куда понесёт: Шляпникову во сне кажется, что его *убили*, — и он даёт посмертные советы вождю. Не какая-то мелкая обида, счёты живого человека — но заботы мёртвого (как и убьют его предательски в 37-м). Как это рождается — не задуманное, не запланированное? Льётся между пальцами, выскакивает само между взмахами пера незаметно, без своей воли сбился на эту дорожку. И — волосы дыбом, как получилось! Благодарю Тебя, Господи, что Ты не оставляешь меня дарами!..

¹ Исповедь Зинаиды Алпанской — последняя глава «Октября Шестнадцатого» // Собр. соч. Т. 10. Гл. 75.

² Бой под Уздой описан в Узле I, «Август Четырнадцатого» // Собр. соч. Т. 7. Гл. 25.

³ Солженицын встречался с детьми Шляпникова, читал личную переписку его с Коллонтай.

— Кончил. Точный размер «Узду», надо же! И значение в своём Узле не меньшее. Тут есть внутреннее сходство: главный в этом Узле проигранный бой России, *начало* бесповоротного проигрыша.

В общем, попотел. Кроме обычного плана главы — ещё два подсобных, и две транспортёрных ленты («прямая» и «спираль»). А лучшие открытия — как всегда без них, сами подвернулись.

Чему-то я на этой главе научился...

2 марта

Сегодня начал Утолчку II Узла. Какое освобождение души и радость!.. От перемены работы всегда свежесть.

Как хорошо композиционно легли у меня большевицкие главы: постепенное снятие слоев — больничная касса — Упадок — Шляпников, углубление смысла и понимания — вместе с общим углублением *от* и *после* кадетского слоя.

— В I Узле все признают вершиной — самсоновские прощание и гибель, и панихиду по Кабанову. А где же что-нибудь сравнимое во II Узле? Что-то плохо видно пока. Конечно, II Узел и не трагичен, он *пред* грозой, он более — информативен, но всё же: где вершины? Зинаида в храме? Шляпников в поединке с Николаем II? — но *так* ещё не дотянуто.

Образ церкви и праздника Всех Скорбящих, который *сам* появился и сложился в романе, — должен быть допонят и углублён до такой высоты. <...>

31 марта

Приснился... Гучков. Очень постаревший, но ещё бодрый (будто ещё жив). И так был рад, так был рад, что я о нём пишу, собирался рассказывать подробности. Проснулся я, ещё ощущая эту благодарность. Подумал: нет, должно-таки есть индивидуальное бессмертие. И душам умерших не безразлично, чтобы правда о них была восстановлена.

Александр Солженицын: судьба, роль, образ в меняющемся времени

В заочном «круглом столе» принимают участие Алексей ВАРЛАМОВ, Всеволод ЕМЕЛИН, Марина КУДИМОВА, Михаил КУРАЕВ, Афанасий МАМЕДОВ, Дмитрий ШЕВАРОВ

Алексей Варламов, прозаик (г. Москва)

«Слишком много борьбы было в его собственной жизни...»

Меня всегда поражало в Солженицыне его загадочное отношение к писательскому сообществу. В автобиографической книге «Бодался теленок с дубом» автор предстает фактически одиночкой, а помогавшие ему в течение многих лет «невидимки» сделались известны только после падения советского режима. Но и они по большей части были люди, далекие от мира литературы. А вот что касается писательской среды, то Солженицын достаточно подробно описывает историю своих взаимоотношений с А.Т.Твардовским и членами редколлегии «Нового мира», с союзписательской верхушкой, с редакторами, цензорами, и все это сюжеты хорошо известные, но удивительно в той истории другое.

Не знаю, прав я или нет, но как мне представляется, в первой половине 1960-х перед Солженицыным стоял выбор, а точнее, открывалась возможность иного писательского пути, нежели тот, по которому он в итоге пошел. У автора поразившей читающую Россию повести «Один день Ивана Денисовича» был великолепный шанс войти в, условно говоря, легальную, подцензурную советскую литературу, заняв в ней максимально независимое, свободное место. Именно это после приглашения в Кремль на встречу с Хрущёвым, после стремительного вступления в Союз писателей СССР, выдвижения на Ленинскую премию, казалось, его и ждало, и все к этому шло. Солженицын мог бы войти в редколлегию «Нового мира», мог с его именем, его репутацией, авторитетом требовать максимальных уступок от цензуры, добиваться того, чтобы ему разрешали то, что не было позволено другим.

Примеров подобной авторской стратегии в русской литературе тех лет немало. Шукшин, Белов, Можаев, Абрамов, Воробьев, Астафьев, Распутин — все они писали искренне, глубоко, честно, очень многое не принимая в советской жизни, ругаясь, злясь на власть, иногда вынужденно уступая цензуре и одновременно подавляя, продавливая ее своим талантом, однако все-таки не переходя определенной черты. Не бодаясь с дубом, так сказать. То же самое относится и к Трифонову, и к Казакову, а позднее к Макаину, Киму, Искандеру, Битову. Собственно, именно к этому и

подталкивал, как мне представляется, Солженицына Александр Твардовский. Для того, чтобы жить, писать и печататься в России, чтобы говорить с читателями открыто, а не через сам- и тамиздат, вынужденно обрекая себя на определенную маргинальность, не надо становиться открытым врагом советского режима. Можно писать — и именно об этом скажет сам Александр Исаевич в 2000 году на вручении своей литературной премии Валентину Распутину, «без тени диссидентского вызова, ничего не свергая и не взрывая декларативно, /.../ как если б никакого "соцреализма" не было объявлено и диктовано, — нейтрализуя его немо, /.../ писать *в простоте*, без какого-либо угождения, каждения советскому режиму, как позабыв о нём».

Но в том-то вся и штука, что сам Солженицын писал и жил по-другому. Он не то что ничего не позабыл («Я хотел быть Памятью. Памятью народа, который постигла большая беда» — вот его писательское кредо), он боролся с этим режимом всею силой своего таланта, характера, темперамента, он сознательно обострял, взрывал ситуацию, поднимал заведомо неприемлемые темы, он раздражал, давал опасные интервью, вступал в рискованное противостояние с КГБ, подвергал свою жизнь смертельной угрозе, но при этом не только не примкнул к, условно говоря, диссидентскому крылу советской литературы, но по-человечески, по-писательски потянулся к тем, кто избрал в литературе иное, *недиссидентское* направление.

Вот конкретный пример.

В 1967 году А.И. пишет знаменитое письмо IV Всесоюзному съезду советских писателей с требованием обсудить самые острые, с его точки зрения, вопросы цензуры, публикации запрещенных произведений писателей XX века, он обвиняет Союз писателей СССР в хроническом бездействии, трусости, безволии, в равнодушии к судьбам Платонова и Мандельштама, Замятина и Булгакова. Рассылает это письмо участникам съезда и в итоге получает поддержку от ста с лишним литераторов (и ненависть начальства, апогеем которой можно считать требование Шолохова запретить Солженицыну писать). Но проходит еще несколько лет, и незадолго до высылки из СССР писатель дает интервью иностранным журналистам и называет самых интересных, с его точки зрения, современных русских авторов. Эти списки практически не пересекаются! То есть подавляющее большинство из тех, кто поддерживал Солженицына в его борьбе за отмену цензуры, не были им упомянуты, а большинство из тех, кого он назвал, его публично не поддерживали, да и вообще предпочитали держаться от политики в стороне.

Это по-своему парадоксально, но это так. Общественное и политическое расходятся. Складывается впечатление, что Солженицын признавал художественную правоту тех авторов, кто по разным причинам избегал политической активности или ставил художественное выше общественного. Может быть, потому что слишком много борьбы было в его собственной жизни и он интуитивно тянулся к иной линии поведения, может быть, само явление советского диссидентства с его преобладающей западнической, либеральной установкой уже тогда было ему чуждо, может быть, свойственная писателю с юности мятежность и психологическая революционность («Люби революцию!» — недаром называлась одна из его юношеских вещей) искала противоядия в творчестве тех, кто никаких революций органически не принимал и не любил. Позднее, в изгнании, все это выльется в противостояние с эмигрантами «третьей волны», в либеральное неодобрение общественных и исторических взглядов Солженицына, которое тянется вплоть до нынешних времен (хотя и уступает ярости тех, кто обвиняет писателя в развале СССР). Но во всех этих противоречиях мне видится какая-то очень важная личная черта принципиально беспартийного, не скованного никакими условностями, абсолютно свободного в своих вкусах, предпочтениях и поступках человека.

Всеволод Емелин, поэт (г.Москва)

На фоне Солженицына

Поскольку этот текст планировался как рассказ о влиянии Солженицына на рядового советского молодого человека 70-х—80-х годов, то в нем довольно часто будет использоваться личное местоимение первого лица. За что приношу читателям извинения.

Я был во многом типичным советским подростком. «Из служащих», как тогда писали в анкетах в графе «Социальное происхождение». Тут, правда, надо уточнить, что советские подростки делились на две большие группы: читающие книжки и книжек не читающие. Читающие, в свою очередь, делились на читающих обычные книжки и имеющих доступ к книжкам необычным. Под необычными понимались *самиздат*, *тамиздат* и *дотогоиздат*. Еще, наверное, были ребята, читающие на иностранных языках, но это была уже совсем экзотика. В основном из семей деятелей культуры и искусства, ученых, преподавателей вузов и т. п.

Я к ним не относился. В семье тамиздата не было, но семья была читающая. Даже, как многие семьи в то время, со своеобразным культом чтения. Тогда слово «интеллигентный», в отличие от нашего времени, являлось комплиментом, а не оскорблением. Люди, чувствующие в себе недостаток интеллигентности, не бравировали этим, а напротив, ощущали это как некоторую неполноценность. Сегодняшнему положению вещей, когда общество вернулось к чеканной ленинской формулировке: «На деле это не мозг, а говно», немало поспособствовал своим творчеством и Александр Исаевич Солженицын. Какое мнение верно, какое нет, Бог рассудит. Но, повторюсь, в 70-е годы тянуться к культуре и прежде всего к чтению было модно и престижно. И тут я имел серьезное преимущество перед большинством сверстников. Дело в том, что мать работала секретаршей у одного весьма крупного по тем временам начальника. Это давало ей доступ практически ко всем незапрещенным книгам тогдашнего СССР. Когда мне нужно было что-то, я просто по телефону сообщал ей название и автора, а вечером она приносила из служебной библиотеки эту книжку. Вообще из-за места работы матери я в детстве, отрочестве и ранней юности был лишен очень многих проблем, имевшихся у большинства советских людей. Результатом было то, что иллюзии насчет окружающей действительности у меня сохранялись дольше обычного. А чем дольше сохраняются иллюзии, тем стремительнее и катастрофичнее их крах.

Первая идеологическая дефлорация произошла, когда мне было 14 лет. Тогда весной на дачу богатые родственники привезли приемник «Океан-203». Покрутив ручку настройки, я с удивлением услышал на русском языке какие-то совершенно нестандартные новости. Приемник увезли, но дома обнаружилась радиола «Sakta», на которой время от времени крутили грампластинки. Я быстро освоил ее КВ-диапазон, и на много лет, вплоть до угара перестройки, прослушивание вражеских голосов стало неотъемлемой частью жизни. А тогда шел 1973 год. После первого визита президента Никсона в СССР постепенно набирала силы так называемая «разрядка международной напряженности». Как одно из последствий, ослабело глушение западных радиостанций, вещающих на русском языке. Ну, кроме самой злойзвонной станции «Радио Свобода». На ней первой был целиком прочитан «Архипелаг ГУЛАГ». Впрочем, в Москве ее было не слышно, а в командировки я тогда еще не ездил. Но Би-би-си, «Голос Америки», «Немецкая волна» все чаще оказывались доступны. 1973 год, кроме всего прочего, был и годом Солженицына. Осенью

рукопись «Архипелага ГУЛАГ» попала в руки КГБ. Потом появилось письмо писателя «Вождем Советского Союза», а в декабре на Западе вышел первый том «Архипелага».

Тем удивительнее, что по настоящему мое внимание к Солженицыну привлекли не клеветнические голоса, а советская пресса. Имя автора затерялось среди множества незнакомых мне тогда имен, поминавшихся в передачах, от Бердяева и Струве до Синявского и Роя Медведева. Запомнилось только громкое, загадочное слово — ГУЛАГ, значение которого еще довольно долго оставалось для меня неведомым. К тому же литературные произведения на этих радиостанциях зачитывали такими занудными голосами, что сам процесс слушания их был сродни подвигу. А сам я тогда читал только фантастику и с юношеским максимализмом отрицал право любой другой литературы на существование. Гораздо интереснее были репортажи с фронтов разразившейся тогда «Войны Судного дня». Но про Солженицына очень скоро напомнили мне и родные СМИ.

Ознакомившись с «Архипелагом», вожди Советского Союза, вообще-то быстротой реакции не отличавшиеся, тут сразу почувствовали и верно оценили масштаб опасности. Ах, эти святые, патриархальные времена, когда книги могли влиять на историю! Ну и всем тогдашним агитаторам-пропагандистам, политинформаторам, горланам и главарям была дана команда «фас». Этих ребят тогда было, конечно меньше, чем сейчас политологов, аналитиков и экспертов, но все равно чрезвычайно много. И дело пошло. Сколько лет пролетело, а помню как сейчас материалы в «Литературной газете». Ее тогда еще называли еженедельником для интеллигенции. Эта газета, являясь органом Союза писателей, а не партии и правительства, должна была себе позволять «на вопросы смотреть пошире». Так ей еще Сталин приказал. Каждый советский человек с интеллектуальными претензиями считал долгом ее читать. Подписка, кстати, была ограничена. Названия «Отпор литературному власовцу», «Конец литературного власовца». Сборник отважных и гневных ответов советских писателей различных национальностей бездарному предателю. Само определение «власовец» Литературка и изобрела. Другие газеты ухватились. На это и напирали. Что Солженицын германофил, поклонник Гитлера и т.д. Из глубины памяти выплывают приблизительные цитаты вроде такой: «Пока бои шли на территории СССР, Солженицын из последних сил еще держался, но когда фронт подкатился к его любимой Восточной Пруссии, он не выдержал...» Историки уличали в невежестве. Вроде перепутал «Билль о правах» с «Великой хартией вольностей». В программе «Время» женщина с кислым лицом унылым голосом сообщила: «Сегодня Указом Президиума Верховного Совета СССР из Советского Союза выдворен Солженицын». В школу на урок обществоведения пришла директриса со специальным докладом. «Вы же понимаете, ребята, какую подлую ложь про нашу Родину он написал в своей книжке "Архипелаг ГУЛАГ"? Чебыкин, что он написал?». Чебыкин привычно затынул: «Ну-у-у... Эта... В общем... Э-э-э...» «Он написал, что наша Родина — один огромный концлагерь!» Ну, это действительно подлая ложь. Однако смысл слова «ГУЛАГ» начал понемногу проясняться. Писателей и историков уже не хватало. В программе «Время» прошел сюжет «Трудящиеся отвечают литературному власовцу». Не то на ЗИЛе, не то на АЗЛК группа мужчин и женщин в комбинезонах, с сокрушенными лицами и чуть ли не с кувалдами в руках. Молодой здоровый парень: «Попадись мне этот Солженицев, я бы с ним по-мужски поговорил».

Сейчас ведь как? Государственным строем никто не доволен, зато в президенте души не чают. Тогда было наоборот. Генсека никто терпеть не мог, а гос. строй в основном людей устраивал. А Солженицын, как уже ясно было, посягал именно на строй. И подумалось: а ведь он ходил среди людей, книг его не читавших, но готовых его разорвать, причем безнаказанно. Тут из голосов узнал, что, оказывается, он уже четыре года нобелевский лауреат по литературе. Советские газеты про это молчок. Выяснилось, что родители в начале 60-х читали «Ивана Денисовича». Помнят

отлично. Книга про сталинские лагеря. У отца отец расстрелян. У матери дядя. Фантастика фантастикой, но книжки про лагеря и тюрьмы у подростка середины 70-х вызвали жгучий интерес. Их практически и не было. Одноклассников, с малолетки приходивших, только что на руках не носили. Все это осталось в памяти.

В дальнейшем и в советской печати, где его тоже не забывали, и по голосам я старался внимательно отслеживать новости о писателе. Но книг его не читал и в руках не держал.

Следующий этап моих отношений с творчеством Александра Исаевича начался совершенно неожиданно. В 76-м закончив школу, где был беспросветным троечником, я поступил в не очень престижный московский технический вуз. Там в группе оказалось два москвича — я и Иван. Он был как раз из кругов, близких и к диссидентам, и к литературной богеме. Отец, кандидат наук, специалист по физике атмосферы, был, как тогда называлось, «подписант». Подписывал требования освободить Синявского и Даниэля, Горбаневскую и Делоне, Литвинова и генерала Григоренко. За это стал невыездым. Даже личные приглашения Жака-Ива Кусто не помогали. А дядя Ивана был поэт круга Бродского, один из «ахматовской» четверки. Уж где должны были иметься книжки Солженицына, как не там? И вскоре я гордо нес домой роман-газету «Один день Ивана Денисовича» с портретом автора на обложке. Риска никакого, советское издание 60-х. Из библиотек изъято, но не у граждан. Приятель, которому показал, сказал, взглянув на обложку: «Сразу видно — физиономия склочная». «Отсиди восемь лет, посмотрю, какая у тебя будет». «Один день» я прочитал очень внимательно. И какой ни дурак я был в свои 17 мальчишеских лет, но понял — эта книга не против «отдельных случаев нарушения социалистической законности в период культа личности». Эта книга против советской власти вообще. Во всех ее проявлениях. Как ее прозвали (или наоборот, не прозвали?) хрущевские идеологи, до сих пор ума не приложу. Значит, можно и так. Не держа в кармане фигу «социализма с человеческим лицом». Будем знать.

Дальше — больше. Вторая книга, полученная от Ивана. Первый прочитанный мной тамиздат. Не помню, второй или третий том шеститомного (кажется) собрания сочинений Солженицына. Толстая книга в ярко-салатовой обложке с серебряным тиснением. «В круге первом». Книжка читалась одним духом, но до сих пор кажется мне неудачной. Слишком лобовой, что ли. Но с ней открылись неожиданные подробности из жизни близких.

Я выше упоминал, что тамиздата в семье не водилось. Водился. Отец, член КПСС, читал «Круг». Ну и мать, естественно. Главное, отец уже много лет работал в отделе технической эстетики Научно-исследовательского института автоматики. НИИА. Один из бесчисленных почтовых ящиков. В Останкино. На Ботанической улице. Оттуда он его и принес когда-то. Мне не показал. Его читал весь институт. НИИА это и была «шарашка Марфино». Читали и узнавали помещения, в которых сидели в 40-х герои Солженицына, а теперь сидят работники НИИА. Отец смеялся: «И ведь, стервец, государственную тайну выдал, чем секретнейший объект занимается». — «Бать, они там вокадеры, клиперы какие-то разрабатывают. Это что?» — «Про клипер не в курсе, а вокадер всегда в работе, постоянно совершенствуется. Что это — из названия понимать должен. Вокал и код. Голосовой шифратор. Позволяет кодировать устную речь». Кстати, и глушилки, сквозь которые я на старенькой «Sakte» пробивался, тоже в НИИА конструировали. Причудливо тасуется колода.

Третья книжка — «Раковый корпус». Это был уже классический тамиздат. Формат с ладошку. Мягкая пластиковая обложка. Папиросная бумага. Издательство «Посев». На мой взгляд, лучшая книга Солженицына и одна из лучших русских книг двадцатого века. Ни одного лишнего слова. Каждый персонаж на своем месте и накрепко вписан в сюжет. Все ружья стреляют.

Ну и, как вишенка на торте, четвертой книгой оказался «Архипелаг». Его ругают. Чем дальше, тем больше. Ругают за недостаточную художественность. А там есть

изумительные места. Побег Тэнно и Коли. Кенгирское восстание... Ругают за исторические неточности. Цифры преувеличены. Книжка писалась в подполье, без доступа к любым документам. Да и цель имела не факты систематизировать, а нанести максимальный вред господствующей системе. Что блестяще и осуществила.

На том же Западе после выхода «ГУЛАГа» количество «полезных идиотов», сочувствующих СССР, стремительно сократилось. Кто в маоисты ушел. Кто в еврокоммунизм. Остались только уж совсем на прямом содержании КГБ состоящие. И еще на один момент хочется внимание обратить. Хотя лучше бы не обращать, конечно. Что знали в Москве в начале 80-х о чеченцах? Да тогда азербайджанцев на рынках грузинами считали. Из Лермонтова что-то. Максим Максимович, Бэла, уланы с пестрыми значками, драгуны с конскими хвостами, чеченцы... А Солженицын, пожив с ними бок о бок в лагерях и в ссылке, абсолютно точно предсказал, что у любого государства, имеющего имперские амбиции, с этим народом будут проблемы. Внутренние и внешние. Всегда.

Годы шли. Насмотревшись на лагеря в экспедициях, я в середине 80-х осел в Москве. Опять же Иван пристроил меня в некую религиозно-диссидентскую тусовку. Тут я впервые познакомился с по-настоящему образованными людьми. Просто ходил подавленный обрушившимися на меня пластами культуры. Ведущий группы был для меня непререкаемым авторитетом, а его авторитетом был «вермонтский отшельник». Он был в курсе всей эмигрантской и оппозиционной полемики вокруг Солженицына. Сам в самиздате защищал его от дежурных обвинений в антисемитизме, национализме и авторитаризме. Цитирую очень приблизительно, по памяти: «Доходит до обвинений в погромах. А вот мне, например, трудно расценить иначе чем погромную позицию журнала "Синтаксис", который создан, похоже, с единой целью — вести мелочную и склочную полемику с А.И.Солженицыным, делающим дело России». Люди этого круга опознавали своих по цитатам его книг. В разношерстной малознакомой компании кто-то, намазывая бутерброд, произносил вдруг: «Маслице-фуяслице» — и все понимающе улыбались.

Господи, «какие прекрасные лица и как это было давно»...

А вокруг, между тем, судьбоносная перестройка все углублялась и углублялась. «Архипелаг ГУЛАГ» напечатали в «Новом мире». Перевозбужденная страна ждала как манны небесной слова пророка. Пророк долго молчал, а потом сообщил «Как нам обустроить Россию». Чуда не произошло. Копья вокруг текста ломались, но в общем стало ясно, что настоящая история делается уже не там. Уже читая «Красное колесо» весной 91-го года, я рассматривал его как успокоительное «в разворошенном бурей быте». Потом было много всего. Гротескное возвращение в личном поезде. Ленивый, выдыхающийся скандал все на ту же тему вокруг «Двести лет вместе»... И уже после смерти — совершенно хармсовский спор на встрече Путина с литераторами правнука Достоевского со вдовой Солженицына, кто круче сидел — его прадед или ее покойный муж?

Как многих других, Александра Исаевича утянул на дно чудовищный броненосец СССР. Не то что он его потопил, но среди комплекса причин, отправивших судно на дно, кроме развала в машинном отделении, столкновения с айсбергом, дезертирства команды, была и его торпеда под ватерлинию.

Однако великий человек тем и велик, что всегда возвращается из забвения. И сейчас можно с интересом наблюдать, как вдруг вновь оживился злобный интерес к Солженицыну. По-прежнему его атакуют слева, правда, уже не за антисемитизм и национализм, а за грязную клевету на крайне эффективного менеджера И.В.Сталина. Атакуют справа за низкопоклонство перед иностранцами. Ишь ты, плохих эстонцев Иван Денисович не видел. Ишь ты, бандеровцы в «ГУЛАГе» — «спокойные, плечистые хлопцы». Историки не устают опровергать с цифрами в руках. Короче, опять актуален Александр Исаевич Солженицын — последний писатель в истории человечества, на эту историю непосредственно повлиявший.

Марина Кудимова, поэт, прозаик (г.Москва)

Непререкаемый историзм

Гений — это вовсе не только, а на русской почве и не столько — человек, наделенный выдающимися способностями в какой-то области, но и человек, сполна обеспеченный сопровождением таковых способностей судьбой. По этому признаку Александру Солженицыну мало найдется равных. Главное качество гениальности — универсализм, равноодаренность, с какой стороны ни зайди, в том числе и с биографического бока. Гений осложняет задачу исследователя неуловимостью, недоступностью воображению и разуму самой своей природы и упрощает эту задачу в том отношении, что любой — без преувеличения — фрагмент текста, если речь идет о словесном воплощении, такой же универсум, как и весь свод созданного.

«Как при мощных геологических катастрофах новые взрывы, взломы и скольжения материковых пластов происходят прежде, чем окончились предыдущие, даже перестигают их, — так в эту русскую революционную ночь совместились несколько выпереживающих скольжений, из которых единственного было достаточно — изменить облик страны и всю жизнь в ней, — а они текли каменными массами все одновременно, да так, что каждое следующее отменяло предшествующее, лишало его отдельного смысла, и оно могло хоть бы и вовсе не происходить». Выписка из статьи А.Солженицына «Размышления над Февральской революцией», посвященная роковой ночи падения русской монархии, одновременно — методом наложения — применима и к тектонической, сейсмологической художественной системе, созданной Солженицыным, — системе «выпереживающих скольжений».

«Одного дня Ивана Денисовича» было бы достаточно для появления писателя нового типа, создания нового литературного жанра, нового стилистического метода и нового языка национальной прозы. Зачин приведенной выше цитаты объясняет «геологическую» природу гения Солженицына, который в одиночку справился с задачей, не подвластной всей литературе XIX и начала XX века — до катастрофы. Задача эта, как и задачи более мелкие, вполне осознанно поставленная рациональным сегментом необъятного сознания гения, состояла в преодолении «второго раскола» русской истории. Первый — церковный раскол XVII столетия, который Солженицын называл «безумным», — привел к «обезбоживанию», духовному иссяканию общества накануне революции. Второй — ставший к тому же XIX веку непреодолимым — разрыв между культурным меньшинством и массой, давшей перворосток, первооснову данной культуры. Об этом разрыве много и сокрушенно писал самый близкий к Солженицыну по масштабу русский титан — Лев Толстой. Сближает их прежде всего непререкаемый историзм, без которого писания обоих никогда не сыграли бы роли катализатора не только литературы, но и куда более глобальных процессов. Одной из причин победы радикализма в борьбе за власть на 1/6 части суши Солженицын считал слабость Государя «против образованного класса — а это уже была половина победы будущей революции»: «В столетнем противостоянии радикализма и государственности — вторая всё больше побеждалась если не противником своим, то уверенностью в его победе... Столетняя дуэль общества и трона не прошла вничью: в мартовские дни идеология интеллигенции победила...»

При том, что Солженицын не менее пристрастен и несправедлив к последнему Царю, чем Толстой к Церкви, к обоим полезнее прислушаться, нежели отмахнуться и огрызнуться, как это происходит сейчас во всех общественных лагерях в условиях,

когда постмодернизм, возобладавший над всеми сферами, низвел гения в лучшем случае до игрока в бисер. Солженицыну удалось то, что было невозможно Толстому, — взглянуть на русскую историю изнутри, глазами не князя Болконского, но Платона Каратаева и капитана Тушина — прямых участников процесса, вынужденных к участию происхождением, а не стремлением к «героизму» и не должностными обязанностями аристократа.

Толстой обозначил места разрыва исторического единства и оставил набор тяжёлых инструментов — уровень, рулетку и правило. Солженицыну удалось произвести монтаж стяжки расколотой русской истории — во многом вопреки собственным идеологическим установкам, благодаря усилию не разума и знания, но гения. А гений не осуществляется без интуиций и сверхсознательного, безрасчётного догадывания.

Метафизичность судьбы Солженицына, конечно же, имеет много измерений. И юношеские преодоления комсомольской слепоты, и тюрьма, опыт которой он так ценил, и чудесное излечение от смертельной болезни, и изгнание — без любого из элементов «жития» Солженицын мог не состояться в своей неизрекаемой полновесности. Но «отдельный смысл» каждой из этих частей жизненного повествования не сложился бы воедино без сверхзадачи и сверхцели. Писатели «из народа», хлынувшие в литературу после революции, могли быть сколь угодно талантливы. Но состояться без принятия условий игры с государством никому из них просто бы не дали. И трагизм судьбы Шолохова состоит не в череде «разоблачений» авторства «Тихого Дона», к которым и Солженицын приложил увесистый кулак, а в буржуазности как неотъемлемой составляющей страшной навязанной игры, в сытости и кошмарном благополучии бытования советского писателя среди страданий последовательно сживаемых со свету матрен и иванов денисовичей. И не испив вместе с матренами и денисовичами их горькой чаши, Шолохов не мог сказать того, что сказал Солженицын: «Селективным противоотбором, избирательным уничтожением всего яркого, отметного, что выше уровнем, — большевики планомерно меняли русский характер, издергали его, искрутили... Давние черты русского характера — какие добрые потеряны, а какие уязвимые развились — они и сделали нас беззащитными в испытаниях XX века».

Глеб Нержин, герой «В круге первом» и протагонист автора, потянулся к дворнику Спиридону не так, как Пьер Безухов к Каратаеву. Пьер не мог верить в преодолимость этой бездны. Он лишь прильнул — и отпрянул в свои привычные «залы», «манжеты» и саксонский фарфор, а Нержин — поверил, что единение возможно не только на вынужденном уровне заточения — и не ошибся. Солженицын состоялся, потому что преодолел элитарность — тюрьмой, а безбожие — раковым корпусом. Он стал первым выходцем из «общества бессмертия», поправившим смерть, первым после Толстого писателем, проповедующим, а не только повествующим. Но проповедующим не собственные «искания» и метания, а то, что прежде казалось неизблемым, а после — навсегда и безвозвратно утраченным: «А истина, а правда во всем мировом течении одна — Божья», то есть — Евангельская. Солженицын состоялся прежде всего — и важнее всего — как православный христианин. Этому не помешали ни повальное религиозное диссидентство «образованщины», ни сгущающаяся «европейская ночь», которую Солженицын видел внутренним зрением при всеобщем ликовании от победы «прогресса», ни иные «взрывы, взломы и скольжения материковых пластов». И потому он — и только он — имел право обличения народа, спасовавшего перед волей «черного злодейства коммунистов». Право такое дается лишь любовью и причастностью: «У русского духа не хватило стойкости к испытаниям»; «Это уже не была Святая Русь». Первое утверждение опровергла Отечественная война. Второе остается неопровергнутым. Но, пока горит лампадка в нишей избе Матрены, надежда не потеряна.

В век, когда стиль подмял и нивелировал язык и Набоков безоговорочно победил Платонова, Солженицын создал новое единство стиля и языка, и простить ему этого не могут ни «стилисты», ни «язычники». Его так часто упрекали в «советскости» — в

том числе и стиля, что эта полемическая натяжка стала казаться верным допущением. Еще бы! Ведь он, верный ленинец, намеревался написать роман «Люби революцию!» Правда, было ему тогда от силы 17 лет. Биография любого публичного человека при каждом удобном случае прикладывается в виде компромата к его сочинениям. Но если читать не только серию ЖЗЛ, а собственно сочинения, тексты, то очень скоро становится неопровержимо ясно, что Солженицын и здесь стянул, замостил разделенные берега древнерусских словесных памятников, русской классики и советской литературы, взял лучшее и добился адсорбционного равновесия.

Одного только не мог предусмотреть он, кажется, все предусмотревший литературный подвижник: что язык и стиль станут недоступны читателю в силу утраты культурных ориентиров и понимания литературы как особого высококонцентрированного языка. И что сам читатель иссякнет, падет в неравной борьбе с «прогрессом», сраженный вероломным нападением не интересной ему, ничего не дающей уму и сердцу квазилитературы. Жертвой этой войны с читателем, разгоревшейся после отмены цензуры и вообще любых ограничений, стала главная книга Солженицына — «Красное колесо». В дикой мешанине рынка книга эта осталась втуне, не достигла цели. Солженицын говорил о революции как о «хаосе с невидимым стержнем», добавляя: «Она может победить и никем не управляемая». Так вышло в рыночной стихии и с «Красным колесом», поверженным неуправляемым хаосом разнородности и разномастности издательского вала. Чем немедленно воспользовались радикальные критики, объявив эпопею Солженицына неудобочитаемой. Но литература живет по иным правилам, и система табу часто играет против себя и забивает в свои ворота. «Заделывай на апгрейд», как говорят компьютерщики, в культуре благотворны, даже если временная перспектива смутна. Солженицына еще только предстоит прочесть — не замыленным политикой и конъюнктурой глазом. Просто — как великого русского писателя.

Михаил Кураев, прозаик (г. Санкт-Петербург)

Уроки Солженицына

Отечественная литература предоставляет читателю, обществу как творческое наследие писателя, так и неотделимую от творчества самую его жизнь.

И одно и другое принадлежат истории, духовному опыту нации.

Вечно рвущийся на волю и попадающий из одной неволи в другую Пушкин. Бездомный, словно живущий в дороге Гоголь. Тургенев, который видится даже на гауптвахте в шлафроке и покойном кресле. Бесконечно меняющий в пространстве одного города жилище Белинский. Лермонтов — непостижимая комета, каковую удалось разглядеть лишь в удалении в безвозвратные миры... Они все в равной мере принадлежат и литературе и нашему историческому национальному опыту.

Сегодня речь об Александре Исаевиче Солженицыне.

Столетие со дня рождения, а чувство такое, словно его реальное, осязаемое присутствие длится... Зайду в театр на Таганке, увижу его в фойе сидящим с чашечкой мороженого в руках, увижу его обезоруживающую улыбку и услышу признание: «Люблю мороженое».

Он рядом. Его обжигающие тексты не остыли. И чрезвычайно интересно следить не только за мыслью великого человека, но и за тем, как он спорит с самим собой. И не только потому, что живем в непредсказуемо переменчивом мире. Перечитывая «Матрёнин двор» и «тамбовские», деревенские главы «Красного Колеса», ты видишь, как художник спорит с очеркистом, как автор программы «Как нам

обустроить Россию» освобождается от иллюзий и пишет неопровержимое свидетельское показание — «Россия в обвале».

И хотя профессия школьного учителя, успешного учителя, органическая составляющая внутреннего уклада писателя, на мой взгляд, то обнаруживает себя, то вовсе неразличима, причастность его к этой славной профессии я, к примеру, вижу прежде всего в том, что его жизнь и творчество — урок. И вызывает восхищение, как он «готовится к уроку» — и на войне, и в лагере, и в архиве.

Когда я работал над сценарием по «Красному Колесу», мне довелось познакомиться с библиографией, насчитывающей тысячи наименований публикаций и архивных материалов, дневников, так или иначе запечатленных свидетельств участников и комментаторов событий, о которых пишет Солженицын. Три десятка страниц, заключительные главки «сплотки» «Ленин в Петрограде» («Красное Колесо») — какой насыщенности текст, как он интонирован голосами главных персонажей, Ленина и Троцкого, к примеру. Какие «гвоздевые» характеристики своим сподвижникам, попутчикам и врагам дают эти герои, но их «играет» автор! Увы, кино такое не по зубам. Может быть, когда-нибудь...

Читая Солженицына, размышляя над его «уроками», я вовсе не чувствую себя за партой, с тетрадкой. Настоящие учителя не те, что тычут ученику в лоб пальцем и вразумляют: «Запомни на всю жизнь!» Именно проза Солженицына, как я её воспринимаю, заставляет вспомнить прогулки Сократа с теми, кому ход его мысли интересен. Проза Солженицына — это приглашение к со-беседованию. Автор не скрывает своей пристрастности. Но пристрастность пристрастности рознь. И прежде всего надо понимать: чем она продиктована? Солженицын не скрывает своей «ориентированности» в политическом пространстве и человеческих симпатиях. И для выражения своих «пристрастий» Солженицын-художник располагает широчайшим арсеналом средств. Страницы, исполненные сатирическим пером, особенно мне по душе, и «В круге первом» — Сталин, пишущий о языкознании, и в «Красном Колесе» — история «святого семейства», а Керенский!..

Солженицыну тесно в границах узаконенных жанров.

И еще один «урок» — как быть, когда стиль вступает в конфликт с материалом? А довериться материалу! Дать высказаться своим голосом — событию, герою, истории. А то, что это будут разные голоса, ну что ж, приоритет за историей!

«Уроки Солженицына» — это и сама его жизнь, не только творчество, но и уникальный человеческий опыт деятельного, неотступного и талантливого противостояния всему, что насилует, калечит, унижает человека. Предоставлю воображению читателя возможность представить все многообразие и значимость этих «уроков»...

Солженицын, выдворенный из Советского Союза, пришелся не ко двору нашей эмигрантской «третьей волне». Солженицын, вернувшийся на родину, не пришелся ни к «либеральному двору», ни к «ельцинскому», ни к «патриотическому». Это ли не урок свободы?

А либералы суровы, кто не с ними, тот против них!

Солженицына надо задвинуть!

В общественное сознание вбивается всеми дозволенными и недозволенными средствами мысль о том, что «его время» прошло. Дескать, спасибо за «ГУЛАГ», спасибо за «Ивана Денисовича» ...

Как художнику — отказать! Как мыслителя — не принимать!.. Как политика — забыть!

Ярчайший пример — «Двести лет вместе». Этот труд третируется. Почему история диалога двух народов вызывает подозрение и желание немедленно опровергнуть, а то и заклеить? А мы не приучены к диалогу. Оглянемся. Как формировалась европейская культура? Ее формирующее начало — диалог. Античная философия — диалог. Европейские университеты — диспут. Утопия «Город солнца» — диалог. Даже предтеча современного европейского романа — эпистолярный роман, это тоже

диалог. Были и Торквемады, и Савонаролы, были инквизиция и Варфоломеевские ночи, абсолютизм, но фундаментальное основание европейской культуры, диалогической культуры, выстояло и сформировало одну из самых уважительных по отношению к человеческой личности общественно-политических структур. При всех оговорках.

А нам подавай учение единственно верное и потому победоносное. А кто не с нами?.. И святой креститель Руси крушит Перуна, крушит языческие капища... И добрый Пастырь становится пастухом с кнутом. И патриарх Никон, только истины ради, берет топор и рубит в храме и топчет «неправильные» иконы и шлет на костер не желающих единственно верно молиться и креститься... И дальше — по списку.

Зачем этот экскурс? Солженицын целиком существует в контексте отечественной истории прежде всего.

Есть ли у нас во второй половине минувшего века другой со-беседник о нас, о прожитом, изболевшем?

Есть ли еще равный ему свидетель и сострадатель народных бедствий?

Он не создал «единственно верного и потому правильного» научения для всех. Он сделал больше. Он помог целому поколению, моему уж точно, сделать шаг к внутренней свободе. А как писатель и историк он вернул, к примеру, в наше историческое сознание «Февраль» как исток «Октября». Уже никто не минует дороги, проложенной «Красным Колесом»...

Юбилейная апологетика — не мой жанр. Я никогда бы не повесил у себя дома портрета Столыпина с его изумительными колечками на тонких кончиках усов (раскрутись одно колечко, и портрет станет шутовским). «Утро начинаю с распределения пулеметов», — так писал саратовский губернатор жене в Ковно в 1905 году. И Колчака даже в сладчайшем исполнении актера Хабенского тоже бы на стенку не повесил...

Но нет у меня другого со-беседника, искреннего, страстного, страдающего человеческой боли, сознательно с молодых ногтей избравшего судьбу как служение людям.

Помнится, Ленин, более чем нелюбимый Александром Исаевичем Солженицыным, писал, что лучший способ отметить юбилей — это сосредоточить внимание на еще не решенных задачах. И юбилей — это повод осознать, как важно для всех нас сегодня, уверен, и завтра, читать Солженицына, размышлять вместе с ним, соглашаться, спорить... Учиться свободе.

Мне кажется, что Солженицын еще не прочитан, еще предстоит осознать и пережить этот уникальный творческий и жизненный опыт.

Афанасий Мамедов, прозаик (г.Москва)

В забытом эфире

Книг, способных повлиять на сознание читателя, избавить его от страхов и поставить на Путь, не так много. И здесь у каждого свой «джентельменский» набор. В мой входят: «Евангелие от Луки», «Лолита» и «Дар» Владимира Набокова, «Джан» и «Река Потудань» Андрея Платонова, «Прощай, оружие» и практически все рассказы Эрнеста Хемингуэя, «Тропик Рака» Генри Миллера, стихи Иосифа Бродского, выданные мне когда-то на одну ночь, «Архипелаг ГУЛАГ» и «Один день Ивана Денисовича» Александра Солженицына. По сей день хорошо помню не только тех, кто вывел меня на эти книги или снабдил ими, но и какой эмоциональный след они оставили.

Некоторые из них я перечитывал по многу раз, и только платоновские и солженицынские никак не соберусь перечитать. Что-то останавливает меня, вероятно, те усилия, которые потребуются для их прочтения: очень уж темна была река, по которой они плыли, и тяжелы были весла.

Среди отечественных писателей конца XX века мало кто вызывал бы столь противоречивые чувства, одновременно находясь и в эпицентре нашей литературы, влияя на нее одним своим присутствием, и на ее дальних рубежах, как Солженицын. О ком еще столько говорили по случаям самого разного калибра, и кто еще остался столь невоспринятым и неузнанным — при той степени писательской известности, какая у него была. И сегодня, несмотря на то что Людмила Сараскина написала биографию Александра Исаевича, им же самим одобренную, а в издательстве «Время» вышло двадцать три тома его сочинений из тридцати намеченных, мы не можем до конца сложить для себя образ Солженицына.

В то же время сказать об Александре Исаевиче что-нибудь захватывающе новое, что-нибудь исключительное, также кажется задачей непосильной, особенно после вдумчивых и тонких статей Андрея Немзера, после ярких и провокационных лекций на YouTube Дмитрия Быкова. Может, прав Немзер: это все из-за масштабов Солженицына, из-за его к нам масштабной снисходительности? К слову, Андрея Немзера сегодня можно назвать не только главным толкователем текстов Солженицына, но и самым авторитетным его заступником. Казалось бы, уж за Солженицына чего заступаться? Но нет, не все так просто, в особенности в кругах академических, пристрастия представителей которых несколько отличаются от пристрастий библиотекарей, школьных учителей и свободных книгощеров длительностью и накалом.

Дмитрий Быков интересно рассуждает о «Красном колесе» и конце истории личности, о приключениях жанра у Солженицына-модерниста и Солженицына-ирониста (!), когда сравнивает с Достоевским, проводя одну параллель за другой, пытаюсь убедить нас в том, что у каждого из нас «свой Солженицын» — ну, как Пушкин, Толстой, Достоевский, Чехов. Но что-то не получается. Быть может, оттого, считает Дмитрий Быков, что еще недостаточно времени прошло со дня кончины Солженицына. Возможно, к следующей круглой дате и он, Александр Исаевич, объединит левых и правых, славянофилов и западников, эмигрантов всех волн и читателей всех мастей, а пока мы имеем то, что имеем. И немало имеем — двадцать три тома из тридцати, говорят, готовится к публикации и дневник «Красного колеса», и эпистолярное наследие. Наверное, после выхода этих томов снова будет о чем говорить.

Но как быть уже сейчас с книгой Солженицына «Двести лет вместе», которая в корне изменила мое отношение к автору? Уверен, что не только я один не смог принять ее и даже был раздосадован появлением этого труда. Правда, некоторые историки литературы и писатели — такие, например, как Бенедикт Сарнов и Владимир Войнович, — не видели в появлении книги «Двести лет вместе» ничего удивительного. Как подобное произведение могло выйти из-под пера классика — судить не берусь, опять же — тяжелы весла, и темна река нашей жизни, но почему-то остаюсь в твердом убеждении, что у Александра Исаевича возможность не писать эту вещь была. Возможно, возраст тому виною, а может, возвращение на родину, встретившую его не совсем так, как ожидалось.

Нужно обладать не только даром и волей, но и чувством Большого времени, чтобы наперед выстроить стратегию своего существования в литературе, подписать «договор с Высшими силами». Возможно, в пунктах «договора», подписанного Александром Исаевичем Солженицыным, значилось и возвращение в страну, из которой его выслали. Иначе не объяснить, почему вдруг один из самых известных российских писателей и диссидентов, отомстивший за сотни тысяч погибших

в лагерях, триумфально вернулся на родину с собственным планом ее обустройства. Не понял, что страна тогда больше чем наполовину состояла из триумфаторов и гудела ими так, словно на «пустом уроке». О каком «обустройстве» могла идти речь? Закон причинно-следственных связей никто не отменял — России еще предстояло отработать все те «узлы» и «сплотки», о которых сам же вернувшийся мастер писал в своем неподъемном даже для продвинутого читателя «Красном колесе».

Мир изменился и без суда над коммунистами. Не было больше надобности припадать в ночи к радиоприемнику, чтобы сквозь чинимые чекистами помехи услышать рассказ о том, как покидают Советский Союз евреи или как возвращаются в Россию великие и не очень писатели. Теперь эфир забивался шоколадками «Сникерс», бабочками «МММ», памперсами «Либоро» и обещаниями генералов прикончить войну... Александр Исаевич не мог не оценить по достоинству этого безудержного карнавала девяностых и, как всякий крупный писатель «на договоре с Высшими силами», предпочел обустроиться по вермонтскому опыту.

Нельзя сказать, что скрылся Александр Исаевич глухо, как тот же Сэлинджер в Корнише, появлялся, но по особым случаям. Видя его на экране, я всегда задавался одним и тем же вопросом: «Почему он никогда не улыбается? Какая, должно быть, невеселая у него жизнь. Интересно, у всех избранных Высшими силами такая?» И только когда на его родине, для которой он столько сделал, нашлись люди, обвиняющие писателя в антипатриотизме и «литературной власовщине», — понял, почему он не улыбается. Он отлично знал природу людей и несмотря на это продолжал выполнять пункты своего «договора».

За те четырнадцать лет, что суждено было прожить Александру Исаевичу в новой России, он, кажется, привык к ней, а она — к нему, как привыкают к тем, на ком держится мир. Без разницы — западный или восточный. Как без разницы, какой ветер дует новым мальчикам и новым девочкам, спешащим по старой московской улице, названной его именем. Хочется верить, что у них своего ГУЛАГа не будет, ибо за них уже принесли жертву. И разве не это высшая награда мастеру от Высших сил?

В забытом и забитом шумами эфире для меня вновь зазвучало его имя. И он *где-то там* стал для меня важнее, чем здесь.

Дмитрий Шеваров, прозаик (г.Москва)

Мой «другой» Солженицын

Вечерний снег, вечерний снег!
И ветви лип седые...

Александр Солженицын, 1949

Александр Исаевич часто и мучительно размышлял о тех моментах истории, когда для страны вот-вот могли открыться другие, не кровавые пути, а они не открылись и чаемое обернулось злом, оставив людей в безнадежности на многие десятилетия.

Почему окно возможностей для России закрывается всякий раз раньше, чем люди успевают им воспользоваться? Что ломается в механизме русской жизни в самый ответственный момент?

Обо всем этом много и в «Красном колесе», и в «России в обвале», и в текущей публицистике.

Но как отозвалось всё это в судьбе самого Александра Исаевича? Был ли тот момент, за которым мог последовать другой, альтернативный вектор развития его как писателя?

Конечно, возможности, упущенные страной, отнимают эти возможности и у каждого из нас. Не будь революции, гражданской войны, ГУЛАГа и снова войны — мы все были бы другими.

Но, кажется, Александр Солженицын был бы особенно *другим*.

Где бы в таком случае явилась миру шаровая молния его личности — в математике или физике, философии или историографии, космических исследованиях или священстве?.. Или все-таки — в русской словесности?

Мне думается, что в литературу он бы неизбежно пришел, но иным. Можно только гадать — каким именно. Но во всяком случае: скорее лириком, чем публицистом и проповедником. К лирике его звали бы и кисловодское младенчество в предгорьях Эльбруса, и звезды степного детства, и более поздняя неутолимая тяга к средней полосе России.

В нем заложены были не только горячность, страстность и чувство необходимости общественного служения, но и способность к внимательному созерцанию Божьего мира, к деятельному одиночеству, к бодрому затворничеству. Собственно, все его масштабные книги родились именно из такой вот редкой даже для писателей способности резко и глубоко удалиться от мира.

Мне кажется, глубоко неправы те, кто выводит Солженицына исключительно из исторических обстоятельств (а это уже стало общим местом в исследованиях о классике). Мол, не будь катастроф XX века, не было бы и Солженицына.

Я уверен: он состоялся бы при любой исторической «погоде». Не только в бурю и метель, но и в годы благодатной и спокойной народной жизни.

Благодать и спокойствие всегда хрупки и относительно, а сердце чутко. И Солженицын, ничуть не изменив своему данному от Бога дару, состоялся бы в этом уединении как ученый, поэт и мыслитель.

Да, о степени его прижизненной славы в таком случае можно лишь гадать, но так ли важна она была для Александра Исаевича? Не думаю. Если он и жаждал чего-то для себя, то полной самореализации — даже сверх собственных сил.

Дмитрий Сергеевич Лихачев говорил своим скороспелым биографам: «Не надо сводить мою жизнь к хеппи-энду».

Так и жизнь Солженицына не надо сводить к триумфу «пророка». Среди того, на что ему не хватило души и времени, — поэзия.

Михаил Бахтин, так много размышлявший о судьбе литературы в двадцатом веке, пришел к выводу, что у русской лирики после 1917 года перехватило дыхание. Лирика, говорил он, невозможна на ледяном ветру, на сквозняке. Этим он объяснял «неявку» в двадцатый век поэта, соразмерного Пушкину.

Да, новый Пушкин не пришел, но созданное поэтами XX века — оно было о милости к падшим. Оно согревало.

И среди того, что написано на сквозняке, — уцелевшие стихи и «крохотки» Александра Исаевича. Отсвет «другого Солженицына», которого я успел почувствовать.

У меня было всего две-три встречи с Александром Исаевичем. И каждый раз я уходил с необъяснимым щемящим чувством. Солженицын совершенно не совпал у меня с тем образом, который создали СМИ. Он не был ни резок, ни категоричен, ни самолюбив. В нем была несуетность, собранность и учтивость старого учителя математики.

Первая встреча была сразу после возвращения Солженицыных в Москву. Им дали какую-то временную квартиру около метро «Парк культуры». Я пришел на интервью с Натальей Дмитриевной, мы долго беседовали, разглядывали семейные альбомы, повсюду еще стояли неразобранные коробки. Потом пошли пить чай на

кухню. Накануне был день рождения Александра Исаевича, и на столе стоял почти нетронутый пирог. Из кабинета вышел АИ — в домашней рубашке, шлепанцах, веселый. После чая пригласил меня в маленький светлый кабинет, где кроме стола и одного стула еще ничего не было. Несколько минут мы «на ногах» поговорили о чем-то житейском.

Через пару лет я встречал Александра Исаевича у подъезда «Комсомолки» на улице Правды, когда вместе с Натальей Дмитриевной он приехал на «прямую линию». Это была работа: почти пять часов Александр Исаевич отвечал на звонки со всей страны. Одновременно он вел свою «бухгалтерию» по звонкам, что-то помечал карандашом, записывал. Было девять или десять телефонов, и все звонили одновременно. Мы, тогда молодые ребята, и то взмокли.

Наконец, Александр Исаевич попросил меня снять с лацкана его пиджака микрофон. Телевизионщики стали сматывать провода и укладывать камеры. Но собравшиеся газетчики из других изданий и сотрудники «Комсомолки» еще чего-то ждали. Впрочем, после такого марафона чего еще можно было ждать от 77-летнего человека?

Но Александр Исаевич стал говорить негромко, одновременно и размышляя, и увещевая. Эти слова его не были тогда опубликованы.

Александр Солженицын

«Я отказываюсь вариться в этом политическом моменте и в страстях его!..»

Заключительное слово после «прямой линии» в «Комсомольской правде» 15 апреля 1996 года. Публикуется впервые

Я тоскую по разговору с простыми слушателями всей России. Я объехал уже больше двадцати областей, еще куда-то поезжу, но всех не обойдешь и не объедешь. А сейчас я очень освежился, я услышал действительные голоса, никакие не подставные. Я просто счастлив, почему я и говорю: продолжаем-продолжаем, я нисколько не устал.

Для меня, когда я выступаю по политическим мотивам, для меня всегда есть две мерки: одна мерка историческая, то есть любой политический момент я не рассматриваю только с точки зрения этого политического момента. Я отказываюсь вариться в этом политическом моменте и в страстях его! Я всегда ставлю стержень русской истории — как он идет и что это будет. А второе — это не столько интеллектуальный, сколько нравственный уровень оценки.

Ужасна в наш век замороченность людей. Вот когда я выступал по телевидению, пока мне не запретили, предупреждал: не верьте нашей избирательной кампании, она насквозь фальшива, закон наш неправильный избирательный, несправедливый, неравный... Я еще в апреле прошлого года просил: тряске не поддавайтесь! Нет, пошла истерика. Ну и что получилось из всех этих выборов?

Надо созреть до того, чтобы наша судьба была в наших руках.

Я призываю «Комсомольскую правду» повысить уровень этих передач («прямых линий». — *Д.Ш.*). Не сводите все к эстраде, а лучше реже, да побольше, да давайте серьезные ответы. Я ужасно доволен сегодня, благодарен вам. Вы мне дали живое ощущение от общения с нашим народом.

Михаил Письменный

Парламент Солженицын

Жизнь Александра Исаевича Солженицына преподавала нам уроки, которые долго еще придется усваивать. Он не прочитан у нас, не оценен, не понят в полную меру. Слова его боялись. Его похвалы искали. Но не любили этого человека. Он был неудобен. Не вел себя правильно. Ни для стаи, ни для команды не годился и всем мешал. Поскольку выбивался из рамок, его называли великим — и гуди себе в небесах! Не переделывать же ради него себя! Мы слабости свои любим. Недостатки лелеем. А Солженицын хотел в нас видеть народ, который не гость, не наемник, не раб в родной стране, но хозяин. Он хотел нас видеть послушными воле Бога, а не прихотям вертухаев страны. Хлопал нас книгой по пояснице: разгибайтесь, ребята! Кто ж ему такое простит?

Как только на Руси появился парламент, литература перестала его заменять. Андрей Битов сказал: литература должна развлекать — и пошел накапывать на пустозвучия капли смысла. А Солженицын не сложил с себя парламентских полномочий. Он пошел в Думу обтолковывать обустройство страны.

Сошлись два парламента: Солженицын и Дума. Думцы его не ошिका́ли. Его обхихикали. Ведь и вправду смешно. Избранники напряженно думали о себе, а он — о народе. Он звал обустраивать Россию, а им бы поскорее продать ее недра и скупить лазурные берега Франции.

К нему стали пристраиваться писатели из национального лагеря, но то ли он не пошел к ним в знамена, то ли им помешала его вни́стадность и полное отсутствие их стиливого знака, их пионерского галстука — слащавого национального сюсюканья... Известно, что Солженицын дружил с Распутиным, но дочь Ивана, мать Ивана, которая взяла ружье и отправилась мстить, вряд ли могла быть дочерью Ивана Денисовича. Между ними явная гуманистическая нестыковка. Только Бог решает — жить преступнику или умереть. Добро с кулаками — это добро раба. Мстителен только раб. Свободный человек не может быть мстителем, ибо подчинен не людям, а Высшей силе. Иван Денисович — свободный человек в оковах, а герои национально страдающих — потомки человека с ружьем, изображенного у Николая Погодина.

История нашей литературы второй половины двадцатого века пишется вокруг Солженицына.

Юрий Левитанский когда-то мне говорил — он бы на лицо свое пал перед Солженицыным, но народ за ним не пошел. На призыв жить не по лжи никто не откликнулся. Тяжела оказалась ноша. Не потянули.

Солженицына изгнали, но на вытоптанное им в обществе место нужно было выставить кого-то другого. Кремлевские мыслители хотели заместить его Шукшиным, но тот умер. Тогда вывели на литературное поле Астафьева. Дали ему Ленинскую премию и стали тыкать им в глаза мальчиков из «Метрополя», тех, которые собрались вокруг Аксенова. Сидите, мол, тихо! Все, что вы пишете, уже написал Астафьев в «Царь-рыбе», а мы его наградили.

Но Астафьев не оказался ручным. Его моральная чистота и честность достойны высочайших оценок. За нежизнь не полжи он свой народ безжалостно презирал. Этим презрением и ценен. Правда, кажется, не совсем понимал, что ради соответствия его моральной высоте нужно убрать куда-нибудь полнарода.

Солженицын отзывался об Астафьеве как о писателе, который до конца выявил солдатскую правду, правду простого солдата. И ничего более не сказал.

С легкой руки Солженицына Запад зовет Евтушенко классиком. Евтушенко первым отважился говорить о Сталине правду. Явился мальчик-поэт и всех перебудил.

Евтушенко и Вознесенский строили мосты от гуманизма к советской действительности, прилаживали к социализму человеческое лицо. Левитанский знал, что мостов этих быть не может. А Солженицын уже «вышел на площадь». Солженицын сдвигал общественное сознание. Левитанский не находил в себе сил для борьбы. Она была ему противна по сути. Всякое насилие было в нем под запретом. В этом и была его интеллигентность. Левитанский противостоял системе насилия, но только противостоял, мучаясь и мешая насилию своим присутствием.

Кто тут прав? Кто честнее? Солженицын старше Левитанского на пять лет, но не на поколение. Оба прошли войну, но Левитанский не прошел тюрьмы. Значительное время они были по разные стороны решетки и, верно, не поняли бы друг друга в те времена. Да и ни в какие, пожалуй, времена они бы друг друга не поняли до конца. Решетка разделила их навсегда — военное поколение русских литераторов и Солженицына. Первым действительность скупно, но что-то давала, а у Солженицыных только отнимала. И сегодняшняя действительность туго пускает в себя Солженицына. Мы сбегам с его уроков. Мы так и не повинились перед невинно убиенными, а значит, не прощены ими, а это, в свою очередь, значит, что перед будущим мы стоим, не вступаем в него. Нас еще держит прошлое.

Десять лет назад, в дни празднования восьмидесятилетнего юбилея Солженицына было два телефильма — Сокурова и Парфенова.

Сокуров в свойственной ему манере показывал губу, глаз, очки, чистые половицы кабинета, как собственными руками великий писатель передвигает стол с телевизором. Солженицын говорит когда-то сказанное. Чувствуется, как он закрыт и как все продумано, что хочет он показать. Дом пуст и убран, выглядит нежилым. Словно все, чем живут, вынесли прочь и спрятали.

У Парфенова все поживей. Привлечены архивы. Претензий на художество нет. Чистая журналистская работа. Но и тут чувствуется рука жесткого режиссера — Александра Исаевича. Он сам создает ситуацию. Сам решает, что мне, зрителю, видеть и как.

Оно бы и ничего. Его право. Но за всем этим — недоверие как следствие многих травлей. Он все скрывает, чтобы не поняли превратно, а люди понимают превратно, потому что видна скрытость.

Например, Парфенов просит Наталью Дмитриевну рассказать, как проводит день Александр Исаевич.

Лица Парфенова не видно. Только голос. Поэтому Наталья Дмитриевна обращается не к Парфенову, а к зрителю.

— Встает рано, — начала было. Потом подумала и усмехнулась недоверчиво. — Нет, не буду говорить.

Ясно, что Александр Исаевич встает рано и молится. Это весь мир знает. Но

зачем же это скрывать? Разве можно стесняться высокого дела молитвы? Подобное недоверие породило множество подозрений, чаще всего необоснованных.

Вечный ээк, он тогда отмочил штуку! Перед празднованием письмом предупредил президента, что не примет награду. И не принял Андрея Первозванного. Мол, от власти, которая довела страну до такого состояния, он награду принять не может. Но стоило ли так — Ельцина? Ведь не власть — народ наградил вечно гонимого писателя своего. Мол, хватит ээком быть! Помоги! Тяпни по медным лбам! Будь ближе, пиши проще! Ты ведь опытен и знаешь — даже Божьи слова не сразу доходят. Две тысячи лет прошло со времен Христа, а живем ли по Слову? А ты — человек.

Нобель динамит изобрел, которым убили море народу, но его награда возвышает, а от Ельцина — унижает?

Ему, конечно, видней, да и всегда он оказывался умнее и дальновиднее тех, кто брался его судить.

Он молчал, когда говорили в глаза: вы великий!

Конечно, трудно что-либо на это ответить, но невольно вспоминается заочная беседа Льва с Иваном.

Иван: Вы великий писатель земли русской.

Лев: А почему не воды?

Всякое величие в народе — отражение народной ущербности. Никто не велик сам по себе, но только за счет чьей-то малости. И опять же вечный пример: разве Христос велик?

Не идет из головы женщина-машинистка, которая удавилась, не выдержав в КГБ допроса и выдав место, где спрятана рукопись «Архипелага». Легла в основание величия, почти безымянная.

Но... «Где ты был, когда Я полагал основания Земли?» — спросил Бог Иова, когда тот вздумал рядиться с Ним. Взглянем-ка на себя! Парламент по имени Солженицын требует исповедальности. Говорить об этом писателе, не оглянувшись на себя, значит лгать. Жил ли я не по лжи? И что бы стало, пойдя я по его моральной линейке? Ведь в самую точку врезал писатель, в то самое место, где личность «я» сочленяется с телом «народ». Как бы все задышало, если бы мы все вдруг выправились по правде!

Университет я оканчивал в Братиславе, в Словакии. В 1974 году, в день когда Верховный Совет изгнал Солженицына из России, я был в Лейпциге и увидел по западногерманскому телевидению, как он прибыл в Бонн, как говорил по-немецки, а потом перешел на русский, как его встретил Генрих Бёлль. По радио накануне передавали интервью с Бёллем, в котором впервые я услышал слова «Архипелаг ГУЛАГ». Бёлль говорил, как потрясен он огромностью книги и подробно о ней рассказывал. Когда я вернулся в Братиславу, в студенческое общежитие, мои югославские друзья дали сербский журнал «НИН», полный статей о нашем русском изгнаннике.

В консульстве был прием-собрание всех советских, оказавшихся в то время в Братиславе. Генконсул М.М.Деев часто всех собирал. Один профессор из МГУ поделился со мной, мол, хорошо тут, в Братиславе, книгу писать. Языка не знаешь, ничего не понимаешь, словно выпал из современности в вечность, и пиши себе о вечном.

— О ком же пишете?

— О Бёлле. Какой писатель!

— В стол?

— Почему в стол?

— О Бёлле теперь долго доброго слова не напечатают.

— Почему? — встревожился профессор.

Он настолько выпал из современности, что ничего не слышал об изгнании Солженицына. Я стал рассказывать. Вокруг нас собралась толпа. Деев подошел. Все

внимательно слушали, что сказал Бёльль, что говорил Солженицын, что спрашивали журналисты...

— Миша, не мог бы ты завтра то же самое рассказать работникам консульства? — попросил Деев. — Люди задают нам вопросы, а мы ничего не знаем.

К одиннадцати часам все работники сидели в кинозале. Но Деева не было. Уехал куда-то по делам. Замещал его А-ров. Я сел на председательское место и минут сорок излагал события, никак не комментируя. Когда я закончил, А-ров сказал:

— Жаль — выпустили. Отправить бы этого писака в тюрьму! Или в тайгу куда-нибудь. Дать ему велосипед и выделить квадратный километр — пусть мечется.

— Тогда ждите новой революции, — сорвалось у меня.

— Какой? — вскочил А-ров.

— Демократической, — разобрала меня злость.

— Кто же ее будет делать? — возвысился голос.

— Все порядочные люди, среди которых, надеюсь, будете и вы.

— Вот вам и свобода! — сказал А-ров. — Допрыгались.

А-ров ушел, и остальные разбежались без слова.

Утром следующего дня зовут меня в общежитии к телефону.

Сухой голос потребовал:

— Немедленно явитесь к Генеральному консулу!

Я даже не узнал, кто говорит, словно в консульстве за ночь все поменялось.

Когда я туда явился, никто со мной не поздоровался. Уборщица прошла, даже не взглянув, а я и чай у нее распивал, и брюки она мне зашивала, добрая женщина.

«Плохи мои дела», — думаю.

Вхожу в кабинет Генерального консула. Он встал навстречу. Руки не подает. Говорит «вы».

— Что вы там вчера болтали о революции? Я о чем просил? Рассказать факты. А вы?

«Ну, думаю, Богу — богово, гаду — гадово. Мне учиться осталось полгода. Не дадут доучиться, если не вывернусь. У меня отец — осматрщик вагонов. За меня постоять некому».

— Михаил Михайлович, — говорю, — я всего только и делал, что защищал от А-рова решение Верховного Совета. Как его не одернуть, если он поставил под сомнение решение главного органа страны.

Умный Деев все понял. Он засмеялся и подал мне руку.

— Верховного Совета? Я думаю, ты правильно поступил.

Стыдно ли мне теперь вспоминать такое? Наверное, стыдно. Но в то же время...

Сейчас все чаще стали говорить, что Солженицын свалил коммунизм. Он сдвинул сознание, но ничего бы он не сделал, не будь ухмылистых и ужимистых врунов во славу Божию, присутствие которых не давало А-ровым в своем коммунистическом усердии разгуляться. Да и А-ров уже не был стальным гвоздем. Просто выслужиться хотел, а сам тоже все понимал. И низость свою понимал. Но горем она для него не была.

Наталья Дмитриевна сказала, что Солженицын «говорил тогда, когда все молчали». Не совсем так. Солженицын был громче всех. Он говорил публично, когда другие шептались по кухням. Каждый говорил по-своему, как мог. И Твардовский тоже. Не надо было его так по-зэковски беспощадно размазывать в «Теленке». Обидно за него. Он тоже человек и слаб. И надо его пожалеть. Говорили все столько, насколько позволяла власть. Да и от Солженицына мы слышали не более того, что дали послушать. Хрущёв разрешил... кто-то непрочно заглушил «голоса»... и не всегда по безалаберности. А кто все это сделал? Мы все. Мы, вруны. Половинчатые люди. Да и то же КГБ. Там тоже были люди, которые не дали А-ровым развернуться в полную силу.

Но русская власть от разговоров не падает. Умей социализм обеспечить экономический рост, врать бы нам по сей день.

Солженицын — дотошный бытописатель. В этом его неодолимая сила. Он мечту Гоголя воплотил — сплошняком фиксировать бытие. Не будь этой дотошности, натуральности, фотографичности его прозы, не был бы столь мощен «Архипелаг ГУЛАГ» — главная его доблесть. Солженицына часто упрекают, что публицист в нем сильнее художника. Некоторые вообще договариваются до того, что он не художник. Согласиться с этим нельзя. Эти упреки предвзяты и подловаты. Так говорят, когда хотят мазнуть, забрызгать грязью. Но правдам, которые он говорил, иногда и не нужно никакое художество. Ведь и Библия стыдится художества. Сила правды в ней так велика и чиста, что всякое изобретательство в слове, всякое украшение правды оскорбляет ее, унижает. Если украшают — хотят обмануть. Страшновато все это писать, но великое измеряют высочайшими мерками. Солженицын велик тем, что вынес из огня, сохранил и бросил нам в лицо дыхание ужаса, крики боли, стенания отчаяния. Диву даешься, как он сам не сгорел в этом внутреннем пламени. Из каких огнеупоров сложен! Какие страшные смыслы выхлестывала его душа! Вплоть до старости, когда и сил уже не было на порывы, он выглядел так, словно только что вырвался на свободу. Дерганный взгляд, взывающий голос, быстрая речь — лишь бы успеть прокричать, пока жив, пока пуля не долетела до лба.

Зэковскую основу он в себе не преодолел. Да и смел ли, хотел ли преодолевать?

Зэк — сам по себе. Он бежит и не смотрит на павших по сторонам, иначе не спасется. Зэк берет на себя жизненную повинность павших и должен эту повинность выполнить. В нем не особная личность, но соборная модальность. Он камень, брошенный многими руками. И обязан не нам, живущим, но им, погибшим, им, не выпущенным в жизнь, он обязан голосом, значением своим и величием. Солженицын — не наш писатель. Он — не для нас. Он — для них. Он — не Сахаров, который делал бомбу, боролся за крымских татар и собирался сливаться с Америкой. Солженицын бомбу, как все мы делали, не делал. С Америкой конвергироваться, как все мы хотели, не хотел. Он близок нам и понятен ровно настолько, насколько мы способны принять близость убитых лагерями людей. Но мы не только бомбу делали. Среди нас, а значит и в нас, живут еще палачи — те, которые гнали в лагеря и убивали, те, которые и по сей день ищут себе хозяина в родной стране. И вот этой частью своей мы не понимаем и не можем понять Солженицына.

Вот каков этот человек. Влез в каждого и встал торчком. Неудобен. Но это неудобство — знак будущего нашего роста. Шевельнувшийся росток так же неудобен зерну.

Наших интеллигентов Солженицын назвал образованцами. Интеллигенция надула губы. Обиделась. Иные делали вид, что не о них сказано. Но...

Однажды, рассуждая о Трифонове, Лев Аннинский отметил тесную связь русского крестьянства с интеллигенцией. И в самом деле, связь эта настолько крепка, настолько взаимообусловлены эти два класса в России, что можно, кажется, рассматривать их вместе как целое. Даже их история видится синхронной — начало освобождения от крепостного рабства и возникновение русской интеллигенции, которая исчезает теперь вместе с крестьянством. Набравшись смелости упрощать сложное, можно даже сказать, что интеллигенция только и была выразительницей крестьянства, ничем другим более.

Аннинский утверждает, что Трифонов был последним, кто показал ее разорение. Спорить тут нечего, но жаль, что в анализе не учтен Солженицын. Никто, как он, не описал разорение русского интеллигента в двадцатом веке, которое рука об руку шло с раскулачиванием и колхозным строительством. Солженицын показал нам весь путь интеллигента — от гордой питерской Думы до состояния, когда «Как пескари, шипя в сметане,/ Кастрюльный хвалим свой уют:/ Ах, очень вкусно пахнет нами/

В кремлевской кухне острых блюд». (Это из ненапечатанной поэмы «Колыма» лагерного поэта Бориса Дьякова.) Поэтому слово «образованцы» — не ругательство, а результат глубокого исследования. Формула мысли. В этом слове больше боли, чем издевательства.

Солженицын и сам особенным образом зависит от крестьянства — истинно как русский интеллигент. Отсюда головокружительно глубокий колодец «Матренина двора», в который страшно заглядывать — такие в нем неподъемные смыслы. Убивая дугу крестьянин—интеллигент, социализм убивал становую идею, то главное русское, что давало нам право так называться.

Солженицын спасся в лагере крестьянской верой в Господа Бога. Отсюда пугающая твердость моральных устоев у него, к которой только тянулся вечно мучимый сомнениями Трифонов.

Сегодня уже почти не стало крестьян — носителей национального духа, интеллигенция переродилась в образованцев. Потому нет и морали. Мы становимся американцами — пришлыми людьми, которым ничего не жалко. От русского у нас остались только язык да православие, которое успешно формируется сейчас в священночиновничество.

Но зато у нас есть писатель Сорокин, а также писатель Пелевин, которые, пожалуй, крепче всех не любят Солженицына. А может быть, зря? Ведь тот мир, в котором видит себя сегодняшнее студенчество, их читатель — мир без государственных образований, — он виртуален. Он еще не вылутился из мониторов компьютеров. В том мире неопасно и интересно, но реальные пути туда пока не ведут. Там всего лишь мираж, игра, «перец и мак вместо хлеба насущного».

Мы должны усвоить уроки Солженицына. Иначе совершим ту же ошибку, какую совершили наши предки в девятнадцатом веке, когда не услышали предостережения Достоевского, и студенты с топорами ломанулись сквозь собственный народ к видению чудесного сада.

Пора научиться сочетать прогресс с разумом, а не почитать мираж смыслом жизни.

Сегодня, когда главный вопрос — расформировать нам Россию, переименовав в мировое удобрение, или сформировать наконец как человеколюбивое государство, чтобы войти в мир целостным живым организмом, — становится очевидной огромная роль явления Солженицына. Он никак не сопоставляется со стремлением «расформировать». Всей мощью трагичной фигуры своей он держит Россию. Она — его Евангелие, и он, наверно, — тот единственный путь, который сегодня нам остается. Пусть этот путь пахнет консерватизмом, пусть он означает возврат к старым ценностям, но это — проверенные Россией ценности.

Евгений Абдуллаев

Средневековые глобализации

В начале сентября в Алма-Ате прошел Первый международный форум писателей. Большой, организованный с размахом. Тема тоже не маленькая. «Роль современной литературы в изменяющемся мире».

В первый же день форума возникла примечательная дискуссия между поэтом Алексеем Цветковым и критиком, редактором «Знамени» Сергеем Чуприниным.

Несогласие Чупринина вызвала реплика Цветкова, который назвал себя в своем выступлении американским поэтом (поскольку большую часть жизни прожил в США). Чупринин напомнил, что писатель принадлежит той литературе, на языке которой пишет.

Тема «сдетонировала», на нее отреагировало еще несколько выступавших. Приводились примеры — авторов, пишущих на чужом (неродном) языке среди «своих» и на своем языке — среди «чужих»...

Мне эта дискуссия напомнила известную заметку Довлатова «Литература продолжается». О конференции «Русская литература в эмиграции: третья волна» в Лос-Анджелесе, май 1981 года. В заметке, кстати, тоже несколько раз был упомянут Алексей Цветков (тогда — недавно эмигрировавший из Союза). Но довлатовский сюжет был связан не с ним, а с Лимоновым. Прочитирую.

«Эдуард Лимонов спокойно заявил, что не хочет быть русским писателем.

Мне кажется, это его личное дело.

Но все почему-то страшно обиделись. Почти каждый из выступавших третировал Лимонова. ... Как будто «русский писатель» — высочайшее моральное достижение. А человек, пренебрегший этим званием, — сатана и монстр».

Поиронизировав над оппонентами Лимонова, Довлатов пишет: «Лимонов, конечно, русский писатель». И приводит тот же аргумент, что и Чупринин. «Национальность писателя определяет язык. Язык, на котором он пишет. Иначе все страшно запутывается».

Почти сорок лет назад, когда это писалось, это действительно было так. Пишешь на русском — русский писатель. На немецком — немецкий; и так далее.

Сегодня мы живем в ситуации, когда всё именно что «страшно запутывается». И чем дальше, тем больше.

Прежде чем попытаться ответить, почему это происходит — еще несколько слов об алмаатинском форуме, чтобы стал яснее контекст.

Организатором форума выступил казахский пен-клуб, возглавляемый журналистом и политиком Бигельды Габдуллиным; участники — почти со всего мира: «пеновские» активисты, переводчики, писатели... Тема для дискуссий: соотношении «глобального»

и «национального». Поглотит глобализация литературу малых народов? Или наоборот — сделает национальные литературы более доступными?

Форум проходил 10-11 сентября, что тоже как-то символично. Да еще гостиница «Рахат Палас» (место проведения всего этого действия) расположена аккурат рядом с бизнес-комплексом «Алматы Тауэрс» — двумя уменьшенными копиями нью-йоркских башен... Немое напоминание.

Можно, конечно, заметить, что споры о глобализации уже лет пятнадцать, как вышли в тираж. Где-то в конце 90-х — самом начале 2000-х — да, живая была тема, и слово еще не затерлось. После знаменитого нью-йоркского теракта, и особенно с началом нового российско-американского противостояния с середины нулевых, стало очевидным, что глобализация утратила прежний импульс. Хотя и не закончилась. Просто стала вялотекущей, рутинной. Завершилась пора ее бурного цветения, поспели и «ягодки». О них и разговор.

Национальные литературы, разумеется, не исчезли. Но постепенно «обангложычиваются». Писание на родном языке все больше обрекает автора на локальную, «провинциальную», по мировым меркам, известность. Шанс быть переведенным на английский и изданным в приличном американском или английском издательстве — минимален (если ты не нобелевский лауреат или около того). Доля переводных книг среди выпускаемого худлита в США — около трех процентов, в Великобритании — где-то три с половиной. В то время как почти половины мирового книжного рынка сегодня приходится на англоязычные страны (35 процентов дают США и Великобритания, добавим еще Канаду, Австралию, отчасти Индию...). Российский книжный рынок уступает даже индийскому, входя в 7 процентов «прочих стран», с чем себя и поздравим.

Результат: более молодые поколения авторов начинают сразу писать на английском. И не только представители «малых литератур». Уже и немецкие, испаноязычные, франкоязычные, арабоязычные авторы...

До России это пока не дошло — пока еще русскую литературу делают поколения, выросшие на советской «религии русской литературы». Фигуры, вроде Игоря Елисеева, пишущего и публикующегося на английском (дебютный роман «One-Two», вышедший в 2016-м), пока экзотичны. Хотя вектор налицо, и через пару поколений, а может и раньше, «елисеевы» станут реальностью. Я говорю именно о писателях, живущих в России: в эмиграции это, по понятным причинам, идет уже давно. Хотя затмить в этом Набокова пока никому не удалось.

Эра «государств-наций» (nation-states) завершилась, а вместе с ней — и понятие национальной литературы, со всеми вытекающими. В том числе — с однозначной идентичностью писателей: «на каком языке пишешь — к той литературе и принадлежишь».

Позволю себе немного потеоретизировать.

Понятие национальной литературы существовало, понятно, не всегда. Якопоне да Тоди, автор знаменитого гимна «Stabat Mater», сочинял, как и было принято в тринадцатом веке, на латыни. Был ли он латинским поэтом? Были ли латинскими поэтами стихотворцы-ваганты?.. Раннесредневековые японские поэты (многие) писали на китайском — стоит ли их считать китайскими поэтами? Каким поэтом был Мир Алишер, писавший и на персидском (под псевдонимом Фани), и на чагатайском диалекте тюркского (и подписывался — Навои)? Персидским? Узбекским?

Никаким — с точки зрения национально-литературной идентичности. Понятия о которой тогда еще никто не имел.

В Новое время — особенно с девятнадцатого века — на смену прежним монархиям приходит национальное государство. «Один народ — одна территория — один язык». И, соответственно, — «одна литература». Которая становится частью — притом важнейшей — национального проекта. Особенно в многонациональных

империях — Великобритании, Франции, России. Именно художественная литература, созданная на языке «государство-образующего» (точнее «империо-образующего») этноса была мощным фактором культурной интеграции. Она объединяла сложно стыкующиеся фрагменты прежнего феодального порядка в единый имперский «сверх-этнос». Поверх религиозных, национальных и социальных и прочих перегородок.

Где-то с восьмидесятых понятие «государства-нации» стало медленно сползать со сцены. Последним его «залпом» стало бурное нациостроительство после распада СССР и социалистического блока. Но и оно уже не дало всплеска национальных литератур — за некоторым, возможно, исключением Сербии и Украины...

Дело даже не в том, что место культурного и национального «интегратора» занял телевизор. Изменились сами элиты. Не только граждане национальных государств сегодня слабее «привязаны» к своей стране, языку, культуре, чем это было лет сорок-пятьдесят назад. Политические элиты нового, глобализационного, образца тоже более «свободны» от своих народов. По сути, они уже давно над-национальны и вне-национальны. Их реальное «отечество» — в тех странах, где они хранят свои скромные сбережения, куда они отправляют учиться своих детей и где предпочитают отдыхать. Они могут использовать прежнюю «нацио-государственную» риторику, и порой даже очень активно. Но — все больше как дань угасающей традиции. Они типологически ближе к средневековой аристократии, более связанной — родовыми, политическими и культурными нитями — с аристократией соседних государств, чем с собственным народом.

Известный немецкий социолог и политический мыслитель Ульрих Бек так собственно и назвал глобализацию — «новое Средневековье».

Какое место занимает национальная литература в этом новом, глобализационном Средневековье?

Приблизительно такое же, как и национальная наука, национальное образование, и множество прочих вещей, чей статус казался когда-то самоочевидным. Все это, в какой-то — сильно редуцированной — степени сохранится. Но уже не как часть «национального» — и тем более «сверх-национального», имперского проекта. А как необременительный род досуга — каковыми литература, наука и образование и были в Средневековье...

Отсюда, собственно, и та печаль, которая ощущалась на алмаатинском форуме, едва речь заходила о глобализации. О том, что ждет литературу в обозримом будущем. Нет, было немало сказано и о «духовной миссии» литературы... И в призывах «воплощать художественную правду о нашем времени» тоже недостатка не было. Но во время дискуссий вспомнилось название известного романа Януша Вишневского — еще одного участника Форума. «Одиночество в сети». Одиночество, непристроенность серьезной литературы в сетях глобализованного мира.

В этом, разумеется, есть повод не только для печали.

Литература Средневековья — европейского, мусульманского, дальневосточного... — была тоже по-своему замечательной. Да, более стилистически консервативной. Менее вовлеченной в социальные процессы. И доступной, как правило, лишь для незначительного слоя интеллектуалов. Но, возможно, это не самая худшая перспектива, если принять ее как «осознанную необходимость». К тому же зигзаги исторического развития непредсказуемы — нельзя исключить (хотя бы в виде смелой футурологической мечты), что литература снова станет частью какого-то проекта. Но уже не национального и сверх-национального, а глобального...

Диалог со временем

Проект издательства «Время» продолжается

Диалоги с литературными классиками ведут: Павел Басинский и Борис Куприянов — с Максимом Горьким, Михаил Яснов — с Денисом Фонвизиным, Марина Аромиштам — с Шолом-Алейхемом.

Борис Куприянов

Несвоевременная книга

Великий русский писатель Максим Горький (Алексей Максимович Пешков) — забыт и уплощен, одним словом, дисквалифицирован. Сейчас его вспоминают разве что в связи с анекдотами, смешными цитатами из ранних произведений. Кто-то может вспомнить барельефы на школьных зданиях, а еще большое число, как говорят сейчас, мемов: «Человек — это звучит гордо», «А был ли мальчик?», «Город желтого дьявола». Их, наверное, десятки, и они так прочно сидят в бытовом общественном сознании, что часто меняют свой смысл. Настало время прочесть Горького. Прочесть сквозь мнимую усталость, вызванную многолетними вульгарными идеологическими трактовками, убивающими и вы холащивающими смысл, прочесть как литературу, а не как идеологический символ.

У романа «Дело Артамоновых» долгая предыстория. Зимой 1901/02 года в Крыму Горький поделился замыслом новой повести с Львом Толстым. Писатель задумал описать историю знакомой ему лично купеческой семьи, «где закон вырождения действовал особенно безжалостно». Тема понравилась, и Толстой призывает Горького написать роман. О степени проработки сюжета можно говорить, опираясь на спор классиков. Лев Николаевич отстаивает праведность младшего брата, ушедшего в монастырь отмаливать грехи семьи. Но в 1908 году Ленин рекомендует Горькому

Куприянов Борис Александрович (род. 1972) — издатель, публицист, один из учредителей московского книжного магазина «Фаланстер». В 2009—2010 годах был программным директором Московского международного открытого книжного фестиваля. Организовывал различные книжные фестивали, среди которых Иркутский международный книжный фестиваль (2017), «Новая площадь» (2010), «Книжный бульвар» (2012—2014), «Книжный рынок» (2015). Директор сайта о книгах и чтении «Горький». Председатель Альянса независимых издателей и книгораспространителей.

отложить книгу о русских предпринимателях на будущее, так как у нее нет достойного финала. А финал, по словам вождя грядущей революции, может быть лишь после победы этой самой революции. Множество источников говорит о том, что на протяжении четверти века Алексей Максимович возвращался к замыслу неоднократно. В последнем номере журнала «Летопись» за 1916 год анонсируется: «В течение 1917 года в “Летописи” будет напечатана повесть М. Горького “Артамановы”». (Пусть третье «а» не смущает читателя, вариантов фамилии было несколько, основные — Артамановы и Артамоновы.) Произведение в 1916 году не было не только опубликовано, но и написано. А пишется «Дело Артамоновых» с весны 1924 по весну 1925 года в эмиграции на Капри. И уже в конце 1925 года выходит книга.

Не уреди Ленин отложить написание романа до победы революции, весьма неопределенной в 1908 году, наверное, книга была бы совсем другой — дидактичной и ясной, революционной. Вождь мирового пролетариата не догадывался о последствиях своего совета. Ему мы обязаны тем, что прямолинейный замысел сорокалетнего, только что написавшего «Мать» автора превратился в сложное, тонкое произведение. Горький в 1918-м уже ответил Ленину на его мем «Очень своевременная книга» своими «Несвоевременными мыслями», выражающими серьезные опасения в торжестве светлого будущего, когда его контуры еще только начали вырисовываться. Надежды начала века стали выкристаллизовываться не в романтической, а в весьма прозаической и жестокой форме. Роман написан в Италии, где пятидесятилетний Горький находится в эмиграции. Автор «Матери» пересматривает свое отношение к революции, его сомнения и переживания находят свое отражение в книге. В СССР его резкие высказывания скорее осуждают.

Простых трактовок «Дела Артамоновых» следует избегать. Артамоновы — промышленники. Старший Артамонов, Илья, в 1861 году смог воспользоваться «волей» и организовал Дело. Типичная история для российских династий «строителей капитализма». Горький показал не только заявленное вырождение купечества, но и некоторые общественные и психологические причины неустойчивости капитализма в России. Революция в романе — не естественный и закономерный итог, занавес драмы, как предполагал Ленин, а лишь еще одно событие, хоть и радикальное, в запутанной и безрадостной жизни. При этом Артамоновы не алчные жестокие капиталисты-стяжатели, которых тогда уже в русской литературе было немало. И они не враги, они ближе победившему пролетариату, чем должны были бы быть в пропагандистских целях.

Чтение романа «Дело Артамоновых» разрушает древний окологкультурный стереотип: «Горький — пошловатый певец Данко, пингвинов и прочей сентиментальной дребедени». Это представление сформировалось из-за насаждения образа Горького как простого, прямого старика с тростью, в пальто, с ницшеанскими усами, автора обязательной, но неинтересной школьной литературы. Книга мастерски написана, количество отсылок к классической литературе в ней поражает. Внимательный читатель удивится почти постмодернистскому подходу автора к использованию чужих образов, переводимых Горьким в другой социальный контекст, другие обстоятельства и время. В 1928 году Горький пишет Ромену Роллану, которому посвящен роман: «Тихон Вялов, видоизмененный тип Платона Каратаева из “Войны и мира”». Но Тихон уже Платон Каратаев другого времени, для Пётра он судья, он не склонен его утешать и примирять с миром. Как бы ни был «народен» Пётр Артамонов, они с Вяловым уже не сойдутся. Тихон жесток к среднему брату, на него христианское всепрощение и народная мудрость не распространяются. Пётр уже не народ. Вернуться он не может, не умеет и не понимает зачем. Ему достаточно эрзаца, «утешителей», готовых подстраиваться под Артамонова-заказчика. В романе рефреном проходит мысль о том, что народ меняется, происходит что-то, чего промышленник понять не может. Очевидно, что и трансформации в себе Пётр уловить не в состоянии.

Мне, однако, было трудно избавиться от другой аллюзии. Уж больно три брата Артамоновых, Пётр, Алексей и Никита, напоминают совсем других братьев русской литературы — Карамазовых. Другое время, разное положение и сословие, но что-то у Горького отсылает к Достоевскому. Некую параллель можно провести между Алексеем Карамазовым и Никитой Артамоновым. Один набожен, другой уходит в монастырь. Но параллель эта формальная. Никита чуть не стал благочестивым старцем благодаря хлопотам алчного настоятеля, но он не находит в вере утешения и долга. Взрослый Алексей Артамонов сходен с Иваном Карамазовым — рассудительность, холодность. Основное подобие героев Горького и Достоевского не в совпадении сюжетных линий и не в чертах характера, а в неполноте, в «недостаточности» братьев. Основные герои обоих романов не могут жить полноценно, они в ущербе, им не хватает чего-то для полной жизни. Этот недостаток разлагает Карамазовых и оупляет, выхолащивает Петра Артамонова. Пётр сам — источник и жертва этой неполноты. Он не умеет быть самодостаточным. Психолог может с большой степенью точности диагностировать детскую травму из-за неблизких отношений с отцом и отсутствия материнского внимания в детстве. Кстати говоря, в случае Карамазовых диагнозы последователей Фрейда были бы похожи. Илья Артамонов-старший и отец Карамазовых похожи больше, у них есть подлинные, пусть и непривлекательные страсти.

Максим Горький — один из немногих авторов, творческая эволюция которых очевидна. «Макара Чудру» и «Жизнь Клима Самгина» разделяет огромная дистанция. Язык, степень работы с характерами, внимание к деталям, ритм, способы построения сюжета — «Дело...» удивляет своей структурой, проработанной и выстроенной.

В «Деле Артамоновых» присутствует прием, почти не употребляемый современными российскими писателями, у которых даже спустя десятилетия, в начале книги и в конце ее, герой говорит одним языком. Если вообще не все герои говорят на общем, не индивидуальном, одинаковом для всех языке. Горький же, описывая изменение в Петре Артамонове, демонстрирует, как меняются его язык, психология, отношение к людям, мышление. Эта метаморфоза совершенно органична, мы видим, что и как влияет на характер героя, как за пятьдесят шесть лет из неповоротливого, почти безмолвного туповатого парня Пётр становится обидчивым, одиноким параноиком.

Еще особенность «Дела Артамоновых» — в авторское повествование попадает лишь то, что Пётр знает, видит, о чем догадывается или знает, но что пытается не заметить, выместить из своего сознания. Фактически в романе нет ни одной реплики, ни одного наблюдения или сцены, которые могли быть не увидены, не услышаны или не додуманы Петром Артамоновым. Горький становится своеобразным внутренним регистратором Петра, не делая выводов, фиксируя не мир самого героя, а мир вокруг героя. Горький подвергает героя психоанализу, заставляя вспомнить обрывки фраз, намеки, интерпретирует массивы информации, проходящие мимо сознания Петра Артамонова. Читатель догадывается о том, куда делся сын Илья или что происходит с невестой Якова, догадывается раньше, чем сам Артамонов.

Удивительным образом само Дело, бизнес, фабрика в книге не описываются вовсе. По контексту мы догадываемся, что фабрика производит льняное полотно, но никакие технологические процессы не описаны. Редкое место в книге, описывающее фабрику изнутри, — краткая ремарка о поведении детей во время экскурсии. В сознании наследника само производство занимает периферийное место. Дело не только не увлекает Петра Артамонова, но погружает его в состояние тоски. Но ведь Дело — это все, что есть у семьи Артамоновых. Откуда такое небрежение? Думаю, что Максим Горький зафиксировал важное явление. Петру Артамонову так же невыносимо быть хозяином фабрики, как и его рабочим трудиться на ней. Фабрика для него данность, он зависит от нее, его тяготит руководство, ему неинтересно производство. Если его

отцом движет мечта разбогатеть, «встать на ноги», то у Петра нет мечты, нет цели, нет будущего. Будущее есть у его образованного сына, которому «семейный бизнес» омерзителен.

Илья Артамонов-старший — человек страстный, жесткий, целеустремленный. Но есть ли страсти у его детей? У Петра — нет. Он не любит ни свою жену, ни любовниц. Он пытается заставить себя любить сына, но не умеет даже показать свое отношение к наследнику. Отец пытается вспомнить, как к нему относился Илья Артамонов. Но не понимает, как ему вести себя с сыном. Пьянство и разгул не приносят ему ни морального удовлетворения, ни даже простого удовольствия.

Горький не избегает и не презирает телесной стороны жизни. Он легко пишет об отношениях не только романтических, а самых что ни на есть бытовых, практических.

«Дело Артамоновых» не исключение. Много сцен, которые связаны с описанием «плотских утех», от мастурбации до дионисийских оргий. Рискну предположить, что, пусть даже и в сокращенном варианте (а читатель знает, что, например, сцену «детского греха» изъять никак невозможно), «Дело Артамоновых» есть в каждой школьной библиотеке. Однако все плотские отношения, пожалуй за исключением отношений Артамонова-старшего со сватьей, совершенно незротичны. Они вынужденны, определены природой, но не желанны. Купец, приезжая на ярмарку, обязан «загулять». Разврат — ритуал. Артамонов не может как-либо иначе относиться к оргиям, они больше утомляют его, чем развлекают.

Нет стремлений у Петра Артамонова и приобретать атрибуты богатства. Его раздражают «красивые вещи» в доме брата.

Отношение к Вере Поповой — не желание, скорее мечта о какой-то другой жизни, которой у него не будет. Помеха тут не состояние или неразделенность чувств, а отсутствие этих чувств. Страсть и расчет «Вишневого сада» Артамонову недоступны, он не в состоянии поменять свою жизнь, нелюбимую, да и не очень комфортную, на другую. Он — заложник семейного Дела. Безумие — следствие не усталости от трудов, а тотального неудовлетворения собой. У Петра Артамонова в романе есть двойник, альтер эго, городской дурачок Антонушка, его не любят, не принимают, и он в юродстве своем достигает покоя, который Петру недоступен. Так и бродит дурачок по сонному Дрёмову со своим «мене, текел, фарес»:

Хиристос воскиресе, воскиресе!
Кибитка потерял колесо.
Бутырма, бай, бай, бустарма,
Баю, баю, бай, Хиристос.

Как и Артамонова, его не любят, и не нужен он никому.

Петра Артамонова нельзя назвать «лишним человеком»: этот термин в России «занят», — но он, безусловно, человек совершенно неуместный, бессмысленный, искалеченный фабрикой, отцом, бесцельным образом жизни. Все, что происходит вокруг, его не касается, он отказывается понимать и рефлексировать. Он не относится к новой буржуазии, в которую при других обстоятельствах мог бы влиться Мирон. Петра можно назвать человеком несостоявшимся. Он не заблудший, не запутавшийся: у него не было такой возможности. Артамонов не сделал что-то не так, он не сделал ничего. Плывая по течению, можно добиться многого, можно сохранить и приумножить бизнес, можно стать человеком успешным, но невозможно достичь личной целостности.

Здесь изложены некоторые несистематизированные мысли о большом и важном произведении русской литературы. В чем же актуальность этой книги сейчас, спустя девяносто лет? Искать исторические аналогии и параллели — дело неблагодарное и не очень честное. История, в отличие от поведения людей и психологических сценариев, не повторяется. Но думаю, что внимательное чтение поможет понять многое не только в истории России, но и в России современной.

Павел Басинский

Евангелие от Максима

Роман «Мать» — одно из самых загадочных произведений Горького. Сам Горький не слишком высоко его оценивал. Известно высказывание вождя большевиков Владимира Ленина о том, что «Мать» хотя и не самое сильное в художественном отношении произведение, тем не менее, «очень своевременная книга». Это высказывание относится к 1906 году, когда в России происходила Первая русская революция.

Отношение к этому роману читателей менялось со временем. Так, в советские годы «Мать» была канонизирована как первое и едва ли не главное произведение социалистического реализма, а за Горьким утвердилась слава «пролетарского писателя». «Мать» в обязательном порядке проходили в советских школах, переиздавали огромными тиражами.

Но это имело обратный результат. «Мать» стала восприниматься не как художественное произведение, да еще и написанное в определенную эпоху российской истории и несущее на себе отпечаток этой эпохи, а как навязываемый «стандарт», обсуждать который нельзя, как нельзя обсуждать меру весов.

Сегодня этот роман нужно перечитывать заново, чтобы пробиться к его изначальному смыслу. Дело в том, что «Мать» — это попытка Горького написать новое Евангелие.

Дореволюционная критика догадалась об этом сразу. Да и мудрено было не догадаться. «Мать» писалась Горьким в расчете на пусть и образованных, но простых рабочих. Для них, крещеных, воспитанных в православии, с детства ходивших в местную церковь в какой-нибудь из рабочих слобод, создавался роман. Но для советских школьников, церковь не посещавших, Евангелия не читавших, «Мать» была своего рода *tabula rasa*, чистый лист, на котором советская идеология выводила свои письмена, не имевшие к смыслу этой вещи почти никакого отношения.

Только погрузив «Мать» в евангельский контекст, можно понять, почему Павел Власов — это именно Павел и почему однажды он приносит в дом картину с христианским сюжетом...

«Однажды он принес и повесил на стенку картину — трое людей, разговаривая, шли куда-то легко и бодро.

— Это воскресший Христос идет в Эммаус! — объяснил Павел. Матери понравилась картина, но она подумала: «Христа почитаешь, а в церковь не ходишь...»

Кто эти трое? Современник Горького не нуждался в дополнительных объяснениях. Сюжет «Христос на пути в Эммаус» использовался тогда многими художниками. Он был известен и всякому образованному рабочему. Кроме Христа на картине двое Его учеников — Лука и Клеопа. Христос уже был распят и воскрес из мертвых, и жители Иерусалима уже знают о чудесном исчезновении тела из гроба и явлении возле гроба Ангела, который возвестил о Воскресении. Явившись ученикам в виде простого путника, Христос сделал так, чтобы они не узнали Его. Он стал спрашивать о случившемся в Иерусалиме. Ученики удивлены, потому что об исчезновении тела говорит весь город. Они рассказывают Иисусу Его собственную историю. Из их

Басинский Павел Валерьевич (р.1961) — российский писатель, литературовед и критик. Выпускник Литинститута, кандидат филологических наук. В настоящее время работает обозревателем «Российской газеты». Входит в постоянное жюри премии Александра Солженицына. Лауреат премии правительства РФ в области культуры за книгу «Святой против Льва. Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой: история одной вражды» и многих литературных премий, среди которых «Большая книга» за документальный роман «Лев Толстой: бегство из рая».

рассказа Христос понимает, что даже ученики не верят в божественность Его происхождения и в чудо Воскресения.

«Тогда Он сказал им: о, бессмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою? И, начав от Моисея, из всех пророков изъяснил им сказанное о Нем во всем Писании».

В Эммаусе, селении, находившемся в шестидесяти стадиях (древняя мера длины. — *П. Б.*) от Иерусалима, Христос остановился с учениками на ночлег. Там, преломив хлеб и благословив учеников, Он открылся им, но тотчас стал невидимым. После этого ученики отправились к остальным апостолам и рассказали им о чуде. Когда они рассказывали, Христос вновь явился, но они, «смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа».

«Но Он сказал им: что смущаетесь и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это Я Сам; осяжите Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня».

Поев с учениками печеной рыбы и сотового меда, Христос напомнил тайну Своего происхождения и объяснил смысл человеческой истории, которая отныне начинается заново. После этого они отправились в Вифанию, где Христос стал отдаляться от учеников и возноситься на небо.

Так рассказывает «эммаусский» сюжет евангелист Лука.

Для «Матери» Горького этот сюжет не просто один из главных. Это «ключ», без которого повесть «Мать» не «открывается».

Павел Власов приносит картину именно в то время, когда началось его духовное перерождение из простого рабочего в революционера. Но это же, с точки зрения Горького, означало и перерождение его из человека *не веровавшего* в *верующего*. Только религией Павла становится не традиционное историческое христианство, а «новое христианство» — *социализм*. И это христианство истинное, не искаженное церковной догматикой и не поставленное с помощью Церкви на службу «хозяевам жизни», капиталистам.

С матерью Павла Пелагеей Ниловой происходит перерождение иного рода. В отличие от сына, отшатнувшегося от веры и переставшего ходить в церковь, Ниловна — глубоко верующий и церковный человек. На протяжении романа Ниловна «прозревает». Но меняет она не веру, а взгляд на христианство. Фактически она как бы переходит из одной конфессии в другую, из православия в «новое христианство». За это время сын становится не просто коммунистом, но партийным лидером, то есть одним из «апостолов» новой веры. Недаром и имя у Власова апостольское — Павел.

Апостол Павел не знал Христа лично, в отличие от других апостолов. Это был римский гражданин, который зарабатывал изготовлением палаток. (Его настоящее имя — Савл, данное в честь царя Саула.) Он был воспитан в строгой фарисейской традиции, даже участвовал в убийстве диакона Стефана, забитого камнями. Направляясь в Дамаск преследовать бежавших туда христиан, Павел имел видение света, павшего с небес и ослепившего его. Он услышал голос Христа, который укорял его: «Савл, Савл! Что ты гонишь Меня?» После этого началось перерождение Павла. Павел принимает христианство и становится христианским миссионером среди язычников, за что удостоился (хотя и не был прямым учеником Христа) первоапостольского звания вместе с апостолом Петром.

Павел знаменит своими посланиями римлянам, коринфянам, галатам, ефесянам, филиппийцам, колоссянам, фессалоникийцам, евреям. Они входят в Новый Завет как канонические тексты, как Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна.

Чем занимается Власов с товарищами? Сочинением, изготовлением и распространением революционных листовок. Это тоже послания, но от новых духовных лидеров, перехвативших апостольскую инициативу и решивших вернуть христианству его первоначальный облик.

Когда Пелагея Ниловна понимает это, всё для нее становится на свои места. Чтобы быть вместе с «детьми» (так она называет Павла и его товарищей), ей не только не нужно отрекаться от Христа, но, напротив, необходимо заново Его обрести, но уже вне церковных стен. В конце романа Пелагея арестована за распространение листовок.

В это время ее сын находится в ссылке. Одно из двух: или Пелагея станет прихожанкой новой апостольской церкви, которую вместе с другими вождями создал ее сын (называется она «коммунистическая партия», или РСДРП), или останется сочувствующей «детям» и посильно помогающей им в распространении новой веры. Павел после ссылки или побега из нее из простого «миссионера» выбьется в сектантские вожди. Мать будет его поддержкой. Кстати, мать Ленина до конца своих дней поддерживала Владимира Ильича и морально, и материально.

Но гадать о том, что случится после суда над Павлом и ареста Ниловны, можно бесконечно. Горький задумывал повесть «Сын» — продолжение «Матери». Но не написал ее. Это говорит о том, что «власовский» сюжет больше не давал пищи его вдохновению.

Прототипом Павла Власова был сормовский рабочий-революционер Петр Заломов, один из организаторов первомайской демонстрации в Арзамасе в 1902 году. Предшественник Павла Власова в творчестве Горького — это Нил из пьесы «Мещане», характер сильный, но менее интересный, чем главный герой пьесы — Бессеменов. Продолжил «власовский» сюжет большевик Петр Кутузов в «Жизни Клима Самгина» — уверенный в себе, знающий ответы на все вопросы, но именно поэтому особенно ненавистный Климу. Эхом Власова можно считать также Якова Лаптева, крестника миллионера Егора Булычова, в поздней пьесе Горького «Егор Булычов и другие». В этой пьесе Лаптев фигура проходная, даже в буквальном смысле: он временами *проходит* через булычовский дом, а свою бурную революционную деятельность развивает где-то в другом месте, на что Горький лишь глухо намекает.

Но почему глухо? Пьеса замышлялась в 1930 году, была написана в 1931-м и предназначена для постановки Театром имени Вахтангова. Никаких цензурных препятствий, чтобы изобразить революционную деятельность Лаптева, для Горького не было. Напротив, в советском театре такое развитие сюжета только приветствовалось бы.

Ответ мы найдем в пьесе «Достигаев и другие», написанной в 1932 году как своего рода продолжение «Егора Булычова...». Это, пожалуй, самая слабая вещь Горького, созданная по очевидному заказу государства. Она о том, как неустрашимый гэпэушник Лаптев арестовывает осиное гнездо «вредителей», возникшее в доме Булычова после его смерти. Через дом своего крестного Лаптев в этот раз уже не *проходит*. Он *входит* в него как один из *хозяев* новой жизни. К чести Горького, это его единственное законченное художественное произведение о работе карательных органов.

Написав «Мать», произведение спорное, но интересное, Горький в дальнейшем, по-видимому, разочаровался во «власовском» сюжете. Наброски к неосуществленной повести «Сын», рассказы «Романтик» и «Мордовка», написанные в 1910 году, — всё было неудачным. К тому же, хотя во всех этих вещах фигурируют молодые рабочие-революционеры (в «Мордовке» даже имя героя — Павел), акцент смещен в область неразделенной любви.

«Мать» была еще и первым опытом выполнения партийного заказа. Горький вступил в РСДРП в 1905 году и тогда же начал писать «Мать». Этот заказ отчасти совпадал с мироощущением самого Горького. Он хотел уверовать в большевиков как апостолов новой веры, новой церкви. Эта новая церковь должна была проповедовать не смирение перед жизнью, но активное вторжение в нее и радикальную переделку всего мира, то есть начало принципиально новой Истории.

Конечно, «Мать» оказалась шире и глубже партийного заказа. С точки зрения правды жизни, это емкое и интересное произведение. Но все-таки «пролетарского писателя» из Горького не получилось. Вакантное место искреннего «пролетарского писателя» мог впоследствии занять только один человек — Андрей Платонов, который называл рабочий класс своей «духовной родиной». Но именно его Сталин решительно вычеркнул из советских писателей.

В творчестве Горького рабочая тема занимает не много места и, за исключением «Матери», не породила ничего выдающегося. Гораздо интереснее в творчестве Горького заявлена тема, с одной стороны, босачества, с другой — купечества, то есть «хозяев жизни».

Такова парадоксальная природа горьковского таланта...

Михаил Яснoв

Педагогическая мастерская Дениса Фонвизина

...кто кого смога, так тот того в рога.
Д.И. Фонвизин. «Лисица-Кознодей». Баснь

Денис Иванович Фонвизин, судя по широте его дарования, мог стать политическим деятелем или ученым, философом-вольнодумцем или поэтом — в каждой из этих областей человеческого духа нашел он свое призвание, в каждой так или иначе реализовался. Однако судьба распорядилась таким образом, что Фонвизин стал выдающимся драматургом и прежде всего именно как носитель этого высокого звания остался в истории.

По молодости он писал стихи, предпочитая сатиру и ироническую поэзию иным жанрам, облюбовав тот, который, согласно современным ему нормам языка, называл «баснь». Баснь «Лисица-Кознодей», написанная лет за двадцать до «Недоросля», уже определила тот ракурс, ту точку зрения, с которой была видна вся подноготная тогдашнего общества, и басенные животные уже пытались проговорить то, что позднее формулировали Стародум или Правдин:

Когда же то тебя так сильно изумляет,
Что низка тварь корысть всему предпочитает
И к счастью бредёт презренными путями, —
Так видно, никогда ты не жил меж людьми.

Будь на то моя воля, мировую классику я издавал бы с приложением еще двух-трех книжек — исследований, статей, эссе об авторе и его произведениях. В таком случае пьесы Дениса Ивановича Фонвизина «Бригадир» и «Недоросль» можно было бы сопроводить (у каждого свой выбор) первой биографией писателя, написанной другом Пушкина, поэтом, критиком, мемуаристом Петром Андреевичем Вяземским (1848); «Опытом исторического объяснения учебной пьесы» — работой историка Василия Осиповича Ключевского о «Недоросле» (1896) и книгой нашего современника, блестящего публициста, литературоведа Станислава Борисовича Рассадина «Фонвизин» (1980).

Взгляд из разных эпох, обогащение собственной души чужим историческим и человеческим опытом и талантом — не это ли так важно в те годы, когда подросток начинает формулировать свои пристрастия и надежды? А читатель (и зритель) Фонвизина — прежде всего человек юный. Подобно многим произведениям классической литературы, «Недоросль», в частности, уже давно вошел в круг подросткового чтения, а параллельно — в круг чтения родительского, и у тех, и у других он находит отклик, поскольку каждое поколение переживает свою комедию и трагедию

Яснoв Михаил Давидович (р.1946) — российский поэт и переводчик. Окончил филфак Ленинградского университета. Автор нескольких книг лирики, признанный мастер стихотворного перевода (Г.Аполлинер, П.Верлен, П.Валери и др.) и поэзии для детей. Лауреат многочисленных литературных премий, среди которых премия им.Мориса Ваксмахера, которую вручают французское правительство и посольство Франции в Москве за лучший перевод французской художественной литературы.

воспитания, в каждом поколении подросток становится зеркалом родителей, и в каждом поколении взрослые решают все ту же задачу, которая большинство из них ставит в тупик: что с ним, с этим подростком, делать?

Сегодняшние ровесники Митрофана Простакова, пятнадцатилетние школьники, переживают все тот же, как им кажется, неразрешимый, а точнее — несокрушимый конфликт с окружающим миром; цели у них с Митрофаном могут быть совершенно разные, но суть одна: завоевать свое жизненное пространство, благодаря — кому повезет — помощи взрослых или вопреки им. В двадцатом веке эта сшибка — поколенческая, нравственная, социокультурная — была сформулирована как конфликт «своего» и «чужого».

Сын Бригадира, нелепый галломан Иванушка, будет постарше Митрофана, и тем ярче проявляются уже глубоко вьевшиеся в него скудоумие, невежество и «злонравие». Оба этих молодых героя Фонвизина гомерически смешны, а смех, как известно, одно из лучших средств в борьбе с детскими страхами; кабы не он, «ужас жизни», возникающий перед глазами юного читателя, мог бы стать куда как агрессивнее.

Вот выхваченные наугад несколько откликов на «Недоросля» нынешних восьмиклассников (по когда-то составленному ранжиру пьесу «проходят» в восьмом классе); очищенные от грамматических и пунктуационных ошибок (по словам Советника из «Бригадира», — и, увы, как с ним не согласиться? — «Прежде, бывало, кто писывали хорошо по-русски, так те знавали грамматику; а ныне никто ее не знает, а все пишут»), эти отклики говорят сами за себя:

«Самое то для школы — потом уже будет поздно. Несмотря на общую карикатурность персонажей, выглядят они реальными — Скотининых и Митрофанушек и в наше время полно, и меньше их никогда и не станет».

«От данной комедии я в полном восторге. Во-первых, скажу сразу, что это произведение достаточно поучительно. Как бы то ни было, без образования в наше время никуда. Безграмотных людей видно сразу, даже по их речи. Во-вторых, в этой комедии очень много поучительных цитат. Я думаю, что можно буквально через реплику выписывать их в маленький блокнотик, а потом перечитывать на досуге».

«Сначала показалось — нудятина. Но начали читать по ролям и буквально смеялись в голос на уроке, очень хорошая пьеса для постановки! Классицизм, вроде должно быть скучно, но нет, все персонажи такие яркие, всё так актуально. Особенно хорош Скотинин со своими свинюшками. Кстати, положительные персонажи очень скучны, а вот негодяи, типа Скотинина и Простаковой, просто ах!»

«Неплохая в целом книга, с двумя недостатками. Во-первых, очень простой сюжет, если это вообще можно назвать сюжетом. Во-вторых, книга идеологически слишком «правильная» (автор — чиновник) — написана с отталкивающим подобострастием перед царем, который по книге очень печется о простом народе и рассылает по всей стране своих представителей для надзора над помещиками. Книга содержит много напыщенного морализаторства и ханжеских поучений самовлюбленного героя книги Стародума (а-ля Зосима из «Братьев Карамазовых»). Необходимость книги в школьной программе вызывает сомнение, поскольку воспитание должно основываться на примерах, а не на занудных речах Стародумов и Зосим».

«Если разобраться, то от комедии “Недоросль” хочется не смеяться, а плакать. Произведение было написано в 1782 году, прошло 235 лет, а люди не изменились. В мире полно Скотининых, Митрофанушек, Простаковых. И самое интересное то, что эти типы людей никогда не исчезнут, они были, есть и будут. Так что и произведение Дениса Фонвизина “Недоросль” было, есть и будет оставаться актуальным многие и многие годы».

Кажется, все эти слова написаны отнюдь не из корыстного лукавства. Так думают сегодняшние ровесники Митрофана. Конечно, они улавливают разницу между тем, как себя ведут отрицательные герои Фонвизина и что говорят положительные.

Вот в чем разница, вот где проходит столь злободневный водораздел — действенная мерзость Скотининых и Кс и показательное, но малодейтельное (аномальное!) говорение противоположного лагеря Стародумов.

Две цитаты из Вяземского.

«Когда играли “Недоросля” при императрице и после пред публикою, то немилосердно сокращали благородные роли Стародума и Милона, потому что они скучны и неуместны, сохранялись же в неотъемлемой целости низкие роли Скотинина, Простаковых, Кутейкина, несмотря на нравы их вовсе не изящные и на язык их вовсе не *академический*. При одних добродетельных лицах своих, при лицах высокой комедии Фон-Визин остался бы незамеченным комическим писателем, не читал бы своих комедий Екатерине Великой и не был бы и поныне типом русской комической оригинальности. Вывезли его к бессмертию лица, которые также не выражают ни одного благородного чувства, ни одной светлой мысли, ни одного в человеческом отношении отрадного слова».

Можно предположить, что «благородные роли» потому казались тогда скучными (а сейчас, как видим, и подавно), что были аллюзиями на средневековые моралите, в которых действовали не столько люди, сколько понятия, и на сцене не столько разворачивалось действие, сколько произносились дидактические диалоги. «Моралистические манекены», — говорит о них В.Ключевский. Эта нравоучительная цель — показать добродетели в противовес порокам — даже в XVIII веке требовала особого зрения и жеста. Борьба за положительного героя постоянна, но победы случаются редко.

И еще раз Вяземский:

«В “Бригадире” автор дурачит порочных и глупцов, язвит их стрелами насмешки; в “Недоросле” он уже не шутит, не смеется, а негодует на порок и клеймит его без пощады: если же и смешит зрителей картиной выведенных злоупотреблений и дурачеств, то и тогда внушаемый им смех не развлекает от впечатлений более глубоких и прискорбных. И в “Бригадире” можно видеть, что погрешности воспитания русского живо поражали автора; но худое воспитание, данное бригадирскому сынку, это полупросвещение, если и есть какое просвещение в поверхностном знании французского языка, в поездке в чужие края без нравственного, приговорительного образования, должны были выделывать из него смешного глупца, чем он и есть. Невежество же, в котором рос Митрофанушка, и примеры домашние должны были готовить в нем изверга, какова мать его, Простакова. Именно говорю: изверга, и утверждаю, что в содержании комедии “Недоросль” и в лице *Простаковой* скрываются все пружины, все лютые страсти, нужные для соображений трагических».

В общем, по большому счету, наши комедиографы — что Фонвизин, что Гоголь, что Грибоедов — не только люди трагических судеб, но и авторы трагических пьес. И чем смешнее в них смешное, тем горше горькое. И если мы говорим, что пьесы по-прежнему злободневны, то потому что и вправду, как утверждают юные читатели Фонвизина, Скотинины с Простаковыми никуда не подевались, а тогда над чем же уже не одно столетие смеется зритель? Над бессилием общества, которое вопреки всему так и не может от них избавиться?

Чтобы разобраться в историческом контексте, который в свое время был настолько политически заострен, что ни на миг не отпускал внимания слушателей и читателей, нужно сегодня крепко поработать с источниками, но даже без этой подготовительной работы (на нее зрителю со стороны нужно еще отважиться!) мы вживаемся в пьесы Фонвизина благодаря драматургическому обаянию персонажей, бесхитростным, но неожиданным сюжетам и тому богатству языка, который даже неопита должен, на мой взгляд, приводить в восхищение.

Начиная с детского чтения, с дошкольной лирики, мы приучаемся обращать

внимание именно на язык, на речь, на ее ритм и звуковое устройство, на то, что воспитывает понимание гармонии, вкус, чувства такта и меры. И когда мы встречаем в стихах Фонвизина строки, наподобие той, что вынесена в эпиграф этих беглых заметок, то поэтическая экспрессия заставляет нас воспринимать фрагментарную строчку из басни как законченный афоризм, четко определяющий то общество, что становится предметом сатирического осмысления. Афористичность Фонвизина сближает его с французскими моралистами предыдущего, семнадцатого столетия, высказывания которых равно вызвали восхищение точностью и смех от чувства сопричастности и узнавания.

Смех — особая статья доходов сатиры.

«Что смешно в “Недоросле”, и одно ли и то же смешит в нем разные возрасты? — спрашивает В.Ключевский. — Молодежь больше всего смеется, разумеется, над Митрофаном, героем драмы, неистощимым предметом смеха, нарицательным именем смешной несовершеннолетней глупости и учащегося невежества. Но да будет позволено немного заступиться за Митрофана: он слишком засмеян. Правда, он смешон, но не всегда и даже очень редко, именно только в лучшие минуты своей жизни, которые находят на него очень нечасто. В комедии он делает два дела: *размышляет*, чтобы выпутаться из затруднений, в которые ставит его зоологическая любовь матери, и *поступает*, выражая в поступках свои обычные чувства. Забавны только его размышления, а поступки — нисколько. По мысли автора, он дурак и должен рассуждать по-дурацки. Тут ничего смешного нет; грешно смеяться над дураком, и, кто это делает, тот сам становится достойным предметом своего смеха. Однако на деле Митрофан размышляет по-своему находчиво и умно, только — недобросовестно и потому иногда невпопад, размышляет не с целью узнать истину или найти прямой путь для своих поступков, а чтобы только вывернуться из одной неприятности, и потому тотчас попадает в другую, чем и наказывает сам себя за софистическое коварство своей мысли. Это самонаказание и вызывает вполне заслуженный смех».

Впрочем, осмеяние героев Фонвизина вызывает у осторожного Ключевского сомнения: «Да я и не знаю, кто смешон в “Недоросле”. Г-н Простаков? Он только неумный, совершенно беспомощный бедняга, не без совестливой чуткости и прямоты юрдового, но без капли воли и с жалким до слез избытком трусости, заставляющей его подличать даже перед своим сыном. Тарас Скотинин также мало комичен: в человеке, который сам себя характеризовал известным домашним животным, которому сама родная сестрица нежно сказала в глаза, что хорошая свинья ему нужнее жены, для которого свиней хлев заменяет и храм наук, и домашний очаг, — что комичного в этом благородном российском дворянине, который из просветительного соревнования с любимыми животными доцивилизовался до четверенок? Не комична ли сама хозяйка дома, госпожа Простакова, урожденная Скотинина? Это лицо в комедии, необыкновенно удачно задуманное психологически и превосходно выдержанное драматически: в продолжение всех пяти актов пьесы с крепколобым, истинно скотининским терпением ни разу она не смигнула с той жестокой физиономии, какую приказал ей держать безжалостный художник во все время неторопливого сеанса, пока рисовал с нее портрет. Зато она и вдвойне не комична: она глупа и труслива, т. е. жалка — по мужу, как Простакова, безбожна и бесчеловечна, т. е. отвратительна — по брату, как Скотинина. Она вовсе не располагает к смеху; напротив, при одном виде этой возмутительной озорницы не только у ее забитого мужа, но и у современного зрителя, огражденного от нее целым столетием, начинает мутиться в глазах и колеблется вера в человека, в ближнего».

Что до глаголящих истины Стародума со товарищи, то от них «веет еще сыростью педагогической мастерской».

Нынешнего зрителя отделяет от героев Фонвизина куда как большее время, точка зрения смещается, и если, по словам третьего гипотетического участника нашего разговора, Станислава Рассадина, «печальная необходимость учения» осталась в прошлом, то воспитание, педагогика, обучение остаются ключевыми словами и понятиями в том узле проблем, который Фонвизин пытался если не развязать, то, по крайней мере, определить и показать. Наверное, можно сказать, что Фонвизин ввел «учительство» в ранг достоинства литератора, и тогда согласимся с формулой Рассадина: «Рождение писателя Фонвизина — это рождение русской литературы».

Для тех, кто впервые принимается за чтение фонвизинских пьес, — несколько биографических помет.

Денис Иванович Фонвизин, потомок лифляндских немцев, переехавших в Россию при Иване Грозном (в XVIII веке его фамилия еще писалась то через дефис — Фон-Визин, то раздельно — фон Визин), родился в 1745 году и скончался в 1792-м. Жил недолго — даже по меркам той эпохи. В России век царствующих особ тоже был недолог. Екатерина II прожила 67 лет; вся сознательная жизнь Фонвизина совпала с годами ее правления, и этих трех десятилетий, с дворцового переворота 1762 года по смерть Фонвизина, вполне хватило, чтобы приблизить писателя к трону, прославить его, отторгнуть и фактически запретить, сведя в могилу далеко не старого человека.

В юности Фонвизина случилось несколько важных эпизодов, определивших его судьбу. В 1759 году четырнадцатилетнего подростка привезли из Москвы в Петербург в числе лучших учеников университетской гимназии; юный Денис был представлен куратору университета И.И.Шувалову и впервые посетил театр, оказавший на него сильнейшее впечатление. В студенческие годы он и сам играл на сцене — сначала в любительском, а затем в профессиональном театре. В это же время он стал серьезно заниматься художественным переводом, опыты оказались удачными — Фонвизин переезжает в Петербург и поступает на службу в Иностранную коллегию. Начинается его чиновничья служба, зависимость от благорасположения высоких покровителей и в то же время — светская и литературная жизнь. Параллельно переводам Фонвизин упражняется в стихотворных сатирических посланиях и баснях, но громкую славу ему приносят не переводы и отнюдь не стихи. Попробовав себя в драматургии (то есть по большей части обработав иностранный образец), он пишет пьесу «Корион» (1764), и эта его еще ученическая попытка комически переосмыслить действительность оказалась прологом к первой русской комедии нравов или положений — в 1769 году он заканчивает писать пьесу «Бригадир».

Пьеса имеет сногшибательный успех. По обычаю эпохи, автора приглашают все аристократические дома северной столицы, и он сам читает своего «Бригадира», да так мастерски, что слава его растет день ото дня. «Петербург, — замечает он, — заполнен моею комедиею, из которой многие острые слова употребляются уже в беседах». Это ж сколько раз надо было прочесть автору свою пьесу! Но, судя по всему, он делает это с неиссякаемым удовольствием.

На одном из таких «обеденных чтений» Фонвизин был представлен фавориту императрицы графу Григорию Орлову, а через несколько дней приглашен на чтение к самой государыне. Пьеса получила ее «всемиловитвейшее приветствие», и это тут же решило судьбу автора. Он попадает в круг приближенных Никиты Ивановича Панина, главы Иностранной коллегии и воспитателя наследника. Говорят, именно граф Панин произнес знаменитую фразу «Бригадирша ваша всем родня!» «Не в первый ли раз, — задается вопросом Вяземский, — случилось тогда русскому автору быть в моде?» Вместе с тем совсем еще молодой автор комедии попадает в мир подковерных игр и интриг императорского двора, и «Бригадир», как позже «Недоросль», несмотря на самое высокое благоволение, с трудом пробивают дорогу на сцену.

«Недоросль» был опубликован в 1783 году и оказался вершиной творчества Фонвизина, а слова, якобы сказанные автору графом Г.А.Потемкиным после первого представления пьесы: «Умри, Денис, лучше не напишешь!» — пророческими. Панин попал в опалу и умер. Все дальнейшие начинания Фонвизина либо сразу запрещались цензурой, либо ложились под сукно.

Сорокалетнего литератора разбил паралич. Говорят, в конце жизни его, почти недвижимого, возили к студентам, и он взывал к ним: «Возьмите меня в пример! Вот как я наказан за свое вольнодумство!..» Кажется, он хотел сказать несколько иное: «Вот к чему приводит занятие литературой!»

Столетие спустя после появления «Недоросля» французский писатель и литературный критик Эжен-Мелькиор де Вогюэ подарил европейской культуре крылатую фразу, приписав ее неким «обобщенным» русским писателям, которые (видимо, хором) говорили: «Все мы вышли из гоголевской “Шинели”». Про самого Гоголя, автора «Ревизора», про Грибоедова с его «Горем от ума», про их бессмертные комедии можно было бы сказать, что все они вышли из тришкиного кафтана Фонвизина, который уже в самом начале своего «Недоросля» обозначил этой метафорой самовлюбленную тупость и невежество окружающего общества. Нелепую анекдотичность Тришки и его портновского мастерства описал И.А.Крылов в басне «Тришкин кафтан» (1815) — щеголять в этом одеянии обречены не только персонажи сатирика и баснописца, но и многие столь нам знакомые и узнаваемые герои русской исторической сцены.

Марина Аромштам

Как я читала «Мальчика Мотла»

Слово «еврейка» я в первый раз услышала во дворе, когда мне было семь лет. Оказалось, оно имеет ко мне отношение. Мы играли в «виселицу»: задумываешь слово и мелом рисуешь на асфальте первую и последнюю буквы слова, а между ними — черточки по количеству букв в слове. Другой (тот, кто с тобой играет) должен догадаться, какое слово задумано. Сразу это довольно трудно. Поэтому можно предлагать буквы. Если предложил букву, а ее в слове нет, «задумщик» в наказание чертит детали виселицы. И если ошибок много, то в результате неудачник оказывается повешенным.

Не знаю, откуда взялась эта игра. Что-то в ней было от военного времени, от фильмов про войну, в которых фашисты вешали партизан, а свои — предателей.

Меня очень редко «вешали»: я хорошо играла. А вот противникам моим было не очень легко. Я все время задумывала какиенибудь длинные, трудные, неожиданные слова: электростанция, метрополитен... И вот то ли меня не удалось «повесить», то ли, наоборот, я в очередной раз обрекла кого-то из дворовых знакомых на позорную «смерть», но мне почему-то сказали:

— А зато ты — еврейка!

И звучало все так, будто меня разоблачили. Будто я выхожу во двор и делаю вид, что я как все. А на самом-то деле я совсем не как все, я — еврейка. Слово это звучало почти неприлично. И поначалу я потеряла дар речи: какая такая «еврейка»? А потом закричала: да что они все говорят! Все эти, которые играли тут со мной в «виселицу», — они ничего не знают. А я — москвичка! Самая настоящая. Вот кто я. И мой папа москвич, и мама моя москвичка... Но на меня посмотрели холодно-иронично и отрезали:

— Ха! Ты — еврейка. И мы все это знаем. Я убежала домой. От возмущения, от волнения мне не хватало воздуха. И как они смеют — так обзывать? К счастью, папа был дома. Сейчас он пойдет и скажет им...

Папа услышал, в чем дело, — и зашелся от хохота.

Точно так же он хохотал год назад, когда я пришла и спросила: правда ли, что я умру? Папа тогда еле выдавил из себя между взрывами хохота:

— Конечно!.. Умрешь!.. И я умру!.. И все вообще умрут!..

Я остолбенела: как это может быть? Нет, папа должен мне объяснить...

— И куда же я денусь? (Это как-то должно было уложиться в моей голове.)

— Что значит, куда ты денешься? Туда же, куда и я. Закопают... Я давно не видела папу в таком приподнятом настроении. Видимо, это совсем не страшно... Видимо, это нормально...

Аромштам Марина Семеновна (р.1960) — писатель, журналист, педагог. Девятнадцать лет проработала в школе учительницей начальных классов, после этого двадцать лет работала в педагогической журналистике. В начале 2000-х годов в качестве эксперта Института проблем образовательной политики «Эврика» курировала инновационные проекты дошкольных образовательных учреждений и проекты по жизнеустройству детей-сирот. Главный редактор интернет-портала «Пап мамбук», посвященного проблемам детского чтения. Проект по созданию подростковой редакции «Книжный эксперт XXI века», реализованный в рамках портала, получил профессиональную премию «Ревизор». Книги Марины Аромштам отмечены премиями «Заветная мечта», «Ясная Поляна», «Маленький принц».

Это просто такая умственная задачка: что будет, когда я умру... Поэтому я спросила (не могла не спросить):

А потом?

Что потом?

Что будет, когда я умру? Что со мной потом будет?

Видимо, папе понравился такой поворот в разговоре, потому что он совсем немного подумал и предложил:

— Потом? Может, цветочек вырастет.

Этот цветочек сразу же примирил меня с собственной смертностью, и на какое-то время тема смерти была закрыта.

Но на этот раз папа смеялся гораздо громче и дольше, просто давился от хохота. А когда наконец отсмеялся, то сказал:

— Конечно, еврейка. И я тоже еврей. И мама. Ты должна этим гордиться...

Это было не так, как с цветочком. Это открытие что-то меняло в жизни — будто требовало быть к чему-то готовым, и не когда-то потом, а прямо сейчас, когда ты выходишь на улицу... А слово «гордиться» только все больше запутывало.

И каждый раз, когда мне приходилось писать слово «еврейка» на пятой строке разнообразных анкет (включая медицинские карты и библиотечные формуляры) напротив слова «национальность», я ловила себя на том, что оно какое-то неуместное, нелегальное... Что оно и звучит, и выглядит опасно...

А потом это слово обнаружилось в коричневом шеститомнике, в книжном шкафу у папы, на авантюлах пяти томов из шести. Там черным по белому (точнее — по желтоватому) было написано: «перевод с еврейского».

Какое же это странное ощущение — видеть слово «еврейский» в книге. Здесь оно принадлежало совсем другой реальности — литературной. Здесь оно было связано с именем писателя — Шолом-Алейхем. «Шолом алейхем!» — чуть ли не единственные еврейские слова (не считая собственной фамилии), которые я могла бы произнести по-еврейски и перевод которых мне нравился: «Мир вам!»

Возможно, они смогут что-нибудь объяснить. Или с чем-нибудь примирить — как цветочек на твоей будущей могиле, который примиряет тебя со смертью.

Из всего написанного Шолом-Алейхемом три его произведения получили наибольшую известность и принесли писателю всемирную славу — романы «Тевье-молочник» и «Блуждающие звезды» и повесть «Мальчик Мотл».

Советским детям «моего времени» знакомство с Шолом-Алейхемом полагалось начинать с «Мальчика Мотла»: эта повесть тогда относилась к детской литературе. Достаточно сказать, что в 1957 году именно «Детгиз» переиздал ее (в переводе Льва Гольдберга) пятидесятитысячным тиражом. (Видимо, предполагалось, что книгу будут читать не только такие, как я. Хотя пятьдесят тысяч — по советским меркам не очень большой тираж. Еще через три года «Мальчик Мотл» был опубликован в третьем томе того самого шеститомника, который уже упоминался, — тиражом 225 тысяч экземпляров.)

Повесть Шолом-Алейхема подходила под определение «детская»: повествование в ней ведется от лица девятилетнего мальчика. К 1910 году, когда «Мальчик Мотл» (под названием «Дети черты») впервые вышел на русском языке, в русской литературе уже существовал довольно впечатляющий ряд произведений, описывающих детство. Но все они были написаны как воспоминания взрослых о том, что с ними когда-то было и что теперь видится сквозь призму времени и своего понимания давних событий.

Повесть «Мальчик Мотл» устроена совсем иначе: тут мы можем увидеть лишь то и лишь так, как это, по представлениям автора, может увидеть девятилетний мальчик — в соответствии с его детскими приоритетами, в силу его детского жизнелюбия, природного любопытства и оптимизма. Это именно рассказ ребенка, что-то вроде дневника, в котором фиксируются только недавние, практически свежие события

и который чудесным образом оказался запечатлен на бумаге. Прием новаторский даже для мировой литературы второй половины XX века. А в 1910 году это могло считаться настоящим открытием.

Вот только, мне кажется, этого недостаточно, чтобы считать «Мальчика Мотла» детской книгой — даже если она и может войти в круг детского чтения. Существует некоторая путаница между книгами, адресованными детям, специально для них написанными, и книгами, которые те или иные дети могут осилить или даже прочитать с интересом, но изначально адресованными «широкому кругу читателей». Этой путаницей мы обязаны не только усилиям советских просветителей, формировавших канон детской литературы (К. Чуковскому в первую очередь), но и советской цензуре.

Упаковать книгу в обложку с грифом «детская литература» в советские времена часто являлось единственным способом пробиться с ней к читателю: считалось, что так легче преодолеть идеологические заслоны — по крайней мере, в «советские нелюдоедские», когда процессы о вредительстве в области детской литературы уже считались делом прошлого (события двадцатилетней давности — это давно или недавно?).

«Мальчик Мотл» изначально был написан не для детей. По крайней мере, сам Шолом-Алейхем называл ее просто книгой, безо всяких дополнительных определений. И вряд ли ее главным достоинством является проникновение в глубины детской психологии.

То есть, наверное, это правдоподобно, когда девятилетний мальчик из бедной семьи (а лучше сказать, из семьи, доведенной до крайней степени нищеты) с удовлетворением восклицает, не прошло и недели после смерти отца: «Мне хорошо — я сирота!» И искренне радуется тому, что мать из-за острой нужды в деньгах вынуждена продать всю имеющуюся в доме мебель: «Места теперь, слава богу, вдоволь! Раздолье! Простор! Рай земной!» — потому что теперь можно безо всяких преград кататься по полу.

Но если это и правда, то доведенная до абсурда. Как ни убеждай себя, что девятилетнему ребенку свойствен биологический оптимизм и он еще слишком мал, чтобы тревожиться и бояться по-настоящему, невозможно не почувствовать, что мальчик Мотл — это еврейский трикстер, ипостась шута, в детский костюмчик которого нарядился автор. И что он делает это с целью развязать себе руки. Так он может безо всякой опаски подшучивать над своими персонажами.

«Лекарь Менаше и зимой и летом ходит в пелерине. Один глаз у него меньше другого, а рот слегка съехал набок...»

«Мой брат Эля... очень маленького роста. Собственно, дело даже не в том, что он очень мал, а в том, что невеста его очень уж велика и смахивает на мужчину. Лицо у нее красное, рябоватое, а голос мужской...»

«Дочь мельника зовут Тайбл. Она немного косит на один глаз, но вообще-то она очень добрая...»

«У тети Крейны есть дочь Малка. Так вот у этой дочери такой нос, что на него можно специально ходить смотреть...»

«Пиня, товарищ моего брата Эли <...> высокий и худой — у него еще и уши длинные, и шея, как у гусака, и к тому же он близорук. Куда бы он ни пошел, он обязательно с кем-нибудь столкнется. <...> Одна штанина у него всегда задрана. Один чулок спущен. Галстук вечно на боку. Он картавит...»

Кажется, мальчика Мотла в местечке, где он живет насыщенной жизнью счастливой сироты, окружают сплошные фрики. Или лучше сказать — чарли чаплины. Персонажи повести абсолютно в духе великого кинокомика, который был современником Шолом-Алейхема и под обаяние которого Шолом-Алейхем не мог не попасть после того, как оказался в Америке. Правда, повесть свою он начал писать на пять лет раньше. Но тут работают внутреннее родство и смеховая стилистика времени...

Местечковые чарли чаплины наступают друг другу на ноги, нелепо досаждают

друг другу, торгуют, торгуются, обводят других вокруг пальца, пытаются замести следы своих прегрешений — естественно, безуспешно. Обсуждают мировые проблемы со всей страстью своего темперамента: есть в Америке классы или нет в Америке классов, Америка хуже Сибири или лучше Сибири, есть ли разница между президентом и королем — и так горячатся при этом, что в запале тузят друг друга. В полном соответствии с правилами площадного театра...

Нелепые и смешные.

И к тому же родные. Многие из них любят Мотла.

И, кажется, их любит автор...

«Мальчик Мотл» считался смешной книжкой для взрослых.

К разным изданиям повести прилагалось письмо Максима Горького от 1910 года, адресованное Шолом-Алейхему: «Искренне уважаемый брат! Книгу Вашу получил, прочитал, смеялся и плакал... превосходная книга!..»

Но Горький читал книгу в переводе (первый перевод «Мальчика Мотла» был сделан Юлием Пинусом и вышел под названием «Дети черты»).

А вот Бабель читал ее в оригинале и утверждал, что перевод не может сравниться с оригиналом по силе смехового воздействия на читателя. Бабель видел, как реагирует аудитория, которой вслух читают оригинал: тут сказать, что они смеются, — ничего не сказать. Они гогочут, они помирают от хохота...

Я легко могу себе представить такую аудиторию в начале 30-х годов, которая понимает язык оригинала, узнает своих бывших и настоящих соседей в описанных персонажах (во всех этих крикунах с длинными носами, спущенными носками и съехавшими набок галстуками) и с полуслова угадывает источники цитат (а персонажи Шолом-Алейхеа постоянно сыпят цитатами из священных книг — особенно когда бранятся и самозабвенно ругают сложившиеся обстоятельства).

А с каким глубоким сочувствием должны они были слушать слова наивного Мотла: «Мужчины то и дело разговаривают о погромах. Это такая штука, которая теперь бывает повсюду. Когда поют, свистят, кричат: “Эй, ребята, бей жидов!”... Бьют, убивают, режут, штыками колют... А я уже давно говорил вам, что не терплю этого. Чуть заговорят о таких вещах, я ухожу — гулять...»

Эх, им бы всем пойти погулять! А мальчишке-то как повезло: покинул вместе с родными родное местечко на несколько считанных денечков раньше, чем все это началось...

Смех очень часто — защита от болезненных переживаний, способ раскрепоститься...

Но смешное — такая непрочная субстанция! Оно словно выветривается из книг по мере того, как меняются читательские поколения. Пару лет назад я оказалась на концерте, где со сцены читали «Денискины рассказы». Родители просто валились со стульев от хохота — дети чувствовали себя смущенными и вежливо улыбались: проблемы Дениски по отношению к курице, из которой требовалось сварить бульон, были им непонятны, как и ненависть к манной каше. А одна из моих знакомых-филологов рассказывала со вздохом: внук с трудом осилил «Двенадцать стульев» — из уважения к бабушке. И три раза переспросил: это что — была твоя любимая книжка? А над чем тут смеяться-то?

Смешное слишком привязано к обстоятельствам, слишком сращено с жизненными реалиями, и ему тяжело протиснуться сквозь время.

И я в детстве уже почти не смеялась, читая «Мальчика Мотла». И уж тем более не смеялась, недавно его перечитывая. Может, конечно, это моя личная особенность. Анекдот про еврея, которому во время погрома рассекли грудь, тоже не кажется мне смешным: «Беня, больно тебе?» — «Только когда смеюсь».

Правда, не ощутить выразительность языка, которым написана книга, — с его специфическими интонациями, с его гротескной образностью, — конечно же, невозможно. К тому же я читала «Мальчика Мотла» в лучшем переводе — Михаила

Шамбадала. (А перевести такую книгу — как заново написать.) Можно и не заходясь от хохота получить удовольствие от встречи с языком.

Но главной для меня оказалась этнографическая составляющая: вот ведь как они жили! Вот как ели, как одевались, вот какие были у них обычаи и привычки, вот как они общались... Вот как они бежали, спасаясь от погромов. И еще — «от призыва». Персонажи в «Мальчике Мотле», во второй его части, то и дело с тревогой говорят о каком-то призыве. Тут мне пришлось отвлечься на арифметику: книга была закончена в 1916 году. И она во многом основана на автобиографическом материале. Значит, они боялись, что кого-то из них, чаще всего — кормильца, того, на ком семья держится, заберут на войну. С одной стороны — погромы, с другой стороны — война...

А вот так они, значит, эмигрировали в Америку... Тут даже оптимизм всегда бодрого духом Мотла, даже его извечная познавательная активность (он приходит в восторг от одной мысли, что надо «ехать»!) — даже это не может затмить драматизма происходящего.

В описании эмиграции, всех ее невозможных, немыслимых перипетий, много из личного опыта автора. Он уехал в Америку как раз во время войны. И — вот что, наверно, смешно — не по собственной воле. Его вынудили уехать — выслали из Германии как российского подданного. Как же нам всем повезло! Мы в результате получили Бел Кауфман и ее «Вверх по лестнице...». А в Германии, не пройдет семнадцать лет, у внучки Шолом-Алейхема не было бы перспектив...

Я думаю, «Мальчик Мотл», как и «Тевье-молочник», к примеру, по критерию «этнографичность» мог встать в один ряд с «Детством» и «босаяцкими» сказками Горького. Хотя Горький писал на русском и как будто о русских реалиях, но они были неизвестны образованному читателю. Колоритность повествования возникала именно за счет абсолютной новизны материала. Такой материал был востребован в начале XX века: тема «народа», «народного» была тогда актуальной.

Но такое «этнографическое» чтение всегда связано с противоречиями. С одной стороны, ты думаешь: так вот как оно бывало! И тебе интересно. С другой стороны, ты как будто смотришь в потайное окошко на чужую — не сказать чуждую — жизнь: вот как жили другие! Не такие, как ты... И не очень понятно, что между нами общего — кроме того, что они назывались евреями и в моем школьном личном деле на пятой строчке анкеты написано это же слово: еврейка?

Тут обнаруживалась какая-то необъяснимая лакуна.

Может быть, если бы бабушка (а ведь она родилась в украинском местечке) что-нибудь мне рассказала... Или дедушка что-нибудь мне рассказал... Но они не рассказывали. Никогда, ничего. А других бабушку с дедушкой, родом из Белоруссии, я уже не застала.

И ни в детстве, ни в юности мне в голову никогда не приходила мысль: а ведь мои бабушки и дедушки наверняка понимали «Мальчика Мотла» на языке оригинала! Может, «Мальчик Мотл» — про них? И если это так, то куда же оно все делось?

Мои папа и мама были учителями русского языка и литературы...

Правда, папа изредка снимал со стены мандолину и играл одну песню. Там была фраза, которая все время повторялась:

«Тум бала... тум бала... тум, балалайка...»

«Тум»... Это ведь «пой»?..

На идише?..

В какой-то момент меня прожгла мысль: да какой такой «перевод с еврейского»? «Мальчик Мотл» был написан на идише!

Но в 1960 году редакторы «Мальчика Мотла» упорно писали на авантитуле пяти томов из шести: «перевод с еврейского». А кроме «еврейского», в комментариях фигурировал древнееврейский: «Шульман Калман (1819—1899), уроженец Могилевской губернии — писатель и переводчик на древнееврейский язык; перевел “Парижские

тайны”...»; «А. Б. Готло бер (1811—1899) — поэт, педагог и журналист, писавший в основном на древнееврейском языке, писал также на еврейском языке» и т. п.

Разве часть слова «древне-» не указывает на то, что этот язык уже мертвый? Его можно использовать в богослужении, на нем можно читать — как правило, древние тексты, эти тексты можно переводить. Но переводить на древнееврейский язык, то есть на мертвый язык? Это как? Для кого?

Кроме того, с 1948 года этот язык стал государственным языком новой страны. На нем уже говорили в учреждениях и в быту, на нем уже появилась литература... Но в 1960 году у СССР с Израилем не было дипломатических отношений. И редакторам было спокойнее избегать слова «иврит». Хотя он уже не был «древнееврейским», мертвым...

...в отличие от идиша, на котором написан оригинал «Мальчика Мотла». К 1960-му идиш можно было назвать если не окончательно мертвым, то быстро умирающим.

В отношении идиша — языка, на котором писал российский писатель Шолом-Алейхем, — сталинизм сделал то, что Гитлеру не совсем удалось: сталинизм уничтожил идиш. И это произошло уже после разгрома фашизма, после Нюрнбергского процесса, после признания Холокоста европейским сообществом. Это было какое-то изощренное изуверство — организовать во время войны Еврейский антифашистский комитет (приказом НКВД, между прочим), собрать туда лучших представителей идишистской культуры, в течение нескольких лет пользоваться плодами их сложной работы по сбору денег для советской армии, а уже через три года после войны объявить врагами народа, «презренными космополитами».

Где члены Еврейского антифашистского комитета брали деньги на строительство танков? В проклятой Америке! Там они искали поддержку, пользуясь своим еврейством, и теперь у них связи, теперь они стали слишком влиятельными. Они теперь заявляют о каком-то там Холокосте! Мол, пусть и в Советском Союзе его тоже признают. Мы им покажем Холокост...

За четыре года, начиная с 1948-го, Еврейский антифашистский комитет был расстрелян в полном составе. И это не просто те, кто еще понимал язык оригинала. Это те, кто делал литературу, — писатели, поэты, переводчики, режиссер...

Кажется, это и был конец идишистской литературы в пределах СССР. Если на идише что после этого и писали, то вывески в Биробиджане. По приказанию Сталина там учредили Еврейскую автономную область. Ох, неслучайно родные мальчика Мотла то и дело в своих разговорах поминали Сибирь! И еще поддевали друг друга: уж лучше в Сибирь, чем туда! Уж лучше в Сибирь, чем так!

Мои дедушка с бабушкой никогда ни словечка при мне не говорили на идише: идиш был языком смертельной опасности. Все, что осталось от их идишистской жизни, — протоколы допросов и справки о реабилитации.

А еще об этом должно было напоминать шеститомное собрание сочинений Шолом-Алейхема — теплый подарок тем, кто уже мог читать его только в переводе.

Переводчики с идиша, к слову сказать, в это время тоже уходили один за другим. Михаил Шамбадал умер в 1964 году, слава богу — в своей постели.

Так что, я думаю, в предисловии к «Мальчику Мотлу» должны быть такие слова:

«Перевод с идиша. Написано до Катастрофы. На языке, уничтоженном в середине XX века... Когда-то эта книга считалась очень смешной. Может, у вас получится так ее прочитать...»

Борис Руденко

История глазами очевидца

Тем, кто хочет узнать правду о том, что было, нужно искать ее у тех, кто эту правду видел. Кто жил, выжил и сумел рассказать.

Книга Евгения Войскунского «Балтийская сага» в краткой аннотации на первой странице названа романом, но авторское название все же точнее. Повествование о жизни трех поколений нескольких петербургских (ленинградских) семей, связанных друг с другом волею обстоятельств, самим городом, Балтикой, балтийским флотом, войной, действительно очень похоже на сагу. У саги нет жесткой сюжетной интриги, классической завязки, неожиданной развязки и даже отчетливой концовки, какой ее привык видеть читатель художественной литературы. Сага заканчивается вместе с историей героев. Вместе с их жизнью. Это просто подробный рассказ о происшедшем, что отнюдь не превращает его в нудноватую документальную летопись. Вот уж скучной книгу Войскунского никак не назовешь. Потому что она не только сага, но все же одновременно и художественный роман, населенный героями и наполненный событиями. И как положено в саге, отдельные истории о судьбах ее персонажей, их пути, идут параллельно, пересекаются, сливаются и вновь расходятся по причинам и поводам, которых не избежать — их невозможно ни предвидеть, ни изменить.

У курсантов военно-морского училища впереди огромная счастливая жизнь. Море, могучие боевые корабли, которыми они будут

командовать, успех, восхищение сограждан. Ну и любовь своих любимых, конечно. Только что закончилась война с Финляндией. Как жаль, что не удалось участвовать в победных сражениях! И когда в белую ленинградскую ночь 22 июня 1941 года началась новая война — удивительная, непонятная война с почти что союзником, подписавшим пакт о ненападении, курсанты-второкурсники твердо знают, что противник будет побежден очень скоро. И хотя сводки сообщают, что немецкие войска захватывают все новые территории, быстро продвигаясь к Ленинграду, это не страшно. Мобилизация идет, вот-вот вступят в бой главные силы, и враг, как всегда, будет разбит. Не надо верить слухам о пожаре на продовольственных складах, не надо паники, все закончится в ближайшие недели...

Но страшное ждало их впереди и пришлось к каждому.

Человек довольно быстро привыкает к очень многому. В том числе к постоянному ощущению опасности. Оно не должно мешать и не мешает работе. Моряки-подводники уходят в поход, чтобы выполнить задание и вернуться. Возвращаются не все. Их товарищи знают об этом, отправляясь в плавание. Это просто работа. Обыденность, повседневность. Никакого героизма и патетики. Выйти на перископную глубину. Увидеть корабли врага и сделать залп. Уйти от преследования охотников, увернуться от ударов глубинных бомб, лечь на грунт, затаиться. А потом — если остались целы — подняться, очистить исчерпанный дыханием воздух субмарины и вернуться домой для пополнения топлива

Евгений Войскунский. Балтийская сага: Роман. — М.: Этерна, 2018 г.

и боезапаса. Вчерашние курсанты, встретив врага на ленинградском рубеже, сделались подводниками. Они не успели доучиться — не до учебы уже. Нужно было работать. Кто-то возвращался из походов, кто-то — нет. Другие герои саги стали блокадниками. Одни выживали, другие — нет.

Евгений Войскунский начал военноморскую службу на базе Балтийского флота на полуострове Ханко и там встретил войну. Участвовал в обороне полуострова, чудом уцелел при эвакуации, когда транспорт с последним отрядом защитников подорвался на минном поле в финском заливе. Поэтому к читателю очень скоро приходит понимание, что рассказывает автор о пережитом, что не о выдуманных персонажах идет речь, а о тех, кого он знал, любил, потерял и никогда не забудет. И тогда грань между художественным и документальным в ощущениях читателя исчезает, и такое происходит на страницах саги постоянно.

Удивительно, но в книге, большая часть которой посвящена военному времени, за исключением нескольких коротких эпизодов нет конкретного образа врага. Его олицетворение — война, страшная беда, вторгнувшаяся в человеческую жизнь, искалечившая судьбы, отнимающая родных и близких. Войскунский ни устами персонажей, ни в авторских отступлениях (которых, кстати, в книге почти нет) не произносит высоких и гневных слов о ненависти к захватчикам. Не нужны они. Выжить — это главное. Защитить своих любимых. А чтобы выжить, нужно обязательно победить! И это ощущение передается читателю с такой достоверностью, что никакие слова уже не нужны.

Одна из глав «Балтийской саги» называется «Кронштадтский лед». «Нас водила молодость в сабельный поход. Нас бросала молодость на кронштадтский лед...» В Кронштадте, последней нашей крепости, защищавшей Ленинград с моря, военмор Войскунский служил все годы блокады и почти до конца войны. История Кронштадта и кронштадтского мятежа его интересовала с тех самых военных лет. Почему, зачем подняли мятеж революционные матросы, только вчера совершавшие и защищавшие революцию? Как

такое могло случиться? Он собирал обрывки фактов и записывал все, что мог отыскать. Официальная трактовка происшедшего давала лишь повод для новых сомнений. И только в 1990-е годы, когда открылись секретные партийные архивы и появился сборник документов «Кронштадт-1921», смог получить ответы на эти вопросы. Не было мятежа против советской власти. Матросы протестовали против большевистского насилия, ограбления крестьян и массовых расстрелов. По сути они предлагали России путь демократического развития. Был протест против тех, кто обманул матросов — вчерашних крестьян — лозунгами и обещаниями, и грабил продразверсткой их семьи, обрекая на голод и смерть. Кто главный призыв революции «Вся власть Советам» обратил в ничто. Глава получилась бы совсем документальной — в ней практически нет места ни вымыслу, ни личному отношению автора, — кабы писатель не проследил бы судьбы участников событий и не рассказал о них. И хотя герои романа в отличие от персонажей реальных носят иные фамилии, автор увидел их глазами и позволил увидеть читателю правду об этой трагической странице в истории страны. Об этих событиях главный герой романа Вадим Плещеев спорит с отцом, участником штурма Кронштадта. Писатель Лев Плещеев уже не тот ортодоксальный коммунист, каким был в начале повествования. В 1949-м он оказался в числе арестованных по фальсифицированному «ленинградскому делу», когда одна из последних волн репрессий накрыла партийную и советскую верхушку северной столицы. Получил ни за что ни про что десятилетний срок. И вернувшись после смерти Сталина из лагеря больным, с надломом в душе, он пытается разобраться, что же произошло с ним и со страной, но, не закончив работу, умирает от инфаркта.

Ну, а жизнь других героев саги шла своим чередом. Кого-то, обманувшего смерть, ждали награды и новые задания. Кого-то вражеский плен, а потом, после победы, и советские лагеря. И вновь автор ничего не навязывает читателю. Он словно бы стоит в стороне, почти бесстрастно продолжая рассказ о прошедших годах. Автору нет нужды что-то придумывать и кого-то в чем-то убеждать.

За рассказанными историями — реальные судьбы реальных людей, которых Войскунский встречал и с которыми дружил на протяжении своей долгой жизни.

Смерть Сталина, расстрел Бериин, возвращение и реабилитация репрессированных и полный сумбур в умах этих безвинно пострадавших, но по-прежнему верных «делу партии и народа» людей. И автору с удивительной точностью удается передать эти странные, парадоксальные человеческие ощущения. И тогда взамен жалости или подсознательного осуждения этих людей приходит то, что называется пониманием.

В «Балтийской саге» нет Героев. Нет Злодеев. Персонажи не делятся на плохих и хороших. Страницы книги населяют живые люди со своими достоинствами и слабостями. Одни вызывают симпатию и чувство сопереживания, другие — не очень, что отнюдь не ослабляет интерес к их судьбе именно потому, что все они — живые. Наверное, в этом состоит главное отличие книги Войскунского от саги классической: в каждом из персонажей «Балтийской саги» заключена частичка самого автора или близких, хорошо известных ему людей, зачастую узнаваемых даже читателем.

А время течет своим чередом. Хрущевская «оттепель», брежневский «застой», время перестройки и наши дни. Мы листаем страницы книги, а вместе с ее героями — страницы истории страны. Мы — зрители и участники. Войскунский — почти бесстрастный летописец,

он лишь повествует. Говорят его персонажи — такие разные и такие живые...

Евгению Львовичу Войскунскому в год выхода «Балтийской саги» исполнилось 96 лет. Уж не менее трех поколений любителей фантастики знают его как одного из ведущих авторов этого жанра в стране. Но, как рассказывает сам Войскунский, мысль о том, что главное еще впереди, его не покидала. Он знал, что обязательно должен написать о войне, о пережитом. И в 1984 году выходит его первый роман о войне «Кронштадт», который ознаменовал возвращение писателя в «большую» литературу и заслуженно привлек внимание читателей, литературоведов и критиков. За ним последовали «Мир тесен», «Девичьи сны», «Румянцевский сквер», «Полвека любви». Каждая из книг достойна отдельного подробного разговора, но все же лучше их просто прочитать. Роман «Балтийская сага» — заметное событие в литературной жизни страны не только в силу его художественных достоинств, но и потому, что написан очевидцем — одним из последних писателей-фронтовиков. Удивительное творческое долголетие Войскунского не может не восхищать. Фронтовик, моряк, журналист, писатель... Было бы преувеличением сказать, что Евгений Львович сегодня по-прежнему бодр — годы, как ни крути, берут свое. Но то, что он полон творческих сил, — истинная правда. И поэтому почитатели таланта Войскунского с полным основанием ждут его новых работ.

Владимир Левашов

Одиночество Орфея

В свое время поэт Александр Ревич сказал: «Говорить о Валерии Шубиной — значит говорить о человеке, не пошедшем на сговор с банальностью жизни, стало быть, живущем в режиме постоянного мужества».

Новая книга Валерии Шубиной — собрание прозы, продвинутой к заглавию на первой странице «Орфей, ты только убит». Ее можно рассматривать как опыт монтажной литературы, когда соединение разных вещей представляет собой одно целое, связанное родством частично сюжетным, частично обращенным к ирреальному миру. Впрочем, сюжет, ограниченный рамками мифа, скорее подразумевается, чем реализуется. Именно миф проясняет смыслы, ускользающие при первом чтении, дает возможность услышать то, что в тексте неочевидно.

Конечно же, главные герои здесь — писатели. «Низвергнутые» — называет их автор: Шаламов, Бородин, Овалов, Демидов. Сидельцы-мученики. Однако если первые трое (в разной степени) известны читающей публике, то последнее имя до сей поры нам практически ни о чем не говорило. Несмотря на солидный четырехтомник демидовской прозы, вышедшей несколько лет назад в издательстве «Возвращение».

Именно эти малоизвестные тексты стали для Шубиной материалом для кропотливого, вдумчивого, но не академически-научного, а скорее, поэтико-психологического, социального анализа. Стройный и даже строгий по форме, этот анализ достаточно свободен по содержанию — с постоянными перебросами времени в наше сегодня, с поисками каких-то принципиально важных для автора параллелей между «теми» и «этими» годами (эпохами). Частые обращения к примерам из мировой художественной культуры выдают стремление

(далеко не безуспешное) Шубиной вписать творчество Георгия Демидова в контекст не только советской, но и общеевропейской литературы XX века.

Автор подробно пересказывает сюжеты демидовских рассказов и повестей, обильно цитирует, тактично и бережно комментируя. Иной раз создается впечатление, что она где-то додумывает за автора, чтобы адаптировать его текст к современности или приблизить к читателю, обнаруживая связь с Колымой не только на литературном, но и на личном, духовном уровне. Особенно это заметно в рассказах, где действие происходит в забоях, шахтах (таков, например, рассказ «Под коржом»), что для обычного читателя — темный лес.

Подобная модель творческого соучастия лишний раз заставляет вспомнить уроки не только истории, но и географии: ведь Колыма — это -50 и ниже. Плюс все остальное. Но что интересно в этом сотворчестве. Чуть ли не в фабульных деталях описав тексты, сделав массу интереснейших умозаключений, автор наводит на мысль: а нужен ли, в конце концов, столь основательный разбор демидовской прозы, не убавляет ли интерес к ней как таковой? К этим четырем томам? И каждый раз отвечаешь себе: напротив, желание прочесть самого Демидова только возрастает. И тогда думаешь: а в каком жанре работает автор? Литературоведение? Критика? Эссеистика?

А впрочем, так ли это важно?.. Главное, автор убедил меня, читателя, что «сализм как государственное явление, как инструмент управления и как модель поведения для всех членов общества» никуда не делся, он жив по сей день и, в общем, принят, даже молчаливо узаконен всеми нами. И — «то, что в 60-е годы прошлого века, когда писал Демидов, могло представиться сгущением красок, оказалось предвосхищением будущего». Именно так!

Российская «лагерная» география достаточно обширна. Она включает и Пермь-36, где был в заключении Леонид Бородин, поэт, прозаик,

Валерия Шубина. Колыма становится текстом. — М.: «Новый Хронограф», 2018.

общественный деятель, лауреат Солженицынской премии. Ему посвящено эссе «В строю проклятых» — портрет, исполненный глубокого уважения и признательности, опирающийся на убедительный и, что важно, очень эмоциональный анализ его мировоззренческих позиций, жизненного кредо. Когда-то Бородин сказал о себе: «Не было в моей жизни борьбы. Было несовпадение, потом противостояние... Не я боролся, со мной боролись». Недаром Валерия Новодворская, диссидентка из диссиденток «Западного выбора», назвала «русиста» и противника диссидентства Бородина «рыцарем прощального образа». Для Валерии Шубиной Леонид Бородин — олицетворение героя в наше безгеройное время. «Обреченный и погибающий всегда более прав», — вот выстраданная нравственная формула этого человека, определившая его жизненное поведение. И Шубина тоже не скрывает своего восхищения им.

Борьба за объективное рассмотрение темы ГУЛАГа независимо от политической ориентации его узников — такова человеческая история издания этой работы. Спонсоров у книги Валерии Шубиной не было, грантов тоже. Проект держался на воле и чувстве долга автора. Даже надежды на публикацию не было. Тем не менее, она состоялась.

Помимо Шаламова и Демидова, Леонида Бородина и Бродского здесь соединены под одной обложкой такие разные имена, как Исайя Берлин и Марек Эдельман, Лев Овалов и Борис Пастернак, Юрий Домбровский и Рауль Валленберг. Нашлось место и для Максима Горького, Анны Ахматовой, Андрея Синявского. При идеологической конфронтации, лишаящей наше общество согласия, ничего удивительного, что писательница работала в полном одиночестве, никем не поддерживаемая, и, выпуская книгу, посчитала нужным присоединить и свое имя к некогда гонимым и преследуемым литераторам, тем более что в советское время, в конце 70-х, попадала под запреты ЦК. И потому тема ГУЛАГа сквозная, но не единственная в книге.

Через все пятьсот с лишним страниц зримо прочерчен экзистенциальный мотив одиночества. Он связан не только с именем легендарного Орфея, но и вполне бытовыми персонажами, среди которых Герцик («Одиночество мужчин и котов»), не

дотянувший до романтического влюбленного герцога не только двумя буквами фамилии, но и своей скучной привязанностью. И та же Евстолия-Лялечка («Коронер», «Памяти погибшей сирени»), устроительница чужих дел, бескорыстная помощница страждущих и в этой бесконечной круговерти будней растрачивающая свой дар. Это и героиня ядовито-острой миниатюры о нравах современной художественной «элиты» «Человек с улицы», в самом названии которой угадывается фатальное неслияние Одиночки с цепко спаянной стаей.

Немного ироничной одой преданности Идеалу и делу выглядит рассказ-портрет «Орфенов — мэтр-эталон», о ком автор пишет: «...как всякий творческий человек Орфенов чувствовал необязательность своего присутствия в этом мире». Но страстная привязанность к любимому занятию — рассуждениям о слове, литературе, предполагаемому в неясном будущем ТЕКСТУ, — удерживают его на этом свете.

Особая природа таланта, с одной стороны женственного, эротичного, с другой — мужественного, жесткого, позволяют Шубиной соединять в короткой форме рассказа художественное и интеллектуальное осмысление многих событий последнего времени. Таковы «На том месте земля была липкая» — о расстреле Белого дома в 1993 году, «Трава времени» — хроника жизни одной семьи (1914—1935 гг.) со множеством реальных персонажей, «Дежурный офицер узника №7» — о нацистском преступнике Гессе. Венчает сборник, что, конечно же, не случайно, — большой рассказ «Время года — сад». Это почти философская вещь, переведенная на язык великолепно исполненной ХУДОЖЕСТВЕННОЙ прозы. Негромкое объяснение в любви к жизни, саду, небу, зыбкому осеннему воздуху, дождю, особенно «если в дождь удастся разжечь костер одной спичкой, без специальных горючих средств», и многому другому, что не поддается дотошному реестру, но осязательно сопровождает... окружает нас в нашем привычном ВСЕГДА и продлится в нашем ВЕЧНО. Работая на контрасте тональностей, Шубина буквально высекает искры из слов, а то, что вызывает ее гнев или негодование, разносит с силой тропического урагана. И это при том, что она начинает с ноты, которой обычно другие заканчивают.

Михаил Линкин

Открытие Якутии: новые страницы

Книга Олега Сидорова о Платоне Ойунском — не первая в «ЖЗЛ», посвященная судьбе представителя якутского народа. За несколько лет до нее выходила книга Николая Коняева «Алексей Кулаковский», а через какое-то время после «Платона Ойунского» вышла книга того же Олега Сидорова «Максим Аммосов». Так что можно сказать, что выход этих книг в популярной биографической серии знаменует важное социокультурное явление: открытие русскому читателю Якутии.

Нет, вообще-то мы все, по выражению Брюсова, «так называемые образованные люди», имеем представление о Сибири и населяющих ее народах — но в большинстве своем не слишком-то их различая. В обывательском сознании господствуют «чукотский анекдот» и случайные документальные кадры с суетливым содержанием. О какой-то там культуре вопрос даже не ставится. Однако те, кто хорошо знает Сибирь и ее народы, те, кто жил среди них и имеет о них практическое, а не обывательское представление, с негодованием отвергнут такой подход. Тем более когда речь идет о якутах, народе саха, доминантном этносе на территории размером с половину Западной Европы, обладающем богатейшей культурной традицией. Якутский народ — это серьезно. И якутская культура — это серьезно, и традиционная, и современная. А Платон Ойунский — ключевая фигура якутской культуры.

«Ойуун» — по-якутски «шаман», «уус» — род. Потомок шаманов Платон Слепцов с 1920 года стал Платоном Ойунским, по-якутски это пишется «Ойуунускай» — «из рода шаманов». Именно тогда, в 1920 году, губревком принял решение о том, что «на территории Якутской области объявляется беспощадная борьба с шаманством,

профессиональными шаманами и шаманской спекуляцией». Вчерашний пламенный сторонник революции и ее преобразований вдруг являет пример своеобразной фронды перед Советской властью — и одновременно совершает глубоко символический акт культурного выбора, оставаясь в своей национальной традиции. Разумеется, ни о каком противостоянии и речи нет, Платон Слепцов-Ойунский еще будет занимать важные административные и культурные должности, но в эпоху репрессий все это так или иначе закончится обвинением в буржуазном национализме, арестом и смертью в тюремной больнице. Произведения, в которых он не только продолжал непрерывную традицию народного сказительства, но и фактически разрабатывал якутский язык, приспособлявая его к новой культурной ситуации Якутии в XX веке, — долгое время будут запрещены, и самое имя автора будет вычеркнуто из истории. Книга «Платон Ойунский» — часть общего процесса культурного возрождения, переживаемого ныне Якутией.

Кстати, о возрождении. Вернее, даже так — о Возрождении. То что происходило в Якутии в конце XIX — начале XX века, до некоторой степени сопоставимо с европейским Ренессансом в том, что касается появления особой человеческой породы — по сути именно ренессансного типа. В глухом краю с суровыми условиями жизни, вдали от всякой цивилизации, где царят бедность, болезни и неграмотность, там, куда только революционеров-заговорщиков ссылали в наказание и ради обеспечения государственной безопасности — вдруг появляется местная интеллигенция! Потомки охотников и рыболовов, крестьян из дальних аласов и якутских мещан (ну а также шаманов и тойонов), имеющие в интеллектуальном багаже в лучшем случае несколько классов учительской

Олег Сидоров. Платон Ойунский. — М.: Молодая гвардия, 2016. — «ЖЗЛ».

семинарии, как тот же Платон Ойунский, вдруг становятся филологами и историками, фольклористами и этнографами, публицистами и общественными деятелями, создателями науки, театра и искусства. Разумеется, немалую роль в этом процессе сыграли те самые ссыльные революционеры, когда-то принешие в Якутию зерна просвещения, а некоторые даже серьезно занялись изучением Якутии, но несомненно, что в дальнейшем процесс культурного развития велся силами их учеников и учеников этих учеников, то есть в первую очередь самих якутов. Имена Алексея Кулаковского и Платона Ойунского, Максима Аммосова и Гаврила Ксенофонтова, Эргиса и Софронова-Алампы и еще многих других не слишком-то широко известны вне Якутии, тем более что в массе своей этот ренессансный взлет был просто физически уничтожен в годы репрессий. Уничтожен той самой властью, за установление которой боролся Платон Ойунский. Сам он довольно рано, уже в 20-е годы, начал осознавать, что жизнь меняется не так, как ожидалось. И он принял неожиданное решение: отказавшись от политических постов, он, успев написать и защитить диссертацию, всецело сосредоточился на литературном творчестве, оставив потомкам среди прочих произведений великий памятник: эпическое сказание-олонхо «Нюргун-Боотур Стремительный».

Олонхо — традиционный жанр якутского фольклора, большое стихотворное повествование, его исполнение — целое искусство, которым владеют и передают из поколения в поколение мастера-олонхосуты (Ойунский, кстати, в бытность свою председателем Союза писателей Якутии принял в союз последних олонхосутов, невзирая на то что среди них были и неграмотные). Он и сам считал себя олонхосутом — только не поющим, а пишущим. Его «Нюргун-Боотур Стремительный», в котором, подобно «Калевале» и «Гайавате», сочетаются авторский подход (весьма бережный) и народная фольклорная аутентичность, рассказывает о мироздании и борьбе — но не о людских войнах, а о борьбе космических сил, сил Верхнего мира, мира богов, с силами Нижнего мира (злых богов) и участии в этой борьбе людей и духов — обитателей Среднего мира. Конечно, прекрасно творить поэзию, вникать

в детальные, разработанные космогонические представления своего народа, а не в чиновничью бумажную «текучку», но многие в Среднем мире, окружающем Платона Ойунского, только и ждали момента, чтобы свести с ним какие-то счеты или реализовать свои амбиции...

Автор — соотечественник и соплеменник своего героя, носитель одной с ним культуры, пишет по-русски и по-якутски. Но в отличие от его повестей и рассказов, написанных в сказовой традиции, «Платон Ойунский» — произведение строго документальное. Мы прослеживаем судьбу героя, начиная с детства в бедном дальнем наслеге, где он удивлял сверстников и взрослых своими способностями и страстью к исполнению олонхо; далее — учеба в четырехклассном училище в Якутске, где он уже начал писать стихи, в том числе и по-русски, вошел в круги местной интеллигенции, затем — революционные веяния, окончание Якутской учительской семинарии, Томский учительский институт — и в суматохе событий конца 10—начала 20-х он уже представитель Советской власти, публицист, депутат и делегат. Потом — большой чиновник, организатор культурного строительства. А затем — трения с центральной властью, да и внутренние дрязги, общее разочарование, поиск выхода в творчестве, и наконец Платон Ойунский оставляет свои посты и уходит целиком в литературу, но от политики так просто не уйдешь... То, что автор близок своему герою, досконально знает подоплеку событий, исторических и культурных явлений, оказывается и хорошо, и не очень хорошо для биографической книги. Читателю, от этих событий и этой культуры далекому, порой приходится «домысливать» ситуацию, подключать собственный механизм острашения там, где автор рассказывает об обычных и знакомых всем якутам, но не всегда с ходу уловимых для «чужого» вещах. Кроме того — такова особенность жанра — когда речь идет о событиях, известных из документов, часто в рассказе сохраняется стилистическая канцелярская специфика документа. Но самое главное — книга существует, и, заполняя информационную лакуну, она вполне выполняет свою просветительскую функцию: заново открывает русскому читателю Якутию через судьбу одного из лучших представителей ее народа.

Григорий Зобин

Грани кристалла

Не раз говорилось о том, как питают поэзию гений места и топография. В этом смысле археологические пласты и пласты культурной памяти неразрывны. Только сквозь них может прорасти что-то новое, живое и настоящее.

Поистине, стоило Алексею Смирнову родиться в интеллигентной московской семье и провести детские годы в самом сердце старой Москвы — в Курсовом переулке, рядом с Остоженкой, Пречистенкой и Арбатом. Да и не где-нибудь, а в легендарном домостроении с диковинными зверями и цветами, построенном для инженера-путейца П.Н.Перцова по эскизу художника С.В.Малютина в 1907 году. Ожившая сказка русского модерна в самом его цвету. Место, где в подвале проходили уморительные «капустники» Никиты Балиева и других птенцов Станиславского, спектакли «Летучей мыши» «для немногих». Дом этот станет любимым героем и прозы, и поэзии Алексея Смирнова, отзовется в них не один раз. А вокруг-то! Белые и Красные палаты на «стрелке». Музей Изыщных Искусств на Волхонке, созданный И.В.Цветаевым, чья жизнь для многих ушедшая «в тень» его великой дочери, лишенная громких и ярких внешних событий привлечет позже внимательный взгляд Алексея Смирнова и заставит написать книгу об этом подвижнике. Множество заветных пушкинских адресов. «Дом Мастера» в Мансуровском. Поливановская гимназия. Храм Св.пророка Или

в Обыденском — одна из немногих московских церквей, которая никогда не закрывалась и где впервые запретная в советском детстве таинственная красота богослужения пока еще неосознанно отозвалась в сердце отрока чем-то глубинно-родным, странно созвучным тому, что уже слышал в любимых стихах...

А дальше по Остоженке — разоренный и разрушенный Зачатьевский монастырь, и в руинах сохранивший отпечаток прежней красоты, память о ней. Неподалеку находится здание школы, в которой довелось учиться Алексею Смирнову. Редкий случай — с учителями и товарищами по большей части повезло.

Может быть, впечатления детства, обстановка в семье «золотые игры первых лет и первых лет уроки» во многом и помогли сохранить совестный иммунитет в «прилагаемых обстоятельствах» антижизни. Впрочем, в детстве она воспринималась неким фоном. Подобно тому, как в великом феллиниевском «Амаркорде» все то, что связано с фашизмом в Италии, с ходом истории, дается лишь небольшими вкраплениями. Крупным планом выделяется повседневная жизнь, увиденная глазами подростка, ее события, в круговращении календарного года в маленьком городке: школьные шалости, первые увлечения, пышная табачница — «жгучая тайна» главного героя, поездка за город с неожиданным приключением с сумасшедшим дядюшкой, встреча горожанами на лодках в море трансатлантического лайнера, проходящего мимо, смерть матери, появление павлина в конце зимы... Все это имеет ничуть не меньшее значение, чем «эпохальные сдвиги» — обыденный миг, запечатленный навсегда, оставшийся навечно.

Точно так же и в книге «Виолончель за бумажной стеной» Алексея Смирнова — не

Алексей Смирнов. Виолончель за бумажной стеной. — М.: Новый хронограф, 2016;

Алексей Смирнов. Партия анекдотов. — М.: Новый хронограф, 2016;

Алексей Смирнов. В прилагаемых обстоятельствах: Новеллы и повести. — М.: Новый хронограф, 2017.

хочу сказать «мемуарной», это было бы слишком просто и плоско, скорее ретроспективной, что вполне естественно, поскольку жизненный материал, чтобы найти себя в слове, должен хорошо «отлежаться» и в памяти, и в уме, и в сердце порой не одно десятилетие.

Для людей преклонного возраста время «сгорает», в детстве же каждый год — эпоха, делающая человека совсем другим. И любое мгновение, любая встреча, любой разговор имеет абсолютное, судьбоносное значение, отзывается потом или радостью, или обидой, а порой и поступком, и жизненным выбором. Особенно это касается ежедневного общения с самыми близкими.

Для Алексея Смирнова такими людьми были папа и мама, няня Филипповна, которая первой беседовала с мальчиком о Боге в годы, когда саму память о Нем стремились изгнать из жизни.

Вспышками из прошлого выхватываются забытые узоры и стежки на ткани времени. Напротив дома через Соймоновский проезд, на месте разрушенного храма Христа Спасителя и неосуществленного зиккурата Дворца Советов — автобаза № 3, пока еще не смененная бассейном «Москва». Рядом — бараки. Керосинная лавка, где колоритный армянин отпускает жаждущим «маслянистую жидкость». Продавец в соседнем магазине, рассуждающий с юным покупателем на философскую тему: что же такое материя? Поездки на дачу в подмосковные «Заветы Ильича». Семейное катание на коньках в Парке культуры. Загадочная пара — дедушка и бабушка школьного приятеля — маленький горбун с длинным ногтем на мизинце и высокая седая дама. Учительница Софья Гавриловна, пришедшая к заболевшему мальчику на дом провести с ним контрольный диктант, с трепетом ожидаемая и торжественно принятая. К счастью, ученик не подкачал. Портниха Клара Даниловна, потерявшая в оккупированной гитлеровцами Польше всех своих родных и сама чудом избежавшая нацистской газовой камеры. Ее муж дядя Костя, изящно именовавший жену «мадам Клара»... Все это может показаться незначительным, но для художника незначительного нет. Детский «амаркорд»

Алексея Смирнова оказался тем живым источником, который питает всегда.

Десять лет — потрясение: «наши танки на чужой земле». Венгрия. Первое тягостное сомнение в непогрешимости собственной страны на основе понятий о том, «что такое хорошо и что такое плохо», полученных на школьных же уроках. Окончательное осознание придет позже — после удушения «оттепели» и позора Праги.

Это совпало со студенческими годами — с обучением в МХТИ им. Менделеева, с восхищением мудрецами-профессорами, со стремлением им подражать. И — неслучайно избранная кристаллография. Стройность и структурность кристалла отозвались в подходе к слову как материалу. Откристаллизовались и высшие нравственные, совестные ценности, без которых в российской словесности делать нечего.

Ученые, чья жизнь хорошо знакома Алексею Смирнову по собственному каждодневному опыту, нередко становились героями его повестей и новелл. Вот университетский питомец и затем доцент, не видящий себе равных талантливый физик Струков. Однако же блестящий ум его лишен какой бы то ни было сердечной составляющей. Сколько студенческих судеб им сломано без жалости! Но и сам он «бумерангом» получает сокрушительный удар оттуда, откуда уж никак не ждал его получить. Живая иллюстрация евангельской притчи о злом рабе.

Конечно, самому автору, тоже некогда старому московскому студенту, куда милей совсем другой профессор — сочиненный им самим, один из героев книги «Партия анекдотов», Юлий Францевич Картон. Позволяет свободно выбирать на экзамене вопросы, пользоваться при подготовке ответа учебными пособиями, видит в студенте младшего коллегу и собеседника. И тут же — уморительнейшая расшифровка элемента «Йод-53»: «Йоська отдал душу в 53 году».

Или Витвик из одноименной повести. Жил безоглядно, во всю силу своего таланта, с полной самоотдачей. Не имея главной точки отсчета, много «нарубил дров» — бросил две семьи, под старость лет попал в лапы к циничной и хищной «ведьмусе». Но где-то в глубине, на уровне генетическом, сохранил главный завет, переданный нам «Капитанской

дочкой». И в урочный час выдержал, рискуя жизнью, страшное испытание: предпочел погибнуть, но не стать сексотом.

Персонажи прозы Алексея Смирнова удивительно жизненны, а порой не только типичны, но и фольклорно-архетипичны. Вот он, Лукьян — горе луковое. Создает фантазмагорические проекты, живя на халяву. И печка-то уже обвалилась, и не поедешь на ней никуда, а Емеля все тот же. Ждет, чтобы «по шучьему веленью» на его дворе вместо раздолбанных ворот, которые он никак не возьмется поправить, из осыпавшихся с печки кирпичей воздвиглась Триумфальная арка...

А вот другой — бомж Порецкий. Самый его смрад словно бы становится отдельным героем новеллы — вспомнишь тут гоголевского Петрушку. И почему-то упорно ждешь, что в финале Порецкий откроется какой-то совершенно неожиданной, тайной стороной своей души. Увы, элемент неожиданности и элемент ожидаемости в рассказе уравновешены. Разгадка этой «загадочной русской души» очень проста: гордость «свободного» паразита перед «рабами», которые трудом зарабатывают свой хлеб, но живущего их милостью, «стреляющего» у них деньги, сигареты («дай папиросочку — у тебя брюки в полосочку»), конфетки и яблочки. Поставлена точка в столетней теме босячества. На поверку оно оказалось болезнью не социальной, а духовной. И тем не менее в глубине автор сострадает этому «антигерою», хотя и видит его как есть, во всей красе.

К счастью, «емелями» русская жизнь не исчерпывается. С ними давно и надежно соседствуют «левши». Такие, как Коляныч, герой рассказа «Ключ закусывает». Он, конечно, подымить любит, и поболтать о том, о сем, а больше ни о чем. Казалось бы, тоже из обширной галереи лодырей. Но как сказала однажды Новелла Матвеева:

Мой друг, не доверяй поверхностному взгляду
И разницу как раз увидишь без труда
Меж отдыхом сейчас и отдыхом всегда.

Вот Коляныч становится к станку, чтобы исправить огрехи некоего горе-умельца, выточившего ключ так халтурно, что он еле ворочается в замке. Автор любит каждого движением Коляныча, точностью, выверенной

до микрона, восхищается филигранной работой. Это неизбывное уважение мастера к другому мастеру, будь то виртуоз Коляныч, гениальный редактор Глеб Сорока из рассказа «Уголок персидского ковра» или итальянский скульптор, сработавший парижское надгробие Рудольфа Нуриева. Но мастерство может быть и убийственным, как в случае с Викентием Крючковым из повести «Перо», всю жизнь прожившим по лжи и писавшим передовицы для той главной газеты, само название которой звучало злой насмешкой и воспринималось только в кавычках.

В прозе Алексея Смирнова персонажи освоены личным опытом встречи и общения, а пространство — будь то ближние или дальние края, наши заросли и топи, по коим оттопано немало километров, или же улицы старых европейских городов — ногами, глазами и сердцем. Освоено настолько, что становится миром самого писателя. Пусть нас не обманет, что в повести «Фрау Хуберт» рассказ ведется от лица пожилого венского кельнера, всю жизнь проработавшего в одном кафе, но обретшего такой опыт и остроту взгляда, которых хватило бы на нескольких путешественников, объехавших целый мир. Повесть начинается по-цвейговски интригующе, ждешь какого-то острого конфликта, неожиданного поворота сюжета. Ничего этого не происходит, но читатель не обманут. Он словно соприкасается с живой душой Вены, чувствует тонкий, неповторимый аромат прекрасного старого города, становится свидетелем повторяющейся из года в год процессии Праздника Тела Господня, которая совершается после мессы и идет от собора Св. Стефана к Хофбургу — бывшему императорскому дворцу. Эта традиция — знак, что жизнь по законам духа и культуры не прерывается, что именно она остается сущностной для Вены, а не бессмысленные протесты турецких гастарбайтеров против действий своего правительства и не омерзительные шествия содомитов, оскверняющие сегодня старую Европу, драгоценную для Алексея Смирнова ничуть не меньше старой Москвы, где каждый угол — целый мир. Сложилось так, что зрелые годы поэта, остающегося им и в своей прекрасной прозе, связаны с Большим Харитоньевским переулком, с этим пространством пушкинского детства. Дома

давно снесены, но гений места хранит живую память о них. Напротив Смирнова жил И.И.Козлов, свернешь в Малый Харитоньевский — пожалуй в гости к «дядюшке Василию Львовичу», пойдешь в Большой Козловский — там встретит тебя, воскреснув из небытия, чудесный сад гостеприимного Ивана Ивановича Дмитриева, в Малом Козловском оживет домик бабушки Пушкина Марии Алексеевны Ганнибал. Рядом в Большом Харитоньевском — единственный уцелевший пушкинский адрес, дворец князя Н.Б.Юсупова. А какие гости собирались в этих домах! Херасков, Карамзин, Жуковский. Как в таких местах вновь не расцвести поэзии, не пробудиться умному веселью! Вот и появляется книга о Козьме Пруткове, и новая искрометная «прутковiana», и повесть о прямом наследнике Козьмы Пруткова, а еще прежде графа Хвостова, «Пенсю». Как мил и забавен этот консерваторский завсегдатай, сочинитель беспомощных виршей «на случай»! И вот что замечательно: Вяземский в своих блистательных

пародиях — притчах воссоздавал бессмыслицу хвостовских басен, А.К.Толстой и братья Жемчужниковы дали жизнь и гражданство в русской поэзии смертельно серьезному и потому до упада смешному Козьме Пруткову, а Алексей Смирнов создал самый характер их потомка в XX столетии.

Подобно бедному графу — графоману, его пра-пра-правнук по-детски тщеславен, но столь же добр и безобиден, в отличие от многих «непризнанных гениев»...

Дом Перцова выходит на Пречестенскую набережную. Из окон его видна Москва-река, текущая вдаль. Эта даль властно зовет поэта за собой. Городское пространство Алексея Смирнова безмерно раздвинулось, прежде всего в глубину, но всегда оставалось исходным и неизменным в его судьбе.

Что ж! Поднимай удивленные брови,
Ты, горожанин и друг горожан,
Вечные сны, как образчики крови,
Переливай из стакана в стакан...

Пришло время!

Рубрику ведет Лев Аннинский

Подробности жизни, гибели и посмертной репутации генерала Александра Лизюкова составили трехсотстраничную книгу.

Из биографии. Александр Лизюков родился в 1900 году в Гомеле. Добровольцем вступил в Красную армию, воевал в Гражданскую, окончил военную академию им. М.В.Фрунзе, занимался военно-технической подготовкой кадров танкистов, командовал тяжелым танковым полком, танковой бригадой. В 1938 году был арестован по ложному обвинению как участник антисоветского заговора: якобы «собирался совершить террористический акт в отношении наркома Ворошилова и других руководителей ВКП(б) и советского правительства путем наезда танка на Мавзолей во время одного из парадов». В декабре 1939-го оправдан военным трибуналом. Продолжил службу. 5 августа 1941 года одним из первых в Великой Отечественной войне был удостоен звания Героя Советского Союза.

Репутацию пришлось распутывать. И выпало это сделать Ивану Афанасьеву, по родству — внучатому племяннику генерала, по профессии — специалисту по современной русской и белорусской литературе, зав кафедрой русской и мировой литератур Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины и профессору Академии военных наук Российской Федерации.

Так почему же пришлось распутывать?

Не только потому, что роль Лизюкова в битве под Москвой в первый период Великой Отечественной войны была отчасти засекречена по оперативным причинам, хотя и поэтому тоже.

Не менее потрясает гибель генерала под Воронежем в 1942 году. Танк Лизюкова расстрелян немцами, он стоит, на полосе между «ними» и «нами», и подойти танку опасно, и угадать, кто в нем погиб, непросто. То ли наших танкистов вытаскивают и хоронят местные жители (и Лизюкова погребут в отдельной могиле, с предположительной надписью), то ли это немцы вытаскивают тела танкистов из разбитой машины: что это генерал — поняли, какой генерал — не ведают, на всякий случай срывают и уносят его награды и обезображивают лицо до неузнаваемости.

И это лишь начало посмертной двойственной славы генерала.

«В ловушку, подготовленную для немцев, угодили наши танки».

Вот и лови истину, гнездящуюся с обеих сторон.

Двойственная «окраска» реальна и дальше. Распоряжение главковерха Сталина о начислении пенсии вдове Александра Лизюкова — явный знак признания его героем

войны. Но товарищ Сталин еще и пошутил, когда неясно было, куда делся Лизюков со своим танком: *не удрал ли он?*

Шуточка оказалась живучей!

Тут еще и то сработало, что Лизюков, угробленный в нашем танке, вырвавшимся на позиции немцев, предпринял этот рейд по собственной рискованной инициативе. Хотя и знал, что вышестоящие начальники допускают нечто подобное.

Так или иначе, Лизюкова надо было очищать от липшей к нему клеветы. И получил Афанасьев, справлявшийся в архиве РККА о судьбе генерала лет десять спустя после его гибели, ответ короткий и ясный:

— Мобилизован. Точка.

Афанасьеву надо было осмыслять такие точки. И он написал книгу о своих поисках: «Судьба командарма Лизюкова: версии, мифы и правда (М.: Вече, 2018, «Военно-историческая библиотека»).

Читается она неотрывно. Не только потому, что она о Победе, оплаченной миллионами жертв. А еще и потому, что такой платы не должно быть завтра.

А горестные наши раздумья об этой плате неизбежны. И завтра, и всегда, пока живет память народа о пережитых страданиях Великой Отечественной войны.

Новые поколения будут писать о пережитом по-своему. Отвечая на неизбежные вопросы: за что это выпало нам? Что нас спасло? И что переменялось в нашем душевном мире, пока миллионы расплачивались за мир? За наш мир. Или за передышку в бесконечной череде войн?

Книга Ивана Афанасьева — в этом новом ряду. Книга о войне, которая вечна. Книга о победе.

Есть загадка в этом тексте. Стилистически он суховат, пронизан неуставной энергией поиска. Но непреложно ощущение общего знамени.

Если общее знамя в руках, будет и Победа.

«Воды Днепра в 1941-м были красными от крови.

Река забвения — черна.

Пришло время ее водам разомкнуться».

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «ДРУЖБА НАРОДОВ» ЗА 2018 ГОД

	№	Стр.
ПРОЗА		
АРАМАЗД С. Гора солнца. <i>Роман. С армянского. Перевод А.Налбандяна</i> ... II,		8
АРАНОВ М. Баржа смерти. <i>Главы из книги</i> XII,		44
АФЛАТУНИ С. Приют для бездомных кактусов. <i>Рассказ</i> XII,		106
БАЛАНДИНА Е. Блеск и нищета куртизанов. <i>Рассказ</i> IV,		181
БАХНОВ Л. Ретро плюс. <i>Рассказы</i> II,		182
БЕЛКИН-ХАНАДЕЕВ И. Качаясь на двери. <i>Новелла</i> IX,		179
БЕРЕЗИН В. Расцвет жизненных сил. <i>Из будущей книги</i> IV,		84
БИРМАН Д. Рассказы III,		107
БОХОВ В. Железный чукча. <i>Рассказ</i> V,		101
БОЧКОВ В. Возвращение в Эдем. <i>Роман</i> IV,		8
БУЛКАТЫ И. Цорион. <i>Повесть</i> VII,		6
БЫЛИНСКИЙ В. Письмо. <i>Из романа «Всё исключено»</i> VIII,		121
ВАСИЛЬЕВ А. Ветеран. <i>Повесть</i> V,		7
ВЕРГЕЛИС А. Летучий голландец. <i>Рассказ</i> IV,		183
ВИНТИЛА А. В моей квартире семь шумов. <i>Рассказ</i> I,		161
ВОЙСКУНСКИЙ Е. Боголюбов. <i>Главы из романа</i> V,		126
ВОЛКОВА С. Великая любовь Оленьки Дьяковой. <i>Рассказ</i> XII,		89
ГАММЕР Е. Третий глаз. <i>Документально-художественная повесть о реальной жизни с фрагментами воспоминаний моей старшей сестры Сильвы Аронес</i> VII,		76
ГРИГ. Адада. <i>Рассказы. С армянского. Перевод К.Халатовой</i> X,		204
ГУРЕЕВ М. Посещение молчания. <i>Рассказы</i> III,		86
ДАНИШЕВСКИЙ И. Тени над мутабор. <i>Рассказ</i> VII,		136
ДЕКИНА Ж. Цикл «Нежные люди» III,		130
ДИГОЛ С. Три орешка для Ксюши. <i>Рассказ</i> IX,		157
ДОЛГОПЯТ Е. Квартира. <i>Рассказ</i> II,		165
ДУМБАДЗЕ М. Леди Макбет Капрованского района. <i>Рассказ. С грузинского. Перевод В.Маловичко</i> IV,		142
ЖДАНОВ А. Филологические баллады кавалериста Новикова. <i>Новобранская элегия</i> IX,		107
ЖУКОВА А. Беглянка. <i>Рассказ</i> VII,		124
ЗАХАРОВ С. Рассказы V,		134
ИВАНОВ А. Страсть и ярость. <i>Из цикла «Сванские рассказы»</i> IV,		176
ИВАНУШКИНА П. Снится дом усталый, одинок. <i>Рассказы</i> VII,		140
ИСХАКОВ Д. Леди Гамильтон. <i>Рассказ</i> IV,		164
КИМ А. Дом с протуберанцами. <i>Повесть</i> VI,		7
КЛИМОВА Г. Пасташутта. <i>Повесть</i> XII,		8
КОЗЛОВА А. Чёрная дыра. <i>Сценарий для чтения</i> VI,		97
КОРНИЕНКО И. Рассказы VI,		122
КОРОЛЁВ А. Хохот. <i>Роман</i> I,		8
КРЮКОВА Е. Евразия. <i>Фрагмент романа</i> III,		8

КУГЕЛЬ М. Назови меня ещё как-нибудь. <i>Повесть</i>	VI,	61
КУЗЕЧКИН А. Две сказки	III,	112
КУЗНЕЦОВ И. Крысин и Рыбин. <i>Рассказ</i>	VIII,	139
КУЛЕШОВА С. Мадлен. <i>Рассказ</i>	IV,	170
КУЛЕШОВА Ю. Маскарапоз. <i>Рассказы</i>	IX,	184
ЛЕВОЧСКИЙ Д. Зелёнка. <i>Рассказ</i>	I,	177
МАКС ФРАЙ. Гест. <i>Рассказ</i>	II,	124
МАКСЮТОВ Т. Осколок синевы. <i>Рассказы</i>	V,	160
МАЛАШЕНКО А. Знать или не знать? <i>Рассказ</i>	XII,	137
МАРКАРЯН О. Простите, нет времени. <i>Рассказ</i>	I,	149
МАРКИШ Д. Махатма. <i>Вольные фантазии из жизни самого неизвестного человека</i>	X,	83
МЕСЯЦ В. Рассказы	VIII,	162
МОСКВИНА М. Глория мунди. <i>Рассказ</i>	II,	138
МУРАТОВ С. Красная площадь. <i>Рассказ</i>	VII,	114
НЕСТЕРИНА Е. Вайнахтсман и киндеры. <i>Рассказ</i>	V,	114
ОВАКИМЯН С. Концерт для верёвки. <i>Рассказы. С армянского. Перевод А.Варданян, А.Татевосян</i>	VI,	158
ОГАНДЖАНОВ И. От третьего лица. <i>Рассказ. Из книги «Человек ФИО»</i> ...	X,	195
ОРЛОВ Д. Счастливая жизнь в долг. <i>Повесть</i>	II,	101
ОРЛОВ Д. Ведро. <i>Пьеса в восьми картинах</i>	IX,	128
ПАНКРАТОВА Т. Господин из Сан-Франциско. <i>Рассказ</i>	IV,	154
ПISKУНОВ В. Эльбрусский эдельвейс. <i>Повесть</i>	V,	72
РОМАНОВ А. Глубина. <i>Рассказ</i>	IX,	194
РЯБОВ О. Дочь профессора. <i>Рассказ</i>	III,	120
САМСОНОВ С. Держаться за землю. <i>Роман</i>	VIII,	6
.....	IX,	7
.....	X,	6
СВЕТЛИЧНАЯ Д. Шырдак. <i>Рассказы</i>	VII,	147
СЕДОВ Г. Плач по Александру. <i>Главы из ненаписанной книги</i>	VIII,	83
СЕМАШКОВ Р. Рассказы	VI,	170
СНЕГИРЁВ А. Призрачная дорога. <i>Фрагмент из романа</i>	X,	107
ТАДТАЕВ Т. Армейский друг. <i>Рассказы</i>	IX,	90
ТАРАСЕВИЧ И. Отвод. <i>Рассказ</i>	V,	152
ТВАЛТВАДЗЕ Г. Хозяйство Бензин Ивановича. <i>Рассказ</i>	X,	184
ТВАЛТВАДЗЕ Т. Небесная «Call of Duty». <i>Повесть</i>	I,	108
ТУГАРЕВА А. Прицепной вагон. <i>Рассказ</i>	VIII,	156
УЛЬЯ НОВА. Рассказы	I,	170
УСЫСКИН Л. Рассказы	VII,	102
ФЕДЕНКО А. Муха. <i>Рассказ</i>	IV,	191
ШАМАНОВ С. Девушка на балконе. <i>Рассказ</i>	X,	209
ШАМШУРИН В. Виктор. <i>Повесть</i>	X,	156
ШКЛОВСКИЙ Е. Обида. <i>Из цикла «Доктор Крупов»</i>	IV,	201
ШПАКОВ В. Красное платье. <i>Рассказ</i>	XII,	125
ЭЛТАНГ Л. Радин. <i>Фрагмент из романа</i>	II,	69

ПОЭЗИЯ

АРАБОВ Ю. Звезда Ништяк. Стихи	VII,	133
АРИШИНА Н. Пассифлора моя, пассифлора. Стихи	III,	126
АРКАТОВА А. Списки утрат. Стихи	IX,	86
Арт-группа #белкавкедах		
МАРКИНА А., БАБИНОВ О., БАРАНОВА Е. Стихи	VI,	153
АСИМ З. Прохладный рассвет безмолвия. Стихи	IV,	179
БЕЛОРУСЕЦ С. Человек неразумный. Стихи	X,	181
БЕРШИН Е. Как чужой перевод. Стихи	VII,	3
БИЛЬЧЕНКО Е. Друг мой рай. Стихи	IV,	80
БЫКОВ Д. Длинные стихотворения. Стихи	VIII,	3
БЯЛЬСКИЙ И. Историографическое. Стихи	V,	99
ВОЛОСЮК И. Не при делах. Стихи	IV,	189
ВОЛЬТСКАЯ Т. В погоне за звездой ручной. Стихи	XII,	86
ГРИЦМАН А. Незримая ватерлиния. Стихи	XII,	41
ГУТОВ А. Оловянный солдатик. Стихи	V,	112
ДАВЫДОВ Д. Тихая версия. Стихи	I,	106
ДМИТРИЕВ А. Что налито между строк. Стихи	III,	82
ЕЛАГИНА Е. Сомкнутое лицо. Стихи	VIII,	153
ЕФРЕМОВ Г. Мотылёк в ладони. Стихи	IX,	125
ЗОЛОТАРЁВ С. Солнечный свисток. Стихи	VIII,	118
ЗУБАРЕВА В. Реквием по снегу. Поэма	III,	140
ИВАНТЕР А. Жаркие деньки. Стихи	VI,	58
ИГНАТЬЕВА М. Неутолённые размеры. Стихи	V,	123
КАБАНОВ А. Меж двух отчизн. Стихи	VII,	99
КНЯЗЕВ Г. Вселенная многоканальная. Стихи	IX,	176
КОЛЕСНИК Л. Исчезающая провинциада. Стихи	VII,	153
КОРОВИН А. История лица. Стихи	VI,	119
КУЗНЕЦОВА И. Объяснение. Стихи	VII,	75
ЛАРИОНОВ Д. Обратная оптика. Стихи	III,	118
МУРАТХАНОВ В. Возвращенье. Стихи	IX,	155
Мы — авангардисты. Экспериментальная поэзия		
КАЦЮБА Е., КЕДРОВ-ЧЕЛИЩЕВ К., АЛЬ М.,		
ПАНЧУК Д., БЕЗНОСОВ Д. Стихи	I,	133
БИРЮКОВ С. Что такое эксперимент в поэзии	I,	141
НИКОЛАЕВА О. Вертеп. Стихи	IV,	3
ОРЛОВ А. Моя Смоленщина. Стихи	V,	69
ПАГЫН С. Дом твой — слово. Стихи	IX,	3
ПАЛВАНОВА З. Лирические заботы. Стихи	VIII,	169
ПОПОВ С. Лито. Стихи	X,	80
По страницам молитвы. К 70-летию Израиля		
КОРЖАВИН Н., КАЦОВ Г., ЧЕЧИК Ф., ВОЛЬТСКАЯ Т., КРАЙТМАН С.,		
ГАНДЕЛЬСМАН В. Стихи	V,	147
ПУЧКОВ В. Смятенье вольное моё. Стихи	VIII,	81
РУСАКОВ Г. Жизнь моя, испуганное чудо. Стихи	II,	3

САЕД-ШАХ А. Я пришла, чтоб себя подарить. Стихи.		
Публикация и вступительная статья О.Хлебникова.....	XII,	3
САЛИМОН В. Буду лишним человеком. Стихи.....	I,	3
СЛУЦКИЙ Б. Вешкой в бескрайнем снегу. Стихи. Из неопубликованного....	V,	3
СТРЕЛКОВ Е. Над лоном волжских струй. Стихи.....	III,	105
СУЧКОВА Н. На верху земного шара. Стихи.....	II,	121
Трибушный Д. Для будущих счастливых поколений. Стихи.....	II,	65
ХЛЕБНИКОВ О. Кроме менад своих. Стихи.....	VI,	3
ЧКОНΙΑ Д. Осень патриарха. Стихи.....	III,	3
ШЕВЧЕНКО Г. Богомольная самка стиха. Стихи.....	X,	3
ЯХШУНЦ М. История одной жизни. Стихи. С армянского.		
Перевод Г.Кубатьяна.....	X,	152
двойной портрет		
БЕЛЬЧЕНКО Н. Стихи из Вентспилса		
Из современной украинской поэзии. ГЕРАСИМЬЮК В, КИЯНОВСКАЯ М.		
Стихи. С украинского. Перевод Н.Бельченко.....	VI,	93
кубок мира по русской поэзии		
МАТЮКОВ П. Мойдодыр — 2017. Стихи.....	IV,	138
ШВАРЦМАН М. Под токованье птицам отдан сад. Стихи.....	IV,	207
открытый чемпионат Балтии по русской поэзии		
АРТИС Д. Никаких прощаний. Стихи.....	XII,	143
ЕМЕЛИН В. Коллизия. Альтернативная поэма-дереконструкция.....	XII,	145

МИНСКАЯ ИНИЦИАТИВА

Международный гуманитарный проект

ОЛЕЙНИК Б. «Біля Мгарського монастиря». Студія порівняльного поетического перекладу «Шкереберть»: БЕЛЬЧЕНКО Н., ВЛАСОВ Г., КУЗНЕЦОВА И., КУРМАНГАЛИНА Я.-М., СВЕТАШЁВА Т., СУЛЬЧИНСКАЯ О., ДОЛГОТОВИЧ А.	X,	212
СТУС В. «Сховатися од долі — не судилось». Студія порівняльного поетического перекладу «Шкереберть»: БЕЛЬЧЕНКО Н., ВЛАСОВ Г., ВОЛОСЮК И., КИЯНОВСКАЯ М., КУЗНЕЦОВА И., КУРМАНГАЛИНА Я.-М., ПЕСТЕРЕВА Е., СВЕТАШЁВА Т., ВЫЛИНСКИЙ А., КОРБУТ В.	II,	156

ПРОЗА.DOC

ВАСЬКИН А. Владимир Шухов: Покоритель пространства.		
Главы из будущей книги.....	VIII,	172
СЕРЕБРЯНСКИЙ Ю. Полное затмение. «Алтыншаш»: свидетельства и документы.....	XII,	149
ФАЛИКОВ И. Борис Слуцкий: Майор и муза. Главы из книги.....	V,	176
.....	VI,	176
.....	VII,	156

АРХИВ

КЛЮКИНА О. Муравей на мониторе. <i>Как мы жили с Инной Львовной Лиснянской летом на даче</i>	I,	208
ОСИПОВ В. Мечтаю его понять... <i>23 сюжета из воспоминаний о Евгении Евтушенко</i>	III,	181

ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСЫ

«Школа диалога народов России: литература и жизнь».		
Конкурс творческих работ школьников	IV,	234

ДРУЖБА НА ВЫРОСТ

АННИНСКИЙ Л. Дождь Тургенев своего часа?	VIII,	229
АХМАНОВА В. Волчата. <i>Рассказ</i>	VI,	203
ГУГА В. Про Вовика. <i>Рассказы</i>	II,	208
ДМИТРЕНКО С. Бабушкина черепашка. <i>Рассказ</i>	IX,	201
«Если смотреть ТВ, можно пропустить всё самое интересное в жизни...»		
<i>Размышления белгородских школьников</i>	V,	229
ЛЕЙБОВ Б. В высокой траве. <i>Рассказы</i>	V,	218
ЛИДСКИЙ В. Сиротский хлеб. <i>Рассказ</i>	VIII,	206
МАЛЕНКОВ А. В поисках счастья. <i>Рассказы</i>	X,	222
ОБУХ А. <i>Рассказы</i>	II,	213
ПОДКОПАЕВ А. Первая кровь. <i>Рассказ</i>	VII,	206
РЕЗЦОВ А. Хамка Трамвайная. <i>Рассказ</i>	IX,	207
Тургеневские девушки в информационном шторме. <i>Размышления белгородских школьников</i>	VIII,	209
ЧЕРКАСОВ Е. Детский альбом	III,	143

СПЕЦНОМЕР «ДРУЖБА НА ВЫРОСТ»

«Только детские книги читать...». <i>Заочный «круглый стол»</i>	XI,	3
Проза и поэзия		
Алексей ИВАНОВ. Пищеблок. <i>Фрагмент романа</i>	XI,	27
Станислав ЛИВИНСКИЙ. Как беспечная пташка. <i>Стихи</i>	XI,	65
Александр ГАРРОС. Воля. <i>Кинороман. Предисловие и публикация А. Старобинец</i>	XI,	69
Анастасия КИНАШ. Рыбачь, пока живой. <i>Стихи</i>	XI,	147
Юрий СЕРЕБРЯНСКИЙ. Алтыншаш. <i>Повесть</i>	XI,	149
Константин КОМАРОВ. И — заново азы. <i>Стихи</i>	XI,	169
Игорь КОРНИЕНКО. Алаведерчи. <i>Петрушкина азбука</i>	XI,	172

Евгения Джен БАРАНОВА. Цветные семена. <i>Стихи</i>	XI, 199
Анна КОЗЛОВА. Улитка. <i>Рассказ</i>	XI, 202
Вадим МЕСЯЦ. Рассказы	XI, 210
Катерина РЕМИНА. Ведя иную сказку странствий. <i>Стихи</i>	XI, 215
Фарангис АВАЗМАТОВА. Крыша. <i>Рассказ</i>	XI, 217
Сергей ЗЕЛЬДИН. Бегущие по волнам. <i>Рассказы</i>	XI, 223
Л и ч н ы й о п ы т	
Евгений БУНИМОВИЧ. Потому что перпендикуляр. <i>Записки на полях школьных тетрадей</i>	XI, 228
П р о з а . d o c	
Валерия ПУСТОВАЯ. Ода радости. <i>Записки печальной дочери</i>	XI, 235
Б и б л и о н а в т и к а	
Ольга БАЛЛА. Антрополог спускается в ад. (А.Клепикова. «Наверно я дурак: Антропологический роман»)	XI, 268

ПЕРВЫЕ СТИХИ

ЛИПАТОВА Е. Пусть небо апельсинами! <i>Почти из дневника: записки о детской поэзии</i>	III, 150
МУРАТХАНОВ В. Стихи для себя	VI, 209
ЯНЫШЕВ С. Сладкий ужас	IV, 210

ПУБЛИЦИСТИКА

АНАСТАСЬЕВ А. Подземелье холодной войны	III, 164
АРПЕНТЬЕВА М. Цифровые кочевники осваивают мир	VIII, 192
БУРОВ А., ПРАШКЕВИЧ Г. О цели и направлении. <i>Два письма на одну тему</i> V, 211	
БУРОВ А., ПРАШКЕВИЧ Г. О знании, непостижимом разумом. <i>Два письма на одну тему</i>	X, 234
ГУСЬКОВ Г. Вопреки всем испытаниям	XII, 179
КАГРАМАНОВ Ю. Европа в поисках души	VII, 225
СТРАНА РОССИЯ	
КОЧЕРГИН И. Чувствительность к географии	VI, 209
КРЮКОВ В. Путь слова	IV, 223
НЕМЧЕНКО Г. Арктический черкес (Северный Кавказ — многомерный мир)	I, 197
ПАНАРИН С. Миграции на шкале истории	V, 202
СТОЛЯРОВ А. Четыреста лет вместе	II, 225
СТОЛЯРОВ А. Трудная дорога в будущее	IX, 209

МОЯ МАЛАЯ РОДИНА

БАЛЛА О. Обитаемое пространство	XII,	185
ГРИГОРЕНКО А. Привязка к местности	VI,	231
ОСИПОВ В. Таинства табунщика Телебека. <i>Рассказы</i>	X,	257

КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

КОНЯЕВА Е. «Когда Земля, начав вращенье...»	XII,	192
---	------	-----

НАЦИЯ И МИР

АЛАВЕРДОВА Л. Поверх моральных барьеров: «маленький человек» и массовые убийства	VIII,	197
МАЛАШЕНКО А. «Обиженная» цивилизация?	VII,	236
МАРКЕДОНОВ С. Россия и постсоветские конфликты: стратегия или реагирование	IV,	214
МУРАТХАНОВ В. По ту сторону гор (<i>Киргизия. Между вчера и сегодня</i>)	IX,	231
ПАИН Э. Управление культурным разнообразием. <i>Исторические модели и современная практика в регулировании этнополитических отношений</i>	II,	241
ПАИН Э. «Население» и «общество». <i>Русский национализм в исторической борьбе «официальной народности» и «народного суверенитета»</i>	X,	242
РУСАКОВ А. Уроки истории	I,	182
САНДЛЕР В. Под солнцем — Грузия моя	VI,	234
САНДЛЕР В. Пока быльём не поросло (<i>Киргизия. Между вчера и сегодня</i>)	IX,	237

КРИТИКА

АБДУЛЛАЕВ Е. Вечер восьмерых. <i>Восемь поэтических сборников 2017 года</i> ..	III,	221
АМУСИН М. Гроссмейстер Маканин	II,	255
Максим ГОРЬКИЙ: XXI век. <i>Уроки судьбы и живые страницы</i>	III,	195
Чёрное, белое, красное... <i>Литературные итоги 2017 года</i>	I,	223

ЮБИЛЕЙ

СОЛЖЕНИЦЫН А. Дневник Р-17. 1973 год. <i>Фрагмент. Публикация Н. Солженицыной</i>	XII,	201
Александр Солженицын: судьба, роль, образ в меняющемся времени. <i>Заочный «круглый стол»</i>	XII,	206
ПИСЬМЕННЫЙ М. Парламент Солженицын (<i>Архив «ДН»</i>)	XII,	221

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОЛЮСА

ГУРЕЕВ М. Родина электричества. Из будущей книги «ДАПригов»	VIII,	232
ШЕВАРОВ Д. Крестить так крестить. Судьба и книги священника Ярослава Шипова	VIII,	248
«Я всегда чего-то другого ожидал от литературы...». Разговор со священником и писателем Ярославом ШИПОВЫМ ведет Дмитрий ШЕВАРОВ	VIII,	254

ПОЭТ О ПОЭТЕ

КУЛЛЭ В. «Проводить тебя сумеет старый Постум»	X,	229
ТИМОФЕЕВСКИЙ А. Вторая реальность. Стихотворение	X,	233

БИБЛИОНАВТИКА

Рубрику ведет Ольга БАЛЛА

Игра всерьез. (И. Сид. «Геопозтика. Пунктир к теории путешествий»)	I,	241
Место, где дышать. (Я. Каменский. «Улыбка Вегенера»)	III,	234
Европейка в «Абсурдистане». (Э. Фатланд. «Советистан»)	V,	249
Ключи к самим себе: слова и вещи русского самосознания. (К. Кобрин. «Разговор в комнатах. Карамзин, Чаадаев, Герцен и начало современной России»)	VII,	250
Обретение родины. (Г. Ефремов. «Избранные сочинения»)	IX,	248

ЛИТЕРАТУРНЫЙ БАРОМЕТР

Рубрику ведет Евгений АБДУЛЛАЕВ

Как убить литературу	II,	265
Бишкек утопический, Алма-Ата ностальгическая	IV,	263
«Ура! Мы побеждены!..»	VI,	249
О поздних дебютах и конце света	VIII,	259
Букеровская пауза	X,	262
Средневековые глобализации	XII,	227

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ЭБАНОИДЗЕ А. «Годори» родился из античной трагедии. Послесловие к немецкому изданию	VI,	253
Диалог со временем. Проект издательства «Время» продолжается... ..	XII,	230

ПОДРОБНОЕ ЧТЕНИЕ

АНАСТАСЬЕВ Н. Похвала постоянству. (Е.Сидоров. «Критика. Публицистика. Память»)	X,	264
ВОЛОДИХИН Д. Две России. (Политика и вера в романе А.Иванова «Тобол: Мало избранных»)	V,	253
КАЦОВ Г. Самый страшный «ночной кошмар» Иосифа Бродского. (А.Пекуровская. «"Непредсказуемый" Бродский»)	I,	246
УБОГИЙ А. «В этой живой волне...». (Г.Калашников. «В центре циклона») ..	IX,	252

КНИЖНЫЙ РАЗВАЛ

БАХНОВ Л. «Не говори с тоской: их нет...» [На кн. О.Хлебникова «Заметки на биополях: Книга о замечательных людях на выпавшем пространстве» (2018)]	VIII,	266
БУГОСЛАВСКАЯ О. Портрет и панорама. [На кн. Л.Прыгунова «Сергей Иванович Чудаков и др.» (2018)]	IX,	263
БУШУЕВА М. «Одесса моя, бегущая по волнам». [На кн. В.Зубаревой «Одесский трамвайчик» (2018)]	IX,	265
ЕВСЮКОВ А. Заклинание красоты. [На кн. В.Кравченко «Не поворачивай головы. Просто поверь мне» (2016)]	III,	243
ЗАДИРКО Е. Самое обыкновенное необъяснимое, или Как смотреться в зеркало. [На кн. А.Аркатовой «Стеклянное пальто» (2017)]	VIII,	270
КАЛАШНИКОВ Г. «Когда я говорю на моем языке...». [На кн. Л.Йонас «Кодумаа» (2017)]	VI,	263
КОМАРОВ К. Единственный оплот. [На кн. В.Куллэ «Стойкость и Свет» (2017)]	VIII,	264
КОТЮСОВ А. Плотность жизни [На кн. Л.Элтанг «Царь велел тебя повесить» (2018)]	III,	239
КОТЮСОВ А. Страна победившей антиутопии. [На кн. А.Волоса «Шапка Шпаковского» (2018)]	VI,	259
КОТЮСОВ А. Жизнь не по лжи. [На кн. Д.Орлова «Чеснок» (2018)]	IX,	260
КУТЕНКОВ Б. С позиции освободившегося. [На кн. Д.Воденникова «Воденников в прозе: лучшие эссе» (2018)]	V,	264
ЛЕВАШОВ В. Одиночество Орфея. [На кн. В.Шубина «Колыма становится текстом» (2018)]	XII,	252
ЛИПКИН М. Открытие Якутии: новые страницы. [На кн. О.Сидорова «Платон Ойунский» (2016)]	XII,	254
НАБАТНИКОВА Т. Уроки понимания. [На кн. А.Бердичевской «Молёное дитяtko» (2017)]	III,	246
ПОГОДИНА О. Человеческий голос. [На кн. П.Басинского «Посмотрите на меня: Тайная история Лизы Дьяконовой» (2017)]	V,	259
ПОДЛУБНОВА Ю. Селфи на фоне спама. [На кн. И.Котюха «Естественно особенный случай» (2017)]	V,	261

РУДЕНКО Б. История глазами очевидца. [На кн. Войскунского «Балтийская сага» (2018)]	XII,	249
ТВЕРДИСЛОВА Е. Слышать тишину. [На кн. Р.Полищук «И было так» (2017)] ..	III,	249
ТРУШКИНА А. На дальний гул, к неуловимому эху. [На кн. А.Грицмана «Спецхран» (2018)]	VI,	258
ЧАНЦЕВ А. Тёплый холод. [На литературный альманах № 1 «Невидимки» (2017)]	V,	267

КУЛЬТУРНАЯ ХРОНИКА

ПОДПОРЕНКО Ю. Альберт Гогугдзе: главное — быть самим собой	IV,	268
ПОДПОРЕНКО Ю. Художники Туркмении на Великом шелковом пути	IX,	267
РУСИНОВА О. Скульптор Никогосян: образы мысли. К 100-летию Мастера ...	VI,	266

ЭХО

Рубрику ведет Лев АННИНСКИЙ

Быть... Или писать?	I,	253
Кулаки и гвозди. Лаура Балян отвечает Паруйру Севаку	II,	270
Мой Максим	III,	253
Фишка не шутка! Пушкин в помощь	IV,	270
Глаза отца	V,	270
На рубеже эпох, народов и вер	VI,	270
Из дневника школьных лет	VII,	254
Налысо!	IX,	269
Пришло время!	XII,	260

Summary

The December issue of “DN” is in some way summarizing: we recall events, encounters, dates, people...

Galina KLIMOVA. Pastashutta

In this long short story fiction is melted together with documents. It's the life story of two sisters and their big family whose members happened to be the Chairman of Sovnarkom of the USSR Alexej Rickov and the cantor of the main Harbin's synagogue. The story is developing on the background of the Kremlin's life in 1920–1930-s.

Mikhail ARANOV. The Barge of Death

Bitter and piercing chapters of M. Aranov's novel about the epoch of ruined lives — terrible 1930-s and tragic 1940-s. Family saga proving that it is possible to remain human and to be happy even in the grinder of the times.

Poetry

“Life is only an occasion for immortality”, — had once written Anna SAED-SHAH. This collection of her unpublished poems prepared for publication by Oleg KHLEBNIKOV is dedicated to the memory of the poet. Poems by Tatyana VOLTSKAYA from St. Petersburg are about the winter and the Christmas tree, about love and magic of the life. We hope the readers will be interested also by the lyrics of our young authors Dmitrij ARTIS and Valentin EMELIN who are the prize-winners of the Open Poetry Championship of the Baltic States–2018.

Published in our 11-th issue long short story “Altinshash” by Yourij SEREBRYANSKIY is based on true stories. In this issue the author presents some of these stories told him by Poles expelled from Ukraine to the region of Karaganda in Kazakhstan in 1936 and survived till our days, as well as by their children and grandchildren.

To the centenary of the writer

Alexander SOLZHENITSYN: Life, Role, Image in the Changing World.

“And suddenly everything got tied together by the vivid threads of the memory”. An unpublished piece of Solgenitzin's diaries of 1973 — from the midst of his work over “October of the Sixteenth” (the Second Knot of the epopee “The Red Wheel”).

Alexej VARLAMOV, Vsevolod EMELIN, Marina KUDIMOVA, Mikhail KURAEV, Afanasij MAMEDOV, Dmitrij SHEVAROV take part in our roundtable discussion by correspondence. Mikhail PISMENNIJ. Parliament of Solzhenitsyn

An essay from the archives of “DN”.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Дружба народов»

можно выписывать с любого месяца во всех отделениях Почты России.

Подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» — **70250**

Подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» — **91826**

Электронную версию «ДН» можно купить на <http://дружбанародов.com>

Мобильная версия «ДН» для устройств на iOS доступна в App Store и на

<https://itunes.apple.com/ru/app/druzba-narodov/id893172883?mt=8>

Верстка: Елена ЖИРНОВА

Дизайн обложки: Степан ЛУКЬЯНОВ



ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ
И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»

**1/2019**

Читайте:

Валерий Бочков**Повесть «Латгальский крест»:**

«Догадка, да! Наконец-то появился смысл, наконец всё встало на свои места. Жизнь обрела логику — а, может, как раз и не жизнь, а наоборот. Моя догадка, да что там — озарение — мне вдруг стало ясно (как писали в романах — кристально ясно), что произошло на самом деле: тем летним днём я утонул. Совсем утонул — насмерть. И всё, что последовало за этим, оказалось не более чем сном. Фантазией, вымыслом, оптической иллюзией. Инга, остров, любовь — всё, от и до. И майор Юсоби́ст, и милиция, и вот этот подводный буфет с зелёноглазой хозяйкой — всё! Сплошная фата-моргана. И уж если начистоту — никто из живых людей понятия не имеет о смерти, ни малейшего. Может, таков он и есть — загробный мир?»

Новая рубрика «ДН»**БРЕЙНИНГЕР НА БЛОГ-ПОСТУ**

«Как определить impactfactor блогера? Кто на самом деле (и нет, не Ули Лай, сюрпризК сюрприз) главный литературный блогер страны? Почему, черт возьми, «книжки и винишко»? Какого писателя больше всего любят в инстаграме? Кто читает сборник под названием «Куриный бульон для души»? И прочие вопросы с блогерской повестки дня, по которым пришла пора стрелять из филологических пушек. С периодичностью раз в месяц на страницах "Дружбы народов", без погони за горячими модными спорами и поэтому всегда идеально холодные: заметки с литературного блогКюста.»

Ольга Брейнингер. «Охота на блогеров»

И многое другое...